

ISSN 1728-1938

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

2017 * Том 16 * № 1

**RUSSIAN SOCIOLOGICAL
REVIEW**

2017 * Volume 16 * Issue 1

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ



2017
Том 16. № 1

ISSN 1728-1938

Эл. почта: puma7@yandex.ru

Веб-сайт: sociologica.hse.ru

Адрес редакции: ул. Старая Басманная, д. 21/4, к. А205, Москва 105066

Тел.: +7-(495)-772-95-90*12454

Редакционная коллегия

Главный редактор

Александр Фридрихович Филиппов

Зам. главного редактора

Марина Геннадиевна Пугачева

Члены редколлегии

Светлана Петровна Баньковская

Андрей Михайлович Корбут

Наиль Галимханович Фархатдинов

Редактор веб-сайта

Наиль Галимханович Фархатдинов

Литературные редакторы

Каринэ Акоповна Щадилова

Перри Франц

Корректор

Инна Евгеньевна Кроль

Верстальщик

Андрей Михайлович Корбут

Международный редакционный совет

Николя Айо (Университета Фрибура, Швейцария)

Джеффри Александер (Йельский университет, США)

Яан Вальсинер (Университет Ольборга, Дания)

Виктор Семенович Вахштайн (РАНХиГС, Россия)

Гэри Дэвид (Университет Бентли, США)

Дмитрий Юрьевич Куракин (НИУ ВШЭ, Россия)

Александр Владимирович Марей (НИУ ВШЭ, Россия)

Питер Мэннинг (Северо-восточный университет, США)

Альбер Ожбен (Высшая школа социальных наук, Франция)

Энн Уорфилд Роулз (Университет Бентли, США)

Ирина Максимовна Савельева (НИУ ВШЭ, Россия)

Никита Алексеевич Харламов (Университет Ольборга, Дания)

О журнале

«Социологическое обозрение» — академический рецензируемый журнал теоретических, эмпирических и исторических исследований в социальных науках. Журнал выходит четыре раза в год. В каждом выпуске публикуются оригинальные исследовательские статьи, обзоры и рефераты, переводы современных и классических работ в социологии, политической теории и социальной философии.

Цели

- Поддерживать дискуссии по фундаментальным проблемам социальных наук.
- Способствовать развитию и обогащению теоретического словаря и языка социальных наук через междисциплинарный диалог.
- Формировать корпус образовательных материалов для развития преподавания социальных наук.

Область исследований

Журнал «Социологическое обозрение» приглашает социальных исследователей присылать статьи, в которых рассматриваются фундаментальные проблемы социальных наук с различных концептуальных и методологических перспектив. Нас интересуют статьи, затрагивающие такие проблемы как социальное действие, социальный порядок, время и пространство, мобильности, власть, нарративы, события и т. д.

В частности, журнал «Социологическое обозрение» публикует статьи по следующим темам:

- Современные и классические социальные теории
- Теории социального порядка и социального действия
- Методология социального исследования
- История социологии
- Русская социальная мысль
- Социология пространства
- Социология мобильности
- Социальное взаимодействие
- Фрейм-анализ
- Этнометодология и разговорный анализ
- Культурсоциология
- Политическая социология, философия и теория
- Нарративная теория и анализ
- Гуманитарная география и урбанистика

Наша аудитория

Журнал ориентирован на академическую и неакадемическую аудитории, заинтересованные в обсуждении фундаментальных проблем современного общества и социальных наук. Кроме того, публикуемые материалы (в частности, обзоры, рефераты и переводы) будут интересны студентам, преподавателям курсов по социальным наукам и другим ученым, участвующим в образовательном процессе.

Подписка

Журнал является электронным и распространяется бесплатно. Все статьи публикуются в открытом доступе на сайте: <http://sociologica.hse.ru/>. Чтобы получить сообщения о свежих выпусках, подпишитесь на рассылку журнала по адресу: farkhatdinov@gmail.com.

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW



2017
Volume 16. Issue 1

ISSN 1728-1938

Email: puma7@yandex.ru

Web-site: sociologica.hse.ru/en

Address: Staraya Basmannaya str., 21/4, Room A205, Moscow, Russian Federation 105066

Phone: +7-(495)-772-95-90*12454

Editorial Board

Editor-in-Chief

Alexander F. Filippov

Deputy Editor

Marina Pugacheva

Editorial Board Members

Svetlana Bankovskaya

Nail Farkhatdinov

Andrei Korbut

Internet-Editor

Nail Farkhatdinov

Copy Editors

Karine Schadilova

Perry Franz

Russian Proofreader

Inna Krol

Layout Designer

Andrei Korbut

International Advisory Board

Jeffrey C. Alexander (Yale University, USA)

Gary David (Bentley University, USA)

Nicolas Hayoz (University of Fribourg, Switzerland)

Nikita Kharlamov (Aalborg University, Denmark)

Dmitry Kurakin (HSE, Russian Federation)

Alexander Marey (HSE, Russian Federation)

Peter Manning (Northeastern University, USA)

Albert Ogien (EHESS, France)

Anne W. Rawls (Bentley University, USA)

Irina Savelyeva (HSE, Russian Federation)

Victor Vakhshayn (RANEPa, Russian Federation)

Jaan Valsiner (Aalborg University, Denmark)

About the Journal

The Russian Sociological Review is an academic peer-reviewed journal of theoretical, empirical and historical research in social sciences.

The Russian Sociological Review publishes four issues per year. Each issue includes original research papers, review articles and translations of contemporary and classical works in sociology, political theory and social philosophy.

Aims

- To provide a forum for fundamental issues of social sciences.
- To foster developments in social sciences by enriching theoretical language and vocabulary of social science and encourage a cross-disciplinary dialogue.
- To provide educational materials for the university-based scholars in order to advance teaching in social sciences.

Scope and Topics

The Russian Sociological Review invites scholars from all the social scientific disciplines to submit papers which address the fundamental issues of social sciences from various conceptual and methodological perspectives. Understood broadly the fundamental issues include but not limited to: social action and agency, social order, narrative, space and time, mobilities, power, etc.

The Russian Sociological Review covers the following domains of scholarship:

- Contemporary and classical social theory
- Theories of social order and social action
- Social methodology
- History of sociology
- Russian social theory
- Sociology of space
- Sociology of mobilities
- Social interaction
- Frame analysis
- Ethnomethodology and conversation analysis
- Cultural sociology
- Political sociology, philosophy and theory
- Narrative theory and analysis
- Human geography and urban studies

Our Audience

The Russian Sociological Review aims at both academic and non-academic audiences interested in the fundamental issues of social sciences. Its readership includes both junior and established scholars.

Subscription

The Russian Sociological Review is an open access electronic journal and is available online for free via <http://sociologica.hse.ru/en>.

Содержание

СТАТЬИ И ЭССЕ

- Гипотеза Олсона—Хантингтона о криволинейной зависимости между уровнем экономического развития и социально-политической дестабилизацией: опыт количественного анализа 9
Андрей Коротаев, Илья Васькин, Станислав Билюга
- Культура как препятствие: размузыкаливание мира в гибридных дискурсах музыкального воздействия 50
Анна Ганжа
- «Недостающее звено»: эмбриологическая интерпретация естественного состояния у Питера и Йохана Де ла Куров 83
Павел Соколов

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

- Утопическое чтение: к вопросу о герметичности «Утопии» Томаса Мора 101
Ирина Каспэ
- Без шуток. О том, как не надо переводить остроты Бертрана Рассела. 126
Август Похлёбкин
- Какие желания политически весомы? 138
Бертран Рассел

РУССКАЯ АТЛАНТИДА

- Русский консерватор: о системе политических воззрений К. П. Победоносцева 1870–1890-х годов 151
Андрей Тесля

STUDIA SOVIETICA

- По ту сторону тоталитаризма: советское как форма социальности в исследовательской программе Н. Н. Козловой 173
Олег Кильдюшов
- «Переписывая» советское прошлое: о программе исследований «советского человека» Н. Н. Козловой 183
Тимофей Дмитриев

- Нарратив и теория в исследованиях советского: значение исследований
Н. Н. Козловой для современной политической теории 227
Максим Фетисов

ОБЗОРЫ

- «Лингвистическая катастрофа» социолога, интересующегося текстовым
анализом 247
Ирина Троцук
- Sociological Debate on Inequalities in Russia and Beyond 270
Alexandrina Vanke

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ

- Поправка на мобильность: как трудовая и дачная миграция влияет
на расселение россиян? 278
Анатолий Бреславский
- Новый человек: Николай Чернышевский в зеркале русского европеизма . . . 296
Ольга Жукова

РЕЦЕНЗИИ

- Призрак цезаризма и четвертое измерение демократии 314
Евгений Блинов

IN MEMORIAM

- Прощальный взгляд на постсовременность: между «свободой»
и «безопасностью». Зигмунт Бауман (1925–2017) 326
Светлана Баньковская

Contents

ARTICLES AND ESSAYS

- Olson—Huntington Hypothesis on a Bell-Shaped Relationship Between
the Level of Economic Development and Sociopolitical Destabilization:
A Quantitative Analysis 9
Andrey Korotayev, Ilya Vaskin, Stanislav Bilyuga
- Culture as Obstacle: Demusicalization of the World in the Hybrid Discourses
of the Effects of Music 50
Anna G. Ganzha
- “Missing Link”: The Embryological Interpretation of the State of Nature
by Pieter De la Court and Johan De la Court 83
Pavel V. Sokolov

POLITICAL PHILOSOPHY

- Utopian Reading: Towards a Hermeticity of Thomas More’s *Utopia* 101
Irina Kaspe
- No Kidding: Some Notes on Mistranslations of Bertrand Russell’s Witticisms 126
Avgust Pokhlebkina
- What Desires Are Politically Important? 138
Bertrand Russell

RUSSIAN ATLANTIS

- The Russian Conservative: On the System of K. P. Pobedonostsev’s Political
Views in the 1870–1890s 151
Andrey Teslya

STUDIA SOVIETICA

- Beyond Totalitarianism: The Soviet as a Form of Sociality in N. N. Kozlova’s
Research Program 173
Oleg Kildyushov
- Rewriting the Soviet Past: On the Research Program of Natalya Kozlova’s
“Study of the Soviet Man” 183
Timofey A. Dmitriev

- Theory and Narrative in Soviet Studies: The Relevance of Natalya Kozlova's
Thought for the Political Theory of Modernity 227
Maxim Fetisov

REVIEWS

- “Linguistic Catastrophe” of the Sociologist Focused on
Textual Analysis 247
Irina Trotsuk
- Sociological Debate on Inequalities in Russia and Beyond 270
Alexandrina Vanke

REFLECTIONS ON THE BOOK

- Correction for Mobility: How Do Labor and Dacha's Migrations Influence
the Settlement of Russians? 278
Anatoliy Breslavsky
- New Person: Nikolay Chernyshevsky in the Mirror of Russian Europeanism 296
Olga Zhukova

BOOK REVIEWS

- The Ghost of Cesarism and the Fourth Dimension of Democracy 314
Evgeny Blinov

IN MEMORIAM

- The Farewell Look Back to Post-Modernity: Between Freedom and Safety.
Zygmunt Bauman (1925–2017) 326
Svetlana Bankovskaya

Гипотеза Олсона—Хантингтона о криволинейной зависимости между уровнем экономического развития и социально-политической дестабилизацией: опыт количественного анализа*

Андрей Коротаев

Доктор философии (PhD), доктор исторических наук, профессор,
заведующий лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: akorotayev@gmail.com

Илья Васькин

Стажер-исследователь лаборатории мониторинга рисков социально-политической дестабилизации
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: ilja-vaskin@yandex.ru

Станислав Билюга

Младший научный сотрудник лаборатории мониторинга рисков
социально-политической дестабилизации
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Аспирант факультета глобальных процессов
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
Младший научный сотрудник
Центра долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: sbilyuga@gmail.com

Наши эмпирические тесты подтверждают обоснованность гипотезы Олсона—Хантингтона о наличии криволинейной перевернутой U-образной зависимости между уровнем экономического развития и уровнем социально-политической нестабильности. Согласно этой гипотезе, вплоть до определенного значения величины средних подушевых доходов экономический рост усиливает риски социально-политической дестабилизации и лишь при его относительно высоких значениях дальнейший рост этого показателя ведет к уменьшению таких рисков. Вместе с тем наш анализ показал,

© Коротаев А. В., 2017

© Васькин И. А., 2017

© Билюга С. Э., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-1-9-49

* Статья подготовлена в ходе проведения исследования в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета „Высшая школа экономики“ (НИУ ВШЭ)» в 2016–2017 гг. (№ 17-05-0005) и в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100» при поддержке Российского научного фонда (проект № 14-11-00634).

что для разных индексов социально-политической дестабилизации данная криволинейная зависимость имеет разный характер. При этом выяснилось и наличие одного очень важного исключения. Мы показали, что между подушевым ВВП и интенсивностью переворотов и попыток переворотов наблюдается не криволинейная, а явно выраженная отрицательная корреляция. Данное обстоятельство делает вышеуказанную криволинейную зависимость применительно к интегральному индексу заметно менее выразительной и вносит очень заметный вклад в формирование ее асимметричности (когда отрицательная корреляция между подушевым ВВП и социально-политической нестабильностью среди более богатых стран выглядит заметно более сильной, чем положительная корреляция для стран более бедных). Вместе с тем анализ продемонстрировал, что для всех остальных индексов социально-политической дестабилизации наблюдается именно постулируемая гипотезой Олсона—Хантингтона криволинейная перевернутая U-образная зависимость. Применительно к таким индексам, как политические забастовки, массовые беспорядки и антиправительственные демонстрации, мы имеем дело с асимметрией, прямо противоположной той, что упоминалась выше, — с такой асимметрией, когда положительная корреляция между ВВП и нестабильностью для более бедных стран оказывается заметно более сильной, чем отрицательная корреляция для более богатых стран.

Ключевые слова: политическая нестабильность, индексы дестабилизации CNTS, экономическое развитие, ВВП на душу населения, государственные перевороты, антиправительственные демонстрации, социально-политическая дестабилизация, политическое развитие

К настоящему времени заметное число работ посвящено влиянию уровня экономического развития стран мира (измеряемого через такие показатели, как валовой национальный доход или валовой внутренний продукт на душу населения) на уровень социально-политической дестабилизации. При этом многие работы отталкиваются от вроде бы вполне правдоподобного предположения о том, что чем выше уровень экономического развития того или иного региона, тем меньше вероятность возникновения гражданского конфликта (см., например: Parvin, 1973; Weede, 1981; MacCulloch, 2004; Miguel, Satyanath, Sergenti, 2004; MacCulloch, Pezzini, 2010; DiGiuseppe, Barry, Frank, 2012; Chapman, Reinhardt, 2013; Knutsen, 2014; подробный анализ этих работ см. в наших предыдущих публикациях: Коротаев, Билюга, Шишкина, 2016, 2017а, 2017б). С другой стороны, как было показано еще в классических работах М. Олсона (Olson, 1963) и С. Хантингтона (Huntington, 1968; Хантингтон, 2004), между средним уровнем доходов на душу населения и социально-политической дестабилизацией существует не отрицательная корреляция, а криволинейная обратная U-образная зависимость¹: наиболее высокие риски дестабилизации имеют страны со средними значениями доходов на душу населения².

Уже М. Олсон (Olson, 1963) сформулировал достаточно полный список факторов, обуславливающих положительную корреляцию между средними подуше-

1. Сам Хантингтон говорил о «колоколообразной» (*bell-shaped*) зависимости (Huntington 1968: 43; Хантингтон, 2004: 61).

2. См. также, например: Урнов, 2008.

выми доходами и уровнем социально-политической дестабилизации в модернизирующихся социально-политических системах, который мы приведем в крайне удачном, на наш взгляд, пересказе С. Хантингтона:

Быстрый экономический рост

1) разрушает традиционные общественные группировки (семью, класс, касту) и тем самым увеличивает «численность деклассированных индивидов... которые поэтому оказываются в обстоятельствах, благоприятных для зарождения революционного протеста» (Olson, 1963: 532);

2) порождает нуворишей, плохо адаптирующихся к существующему строю и плохо им ассимилируемых, но при этом претендующих на политическое влияние и социальный статус, соизмеримые с их новым экономическим положением;

3) повышает социальную мобильность, что тоже подрывает общественные связи и, в частности, способствует ускоренной миграции из сельских районов в города и тем самым способствует росту отчуждения и политического экстремизма³;

4) повышает число людей, чей уровень жизни снижается, и тем самым может увеличивать разрыв между богатыми и бедными;

5) у некоторой части людей ведет к абсолютному росту доходов, но не относительному, увеличивая этим их неудовлетворенность существующим строем;

6) требует общего ограничения потребления ради повышения капиталовложений, порождая общественное недовольство;

7) повышает грамотность, уровень образования, охват средствами массовой информации, что ведет к росту стремлений выше того уровня, на котором возможно их удовлетворение⁴;

8) обостряет региональные и этнические конфликты из-за распределения инвестиций и потребления;

9) расширяет возможности групповой организации и тем самым масштабы требований, предъявляемых группами правительству, до пределов, когда правительство оказывается неспособным их удовлетворять. (Хантингтон 2004: 66–67)

Мы выявили и несколько других факторов, обуславливающих наличие положительной корреляции между средними подушевыми доходами и уровнем социально-политической дестабилизации в модернизирующихся социальных системах. Ряд этих факторов описан в нашей модели «ловушки на выходе из мальтузианской ловушки» (Коротаев, Гринин и др., 2010, 2011; Коротаев, Халтурина и др., 2011; Коротаев, Малков и др., 2012; Коротаев, Зинькина, 2010а, 2010б, 2011а, 2011б, 2011в, 2011г, 2012а; Коротаев, 2012; Гринин, Коротаев, 2012; Коротаев, Малков, 2014; Гринин, Исаев, Коротаев, 2015; Korotayev, Zinkina et al., 2011; Korotayev, 2014; Korotayev,

3. Наши собственные исследования подтвердили значимую роль стремительной урбанизации в генерировании дестабилизации в модернизирующихся обществах (Гринин, Коротаев, 2009).

4. Наши исследования подтвердили значимую роль роста образования в генерировании дестабилизации в модернизирующихся обществах (Коротаев, Зинькина, 2011а, 2011б, 2011в; Коротаев и др., 2012; Коротаев, Билюга, Шишкина, 2017б; Korotayev, Zinkina, 2011; Grinin, Korotayev, 2012).

Malkov, Grinin, 2014), которая вербально может быть описана следующим образом⁵:

1) Начало устойчивого выхода из мальтузианской ловушки⁶ (которое по определению означает и рост подушевого ВВП) практически по определению означает и снижение смертности, а значит, и резкое ускорение темпов роста населения (что уже само по себе может вести к определенному росту социально-политической напряженности).

2) Начало устойчивого выхода из мальтузианской ловушки сопровождается особенно сильным уменьшением младенческой и детской смертности. Все это ведет к резкому росту пропорции молодежи в общей численности населения вообще и в численности взрослого населения в частности (так называемому «молодежному бугру»).

3) В результате наблюдается резкий рост пропорции той части населения, которая в наибольшей степени склонна к насилию, агрессии и радикализму, что выступает мощным фактором политической дестабилизации.

4) Быстрый рост общей численности молодежи требует кардинально увеличивать создание новых рабочих мест, что представляет очень сложную задачу. Всплеск же молодежной безработицы может иметь особо мощный политически дестабилизирующий эффект, создавая армию потенциальных участников («горючий материал») для всевозможных политических (и в том числе революционных) потрясений.

5) Выход из мальтузианской ловушки стимулирует мощный рост городского населения. Кроме того, вытеснение избыточного населения из деревни дополнительно усиливается бурным ростом производительности труда в сельском хозяйстве. Массированная миграция из деревни в город практически неизбежно порождает заметное количество недовольных своим положением, поскольку мигранты из деревни в первое время после переселения могут рассчитывать лишь на самую низкоквалифицированную малооплачиваемую работу и крайне посредственные (а зачастую и просто откровенно неудовлетворительные) жилищные условия.

6) Выход из мальтузианской ловушки в конечном счете достигается прежде всего за счет развития новых секторов и отмирания старых, за счет структурной перестройки, которая не может происходить полностью безболезненно. Во всех случаях старая традиционная квалификация работников утрачивает смысл, и, не имея новой современной квалификации, эти работники вынуждены наниматься на низкоквалифицированную работу (если им ее вообще удастся найти), что, конечно, не может не порождать массового недовольства и служит серьезным фактором политической дестабилизации.

5. Когнитивную схему модели см. ниже на рис. 1.

6. О понятии «мальтузианская ловушка» см., например: Кларк, 2012; Гринин и др., 2009; Гринин, Коротаев, Малков, 2008, 2010; Коротаев, Зинькина, 2012а, 2013, 2014; Artzrouni, Komlos, 1985; Clark, 2007; Kögel, Prskawetz, 2001; Komlos, Artzrouni, 1990; Steinmann, Prskawetz, Feichtinger, 1998; Korotayev, Zinkina, 2015.

7) В города из деревни обычно мигрирует прежде всего именно молодежь. Таким образом, фактор «молодежного бугра» и фактор интенсивной урбанизации действуют совместно, производя в совокупности очень мощное дестабилизирующее воздействие. Особенно быстро растет численность именно молодой наиболее радикально настроенной части городского населения, при этом такая молодежь оказывается сконцентрированной в наиболее крупных городах/политических центрах.

8) Такая ситуация может привести к самой серьезной политической дестабилизации даже в условиях достаточно стабильного экономического роста. С особо высокой вероятностью политические потрясения наступают, если власть теряет авторитет в результате, скажем, военного поражения или в условиях затяжного экономического кризиса, пришедшего на смену экономическому подъему (впрочем, события «арабской весны» показали в очередной раз, что даже это не обязательно).

Были выявлены и иные факторы, обуславливающие наличие положительной корреляции между средними подушевыми доходами и уровнем социально-политической дестабилизации в модернизирующихся социальных системах:

1) рост средних подушевых доходов в авторитарных режимах ведет к усилению движения за демократию (Lipset, 1959; Cutright, 1963; Moore, 1966; Dahl, 1971; Brunk, Caldeira, Lewis-Beck, 1987; Rueschemeyer, Stephens, Stephens, 1992; Burkhart, Lewis-Beck, 1994; Londregan, Poole, 1996; Epstein et al., 2006; Voix, 2011), а значит, и к определенной дестабилизации этих режимов. А так как в наших базах данных (как, впрочем, и в реальности) авторитарные государства составляют очень высокий процент от числа всех государств с низкими значениями подушевого дохода, эффект роста внутреннего давления на авторитарные режимы в сторону демократизации по мере экономического роста также в определенной степени объясняет положительную корреляцию между средними доходами на душу населения и интенсивностью социально-политической дестабилизации для слабо- и среднеразвитых стран (Коротаев, Билюга, Шишкина, 2016, 2017а).

2) Переходы от последовательной автократии сразу же к консолидированной демократии крайне редки. Как правило, изначально движение в сторону демократии (особенно в экономически слаборазвитых странах) ведет к появлению не консолидированной демократии, а непоследовательно авторитарного или частично демократического — т. е. промежуточного — режима. Соответственно, для стран с низкими значениями подушевого ВВП наблюдается достаточно сильная положительная корреляция между уровнем ВВП на душу населения и долей промежуточных режимов. Однако, как было показано уже давно, именно промежуточные политические режимы являются наиболее подверженными социально-политической дестабилизации. Так, еще в 1974 году Т. Р. Гурр (Gurr, 1974) обратил внимание на то обстоятельство, что так называемые «полудемократии» являются наиболее подверженными дестабилизации типом режима. Это наблюдение получило развитие в работах, опирающихся на использование математического аппарата и баз

данных, содержащих сведения о многих странах мира. Результатом подобных исследований стала теория об обратной U-образной зависимости типа режима и рисков политической дестабилизации. В соответствии с этой теорией более стабильными являются последовательные демократии и автократии, в то время как наиболее нестабильными являются промежуточные режимы (Gates et al., 2000; Goldstone et al., 2000, 2010; Goldstone, 2014; Mansfield, Snyder, 1995; Marshall, Cole, 2008; Ulfelder, Lustik, 2007; Vreeland, 2008). Подтвердили эту закономерность и исследования отечественных ученых (Гринин, Коротаев, 2012, 2013, 2014; Гринин, Исаев, Коротаев, 2015; Малков и др. 2013; Коротаев, Исаев, Васильев, 2015; Коротаев и др., 2016; Grinin, Korotayev, 2012, 2014; Korotayev et al., 2013, 2014; Korotayev, Issaev, Zinkina, 2015). В средних и высоких интервалах подушевого ВВП наблюдается выраженная тенденция к вытеснению промежуточных режимов демократическими, а значит, повышенная доля наиболее политически нестабильных промежуточных режимов характерна для обществ со средними значениями ВВП, что является еще одним существенным фактором, обуславливающим наличие перевернутой U-образной зависимости между подушевыми доходами и уровнем социально-политической дестабилизации.

Таким образом, вплоть до определенного значения величины средних подушевых доходов экономический рост усиливает риски социально-политической дестабилизации, и лишь при его высоких значениях дальнейший рост этого показателя ведет к его уменьшению. В результате для более высоких значений подушевого дохода характерна отрицательная корреляция между доходами на душу населения и рисками социально-политической дестабилизации, а для более низких — положительная (Olson, 1963; Huntington, 1968: 39–50; Хантингтон, 2004: 57–67).

Большинство западных политологов со времен публикации основополагающих работ М. Олсона и С. Хантингтона, по всей видимости, успели забыть об их гипотезе и в своих исследованиях вновь стали исходить из, казалось бы, правдоподобного предположения о том, что чем выше уровень экономического развития той или иной страны, тем меньше вероятность ее социально-политической дестабилизации.

Так, например, Э. Виде пытается показать, что высокий уровень средних доходов довольно сильно снижает насилие (вооруженные нападения) (Weede, 1981).

В другой, более современной работе было выдвинуто предположение о том, что социально-политическая нестабильность имеет место в развивающихся странах (т. е. странах с низкими и средними доходами на душу населения), при этом существует некоторое пороговое значение, выше которого крупномасштабная нестабильность не случается (Nafziger, Auvinen, 2002, 2003: 30).

В классической работе П. Кольера и А. Хоффлера на выборке из 79 крупных гражданских конфликтов, имевших место в период с 1960 по 1999 год, исследуются факторы, способствующие возникновению и развитию масштабной социально-политической нестабильности. В качестве одного из таких факторов рассматриваются низкие издержки присоединения к активно протестующим группам, в част-

ности небольшой размер утрачиваемого дохода; в числе прокси-переменных для этого фактора авторы используют доход на душу населения и темпы роста экономики. Подушевой доход при этом оказался статистически значимой переменной, отрицательно влияющей на вероятность возникновения социально-политической нестабильности (Collier, Hoeffler, 2004).

Этот результат, казалось бы, нашел подтверждение в другой работе, посвященной анализу робастности 88 переменных, используемых в литературе для объяснения начала гражданских войн; как и в работе Кольера и Хоффлер, доход на душу населения использовался здесь как измерение экономических возможностей, упущенных в связи с войной. Была установлена робастность связи уровня подушевого дохода с началом гражданских войн (Hegre, Sambanis, 2006).

В недавнем исследовании 122 стран в период 1960–1988 годов было показано, что стартовый уровень ВВП на душу населения имеет значимое негативное влияние на насильственную смену правительств (Miljkovic, Rimal, 2008).

Следует отметить исследования влияния экономических показателей на возникновение социально-политической нестабильности, выполненные не на агрегированном уровне (как исследования, процитированные выше), а на уровне микроданных. Так, например, Р. МакКулок обращается к вопросу о том, как уровень экономического развития влияет на распространение революционных идей в обществе. Он использует микроданные Всемирного исследования ценностей (World Values Survey), полученные в ходе опросов (выборка составила 250 тыс. человек), и определяет, как меняются ответы респондентов в зависимости от уровня их доходов, приходя к выводу, что увеличение ВВП на душу населения на \$1600 в ценах 2001 года снижает вероятность поддержки революционных идей на 2,4 % (это снижает долю людей, которые хотели бы устроить революцию, на 41 %). Для индивида, перешедшего из нижнего квартиля по доходам в верхний квартиль (в рамках своей страны), вероятность поддержки революционных идей снижается примерно на аналогичную величину (MacCulloch, 2004).

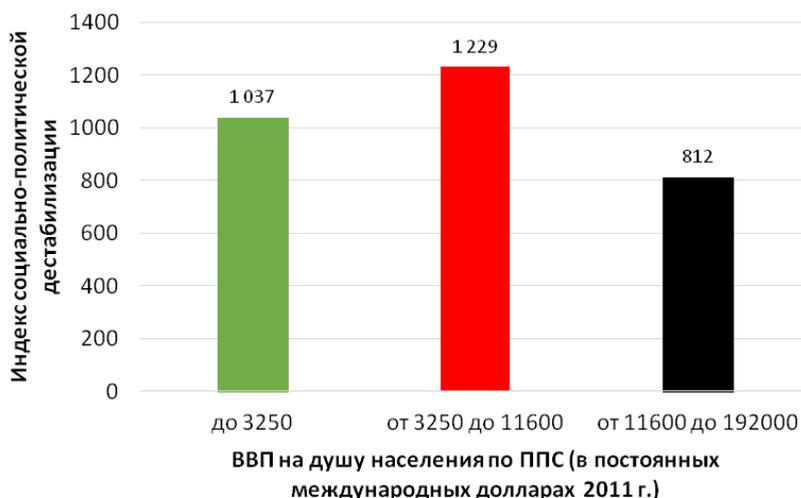
Большинство из приведенных выше результатов не противоречит гипотезе Олсона—Хантингтона. С другой стороны, проведенные нами ранее эмпирические тесты с использованием данных по ВВП на душу населения подтвердили наличие обнаруженной Олсоном—Хантингтоном перевернутой U-образной зависимости (Коротаев, Исаев, Васильев, 2015; Коротаев, Билюга, Шишкина, 2016, 2017а, 2017б; Korotayev, Issaev, Zinkina, 2015).

Вместе с тем, как было показано нами ранее (Коротаев, Билюга, Шишкина, 2017б), общая перевернутая U-образная корреляция между подушевым ВВП и суммарным уровнем социально-политической дестабилизации является невыразительной. Проведенная нами ранее прямолинейная проверка гипотезы о наличии криволинейной U-образной зависимости между ВВП на душу населения и интегральным уровнем социально-политической дестабилизации CNTS⁷ в общем

7. Описание материалов и методики расчета данного индекса приводится в заключительной части данной статьи.

и целом ее подтвердила, но корреляция оказалась хотя и в предсказанном направлении (т. е. перевернутой U-образной), а также статистически значимой, но крайне слабой (рис. 1).

Рисунок 1. Среднее значение индекса социально-политической дестабилизации по тертилям ВВП на душу населения в долларах США по ППС за период 1960–2014 гг.⁸



Источник: Коротаяев, Билюга, Шишкина, 2017б

При этом U-образная зависимость получается достаточно асимметричной: отрицательная корреляция между подушевым ВВП и уровнем социально-политической дестабилизации для второго и третьего тертиля заметно более выражена ($t = 2,617, p = 0,0045^9$), чем положительная корреляция для первого и второго тертиля ($t = 1,775, p = 0,038^{10}$). Близкие результаты дает и ANOVA-анализ. В целом получилось, что если в наиболее экономически развитых обществах верхнего тертиля средний уровень социально-политической дестабилизации достаточно заметно (на 34 %) и однозначно значимо статистически меньше, чем в среднеразвитых обществах срединного тертиля, то в среднеразвитых обществах срединного тертиля средний уровень социально-политической нестабильности оказывается в среднем лишь на 18,5 % выше, чем в наименее экономически развитых обществах нижнего

8. Примечание: $F = 5,109, p = 0,006$.

9. Односторонний тест значимости.

10. Односторонний тест значимости.

тертиля. И последнее отличие оказывается лишь маргинально значимо статистически¹¹.

Так что же получается, что по сути своей Олсон и Хантингтон были неправы, когда утверждали, что в модернизирующихся обществах экономический рост является мощным дестабилизирующим фактором? Получается, что на самом деле речь идет лишь о крайне слабеньком факторе, находящимся на грани статистической незначимости? Как мы увидим ниже, подобный вывод должен рассматриваться как в высшей степени преждевременный.

Тесты

Дело в том, что в некоторой степени использованный нами ранее интегральный индекс социально-политической дестабилизации CNTS является «средней температурой по больнице», так как разные его составляющие нередко оказываются разнонаправленными и за вялой общей динамикой индекса нередко скрывается очень даже выраженная динамика составляющих.

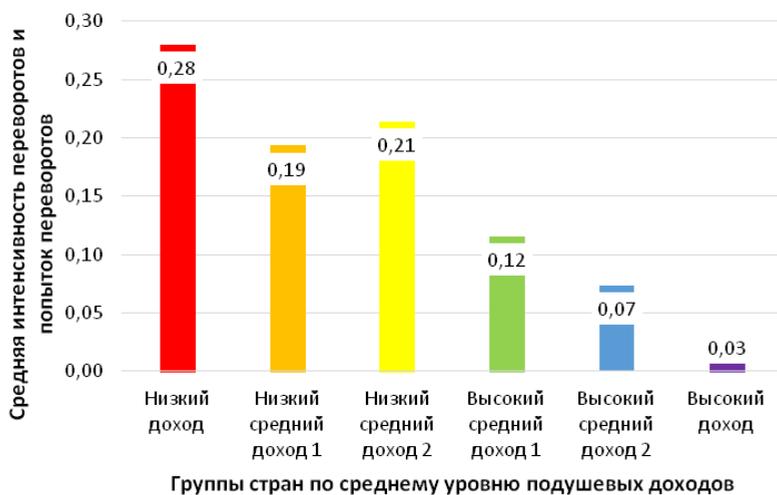
Начнем с того, что не все составляющие интегрального индекса U-образно коррелируют с подушевым ВВП, а у тех, что демонстрируют такую корреляцию, точка перегиба приходится на разные участки общего спектра подушевого ВВП.

Главным исключением здесь является переменная *domestic7* («Перевороты и попытки переворотов»¹²), которая демонстрирует явно выраженную отрицательную корреляцию с подушевым ВВП (рис. 2).

11. На наш взгляд, именно эта общая асимметрия перевернутой U-образной зависимости, когда отрицательная корреляция между уровнем подушевых доходов и общим уровнем социально-политической дестабилизации для высоко- и среднеразвитых обществ оказывается заметно более высокой, чем положительная корреляция между двумя соответствующими переменными для низко- и среднеразвитых обществ, во многом (но не полностью) объясняет, почему целый ряд наших предшественников пришел к выводу о том, что подушевые доходы просто отрицательно коррелируют с социально-политической дестабилизацией. В реальности в таких случаях за этой отрицательной корреляцией обычно скрывается асимметричная криволинейная зависимость.

12. В самой CNTS данная переменная обозначена как *Revolutions*. Однако при этом дается следующее определение: «Любое нелегальное или насильственное изменение верхушки правящей элиты, любая попытка такого изменения или любое успешное или неуспешное вооруженное восстание, направленное на достижение независимости от центрального правительства» (Wilson, 2017: 13). Нетрудно видеть, что данное определение охватывает не только и не столько собственно революции, сколько перевороты и попытки переворотов, а анализ конкретных событий, включенных в CNTS под этой рубрикой, явно показывает, что число зафиксированных здесь переворотов и попыток переворотов многократно превосходит число не только собственно революций, но и национально-освободительных восстаний/сепаратистских мятежей. Таким образом, динамика CNTS *domestic7* отражает прежде всего именно динамику переворотов и попыток переворотов.

Рисунок 2. Средняя интенсивность переворотов и попыток переворотов по группам дохода на душу населения в мире за период 1960–2015 гг.



Как мы видим, для данной переменной наблюдается явно выраженная тенденция к снижению ее интенсивности по мере роста подушевого ВВП. То, что речь здесь идет реально об откровенно сильной отрицательной корреляции, становится ясно при разбивке всех содержащихся в базе данных случаев не на секстили, а на децили (рис. 3). Как мы видим, между уровнем ВВП на душу населения и интенсивностью государственных переворотов и их попыток наблюдается откровенно сильная линейная отрицательная корреляция. Вместе с тем линейная регрессия данном случае существенно занижает реальную силу отрицательной корреляции, так как более внимательный анализ показывает, что интенсивность государственных переворотов реально коррелирует не с натуральным значением подушевого ВВП, а с его логарифмом (рис. 4).

Мы, конечно, имеем здесь дело с исключительно интересной закономерностью. Действительно, совсем не случайно, что, в отличие от практически всех других форм социально-политической дестабилизации, интенсивность государственных переворотов проявляет очень выраженную тенденцию к спаду по мере модернизации и экономического роста. Ведь перевороты представляют собой исключительно архаическую форму социально-политической дестабилизации, широко засвидетельствованную уже в догосударственных обществах (см., например: Earle, 1997), — в отличие от таких ее форм, как, скажем, политические забастовки или антиправительственные демонстрации, только возникающие по сути дела в процессе модернизации. Выявленная нами выше отрицательная корреляция, без-

Рисунок 3. Корреляция между ВВП на душу населения для стран в долларах США по ППС и интенсивностью переворотов и попыток переворотов на соответствующий год, 1960–2015 гг. (диаграмма рассеивания с наложенным контуром линейной регрессии)¹³

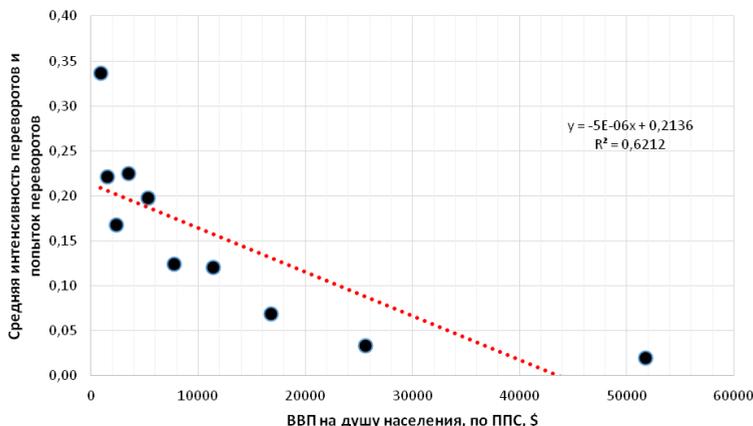
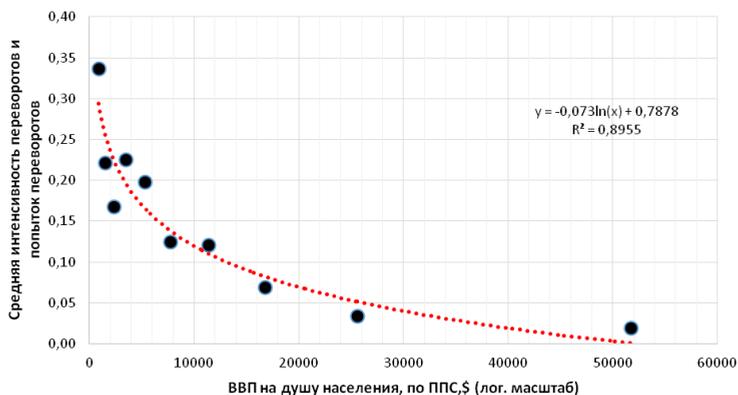
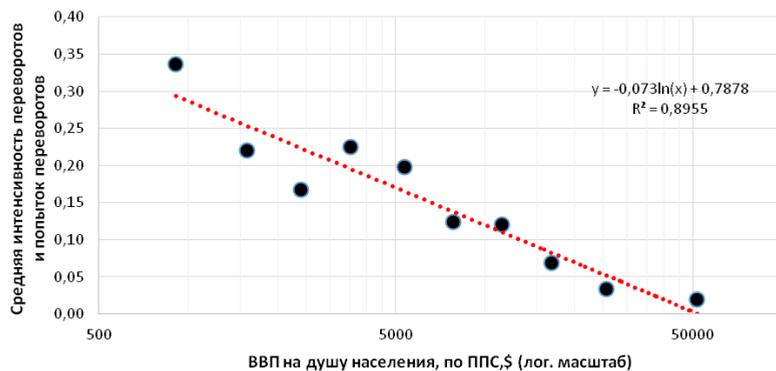


Рисунок 4. Корреляция между ВВП на душу населения для стран в долларах США по ППС и интенсивностью переворотов и попыток переворотов на соответствующий год, 1960–2015 гг. (диаграмма рассеивания с наложенным контуром линейной регрессии)



а) с натуральной шкалой по оси абсцисс

13. Примечание: децили по ВВП на душу населения включают следующие значения: 1-й дециль — до 1294 долларов; 2-й дециль — от 1294 долларов США до 1932 долларов США; 3-й дециль — от 1932 долларов США до 2890 долларов США; 4-й дециль — от 2890 долларов США до 4324 долларов США; 5-й дециль — от 4324 долларов США до 6471 доллара США; 6-й дециль — от 6471 доллара США до 9337 долларов США; 7-й дециль — от 9337 долларов США до 13 758 долларов США; 8-й дециль — от 13 758 долларов США до 20 479 долларов США; 9-й дециль — от 20 479 долларов США до 32 275 долларов США; 10-й дециль — более 32 275 долларов США.

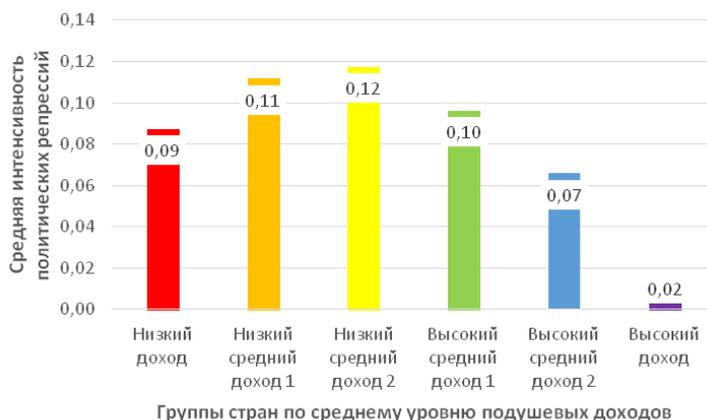


б) с логарифмической шкалой по оси абсцисс

условно, заслуживает специального изучения, но это, к сожалению, выходит за рамки настоящей работы. Для нас же здесь существенно то обстоятельство, что данная отрицательная корреляция вносит очень существенный вклад в ослабление U-образного характера зависимости общего индекса социально-политической дестабилизации CNTS от подушевого ВВП во многом из-за того, что при разработке методики подсчета интегрального индекса социально-политической дестабилизации создатели CNTS присвоили переворотам и попыткам переворотов максимальный вес — значительно больший, чем у любой другой составляющей дестабилизации. В результате рассматриваемая нами отрицательная корреляция очень существенно понижает силу положительной корреляции в левой части спектра подушевого ВВП и заметно увеличивает силу отрицательной корреляции в его правой части, что во многом и создает эффект явно выраженной асимметричности U-образной зависимости, когда положительная корреляция между подушевым ВВП и интегральным индексом социально-политической дестабилизации CNTS для слабо- и среднеразвитых обществ оказывается заметно слабее отрицательной корреляции для высокоразвитых обществ. При этом, как мы увидим, для массовой социально-политической дестабилизации по модели «центрального коллапса» характер асимметрии оказывается прямо противоположным.

Дополнительную лепту здесь вносит такая составляющая интегрального индекса социально-политической дестабилизации, как «репрессии» (*domestic5, purges*) (рис. 5). Для этого специфического индикатора социально-политической дестабилизации характерна очень слабая положительная корреляция в интервале более низких значений подушевого ВВП (вплоть до \$6500, т. е. границы между «низкими средними» и «высокими средними» доходами) и довольно сильная отрицательная корреляция для более высоких значений, что, конечно, дополнительно ослабляет общую перевернутую U-образную корреляцию, значительно усиливая ее асимметрию и сдвигая ее в сторону общей отрицательной корреляции.

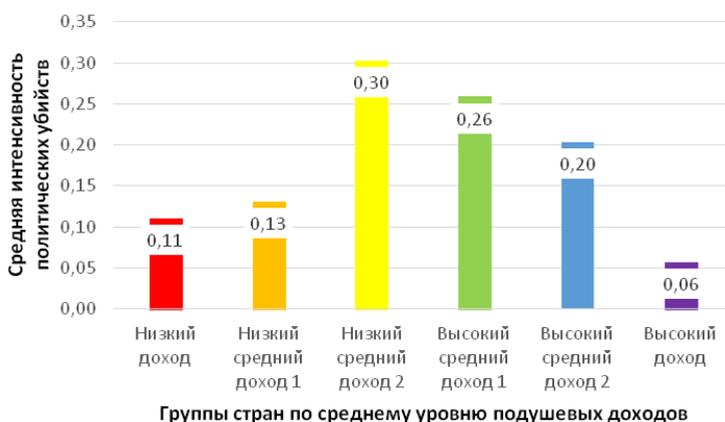
Рисунок 5. Средняя интенсивность политических репрессий по группам дохода на душу населения в мире за период 1960–2015 гг.



Однако для других индикаторов социально-политической дестабилизации положительная корреляция в левой части спектра выражена значительно сильнее.

Достаточно сильная положительная корреляция наблюдается для интервала вплоть до границы между «низкими средними» и «высокими средними» доходами (т. е. примерно \$6500) для политических убийств¹⁴ и «партизанских действий»/террористических актов¹⁵) (рис. 6 и 7).

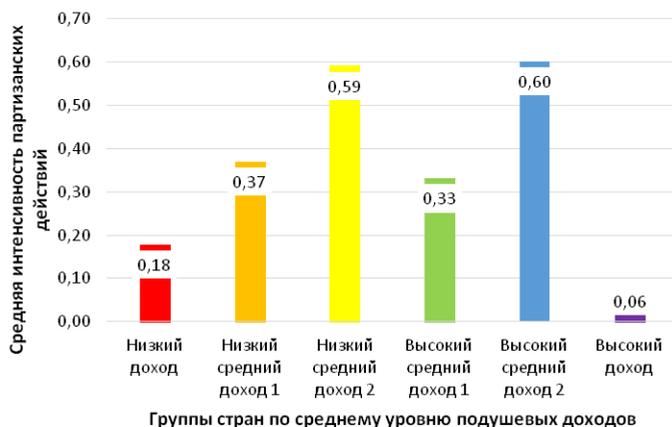
Рисунок 6. Средняя интенсивность политических убийств по группам дохода на душу населения в мире за период 1960–2015 гг.



14. CNTS domestic 1 = Assassinations.

15. CNTS domestic 3 = Guerrilla Warfare.

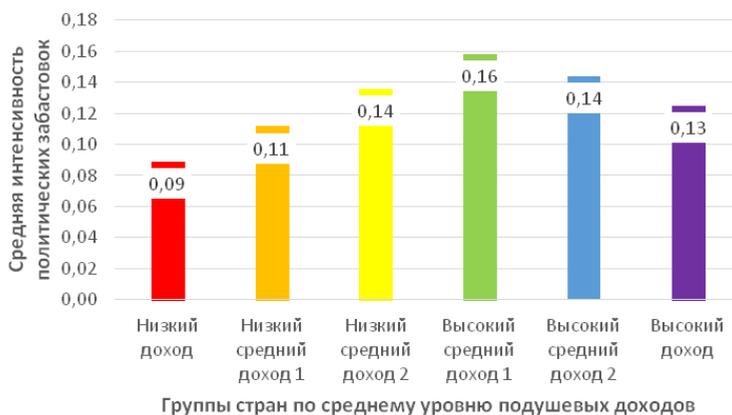
Рисунок 7. Средняя интенсивность «партизанских действий»/террористических актов по группам дохода на душу населения в мире за период 1960–2015 гг.



При этом второй (и даже чуть более высокий) пик интенсивности «партизанских действий»/террористических актов приходится на второй интервал «высоких средних доходов» (12–23 тыс. долларов).

Еще на более широком интервале прослеживается устойчивая положительная корреляция между подушевым ВВП и интенсивностью политических забастовок¹⁶ (при этом положительная корреляция в левой части спектра оказывается здесь заметно более выраженной, чем отрицательная в его правой части) (рис. 8).

Рисунок 8. Средняя интенсивность политических забастовок по группам дохода на душу населения в мире за период 1960–2015 гг.



16. CNTS domestic 2 = General Strikes.

Наконец, для правительственных кризисов¹⁷, массовых беспорядков¹⁸ и анти-правительственных демонстраций¹⁹ положительная корреляция прослеживается вплоть до границы между «высокими средними» и «высокими» доходами (около 23 тыс. долларов) (рис. 9–11).

Рисунок 9. Средняя интенсивность правительственных кризисов по группам дохода на душу населения в мире за период 1960–2015 гг.

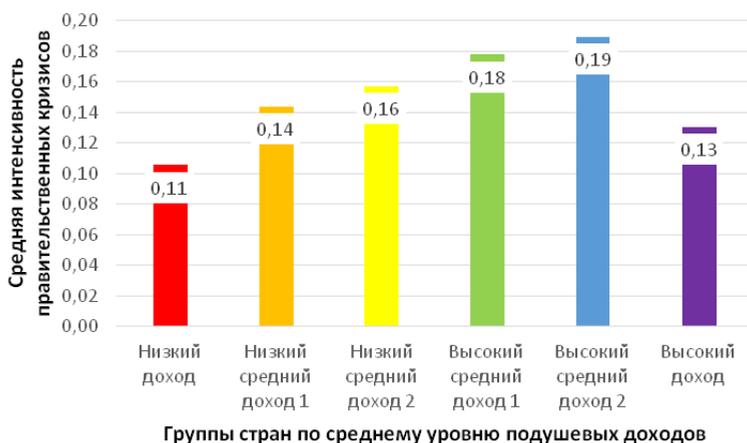
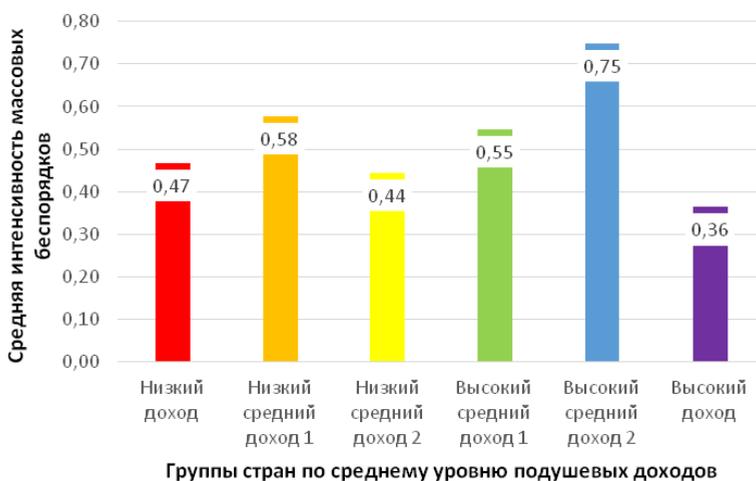


Рисунок 10. Средняя интенсивность массовых беспорядков по группам дохода на душу населения в мире за период 1960–2015 гг.

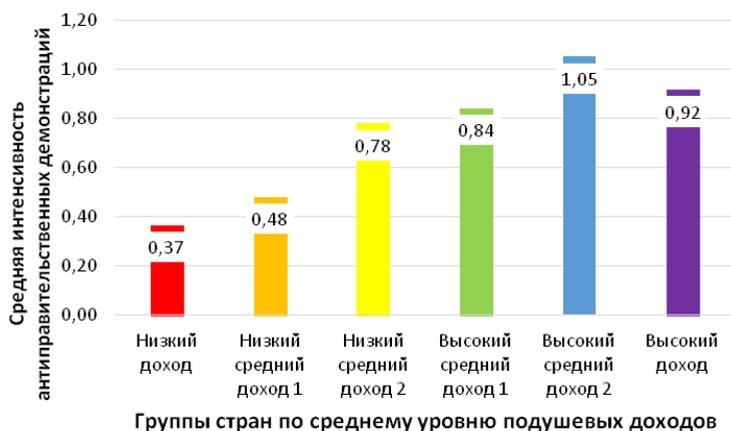


17. CNTS domestic 4 = Major Government Crises.

18. CNTS domestic 6 = Riots.

19. CNTS domestic 8 = Anti-government Demonstrations.

Рисунок 11. Средняя интенсивность антиправительственных демонстраций по группам дохода на душу населения в мире за период 1960–2015 гг.



Как было показано нами ранее (Коротаев, Билюга, Шишкина, 2016, 2017а, 2017б), в обширной зоне значений ВВП на душу населения (вплоть до 20 тыс. долларов 2014 года по ППС) корреляция между уровнем ВВП на душу населения и интенсивностью антиправительственных демонстраций является откровенно сильной ($r = 0,921$, $R^2 = 0,848$) и безусловно статистически значимой ($p = 0,0002$) (рис. 12). Примечательно, что, как и в случае с отрицательной корреляцией с переворотами и попытками переворотов особенно высокой ($r = 0,935$, $R^2 = 0,875$) оказывается положительная корреляция между интенсивностью антиправительственных демонстраций и логарифмом ВВП на душу населения²⁰ (рис. 13).

При этом в среднем интервале значений подушевого ВВП эта корреляция оказалась реально отсутствовавшей ($R^2 = 0,002$, $p = 0,916$), а в верхнем интервале мы предсказуемым образом имеем дело с отрицательной корреляцией; при этом данная корреляция хотя и значима статистически ($p = 0,037$), но довольно слаба ($R^2 = 0,343$), в особенности в сопоставлении с очень сильной положительной корреляцией в нижнем диапазоне значений подушевого ВВП (Коротаев, Билюга, Шишкина, 2017б).

Между прочим, полученные результаты заставляют предполагать, что положительная корреляция между уровнем подушевого ВВП и суммарным индексом социально-политической дестабилизации для слабо- и среднеразвитых стран заметно вырастет, если мы удалим из него составляющую «интенсивность переворотов и попыток переворотов»²¹. Для расчета нового суммарного индекса социально-

20. Примечательно, что сила положительной корреляции в данном случае оказалась вполне сопоставимой с силой обнаруженной нами выше отрицательной корреляцией применительно к переворотам и попыткам переворотов.

21. Хотели бы выразить благодарность анонимному рецензенту, предложившему нам проверить эту гипотезу.

Рисунок 12. Корреляция между ВВП на душу населения для стран с доходом до 20 тыс. постоянных долларов США по ППС и интенсивностью антиправительственных демонстраций на соответствующий год, 1960–2014 гг. (диаграмма рассеивания с натуральной шкалой по оси абсцисс и наложенным контуром линейной регрессии)²²

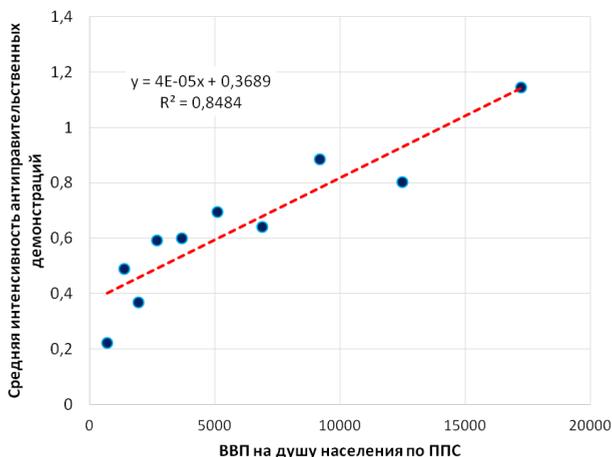
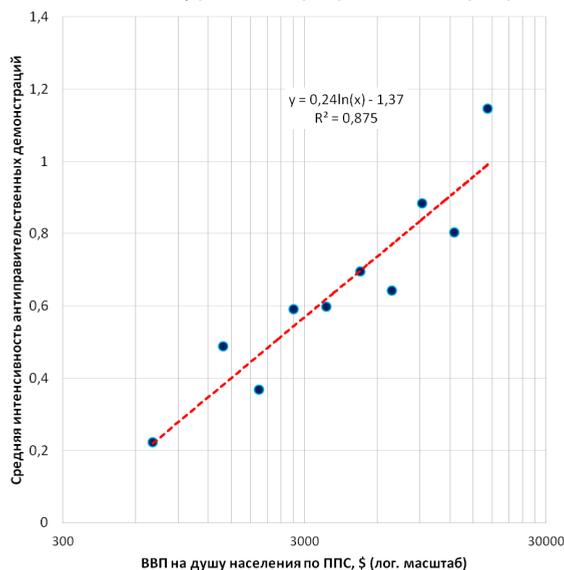


Рисунок 13. Корреляция между ВВП на душу населения для стран с доходом до 20 тыс. долларов США по ППС и интенсивностью антиправительственных демонстраций на соответствующий год, 1960–2014 гг. (диаграмма рассеивания с логарифмической шкалой по оси абсцисс и наложенным контуром логарифмической регрессии)²³



22. Средние значения интенсивности антиправительственных демонстраций для децилей.

23. Средние значения интенсивности антиправительственных демонстраций для децилей.

политической дестабилизации (назовем его условно «калиброванным суммарным индексом») воспользуемся стандартной методикой CNTS с соответствующей модификацией.

Но сначала опишем данную методику, что заодно даст нам возможность описать материалы и методы, использованные в данном исследовании.

База данных The Cross National Time Series (CNTS) является результатом работы по сбору и систематизации данных, начатой Артуром Банком (Banks, Wilson, 2015; Wilson, 2017) в 1968 г. в Университете штата Нью-Йорк в Бингемтоне на основе обобщения архива данных «The Statesman's Yearbook», публикуемого с 1864 г. В базе данных содержатся около 200 переменных для более чем 200 стран, годовые значения переменных начиная с 1815 г. В базе данных исключены периоды двух мировых войн 1914–1918 и 1939–1945 гг.

База данных CNTS структурирована по разделам и содержит статистические данные по территории и населению страны, информацию по использованию технологий, экономические и электоральные сведения, информацию по внутренним конфликтам, использованию энергии, промышленной статистике, по военным расходам, международной торговле, урбанизации, образованию, занятости, деятельности законодательных органов и т. п.

В настоящей работе мы подробно рассматриваем раздел данных, описывающих внутренние конфликты (раздел *domestic*), которые основаны на анализе событий по 8 различным подкатегориям:

- 1) Политические убийства (*Assassinations, domestic1*).
- 2) Политические забастовки (*General Strikes, domestic2*).
- 3) Партизанские действия (*Guerrilla Warfare, domestic3*).
- 4) Правительственные кризисы (*Government Crises, domestic4*).
- 5) Политические репрессии (*Purges, domestic5*).
- 6) Массовые беспорядки (*Riots, domestic6*).
- 7) «Революции»²⁴ (*Revolutions, domestic7*).
- 8) Антиправительственные демонстрации (*Anti-Government Demonstrations, domestic8*).

В этом разделе представлены данные начиная с 1919 г.

К «Политическим убийствам» (*Assassinations, domestic1*) относятся любые политически мотивированные убийства или покушения на убийства высших государственных чиновников или политиков.

К «Политическим забастовкам» (*General Strikes, domestic2*) относятся забастовки, в которых участвовали 1000 или более работников, занятых у более чем одного работодателя, при этом они выдвигали требования, направленные против государственной политики, правительства или органов власти.

К «Партизанским действиям» (*Guerrilla Warfare, domestic3*) относятся любая вооруженная деятельность, диверсии или теракты, совершаемые группами гражд-

24. В реальности здесь речь идет прежде всего о переворотах и попытках переворотов.

дан или нерегулярными вооруженными силами, которые направлены на свержение или подрыв существующего режима.

К «Правительственным кризисам» (*Government Crises, domestic4*) относятся любые ситуации, которые грозят привести к падению текущего режима, — за исключением вооруженных переворотов, напрямую направленных на это.

К «Политическим репрессиям» (*Purges, domestic5*) относится любое систематическое устранение оппозиционных деятелей (путем лишения свободы или казней) среди действующих членов режима или оппозиционных группировок.

К «Массовым беспорядкам» (*Riots, domestic6*) относятся любые выступления или столкновения, связанные с использованием насилия, в которых принимали участие более 100 граждан.

К «Революциям» (*Revolutions, domestic7*) относятся любые незаконные или связанные с принуждением изменения в правящей элите, а также любые попытки таких изменений, любые перевороты или попытки переворотов. Переменная «Революции» также учитывает все удачные и неудачные вооруженные восстания, целью которых является получение независимости от центрального правительства. Название этой переменной («Революции») вводит пользователя в заблуждение, так как в реальности здесь речь в большинстве случаев идет не о революциях в обычном понимании (нашу сводку определений революции см.: Гринин, Исаев, Коротаев, 2015), а скорее о переворотах и попытках переворотов. Именно таким образом мы и будем обозначать данную переменную.

К «Антиправительственным демонстрациям» (*Anti-Government Demonstrations, domestic8*) относятся любые мирные публичные собрания, в которых принимают участие 100 человек и более, а в качестве основной цели проведения выступает выражение несогласия с политикой правительства или власти за исключением демонстраций с выраженной направленностью против иностранных государств.

Все перечисленные 8 подкатегорий используются при построении общего индекса социально-политической дестабилизации (*domestic9*). Для этого составители базы данных CNTS присвоили каждой подкатегории определенный вес (табл. 1).

Таблица 1. Веса подкатегорий, используемых при построении индекса социально-политической дестабилизации CNTS

Подкатегория	Название переменной	Вес в индексе социально-политической дестабилизации (<i>domestic9</i>)
Политические убийства (<i>Assassinations</i>)	<i>domestic1</i>	25
Политические забастовки (<i>General Strikes</i>)	<i>domestic2</i>	20
Партизанские действия (<i>Guerrilla Warfare</i>)	<i>domestic3</i>	100

Подкатегория	Название переменной	Вес в индексе социально-политической дестабилизации (domestic9)
Правительственные кризисы (<i>Government Crises</i>)	domestic4	20
Политические репрессии (<i>Purges</i>)	domestic5	20
Массовые беспорядки (<i>Riots</i>)	domestic6	25
Перевороты и попытки переворотов (<i>Revolutions</i>)	domestic7	150
Антиправительственные демонстрации (<i>Anti-Government Demonstrations</i>)	domestic8	10

Индекс социально-политической дестабилизации (*Weighted Conflict Measure, domestic9*) рассчитывается как сумма произведений численных значений подкатегорий и соответствующих им весов, умножается на 100 и делится на 8 (см. формулу 1).

$$(1) \text{ domestic9} = \frac{25 \text{ domestic1} + 20 \text{ domestic2} + 100 \text{ domestic3} + 20 \text{ domestic4} + 20 \text{ domestic5} + 25 \text{ domestic6} + 150 \text{ domestic7} + 10 \text{ domestic8}}{8} \times 100$$

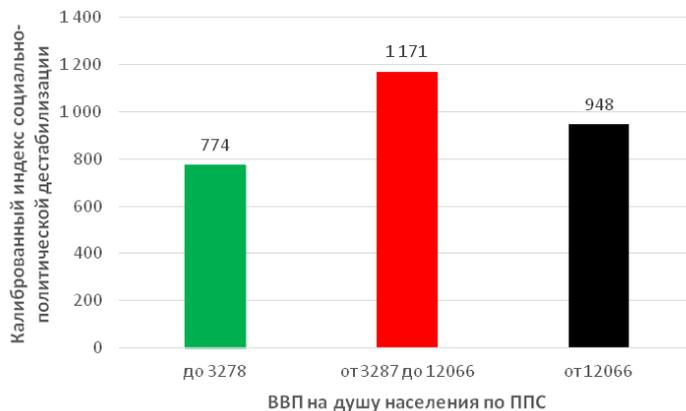
Для расчета калиброванного суммарного индекса используем уравнение (2), которое получим из уравнения (1) путем удаления из него члена «150 *domestic7*» и соответственно путем уменьшения значения знаменателя на один пункт — с 8 до 7:

$$(2) \text{ domestic9}^* = \frac{25 \text{ domestic1} + 20 \text{ domestic2} + 100 \text{ domestic3} + 20 \text{ domestic4} + 20 \text{ domestic5} + 25 \text{ domestic6} + 10 \text{ domestic8}}{7} \times 100$$

При этом мы полностью сохранили предложенные разработчиками CNTS значения весов всех остальных составляющих социально-политической дестабилизации.

Потертильный анализ с использованием полученного калиброванного индекса социально-политической дестабилизации дал следующие результаты (рис. 14).

Рисунок 14. Среднее значение калиброванного индекса социально-политической дестабилизации по тертилям ВВП на душу населения в постоянных долларах США по ППС за период 1960–2015 гг.²⁵



Как мы видим, удаление из расчетов данных по интенсивности переворотов и попыток переворотов, действительно, имело исключительно значимые последствия, что наглядно демонстрирует сопоставление рисунков 1 и 14. Отметим прежде всего радикальное изменение характера асимметрии перевернутой U-образной зависимости — если для некалиброванного индекса социально-политической дестабилизации мы имели дело с относительно сильной отрицательной корреляцией с подушевым ВВП для средне- и высокоразвитых обществ и крайне слабой маргинально значимой положительной корреляцией для низко- и среднеразвитых государств, то для калиброванного индекса ситуация меняется с точностью до наоборот. Действительно, для некалиброванного индекса в среднеразвитых обществах срединного тертиля средний уровень социально-политической нестабильности оказывался в среднем лишь на 18,5 % выше, чем в наименее экономически развитых обществах нижнего тертиля и последнее отличие было лишь маргинально значимо статистически. Для калиброванного индекса это различие вырастает почти в два раза и уже является однозначно статистически значимым (табл. 2).

Для некалиброванного индекса в наиболее экономически развитых обществах верхнего тертиля средний уровень социально-политической дестабилизации был меньше, чем в среднеразвитых обществах срединного тертиля, достаточно заметен (на 34 %) и был однозначно значим статистически. Для калиброванного индекса этот показатель падает почти в два раза и уже оказывается статистически незначимым (табл. 2).

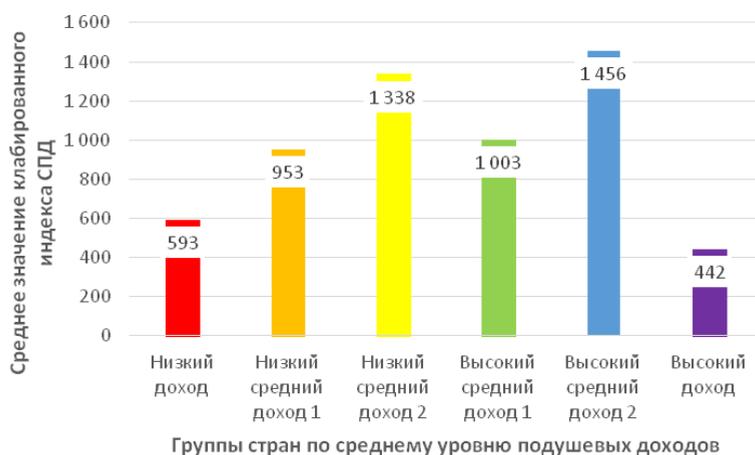
25. Примечание: $F = 2,715$, $p = 0,066$.

Таблица 2. Результаты сравнения средних калиброванного Индекса социополитической дестабилизации по группам дохода по ВВП на душу населения по ППС с использованием апостериорного критерия Тамхейна

Группа стран по уровню дохода		Разница средних	Стандартная ошибка	Значимость
Первый тертиль	Второй тертиль	-396,80*	140,958	0,015
	Третий тертиль	-174,02	172,219	0,675
Второй тертиль	Первый тертиль	-396,80*	140,958	0,015
	Третий тертиль	222,78	193,700	0,578
Третий тертиль	Первый тертиль	-174,02	172,219	0,675
	Второй тертиль	222,78	193,700	0,578

Из этого, конечно же, неправильно было бы делать вывод о том, что если мы абстрагируемся от переверотов и их попыток, то корреляция между подушевым ВВП и общим уровнем социально-политической дестабилизации будет уже не криволинейной U-образной, а просто прямолинейно положительной. Дело в том, что и в этом случае зависимость сохраняет общий криволинейный вид, но точка перегиба при этом приходится не на средний тертиль, а на нижнюю часть верхнего тертиля, т. е. на верхний эшелон среднеразвитых стран. Это хорошо видно при рассмотрении средних значений калиброванного индекса социально-политической дестабилизации по шести группам (рис. 15).

Рисунок 15. Средние значения калиброванного индекса СПД по группам дохода на душу населения в мире за период 1960–2015 гг.



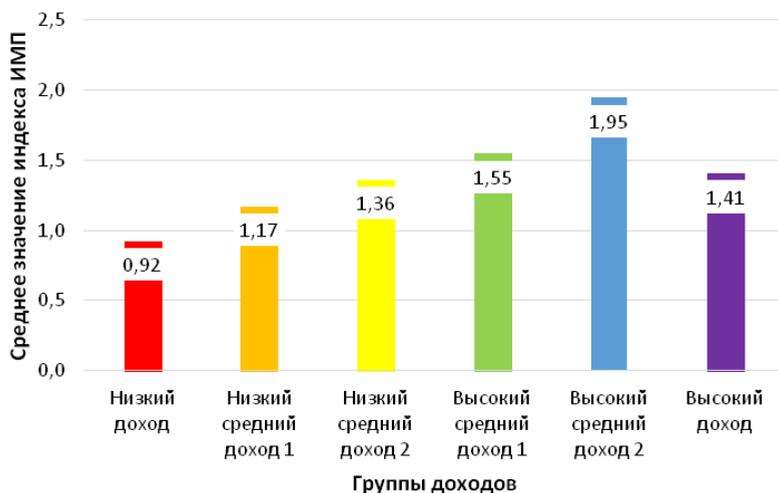
Примечание: $F = 5,484$, $p < 0,001$

Как мы видим, среднее значение калиброванного индекса социально-политической дестабилизации достигает своего максимального значения среди самого верхнего эшелона среднеразвитых стран, т.е. в пределах уже верхнего тертиля. При этом среднее значение калиброванного индекса социально-политической дестабилизации среди самого верхнего эшелона среднеразвитых стран оказывается более чем в три раза высоким, чем среди группы стран с высокими доходами (для которых вообще характерно наименьшее значение этого индекса), и различие это уже однозначно значимо статистически ($p = 0,015$). Таким образом, отрицательная корреляция с подушевым ВВП прослеживается и здесь, но лишь на участке значений ВВП на душу населения, превышающих величину порядка 20 000 постоянных долларов 2011 года по ППС.

Очень похожие результаты получаются и для индекса массовых протестов (ИМП). Впервые, насколько нам известно, использовать данный индекс предложил Бенджамин Смит (Smith, 2004: 235), при этом этот индекс продемонстрировал свою высокую адекватность в качестве одной из мер общей социально-политической дестабилизации в предпринятом данным аналитиком исследовании влияния цен на нефть на дестабилизацию стран-экспортеров нефти (Smith, 2004). Рассчитывается этот индекс через простое суммирование зафиксированных в CNTS в данной стране на данный год случаев масштабных политических забастовок, массовых беспорядков и крупных антиправительственных демонстраций.

Корреляция между значениями данного индекса и подушевым ВВП выглядит следующим образом (рис. 16).

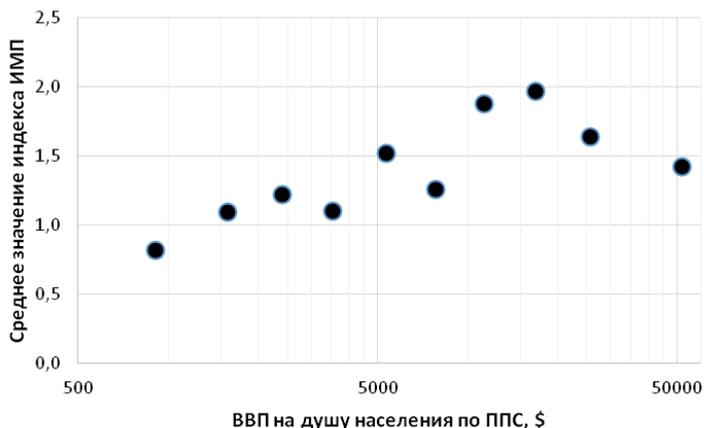
Рисунок 16. Средние значения индекса массовых протестов (ИМП) по группам дохода на душу населения в мире за период 1960–2015 гг.



Примечание: $F = 6,503$, $p < 0,001$

Как мы видим, своего максимума значение данного показателя достигает именно для верхнего эшелона стран с высокими средними доходами. Сходная картина получается и при подецильном анализе (рис. 17).

Рисунок 17. Корреляция между ВВП на душу населения в долларах США по ППС и значением индекса массовых протестов на соответствующий год по децилям, 1960–2015 гг. (диаграмма рассеивания с логарифмической шкалой по оси абсцисс)²⁶

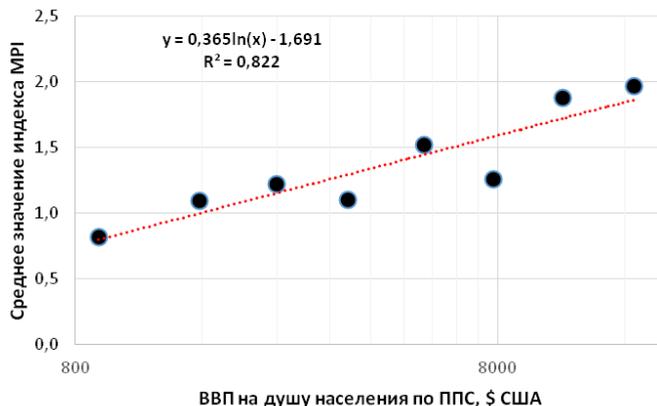


Максимального значения средняя величина индекса социально-политической дестабилизации достигает именно на восьмом дециле, соответствующем как раз самому верхнему эшелону среднеразвитых стран.

При этом на участке от первого до восьмого дециля включительно наблюдается очень сильная ($R^2 = 0,822$) статистически значимая ($p = 0,002$) корреляция между средними значениями подушевого ВВП соответствующих децилей и средними значениями индекса массовых протестов (рис. 18). Нам уже приходилось обращать внимание ранее (см.: Коротаяев, Билюга, Шишкина, 2017б) на то обстоятельство, что рост риска массовой дестабилизации с ростом подушевого ВВП вплоть до самого верхнего эшелона среднеразвитых стран, возможно, является одним из факторов, обуславливающих существование так называемой «ловушки средних доходов» [*middle income trap*]). Согласно С. Айяру и его коллегам, «ловушка средних доходов» представляет собой «такой феномен, когда до какого-то времени росшие быстро экономики стагнируют на средних уровнях подушевого дохода и не могут осуществить переход в ряде стран с высокими подушевыми доходами» (Aiyar et al., 2013: 3). Действительно, как мы видим, как раз при приближении к границам этой ловушки интенсивность массовых протестов имеет тенденцию достигать особо

26. Средние значения интенсивности переворотов и попыток переворотов для децилей.

Рисунок 18. Корреляция между ВВП на душу населения в долларах США по ППС и значением индекса массовых протестов на соответствующий год по децилям, 1960–2015 гг. (диаграмма рассеивания с логарифмической шкалой по оси абсцисс)²⁷



высоких значений, что может спровоцировать особо сильную социально-политическую дестабилизацию, способную отбросить ту или иную страну на много лет назад.

И последнее наблюдение. Как мы могли видеть, наибольшим риском массовой социально-политической дестабилизации характеризуется самый верхний эшелон среднеразвитых государств, более или менее соответствующий восьмому децилю по ВВП на душу населения. Так вот, Россия в настоящее время находится почти на самой границе между восьмым и девятым децилем... (World Bank, 2016a).

Заключение

Итак, наши эмпирические тесты подтверждают обоснованность гипотезы Олсона—Хантингтона о наличии криволинейной перевернутой U-образной зависимости между уровнем экономического развития и уровнем социально-политической нестабильности. Вплоть до определенного значения величины средних подушевых доходов экономический рост в тенденции ведет к усилению рисков социально-политической дестабилизации, и лишь при его высоких значениях дальнейший рост этого показателя ведет к уменьшению данного показателя. Таким образом, для более высоких значений подушевого дохода характерна отрицательная корреляция между доходами на душу населения и рисками социально-политической дестабилизации, а для более низких — положительная.

27. Средние значения интенсивности переворотов и попыток переворотов для децилей.

Вместе с тем наш анализ показал, что для разных индексов социально-политической дестабилизации данная криволинейная зависимость имеет достаточно разный характер. Выяснилось и наличие одного очень важного исключения. Мы показали, что между подушевым ВВП и интенсивностью переворотов и попыток переворотов наблюдается не криволинейная, а явно выраженная отрицательная корреляция; при этом особо сильная отрицательная корреляция между этим индексом и логарифмом ВВП на душу населения. Как мы выяснили, это обстоятельство делает вышеуказанную криволинейную зависимость применительно к интегральному индексу заметно менее выразительной и вносит существенный вклад в формирование ее асимметричности (когда отрицательная корреляция между подушевым ВВП и социально-политической нестабильностью среди более богатых стран выглядит заметно более сильной, чем положительная корреляция для стран более бедных). Вместе с тем наш анализ показал, что для всех остальных индексов социально-политической дестабилизации мы наблюдаем именно постулируемую гипотезой Олсона—Хантингтона криволинейную перевернутую U-образную зависимость. При этом, скажем, применительно к таким индексам, как политические забастовки, массовые беспорядки и антиправительственные демонстрации, асимметрия прямо противоположна той, что упоминалась выше, — такая асимметрия, когда положительная корреляция между ВВП и нестабильностью для более бедных стран оказывается заметно более сильной, чем отрицательная корреляция для более богатых стран. Особенно сильно она выражена для такого важнейшего индекса социально-политической дестабилизации, как интенсивность антиправительственных демонстраций.

Приложение: Описание и методология расчета независимых факторов

Погодовые значения ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в постоянных долларах 2011 года были использованы согласно базе данных Всемирного банка (World Bank, 2016a).

Для восстановления рядов данных с 1960 по 1990 год использовался показатель роста ВВП на душу населения (World Bank, 2016b). В итоге для тестирования гипотез использовались данные с 1960 по 2015 год.

По значениям ВВП на душу населения по ППС были агрегированы группы стран по категориям доходов (на основе оптимизации методологии Всемирного банка (World Bank, 2016c, 2016d) к рассматриваемому показателю).

На 2016 фискальный год Всемирный банк выделял следующие группы стран по критерию средних уровней доходов на душу населения:

- страны/экономики с низкими доходами (*low-income economies/countries*) — с валовым национальным доходом (ВНД) на душу населения до 1045 долларов²⁸;

28. Отметим, что при этом расчет ведется по специальной методике, известной как *Atlas method* (описание этой методики см.: 2016c).

- страны/экономики низкого уровня среднего дохода (*lower middle-income economies/countries*) — с 1046 по 4125 долларов валового национального дохода на душу населения;
- страны/экономики высокого уровня среднего дохода (*upper middle-income economies/countries*) — с 4126 по 12 735 долларов на душу населения;
- страны/экономики с высокими доходами (*high-income economies/countries*) — с валовым национальным доходом на душу населения более 12 735 долларов (World Bank, 2016d, 2016e).

Однако использование этой широко признанной классификации напрямую в нашем исследовании оказалось связано с двумя следующими проблемами:

1) в отличие от данных по ВВП, в базе данных Всемирного банка оказалось слишком большое количество невосстановимых пропусков для ВНД (в особенности для периода до 1980 г.); в силу этого в нашем случае оказалось более целесообразным взять за основу классификации данные не по подушевому ВНД, а по подушевому ВВП (которые нам удалось восстановить для подавляющего большинства стран на весь период 1960–2015 гг.);

2) деление стран мира по вышеупомянутой классификации Всемирного банка оказывается слишком неравномерным. Действительно, и на страны с высокими доходами, и на страны с низкими доходами приходится примерно по миллиарду человек (что неплохо соответствует, с одной стороны, популярной в России идее «золотого миллиарда», а с другой — «нижнему миллиарду» (*the bottom billion*) П. Коллиера [Collier, 2007]). На страны со средними доходами приходится все остальное население мира — около пяти миллиардов человек! Эта проблема была частично решена Всемирным банком путем разбивки стран со средними доходами на две категории — «страны с низкими средними доходами» и «страны с высокими средними доходами». Но и это решило вышеуказанную проблему лишь частично, ведь на каждую из двух последних категорий приходится больше населения, чем на страны с высокими и низкими доходами вместе взятыми.

Для решения этой проблемы страны (а точнее, «страногоды») мира в период 1960–2015 гг. были сгруппированы нами в следующие шесть секстилей по ВВП на душу населения по паритетам покупательной способности (в постоянных долларах 2011 года):

- Секстиль 1 — до 1660 долларов
- Секстиль 2 — 1660–3280 долларов
- Секстиль 3 — 3280–6470 долларов
- Секстиль 4 — 6470–12 100 долларов
- Секстиль 5 — 12 100–23 600 долларов
- Секстиль 6 — более 23 600 долларов

При этом на 2014 год корреляция между выделенными нами секстилями и группами стран по доходам, согласно классификации Всемирного банка, выглядела следующим образом (табл. 3).

Таблица 3. Корреляция между двумя классификациями

Секстили стран по подушевому ВВП	Выделяемые Всемирным банком группы стран по подушевому ВНД				Итого
	С низкими доходами	С низкими средними доходами	С высокими средними доходами	С высокими доходами	
1-й	17	0	0	0	17
2-й	10	15	0	0	25
3-й	0	16	5	0	21
4-й	0	12	17	0	29
5-й	0	0	26	10	36
6-й	0	0	3	42	45
Итого	27	43	51	52	173

Между выделяемыми Всемирным банком группами стран по подушевому ВНД и выделенными нами шестью секстилями стран по ВВП на душу населения наблюдается очень высокая корреляция (при подсчете ее силы при помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена ее уровень достигает 0,924). В целом все страны первого секстиля оказались принадлежащими к группе стран с низкими доходами по классификации Всемирного банка, большинство стран второго и третьего секстиля — к группе стран с низкими средними доходами, большинство стран четвертого и пятого секстиля — к группе стран с высокими средними доходами, а практически все страны шестого секстиля — к группе стран с высокими доходами.

Это позволило нам присвоить выделенным нам секстилям следующие обозначения, сохраняющие необходимую преемственность с широко принятыми обозначениями Всемирного банка:

- первый секстиль = страны с низкими доходами;
- второй секстиль = первая группа стран с низкими средними доходами;
- третий секстиль = вторая группа стран с низкими средними доходами;
- четвертый секстиль = первая группа стран с высокими средними доходами;
- пятый секстиль = вторая группа стран с высокими средними доходами;
- шестой секстиль = страны с высокими доходами.

Литература

- Гринин Л. Е., Кортаев А. В. (2009). Урбанизация и политическая нестабильность: к разработке математических моделей политических процессов // Политические исследования. № 4. С. 34–52.
- Гринин Л. Е., Кортаев А. В. (2012). Циклы, кризисы, ловушки современной Мир-Системы: исследование кондратьевских, жюгляровских и вековых циклов, гло-

- бальных кризисов, мальтузианских и постмальтузианских ловушек. М.: ЛКИ, URSS.
- Гринин Л. Е., Коротаев А. В.* (2013). Демократия и революция // История и современность. № 2. С. 15–35.
- Гринин Л. Е., Коротаев А. В.* (2014). Революция vs демократия // Полис. № 3. С. 139–158.
- Гринин Л. Е., Исаев Л. М., Коротаев А. В.* (2015). Революции и нестабильность на Ближнем Востоке. М.: Учитель.
- Гринин Л. Е., Коротаев А. В., Малков С. Ю.* (2008). Математические модели социально-демографических циклов и выхода из мальтузианской ловушки: некоторые возможные направления дальнейшего развития // *Малинецкий Г. Г., Коротаев А. В.* (ред.). Проблемы математической истории: математическое моделирование исторических процессов. М.: Либроком, URSS. С. 78–117.
- Гринин Л. Е., Коротаев А. В., Малков С. Ю.* (2010). История, математика и некоторые итоги дискуссии о причинах Русской революции // *Гринин Л. Е., Коротаев А. В., Малков С. Ю.* (ред.). О причинах Русской революции. М.: ЛКИ. С. 368–427.
- Гринин Л. Е., Малков С. Ю., Гусев В. А., Коротаев А. В.* (2009). Некоторые возможные направления развития теории социально-демографических циклов и математические модели выхода из мальтузианской ловушки // *Малков С. Ю., Гринин Л. Е., Коротаев А. В.* (ред.). История и математика: процессы и модели. М.: УРСС. С. 134–210.
- Кларк Г.* (2012). Прощай, нищета: краткая экономическая история мира / Пер. с англ. Н. Эдельмана. М.: Изд-во Института Гайдара.
- Коротаев А. В.* (2012). Ловушка на выходе из ловушки: к математическому моделированию социально-политической дестабилизации в странах мир-системной периферии // *Тощенко Ж. Т.* (ред.). Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие. М.: РСО. С. 1483–1489.
- Коротаев А. В., Билюга С. Э., Шишкина А. Р.* (2016). ВВП на душу населения, уровень протестной активности и тип режима: опыт количественного анализа // Сравнительная политика. (В печати).
- Коротаев А. В., Билюга С. Э., Шишкина А. Р.* (2017а). ВВП на душу населения, интенсивность антиправительственных демонстраций и уровень образования: кросс-национальный анализ // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. № 1. (В печати).
- Коротаев А. В., Билюга С. Э., Шишкина А. Р.* (2017б). Экономический рост и социально-политическая дестабилизация: опыт глобального анализа // Полис. № 2. (В печати).
- Коротаев А. В., Гринин Л. Е., Божевольнов Ю. В., Зинькина Ю. В., Малков С. Ю.* (2011). Ловушка на выходе из ловушки. Логические и математические модели // *Акаев А. А., Коротаев А. В., Малинецкий Г. Г., Малков С. Ю.* (ред.) Проекты и риски будущего: концепции, модели, инструменты, прогнозы. М.: Красанд, URSS. С. 138–164.

- Коротаев А.В., Гринин Л.Е., Халтурина Д.А., Малков А.С., Божевольнов Ю.В., Кобзева С.В., Зинькина Ю.В., Малков С.Ю. (2010.) Ловушка на выходе из ловушки? К прогнозированию динамики политической нестабильности в странах Африки на период до 2050 г. // *Коротаев А. В., Зинькина Ю. В.* (ред.). *Законы истории: математическое моделирование и прогнозирование мирового и регионального развития.* М.: ЛКИ, URSS. С. 159–226.
- Коротаев А. В., Зинькина Ю. В. (2010а). К прогнозированию динамики политической нестабильности в странах Африки на период до 2050 г. // *Саватеев А. Д., Следзевский И. В.* (ред.). *Динамика африканских обществ: закономерности, тенденции, перспективы.* М.: РГГУ. С. 65–80.
- Коротаев А. В., Зинькина Ю. В. (2010б). Прогнозирование социополитических рисков: ловушка на выходе из мальтузианской ловушки // *Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер».* № 36. С. 101–103.
- Коротаев А.В., Зинькина Ю.В. (2011а). Демографические корни Египетской революции // *Демоскоп.* Т. 459–460. URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0459/tema01.php> (дата доступа: 18.01.2017).
- Коротаев А. В., Зинькина Ю. В. (2011б). Египетская революция 2011 г. // *Азия и Африка сегодня.* № 6. С. 10–16; № 7. С. 15–21.
- Коротаев А. В., Зинькина Ю. В. (2011в). Египетская революция 2011 года: социодемографический анализ // *Историческая психология и социология истории.* Т. 4. № 2. С. 5–29.
- Коротаев А. В., Зинькина Ю. В. (2012а). Структурно-демографические факторы «арабской весны» // *Следзевский И. В., Саватеев А. Д.* (ред.). *Протестные движения в арабских странах: предпосылки, особенности, перспективы.* М.: Либроком, URSS. С. 28–40.
- Коротаев А. В., Зинькина Ю. В. (2012б). Тропическая Африка в мальтузианской ловушке? К моделированию и прогнозированию социально-демографического развития Африки южнее Сахары // *Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер».* № 38. С. 77–79.
- Коротаев А. В., Зинькина Ю. В. (2013). Как оптимизировать рождаемость и предотвратить гуманитарные катастрофы в странах Тропической Африки // *Азия и Африка сегодня.* № 4. С. 28–35.
- Коротаев А. В., Зинькина Ю. В. (2014). О снижении рождаемости как условии социально-экономической стабильности в наименее развитых странах // *Акаев А. А., Коротаев А. В., Малков С. Ю.* (ред.). *Мировая динамика: закономерности, тенденции, перспективы.* М.: Красанд, URSS. С. 243–263.
- Коротаев А. В., Исаев Л. М., Васильев А. М. (2015). Количественный анализ революционной волны 2013–2014 гг. // *Социологические исследования.* № 8. С. 119–127.
- Коротаев А. В., Малков С. Ю. (2014). Ловушка на выходе из мальтузианской ловушки в современных модернизирующихся обществах // *История и математика.* № 9. С. 43–98.

- Коротаев А. В., Малков С. Ю., Бурова А. Н., Зинькина Ю. В., Ходунов А. С. (2012). Ловушка на выходе из ловушки: математическое моделирование социально-политической дестабилизации в странах мир-системной периферии и события «арабской весны» 2011 г. // Акаев А. А., Коротаев А. В., Малинецкий Г. Г., Малков С. Ю. (ред.). Моделирование и прогнозирование глобального, регионального и национального развития. М.: Либроком, URSS. С. 210–276.
- Коротаев А. В., Малков А. С., Халтурина Д. А. (2007). Законы истории: математическое моделирование развития Мир-Системы. Демография, экономика, культура. М.: КомКнига, URSS.
- Коротаев А. В., Слинко Е. В., Шульгин С. Г., Билюга С. Э. (2016). Промежуточные типы социально-политических режимов и социально-политическая нестабильность: опыт количественного кросс-национального анализа // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. № 3. С. 31–51.
- Коротаев А. В., Халтурина Д. А., Кобзева С. В., Зинькина Ю. В. (2011). Ловушка на выходе из ловушки? О некоторых особенностях политико-демографической динамики модернизирующихся систем // Акаев А. А., Коротаев А. В., Малинецкий Г. Г., Малков С. Ю. (ред.). Проекты и риски будущего: концепции, модели, инструменты, прогнозы. М.: Красанд, URSS. С. 45–88.
- Коротаев А. В., Ходунов А. С., Бурова А. Н., Малков С. Ю., Халтурина Д. А., Зинькина Ю. В. (2012). Социально-демографический анализ «арабской весны» // Коротаев А. В., Зинькина Ю. В., Ходунов А. С. (ред.). «Арабская весна» 2011 года. Системный мониторинг глобальных и региональных рисков. М.: Либроком, URSS. С. 28–76.
- Малков С. Ю., Коротаев А. В., Исаев Л. М., Кузьминова Е. В. (2013). О методике оценки текущего состояния и прогноза социальной нестабильности: опыт количественного анализа событий «арабской весны» // Полис: политические исследования. № 4. С. 137–162.
- Урнов М. Ю. (2008). Эмоции в политическом поведении. М.: Аспект-Пресс.
- Хантингтон С. (2004). Политический порядок в меняющихся обществах / Пер. с англ. В. Р. Рокитянского. М.: Прогресс-Традиция.
- Artzrouni M., Komlos J. (1985). Population Growth through History and the Escape from the Malthusian Trap: A Homeostatic Simulation Model // Genus. Vol. 41. № 3–4. P. 21–39.
- Aiyar S., Duval R., Puy D., Wu Y., Zhang L. (2013). Growth Slowdowns and the Middle-Income Trap. IMF Working Paper № WP/13/71. Washington: International Monetary Fund.
- Banks A. S., Wilson K. A. (2017). Cross-National Time-Series Data Archive. Jerusalem, Israel: Databanks International. URL: <http://www.databanksinternational.com> (дата доступа: 24.05.2016).
- Boix C. (2011). Democracy, Development, and the International System // American Political Science Review. V. 105. № 4. P. 809–828.

- Brunk G. G., Caldeira G. A., Lewis-Beck M. S.* (1987). Capitalism, Socialism, and Democracy: An Empirical Inquiry // *European Journal of Political Research*. Vol. 15. № 4. P. 459–470.
- Burkhart R. E., Lewis-Beck M. S.* (1994). Comparative Democracy: The Economic Development Thesis // *American Political Science Review*. Vol. 88. № 4. P. 903–910.
- Chapman T., Reinhardt E.* (2013). Global Credit Markets, Political Violence, and Politically Sustainable Risk Premia // *International Interactions: Empirical and Theoretical Research in International Relations*. Vol. 39. № 3. P. 316–342.
- Clark G. A.* (2007). *Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World*. Princeton: Princeton University Press.
- Collier P.* (2007). *The Bottom Billion*. Oxford: Oxford University Press.
- Collier P., Hoeffler A.* (2004). Greed and Grievance in Civil War // *Oxford Economic Papers*. Vol. 56. № 4. P. 563–595.
- Cutright P.* (1963). National Political Development: Social and Economic Correlates // *Polsby N. W., Dentler R. A., Smith P. A.* (eds.). *Politics and Social Life: An Introduction to Political Behavior*. Boston: Houghton Mifflin. P. 569–582.
- Dahl R. A.* (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- DiGiuseppe M. R., Barry C. M., Frank R. W.* (2012). Good for the Money International Finance, State Capacity, and Internal Armed Conflict // *Journal of Peace Research*. Vol. 49. № 3. P. 391–405.
- Epstein D. L., Bates R., Goldstone J., Kristensen I., O'Halloran S.* (2006). Democratic Transitions // *American Journal of Political Science*. Vol. 50. № 3. P. 551–569.
- Gates S., Hegre H., Jones M. P., Strand H.* (2000). Institutional Consistency and Political Instability: Persistence and Change in Political Systems Revisited, 1800–1998. Presented at the Annual Meeting of American Political Science Association (Washington).
- Goldstone J.* (2014). *Revolutions: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Goldstone J. A., Bates R. H., Epstein D. L., Gurr T. R., Marshall M. G., Lustik M. B., Woodward M., Ulfelder J.* (2010). A Global Model for Forecasting Political Instability // *American Journal of Political Science*. Vol. 54. № 1. P. 190–208.
- Goldstone J. A., Gurr T. R., Harff B., Levy M. A., Marshall M. G., Bates R. H., Epstein D. L., Kahl C. H., Surko P. T., Ulfelder J. C., Unger Jr., Unger A. N.* (2000). State Failure Task Force Report: Phase III Findings. McLean, VA: Science Applications International Corporation (SAIC). URL: <http://www.cidcm.umd.edu/inscr/stfail/> (дата доступа: 15.05.2014).
- Grinin L., Korotayev A.* (2012). Does «Arab Spring» Mean the Beginning of World System Reconfiguration? // *World Futures*. Vol. 68. № 7. P. 471–505.
- Grinin L., Korotayev A.* (2014). Revolution and Democracy in the Context of the Globalization // *Kiss E.* (ed.). *Dialectics of Modernity Recognizing Globalization: Studies on the Theoretical Perspectives of Globalization*. Budapest: Arisztotelész Kiadó. P. 184–207.

- Groves A.* (2016). Discuss and Evaluate the Relationship between Poverty and Terrorism // E-International Relations. URL: <http://www.e-ir.info/2008/01/04/discuss-and-evaluate-the-relationship-between-poverty-and-terrorism/> (дата доступа: 16.05.2016).
- Gurr T. R.* (1974). Persistence and Change in Political Systems, 1800–1971 // *American Political Science*. Vol. 68. № 4. P. 1482–1504.
- Hegre H., Sambanis N.* (2006). Sensitivity Analysis of Empirical Results on Civil War Onset // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 50. № 4. P. 508–535.
- Huntington S.* (1968). *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press.
- Jenkins J. C., Wallace M.* (1996). The Generalized Action Potential of Protest Movements: The New Class, Social Trends, and Political Exclusion Explanations // *Sociological Forum*. Vol. 11. № 2. P. 183–207.
- Kiendrebeogo Y., Ianchovichina E.* (2016). Who Supports Violent Extremism in Developing Countries? Analysis of Attitudes Based on Value Surveys. Policy Research Working Paper. URL: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2016/06/02/090224b08438a637/2_0/Rendered/PDF/Whoosupportsovedoonovaluesurveys.pdf (дата доступа: 20.05.2016).
- Knutsen C. H.* (2014). Income Growth and Revolutions. // *Social Science Quarterly*. Vol. 95. № 4. P. 920–937.
- Kögel T., Prskawetz A.* (2001). Agricultural Productivity Growth and Escape from the Malthusian Trap // *Journal of Economic Growth*. Vol. 6. № 4. P. 337–357.
- Komlos J., Artzrouni M.* (1990). Mathematical Investigations of the Escape from the Malthusian Trap // *Mathematical Population Studies*. Vol. 2. № 4. P. 269–287.
- Korotayev A.* (2009). Compact Mathematical Models of the World System Development and Their Applicability to the Development of Local Solutions in Third World Countries // *Sheffield J.* (ed). *Systemic Development: Local Solutions in a Global Environment*. Litchfield Park: ISCE Publishing. P. 103–116.
- Korotayev A.* (2014). Technological Growth and Sociopolitical Destabilization: A Trap at the Escape from the Trap? // *Mandal K., Asheulova N., Kirdina S. G.* (eds.). *Socio-Economic and Technological Innovations: Mechanisms and Institutions*. New Delhi: Narosa. P. 113–134.
- Korotayev A., Zinkina J.* (2011). Egyptian Revolution: A Demographic Structural Analysis // *Entelequia. Revista Interdisciplinar*. № 13. P. 139–169.
- Korotayev A., Zinkina J.* (2015). East Africa in the Malthusian Trap? // *Journal of Developing Societies*. Vol. 31. № 3. P. 1–36.
- Korotayev A. V., Issaev L. M., Malkov S. Y., Shishkina A. R.* (2013). Developing the Methods of Estimation and Forecasting the Arab Spring // *Central European Journal of International and Security Studies*. Vol. 7. № 4. P. 28–58.
- Korotayev A. V., Issaev L. M., Malkov S. Y., Shishkina A. R.* (2014). The Arab Spring: A Quantitative Analysis // *Arab Studies Quarterly*. Vol. 36. № 2. P. 149–169.

- Korotayev A., Issaev L., Zinkina J.* (2015). Center-Periphery Dissonance as a Possible Factor of the Revolutionary Wave of 2013–2014: A Cross-National analysis // *Cross-Cultural Research*. Vol. 49. № 5. P. 461–488.
- Korotayev A., Zinkina J., Kobzeva S., Bogevolnov J., Khaltourina D., Malkov A., Malkov S.* (2011). A Trap at the Escape from the Trap? Demographic-Structural Factors of Political Instability in Modern Africa and West Asia // *Cliodynamics*. Vol. 2. № 2. P. 276–303.
- Lipset S. M.* (1959). Some Social Requisites of Democracy: Economic development and political legitimacy // *American Political Science Review*. Vol. 53. № 1. P. 69–105.
- Londregan J. B., Poole K. T.* (1996). Does High Income Promote Democracy? // *World Politics*. Vol. 49. № 1. P. 1–30.
- MacCulloch R.* (2004). The Impact of Income on the Taste for Revolt // *American Journal of Political Science*. Vol. 48. № 4. P. 830–848.
- MacCulloch R., Pezzini S.* (2010). The Role of Freedom, Growth and Religion in the Taste for Revolution. // *The Journal of Law and Economics*. Vol. 53. № 2. P. 329–358.
- Mansfield E., Snyder J.* (1995). Democratization and the Danger of War // *International Security*. Vol. 20. № 1. P. 5–38.
- Marshall M. G., Cole B. R.* (2008.) A Macro-Comparative Analysis of the Problem of Factionalism in Emerging Democracies. Paper Presented at the 2008 Annual Meeting of the American Political Science Association.
- Miguel E., Satyanath S., Sergenti E.* (2004). Economic Shocks and Civil Conflict: An Instrumental Variables Approach // *Journal of Political Economy*. Vol. 112. № 4. P. 725–753.
- Miljkovic D., Rimal A.* (2008). The Impact of Socio-Economic Factors on Political Instability: A Cross-Country Analysis // *Journal of Socio-Economics*. Vol. 37. № 6. P. 2454–2463.
- Moore B.* (1966). *Social Origins of Dictatorship and Democracy*. Boston: Beacon Press.
- Nafziger E. W., Auvinen J.* (2002). Economic Development, Inequality, War, and State Violence // *World Development*. Vol. 30. № 2. P. 153–163.
- Nafziger E. W., Auvinen J.* (2003). *Economic Development, Inequality and War: Humanitarian Emergencies in Developing Countries*. Berlin: Springer.
- Olson M.* (1963). Rapid Growth as a Destabilizing Force // *Journal of Economic History*. Vol. 23. № 4. P. 529–552
- Parvin M.* (1973). Economic Determinants of Political Unrest: An Econometric Approach // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 17. № 2. P. 271–291.
- Rueschemeyer D., Stephens E. H., Stephens J. D.* (1992). *Capitalist Development and Democracy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Smith B.* (2004). Oil Wealth and Regime Survival in the Developing World, 1960–1999 // *American Journal of Political Science*. Vol. 48. № 2. P. 232–246.
- Steinmann G., Prskawetz A., Feichtinger G.* (1998). A Model on the Escape from the Malthusian Trap // *Journal of Population Economics*. Vol. 11. № 4. P. 535–550.

- Ulfelder J., Lustik M.* (2007). Modeling Transitions to and from Democracy // Democratization. Vol. 14. № 3. P. 351–387.
- Vreeland J. R.* (2008). The Effect of Political Regime on Civil War // Journal of Conflict Resolution. Vol. 52. № 3. P. 401–425.
- Weede E.* (1981). Income Inequality, Average Income, and Domestic Violence // Journal of Conflict Resolution. Vol. 25. № 4. P. 639–654.
- Wilson K.* (2017). Cross-National Time-Series Data Archive: User's Manual. Jerusalem: Databanks International.
- World Bank. (2016a). GDP per capita, PPP (constant 2011 international \$) // World Development Indicators Online. URL: <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PPKD> (дата доступа: 24.05.2016).
- World Bank. (2016b). GDP per capita growth (annual %) // World Development Indicators Online. URL: <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG> (дата доступа: 24.05.2016).
- World Bank. (2016c). World Bank Atlas Method. URL: <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378832-the-world-bank-atlas-method-detailed-methodology> (дата доступа: 24.05.2016).
- World Bank. (2016d). World Bank Country and Lending Groups. URL: <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups> (дата доступа: 23.10.2016).
- World Bank. (2016e). Historical Classification by Income in XLS Format. URL: <http://databank.worldbank.org/data/download/site-content/OGHIST.xls> (дата доступа: 23.10.2016).

Olson—Huntington Hypothesis on a Bell-Shaped Relationship Between the Level of Economic Development and Sociopolitical Destabilization: A Quantitative Analysis

Andrey Korotayev

PhD, Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Laboratory of Monitoring of Sociopolitical Destabilization Risks, National Research University Higher School of Economics
Senior Research Professor, Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: akorotayev@gmail.com

Ilya Vaskin

Junior Research Fellow of the Laboratory of Monitoring of Sociopolitical Destabilization Risks at the National Research University Higher School of Economics, Russia
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: ilja-vaskin@yandex.ru

Stanislav Bilyuga

Junior Research Fellow, Laboratory for the Monitoring of Sociopolitical Destabilization Risks, National Research University Higher School of Economics

Junior Research fellow of the Center for Long-term Forecasting and Strategic Planning and Ph.D. candidate at the Faculty of Global Studies at the Lomonosov Moscow State University

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: sbilyuga@gmail.com

Our empirical tests generally confirm the validity of the Olson—Huntington hypothesis that suggests a bell-shaped relationship between the levels of economic development and sociopolitical instability. According to this hypothesis, lower values of average per capita income tends to lead to increased risks of sociopolitical destabilization (a positive correlation), while a decrease of sociopolitical destabilization risks correlates with higher levels of per capita income (a negative correlation). However, our analysis has shown that this curvilinear relationship can be quite different in some important details for various indices of sociopolitical destabilization, with a very important exception. We show that the relationship between per capita GDP and the intensity of coups and coup attempts is not curvilinear; a particularly strong negative correlation between this index and the logarithm of GDP per capita exists. We demonstrate that this fact makes the bell-shaped relationship considerably less distinct with respect to the integral index of sociopolitical destabilization, and makes a significant contribution to the formation of its asymmetry. Our analysis also shows that the bell-shaped relationship assumed by the Olson—Huntington hypothesis is observed for all other indices of sociopolitical destabilization. In relation to such indices as political strikes, riots, and anti-government demonstrations, we deal with an asymmetry that is directly opposite, since a positive correlation between GDP and instability for poorer countries is much stronger than the negative correlation for richer countries. An especially strong asymmetry of this kind is found for the intensity of anti-government demonstrations.

Keywords: political instability, CNTS destabilization indices, economic development, GDP per capita, coups, anti-government demonstrations, sociopolitical destabilization, political development

References

- Artzrouni M., Komlos J. (1985) Population Growth through History and the Escape from the Malthusian Trap: A Homeostatic Simulation Model. *Genus*, vol. 41, no 3–4, pp. 21–39.
- Aiyar S., Duval R., Puy D., Wu Y., Zhang, L. (2013) *Growth Slowdowns and the Middle-Income Trap* (IMF Working Paper No WP/13/71), Washington: International Monetary Fund.
- Banks A. S., Wilson K. A. (2017) *Cross-National Time-Series Data Archive*, Jerusalem: Databanks International. Available at: <http://www.databanksinternational.com> (accessed 24 May 2016).
- Boix C. (2011) Democracy, Development, and the International System. *American Political Science Review*, vol. 105, no 4, pp. 809–828.
- Brunk G. G., Caldeira G. A., Lewis-Beck M. S. (1987) Capitalism, Socialism, and Democracy: An Empirical Inquiry. *European Journal of Political Research*, vol. 15, no 4, pp. 459–470.
- Burkhart R. E., Lewis-Beck M. S. (1994) Comparative Democracy: The Economic Development Thesis. *American Political Science Review*, vol. 88, no 4, pp. 903–910.
- Chapman T., Reinhardt E. (2013) Global Credit Markets, Political Violence, and Politically Sustainable Risk Premia. *International Interactions: Empirical and Theoretical Research in International Relations*, vol. 39, no 3, pp. 316–342.
- Clark G. A. (2007) *Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World*, Princeton: Princeton University Press.
- Clark G. A. (2012) *Proshchaj, nishcheta! Kratkaia ekonomicheskaja istoriia mira* [A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World], Moscow: Gaidar Institute Press.
- Collier P. (2007) *The Bottom Billion*, Oxford: Oxford University Press.
- Collier P., Hoeffler A. (2004) Greed and Grievance in Civil War. *Oxford Economic Papers*, vol. 56, no 4, pp. 563–595.

- Cutright P. (1963) National Political Development: Social and Economic Correlates. *Politics and Social Life: An Introduction to Political Behavior* (eds. N. W. Polsby, R. A. Dentler, P. A. Smith), Boston: Houghton Mifflin, pp. 569–582.
- Dahl R. A. (1971) *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Haven: Yale University Press.
- DiGiuseppe M. R., Barry C. M., Frank R. W. (2012) Good for the Money International Finance, State Capacity, and Internal Armed Conflict. *Journal of Peace Research*, vol. 49, no 3, pp. 391–405.
- Epstein D. L., Bates R., Goldstone J., Kristensen I., O'Halloran S. (2006) Democratic Transitions. *American Journal of Political Science*, vol. 50, no 3, pp. 551–569.
- Gates S., Hegre H., Jones M.P., Strand H. (2000) Institutional Consistency and Political Instability: Persistence and Change in Political Systems Revisited, 1800–1998 (Paper Presented at the Annual Meeting of American Political Science Association, Washington).
- Goldstone J. (2014) *Revolutions: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press.
- Goldstone J. A. Bates R.H., Epstein D.L., Gurr T.R., Marshall M.G., Lustik M.B., Woodward M., Ulfelder J. (2010) A Global Model for Forecasting Political Instability. *American Journal of Political Science*, vol. 54, no 1, pp. 190–208.
- Goldstone J. A., Gurr T. R., Harff B., Levy M. A., Marshall M. G., Bates R. H., Epstein D. L., Kahl C. H., Surko P. T., Ulfelder J. C., Unger Jr., Unger A. N. (2000) *State Failure Task Force Report: Phase III Findings*, McLean: Science Applications International Corporation (SAIC). Available at: <http://www.cidcm.umd.edu/inscr/stfail/> (accessed 24 May 2016).
- Grinin L., Korotayev A. (2009) Urbanizatsiia i politicheskaia nestabil'nost': k razrabotke matematicheskikh modelei politicheskikh protsessov [Urbanization and Political Instability: Toward the Development of Mathematical Models of Political Processes]. *Political Studies*, no 4, pp. 34–52.
- Grinin L., Korotayev A. (2012) Does “Arab Spring” Mean the Beginning of World System Reconfiguration? *World Futures*, vol. 68, no 7, pp. 471–505.
- Grinin L., Korotayev A. (2012) *Tsikly, krizisy, lovushki sovremennoi Mir-Sistemy* [Cycles, Crises and Traps of the Modern World System], Moscow: LKI, URSS.
- Grinin L., Korotayev A. (2013) Demokratiia i revoliutsiia [Democracy and Revolution]. *Istoriia i sovremennost*, no 2, pp. 15–35.
- Grinin L., Korotayev A. (2014) Revolution and Democracy in the Context of the Globalization. Dialectics of Modernity Recognizing Globalization. *Studies on the Theoretical Perspectives of Globalization* (ed. E. Kiss), Budapest: Arisztotelész Kiadó, pp. 184–207.
- Grinin L., Korotayev A. (2014) Revoliutsiia vs demokratiia [Revolution vs. Democracy]. *Polis*, no 3, pp. 139–158.
- Grinin L., Issaev L., Korotayev A. (2015) *Revoliutsii i nestabil'nost' na Blizhnem Vostoke* [Revolutions and Instability on the Near East], Moscow: Uchitel.
- Grinin L., Korotayev A., Malkov S. (2008). Matematicheskie modeli sotsial'no-demograficheskikh tsiklov i vykhoda iz mal'tuzianskoi lovushki: nekotorye vozmozhnye napravleniia dal'neishego razvitiia. [Mathematical Models of Socio-Demographic Cycles and the Escape from the Malthusian Trap: Some Possible Directions of Further Development]. *Problemy matematicheskoi istorii. Matematicheskoe modelirovanie istoricheskikh protsessov* [The Problems of Mathematical History. Mathematical Modelling of Historical processes] (eds. G. Malinetsky, A. Korotayev), Moscow: LKI, URSS, pp. 78–117.
- Grinin L., Korotayev A., Malkov S. (2010) Istoriia, matematika i nekotorye itogi diskussii o prichinakh Russkoi revoliutsii [History, Mathematics and Some Results of the Discussion on the Causes of Russian Revolution]. *O prichinakh Russkoi revoliutsii* [On the Causes of Russian Revolution] (eds. L. Grinin, A. Korotayev, S. Malkov), Moscow: LKI, URSS, pp. 368–427.
- Grinin L., Malkov S., Gusev V., Korotayev A. (2009) Nekotorye vozmozhnye napravleniia razvitiia teorii sotsial'no-demograficheskikh tsiklov i matematicheskie modeli vykhoda iz “mal'tuzianskoi lovushki” [Possible Directions for Further Development of Socio-Demographic Cycles Theory and Mathematical Models of the Escape from the Malthusian Trap]. *Istoriia i matematika: protsessy i modeli* [History and Mathematics: Processes and Models] (eds. S. Malkov, L. Grinin, A. Korotayev), Moscow: URSS, pp. 134–210.

- Groves A. (2016) Discuss and Evaluate the Relationship between Poverty and Terrorism. *E-International Relations*. Available at: <http://www.e-ir.info/2008/01/04/discuss-and-evaluate-the-relationship-between-poverty-and-terrorism/> (accessed 16 May 2016).
- Gurr T.R. (1974) Persistence and Change in Political Systems, 1800–1971. *American Political Science*, vol. 68, no 4, pp. 1482–1504.
- Hegre H., Sambanis N. (2006) Sensitivity Analysis of Empirical Results on Civil War Onset. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 50, no 4, p. 508–535.
- Huntington S. (1968) *Political Order in Changing Societies*, New Haven: Yale University Press.
- Huntington S. (2004) *Politicheskii poriadok v meniaiushchikhsia obshchestvakh* [Political Order in Changing Societies], Moscow: Progress-Tradition.
- Jenkins J. C., Wallace M. (1996) The Generalized Action Potential of Protest Movements: The New Class, Social Trends, and Political Exclusion Explanations. *Sociological Forum*, vol. 11, no 2, pp. 183–207.
- Kiendrebeogo Y., Ianchovichina E. (2016) Who Supports Violent Extremism in Developing Countries? Analysis of Attitudes Based on Value Surveys (Policy Research Working Paper). Available at: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2016/06/02/090224b08438a637/2_o/Rendered/PDF/Whoosupportsovosedoonovaluesurveys.pdf (accessed 20 May 2016).
- Knutsen C. H. (2014) Income Growth and Revolutions. *Social Science Quarterly*, vol. 95, no 4, pp. 920–937.
- Kögel T., Prskawetz A. (2001) Agricultural Productivity Growth and Escape from the Malthusian Trap. *Journal of Economic Growth*, vol. 6, no 4, pp. 337–357.
- Komlos J., Artzrouni M. (1990) Mathematical Investigations of the Escape from the Malthusian Trap. *Mathematical Population Studies*, vol. 2, no 4, pp. 269–287.
- Korotayev A. (2009) Compact Mathematical Models of the World System Development and Their Applicability to the Development of Local Solutions in Third World Countries. *Systemic Development: Local Solutions in a Global Environment* (ed. J. Sheffield), Litchfield Park: ISCE Publishing, pp. 103–116.
- Korotayev A. (2012) Lovushka na vykhode iz lovushki: k matematicheskomu modelirovaniu sotsial'no-politicheskoi destabilizatsii v stranakh mir-sistemnoi periferii [A Trap at Escape From the Trap: On the Mathematical Modeling of Socio-Political Destabilization in the Countries of the World-System Periphery]. *Sotsiologiya i obshchestvo: global'nye vyzovy i regional'noe razvitie* [Sociology and Society: Global Challenges and Regional Development] (ed. Zh. Toshchenko), Moscow: RSO, pp. 1483–1489.
- Korotayev A. (2014) Technological Growth and Sociopolitical Destabilization: A Trap at the Escape from the Trap? *Socio-Economic and Technological Innovations: Mechanisms and Institutions* (eds. K. Mandal, V. Asheulova, S. G. Kirdina), New Delhi: Narosa, pp. 113–134.
- Korotayev A., Bilyuga S., Shishkina A. (2016) VVP na dushu naseleniia, uroven' protestnoi aktivnosti i tip rezhima: opyt kolichestvennogo analiza [GDP per Capita, Protest Intensity and Regime Type: A Quantitative Analysis]. *Comparative Politics Russia* (in print).
- Korotayev A., Bilyuga S., Shishkina A. (2017) VVP na dushu naseleniia, intensivnost' antipravitel'stvennykh demonstratsii i uroven' obrazovaniia: kross-natsional'nyi analiz [GDP per Capita, Anti-Government Demonstrations Intensity and Level of Education: Cross-National Analysis]. *Politeia: Analysis. Chronicle. Forecast*, no 1 (in print).
- Korotayev A., Bilyuga S., Shishkina A. (2017) Ekonomicheskii rost i sotsial'no-politicheskaia destabilizatsiia: opyt global'nogo analiza [Economic Growth and Socio-Political Destabilization: Global Analysis]. *Polis*, no 2 (in print).
- Korotayev A., Grinin L., Bozhevolnov Y., Zinkina J., Malkov S. (2011) Lovushka na vykhode iz lovushki: logicheskie i matematicheskie modeli [A Trap on the Escape from the Trap: Logical and Mathematical Modeling]. *Proekty i riski budushchego: kontseptsii, modeli, instrumenty, prognozy* [The Projects and Risks of the Future: Concepts, Models, Instruments, Forecasts] (eds. A. Akaev, A. Korotayev, G. Malinetsky, S. Malkov), Moscow: Krasand, URSS, pp. 138–164.
- Korotayev A., Grinin L., Khalturina D., Malkov A., Bozhevolnov Y., Kobzeva S., Zinkina J., Malkov S. (2010) Lovushka na vykhode iz lovushki? K prognozirovaniu dinamiki politicheskoi nestabil'nosti

- v stranakh Afriki na period do 2050 g. [A Trap at the Escape from the Trap? Towards the Forecasting of the Risks of Political Instability in the African Countries over the Period till 2050]. *Zakony istorii: matematicheskoe modelirovanie i prognozirovanie mirovogo i regional'nogo razvitiia* [Laws of History: Mathematical Modeling and Forecasting of World and Regional Development] (eds. A. Korotayev, Y. Zinkina), Moscow: LKI, URSS, pp. 159–226.
- Korotayev A., Issaev L., Malkov S., Shishkina A. (2013) Developing the Methods of Estimation and Forecasting the Arab Spring. *Central European Journal of International and Security Studies*, vol. 7, no 4, pp. 28–58.
- Korotayev A., Issaev L., Malkov S., Shishkina A. (2014) The Arab Spring: A Quantitative Analysis. *Arab Studies Quarterly*, vol. 36, no 2, pp. 149–169.
- Korotayev A., Issaev L., Vasiliev A. (2015) Kolichestvennyi analiz revoliutsionnoi volny 2013–2014 gg. [A Quantitative Analysis of the Revolutionary Wave of 2013–2014]. *Sociological Studies*, no 8, pp. 119–127.
- Korotayev A., Issaev L., Zinkina J. (2015) Center-Periphery Dissonance as a Possible Factor of the Revolutionary Wave of 2013–2014: A Cross-National analysis. *Cross-Cultural Research*, vol. 49, no 5, pp. 461–488.
- Korotayev A., Khalturina D., Kobzeva S., Zinkina J. (2011) Lovushka na vykhode iz lovushki? O nekotorykh osobennostiakh politiko-demograficheskoi dinamiki moderniziruiushchikhsia sistem. [A Trap at the Escape on the Trap: On Some Features of Political-Demographic Dynamics of the Modernizing Societies]. *Proekty i riski budushchego: kontseptsii, modeli, instrumenty, prognozy* [The Projects and Risks of the Future: Concepts, Models, Instruments, Forecasts] (eds. A. Akaev, A. Korotayev, G. Malinetsky, S. Malkov), Moscow: Krasand/URSS, pp. 45–88.
- Korotayev A., Khodunov A., Burova A., Malkov S., Khalturina D., Zinkina J. (2012) Sotsial'no-demograficheskii analiz Arabskoi vesny [Socio-Demographic Analysis of the Arab Spring]. *Arabskaia vesna 2011 goda: sistemnyi monitoring global'nykh i regional'nykh riskov* [The Arab Spring of 2011: The System Monitoring of Global and Regional Risks] (eds. A. Korotayev, Y. Zinkina, A. Khodunov), Moscow: Librokom, URSS, pp. 28–76.
- Korotayev A., Malkov S. (2014) Lovushka na vykhode iz mal'tuzianskoi lovushki v sovremennykh moderniziruiushchikhsia obshchestvakh [A Trap at the Escape for the Malthusian Trap in the Contemporary Modernizing Societies]. *History and Mathematics*, no 9, pp. 43–98.
- Korotayev A., Malkov S., Burova A., Zinkina J., Khodunov A. (2012) Lovushka na vykhode iz lovushki: matematicheskoe modelirovanie sotsial'no-politicheskoi destabilizatsii v stranakh mir-sistemnoi periferii i sobytiia Arabskoi vesny 2011 g [A Trap at the Escape from the Trap: Mathematical Modeling of the Socio-Political Destabilization in the Countries of the World-System Periphery and the Events of the Arab Spring of 2011]. *Modelirovanie i prognozirovanie global'nogo, regional'nogo i natsional'nogo razvitiia* [Modeling and Forecasting of the Global, Regional and National Development] (eds. A. Akaev, A. Korotayev, G. Malinetsky, S. Malkov), Moscow: Librokom, URSS, pp. 210–276.
- Korotayev A., Malkov A., Khalturina D. (2007) *Zakony istorii: matematicheskoe modelirovanie razvitiia Mir-Sistemy. Demografiia, ekonomika, kul'tura* [Laws of History: Mathematical Simulation of the Development of the World System: Demography, Economics, Culture], Moscow: KomKniga, URSS.
- Korotayev A., Slinko E., Shulgin S., Bilyuga S. (2016) Promezhtochnnye tipy sotsial'no-politicheskikh rezhimov i sotsial'no-politicheskaiia nestabil'nost': opyt kolichestvennogo kross-natsional'nogo analiza. [Intermediate Types of Socio-Political Regimes and Political Instability: A Quantitative Cross-National Analysis]. *Politeia: Analysis. Chronicle. Forecast*, no 3, pp. 31–51.
- Korotayev A., Zinkina J. (2010) K prognozirovaniu dinamiki politicheskoi nestabil'nosti v stranakh Afriki na period do 2050 g. [Forecasting of Dynamics of Political Instability in the Countries of Africa on the Period till 2050]. *Dinamika afrikanskikh obshchestv: zakonomernosti, tendentsii, perspektivy* [Dynamics of African Societies: Patterns, Tendencies, Perspectives] (eds. A. Savateev, I. Sledzevsky), Moscow: RGGU, pp. 65–80.
- Korotayev A., Zinkina J. (2010) Prognozirovanie sotsiopoliticheskikh riskov: lovushka na vykhode iz mal'tuzianskoi lovushki [Forecasts of Socio-Political Risks: A Trap at the Escape of the Malthusian Trap]. *Information Bulletin of History and Computer Association*, no 36, pp. 101–103.

- Korotayev A., Zinkina J. (2011) Demograficheskie korni Egipetskoj revoliutsii [The Demographic Roots of the Egyptian Revolution]. *Demoscope*, vol. 459–460. Available at: <http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0459/tema01.php> (accessed 24 May 2016).
- Korotayev A., Zinkina J. (2011) Egipetskaia revoliutsiia 2011 g [The Egyptian Revolution of 2011]. *Asia and Africa Today*, no 6, pp. 10–16; no 7, pp. 15–21.
- Korotayev A., Zinkina J. (2011) Egipetskaia revoliutsiia 2011 goda: sotsiodemograficheskii analiz [The Egyptian Revolution of 2011: Socio-Demographic Analysis]. *Historical Psychology and Sociology of History*, vol. 4, no 2, pp. 5–29.
- Korotayev A., Zinkina J. (2011) Egyptian Revolution: A Demographic Structural Analysis. *Entelequia. Revista Interdisciplinar*, no 13, pp. 139–169.
- Korotayev A., Zinkina J. (2012) Strukturno-demograficheskie faktory "arabskoi vesny" [Structural-Demographic Factors of the Arab Spring]. *Protestnye dvizheniia v arabskikh stranakh: predposylki, osobennosti, perspektivy* [Protests Movements in the Arab Countries: Preliminaries, Features, Perspectives] (eds. I. Sledzevsky, A. Savateev), Moscow: Librokom, URSS, pp. 28–40.
- Korotayev A., Zinkina J. (2012) Tropicheskaia Afrika v mal'tuzianskoi lovushke? K modelirovaniu i prognozirovaniu sotsial'no-demograficheskogo razvitiia Afriki iuzhnee Sakhary [Tropical Africa in the Malthusian Trap? Modeling and Forecasting of Socio-Demographic Development of the Africa Sub-Saharan Africa]. *Information Bulletin of History and Computer Association*, no 38, pp. 77–79.
- Korotayev A., Zinkina J. (2013) Kak optimizirovat' rozhdaemost' i predotvratit' gumanitarnye katastrofy v stranakh Tropicheskoi Afriki [How to Optimize Birthrate and Prevent Humanitarian Catastrophes in the Countries of Tropical Africa]. *Asia and Africa Today*, no 4, pp. 28–35.
- Korotayev A., Zinkina J. (2014) O snizhenii rozhdaemosti kak uslovii sotsial'no-ekonomicheskoi stabil'nosti v naimee razvitykh stranakh [On the Decline of Birthrate as a Condition of Social and Economic Stability in Less Developed Countries]. *Mirovaia dinamika: zakonomernosti, tendentsii, perspektivy* [World Dynamics: Patterns, Tendencies, Perspectives] (eds. A. Akaev, A. Korotayev, S. Malkov), Moscow: Krasand, URSS, pp. 243–263.
- Korotayev A., Zinkina J. (2015) East Africa in the Malthusian Trap? *Journal of Developing Societies*, vol. 31, no 3, pp. 1–36.
- Korotayev A., Zinkina J., Kobzeva S., Bogevolnov J., Khaltourina D., Malkov A., Malkov S. (2011) A Trap at the Escape from the Trap? Demographic-Structural Factors of Political Instability in Modern Africa and West Asia. *Clodynamics*, vol. 2, no 2, pp. 276–303.
- Lipset S. M. (1959) Some Social Requisites of Democracy: Economic development and political legitimacy. *American Political Science Review*, vol. 53, no 1, pp. 69–105.
- Londregan, J. B., Poole K. T. (1996) Does High Income Promote Democracy? *World Politics*, vol. 49, no 1, pp. 1–30.
- MacCulloch R. (2004) The Impact of Income on the Taste for Revolt. *American Journal of Political Science*, vol. 48, no 4, pp. 830–848.
- MacCulloch R., Pezzini S. (2010) The Role of Freedom, Growth and Religion in the Taste for Revolution. *Journal of Law and Economics*, vol. 53, no 2, pp. 329–358.
- Malkov S., Korotayev A., Issaev L., Kuzminova E. (2013) O metodike otsenki tekushchego sostoiianiia i prognoza sotsial'noi nestabil'nosti: opyt kolichestvennogo analiza sobytii Arabskoi vesny [On the Methods of Estimating Current State and Forecasting Social Instability: Attempted Quantitative Analysis of the Events of the Arab Spring]. *Polis*, no 4, pp. 137–162.
- Mansfield E., Snyder J. (1995) Democratization and the Danger of War. *International Security*, vol. 20, no 1, pp. 5–38.
- Marshall M. G., Cole B. R. (2008) A Macro-Comparative Analysis of the Problem of Factionalism in Emerging Democracies (Paper Presented at the 2008 Annual Meeting of the American Political Science Association).
- Miguel E., Satyanath S., Sergenti E. (2004) Economic Shocks and Civil Conflict: An Instrumental Variables Approach. *Journal of Political Economy*, vol. 112, no 4, pp. 725–753.
- Miljkovic D., Rimal A. (2008) The Impact of Socio-Economic Factors on Political Instability: A Cross-Country Analysis. *Journal of Socio-Economics*, vol. 37, no 6, pp. 2454–2463.
- Moore B. (1966) *Social Origins of Dictatorship and Democracy*, Boston: Beacon Press.

- Nafziger E. W., Auvinen J. (2002) Economic Development, Inequality, War, and State Violence. *World Development*, vol. 30, no 2, pp.153–163.
- Nafziger E. W., Auvinen J. (2003) *Economic Development, Inequality and War: Humanitarian Emergencies in Developing Countries*, Berlin: Springer.
- Olson, M. (1963) Rapid Growth as a Destabilizing Force. *Journal of Economic History*, vol. 23, no 4, pp. 529–552.
- Parvin M. (1973) Economic Determinants of Political Unrest: An Econometric Approach. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 17, no 2, pp. 271–291.
- Rueschemeyer D., Stephens E. H. , Stephens J. D. (1992) *Capitalist Development and Democracy*, Chicago: University of Chicago Press.
- Smith B. (2004) Oil Wealth and Regime Survival in the Developing World, 1960–1999. *American Journal of Political Science*, vol. 48, no 2, pp. 232–246.
- Steinmann G., Prskawetz A., Feichtinger G. (1998) A Model on the Escape from the Malthusian Trap. *Journal of Population Economics*, vol. 11, no 4, pp. 535–550.
- Ulfelder J., Lustik M. (2007) Modeling Transitions to and from Democracy. *Democratization*, vol. 14, no 3, pp. 351–387.
- Urnov M. (2008) *Emotsii v politicheskom povedenii* [Emotions in the Political Behaviour], Moscow: Aspekt-Press.
- Vreeland J. R. (2008) The Effect of Political Regime on Civil War. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 52, no 3, pp. 401–425.
- Weede E. (1981) Income Inequality, Average Income, and Domestic Violence. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 25, no 4, pp. 639–654.
- Wilson K. (2017) *Cross-National Time-Series Data Archive: User's Manual*, Jerusalem: Databanks International.
- World Bank (2016) GDP per capita, PPP (constant 2011 international \$). World Development Indicators Online. Available at: <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD> (accessed 24 May 2016).
- World Bank (2016) GDP per capita growth (annual %). World Development Indicators Online. Available at: <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG> (accessed 24 May 2016).
- World Bank (2016) World Bank Atlas Method. Available at: <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378832-the-world-bank-atlas-method-detailed-methodology> (accessed 24 May 2016).
- World Bank (2016) World Bank Country and Lending Groups. Available at: <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups> (accessed 23 October 2016).
- World Bank (2016) Historical Classification by Income in XLS Format. Available at: <http://databank.worldbank.org/data/download/site-content/OGHIST.xls> (accessed 23 October 2016).

Культура как препятствие: размузыкаливание мира в гибридных дискурсах музыкального воздействия

Анна Ганжа

Кандидат философских наук, доцент Школы культурологии факультета гуманитарных наук
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: ann.ganzha@gmail.com

В статье проблематизируется взаимосвязь музыки, природы и культуры в неоднородном дискурсе терапевтического музыкального воздействия и в дискурсе критической музыкальной теории Адорно. Для определения характера этой взаимосвязи автор обращается к концептуальным метафорам и онтологическим интуициям акторно-сетевой теории, при помощи которых артикулируется понятие «гибридный дискурс», отличающееся от родственных понятий социосемиотики и постколониальной теории. Это понятие используется для характеристики не столько локальных коммуникативных практик, смешивающих различные языки, социолекты, этнолекты и функциональные стили речи, сколько множества дискурсивных конструкций, в своей совокупности демонстрирующих симптоматику гибридной активности на границах природы и культуры. В обозначенной перспективе анализируются дискурсивные практики New Age, так или иначе апеллирующие к музыке, — от теософии конца XIX века до современных эзотерико-терапевтических нарративов. В этих дискурсивных практиках обнаруживается симптоматичное сочетание псевдорелигиозного переколдовывания мира и его радикального нигилистического «размузыкаливания» (в терминологии Лео Шпитцера). Если в гибридных дискурсах New Age нововременная социально-акустическая ткань природы—культуры нейтрализуется в пользу трансцендентной реальности нечеловеческого, то в философии музыки Адорно онтологические дуальности синтезируются в идеологической тотальности культуриндустрии, и лишь в раннем авангарде новой венской школы Адорно видит призрачную возможность выхода из сансары культуриндустрии и достижения нирваны подлинной природы—музыки и неотчужденной социальности. Таким образом, гибридная музыкальная риторика New Age и критическая музыкальная теория Адорно схожи в некоторых существенных чертах, а именно в допущении существования подлинной реальности — социальной или космической, — к которой апеллирует подлинная музыка.

Ключевые слова: акторно-сетевая теория, гибридный дискурс, философия музыки, теософия, музыкальная терапия, критическая теория, расколдовывание.

Лео Шпитцер в работе «Идея мировой гармонии в классической античности и христианстве» (Spitzer, 1944, 1945) высказывает мысль о том, что в основании единства европейской культуры лежит процесс «омузыкаливания» мира. Музыкально-математическая гармония античного космоса отзывается в музыкально-

поэтическом строе внутреннего космоса ренессансного человека. Идея мировой гармонии, «музыкального единства мира» (Spitzer, 1945: 364) претворяется в культурную общность европейского человечества, увь, недостаточно прочную:

...закат идеи мировой гармонии следует связывать не с протестантизмом как таковым — как бы ни был соблазнитель подобный вывод в духе сочинения Новалиса «Христианство или Европа», — но исключительно с разрушительным процессом «размузыкаливания» (*demusicalization*) и обмирщения, начавшимся в XVI и XVII столетиях... этот процесс связан, в свою очередь, с кальвинизмом и картезианством, с ростом аналитического рационализма и сегментарного, фрагментарного, материалистического и позитивистского воззрения на мир... (Ibid.: 364)

Процессы размузыкаливания и расколдовывания мира (Вебер, 1990: 713–714, 733–734) не столь синхронны, как это может показаться на первый взгляд. Рационалистическое расколдовывание мира в эпоху классической античности совершалось в том числе через его теоретическое номологизирующее омузыкаливание. Идеи *harmonia mundi* и *musica mundana* достигли пика популярности в ренессансном неоплатонизме и послужили теоретической основой астрономической системы Кеплера (см.: Stephenson, 1994). В XVII веке процессы синхронизируются: старый мир, сгорающий в Тридцатилетней войне, утрачивает смысловое единство (см.: Косарева, 1997), и новая экспериментальная наука окончательно отказывается от того, чтобы читать мир как книгу или вслушиваться в него как в мелодию. Новое математическое естествознание создает свой механический мир и технически овладевает им в тишине лабораторий и кабинетов. Это научно-техническое размузыкаливание европейского мира не только служит делу его окончательного расколдовывания, но и, как это ни парадоксально, создает предпосылки для его повторного околдовывания. Мир, лишенный музыкального смысла и единства, становится ареной столкновения самых разных голосов, мотивов, социальных интонаций. В этом столкновении рождается не более чем шум, и мы можем либо заглушить, заколдовать этот шум некой чарующей и успокоительной мелодией, либо неустанно и увлеченно вслушиваться в него и раз за разом обнаруживать в нем своего рода форму и даже, может быть, своего рода гармонию.

Вопросы, на которые в конечном итоге должна ответить эта статья, таковы: если процесс расколдовывания мира не является необратимым, то не сопровождается ли сегодняшнее повсеместно декларируемое¹ повторное околдовывание —

1. Переоколдовывание (*re-enchantment*) мира тематизируется сегодня в самых разных дискуссионных контекстах, в частности — ограничимся лишь несколькими примерами — в контекстах постмодернистской теории и практики (Bauman, 1992; Gane, 2002); товарного фетишизма и общества потребления (Ritzer, 2005); гуманистической критики современной научной рациональности (Berman, 1981); секулярной магии (During, 2002); магического потенциала современного искусства (Graham, 2007; Elkins, Morgan, 2009; Gilhooly, 2010) и современной науки (Griffin, 1988; Levine, 2006); трансформирующейся или нуждающейся в трансформации капиталистической экономики (Stiegler, 2014); распространения архаичных форм гражданской религии и спонтанной социальности (Маффесоли, 1991; в

переоколдовывание — мира также и его повторным омузыкаливанием? Если музыка некогда являлась теоретической и поэтической основой культурного единства европейского человечества, то не становится ли сегодня музыка — или *культура* как искусственная среда культивации возможного музыкального единства мира — универсальным медиумом смыслополагания и мироконструирования? Если результатом размузыкаливания мира стало, в частности, рождение музыки, которую впоследствии назовут *музыкальной классикой*, то годится ли эта музыка для того, чтобы заново омузыкалить мир?

Для ответа на поставленные вопросы обратимся к трем контекстам, которые на первый взгляд совершенно не связаны между собой. Первый — концептуальные метафоры и онтологические интуиции акторно-сетевой теории, при помощи которых мы сконструируем понятие гибридного дискурса, отличающегося от родственных понятий социосемиотики и постколониальной теории. Это понятие послужит нам инструментом анализа следующего контекста — дискурсивных практик New Age, так или иначе апеллирующих к музыке — от теософии конца XIX века до современных дискурсов эзотерико-терапевтического музыкального воздействия. В этих дискурсивных практиках мы находим симптоматичное сочетание псевдорелигиозного переоколдовывания мира и его радикального нигилистического размузыкаливания. Третий контекст — музыкальная теория Теодора Адорно, которая ведет к непродуктивному отрицанию всей современной музыки после Шенберга и Веберна. В этом своем жесте тотального отрицания критический дискурс Адорно неожиданным образом сближается с гибридными позднемодерными дискурсами, в которых нововременная социально-акустическая ткань природы—культуры нейтрализуется в пользу трансцендентной реальности нечеловеческого.

Гибридизация, гибридное знание, гибридный дискурс

Начнем анализ с обращения к идее гибридности и гибридизации в контексте «симметричной антропологии» Бруно Латура (2006). Латур понимает под гибридом сеть, «социотехническое сплетение» (Латур, 2006: 66) вещей, которые с точки зрения нововременной науки являются онтологически несоизмеримыми. Физические объекты, научные парадигмы, лабораторные опыты, политические программы, моральные императивы, языковые игры в своем переплетении образуют текстуру, опосредующую противоположности природы и культуры, сшивающую их воедино². Озоновая дыра, система наведения баллистических ракет, банк эмбрионов, кит с имплантированным радиозондом, ВИЧ — вот некоторые примеры гибридов, приводимые Латуром. Нововременной взгляд привычно трактует гибрид как «простую смесь, состоящую из природных вещей и социальных символов» (Там же: 119) и подлежащую аналитическому расчленению на природные вещи, очи-

контексте тоталитарного подавления рациональности — см., напр.: Паин, 2015); и, разумеется, в контексте «религиозного возрождения», постсекуляризма, новых религиозных движений, New Age и т. п.

2. О понятии текстуры как медиатора онтологических дуальностей см., напр.: Ганжа, 2012а.

ценные от всего социального, и социальные символы, очищенные от всего природного. За анализом следует объяснение того, как же на самом деле здесь связаны природа и культура, и это объяснение само по себе является процедурой медиации, заново сшивающей природу и культуру и таким образом продуцирующей новые гибриды. Очищение приводит ко все новым и новым смешениям. Латур допускает, что «доновременные миры» (Там же: 72) мыслили гибриды в качестве таковых — как текстуры, пронизывающие собой весь мир — и благодаря этому сдерживали процесс неконтролируемой гибридизации.

Принимая это допущение, можно сказать, что доновременной человек, возраст зрелости которого называется эпохой Ренессанса, знал лишь один гибрид, и этим гибридом была музыкальная текстура мира, *harmonia mundi*. Омузыкаленный космос является одновременно природой и культурой, книгой и песней. Мир расколдован — в нем «нет никаких таинственных, не поддающихся учету сил, которые здесь действуют... всеми вещами в принципе можно овладеть путем расчета» (Вебер, 1990: 713–714). Нововременное размузыкаливание мира означает, что мир больше не мыслится как гибрид, как ткань, в которую вплетены видимое и невидимое, человеческое и нечеловеческое. *The world is out of joint* — так, перефразируя Шекспира, можно охарактеризовать это *эпохальное* событие. Природа и культура разделены, и получается так, что, вглядываясь в природу, человек обнаруживает в ней загадочные аналогии с миром культуры, а в культуре усматривает действие таинственного механизма природы. Два мира вглядываются друг в друга как в зеркало и, подобно Нарциссу, пленяются собственным отражением. Взаимное притяжение/отталкивание этих искусственно обособленных миров руководит динамикой процессов очищения и гибридизации. Колонии гибридов — *чудовищ*, по выражению Латура³, — неконтрольно разрастающиеся в межзеркалье природы и культуры, становятся *зачарованным лесом*⁴ для человека эпохи модерна.

Процесс размузыкаливания мира осмысливается композитором Владимиром Мартыновым как процесс перехода от модального к тональному музыкальному мышлению (см.: Мартынов, 2002: 43–46). С этой точки зрения музыкальное произведение, созданное в рамках тональной системы, — например, любое произведение Баха, Моцарта или Бетховена, — можно описать как гибрид, соединяющий природную реальность звука, лабораторные эксперименты композитора, риторические приемы, технические возможности инструментов, исполнительские практики и традиции, источники финансирования, социальные и культурные характеристики предполагаемой аудитории и, наконец, трудноуловимые траектории *воздействия* музыки на слушателей. Доновременная модальная музыка, вероятно, также поддается описанию средствами акторно-сетевой теории, однако

3. Ср.: Law, 1991.

4. Важнейшим открытием главной героини аниме Хаяо Миядзаки «Навсикая из Долины ветров» стало то, что ядовитый Лес, который люди воспринимают как глобальную угрозу, в действительности является органом самоочищения планеты и монстров-мутантов, населяющих Лес, не надо бояться — с ними следует дружить.

продуктивность такого описания будет ограничена низкой *вирулентностью* этой музыки: *musica mundana*, музыка космических сфер, текстурирующая мир в его нераздельности, практически не способна генерировать локальные зоны гибридной активности, поскольку она сама не локализована, не привязана к партитуре, стилю, инструменту, личности композитора или месту исполнения.

Напротив, тональный музыкальный гибрид⁵ эволюционирует, обрастает сетью интерпретаций, инструментовок, переложений, композиторских программных самоистолкований, научных комментариев, нотных изданий, домашних концертов, уникальных исполнительских манер, консерваторских педагогических техник, фонограмм, лицензий, музыкальных фестивалей, радиотрансляций, эмоциональных вовлеченностей, национальных идентичностей, гимнов, социальных движений, политических акций, кинофильмов, рекламных роликов, бракосочетаний, похорон — гибридная сеть может стать *особым миром*, в который можно заглянуть ненадолго или погрузиться целиком. В качестве примера можно привести Девятую симфонию Бетховена — растущую сеть, в которую вовлечены Шиллер, масонство, Просвещение, Маутхаузен, объединенная Европа, японская поп-культура, Родезия, «Заводной апельсин», технические характеристики компакт-диска, «Киногид извращенца» и многое другое⁶.

Отталкиваясь от идей Латура, израильская исследовательница Яэль Кешет помещает термин «гибридное знание» (Keshet, 2010, 2011) в непривычный контекст. Как правило⁷, под гибридным знанием понимают ситуативное соединение в каких-то локальных, чаще всего экологических или образовательных средах, двух видов знания — научного, общезначимого, академического знания, на которое опираются властные институты в процессе принятия решений, и знания местного, аборигенного, неявного, неформального, адаптивного, коммунитарного, опирающегося на опыт и существующего в форме нарративов (см., напр.: Nguyen et al., 2014; Reid et al., 2011; Xu, Grumbine, 2014; Mendoza-Zuany, 2009). Кешет анализирует недавние дискуссии по вопросу методов оценки эффективности комплементарной и альтернативной медицины (complementary and alternative medicine, CAM). Под

5. Выражение «музыкальный гибрид», как правило, отсылает к «натуралистическому» понятию простого, непроблематичного смешения музыкальных стилей, жанров, традиций. В академической среде это выражение употребляется скорее в контексте постколониальной теории, трактующей гибридность как рефлексивную форму идентичности, преобладающую в современном мире (о гибридности в этом или близком к этому смысле см.: Bhabha, 1990, 1994; Young, 1995; Joseph, Fink, 1999; Kapchan, Strong, 1999; Brah, Coombes, 2000; Puri, 2004; Kraidy, 2005; Stockhammer, 2012; Maclean, 2015). В этом контексте музыкальный гибрид — не только «культурный» феномен, но и политический, экономический, социально-критический и т. д. (см., напр.: Back, 2000; Born, Hesmondhalgh, 2000; Middleton, Beebe, 2002; Allen, 2003; Ng, 2003; Roberts, 2008; Linke, Möller, 2009; Pacini Hernandez, 2010; Mora, 2011; Morris, 2011; Chu, Leung, 2013; Harnish, 2013; Stratton, 2014).

6. О политических и прочих внемузыкальных составляющих гибридной текстуры Девятой симфонии и музыки Бетховена в целом см.: Dennis, 1996; Adorno, 1998; Buch, 2003; Solomon, 2003; Rumph, 2004; Schmidt, 2005; Chang, 2007; Chua, 2009; Høyng, 2011; Mathew, 2013.

7. Конечно же, мы не будем здесь обсуждать архитектуру баз данных и моделирование искусственных нейронных сетей — контекст, в котором чаще всего упоминается термин «гибридное знание».

гибридным знанием она понимает не столько знание, которое формируется *внутри* САМ и которое можно было бы — с позиций науки Нового времени — описать как сочетание научного и ненаучного/антинаучного, западного и восточного, доказательного и интуитивного знания, сколько знание, которое формируется *на границе* САМ и институционализированной западной медицины — не в качестве их смеси, а в качестве активной силы, участвующей в процессах гибридизации/очищения и подрывающей внутренне противоречивую систему нововременных эпистемологических и онтологических категорий. Можно сказать, что гибридное знание — это не собственно «гибрид» (в смысле простого смешения) каких-то чистых форм знания, это знание, возникающее в ситуации взаимодействия гибридных социотехнических сетей как реакция на несовместимые эпистемологические практики.

Так, современная западная биомедицина — монструозное гибридное образование, в рамках которого идет сложная работа по теоретическому разделению природы и культуры, тела и психики, и еще более сложная работа по их практическому воссоединению. САМ — позднемодерный гибрид (Keshet, 2010: 338), едва ли не важнейшим оснащением которого является неустанное истолкование себя в качестве набора практик, стирающих границы между телом и духом, природой и культурой. Гибридное знание, рождающееся на границах этих сетей, включает как стратегии внедрения в САМ более или менее строгих стандартов доказательной медицины (evidence-based medicine, ЕВМ), так и дискурсивные практики, легитимирующие инфильтрацию САМ в систему здравоохранения. Это знание, в свою очередь, становится средой как для вызревания новых гибридов — например, интегративной медицины, объединяющей ЕВМ и САМ, — так и для прочерчивания новых границ.

Анализируя «внутренний лингвистический механизм производства гибридного знания» (Keshet, 2011: 502), Кешет указывает на ключевую роль концепта «энергия» в трансграничных гибридных дискурсах:

...в практике энергетической медицины... *термин* «энергия» используется для конструирования знания, размывающего и гибридизирующего четкие категории нововременной эпистемологии. Энергия понимается как дух и в то же время как материя, как душа и как тело, как микро- и макроуровень реальности, как субъективное ощущение и объективная данность, как религиозный и при этом научный феномен. (Ibid.: 511)

Апеллируя к пониманию гибридного знания в работах Кешет, мы будем использовать термин «гибридный дискурс» для обозначения не столько локальной коммуникативной практики, смешивающей различные языки, социолекты, этнолекты и функциональные стили речи⁸, сколько множества дискурсивных конструкций, в своей совокупности демонстрирующих симптоматику трансграничной гибрид-

8. Приведем в качестве примера лишь одно активно исследуемое семейство таких локальных практик — это classroom discourses, сложные речевые ситуации, возникающие в пространстве школь-

ной активности. Яркий пример описания гибридного дискурса можно найти на первых страницах книги Латура «Нового времени не было» (Латур, 2006). Излагая содержание нескольких полос ежедневной газеты, Латур резюмирует:

Таким образом, в одной и той же статье смешиваются химические и политические реакции. Одна и та же нить связывает самую эзотерическую науку и самую низменную политику, бесконечно далекое небо и завод в пригороде Лиона, глобальную опасность, ближайшие выборы или грядущий административный совет. Масштабы, ставки, сроки, акторы здесь несопоставимы друг с другом, и тем не менее они вовлечены в одну и ту же историю. <...> ...количество этих статей-гибридов, говорящих нам о всякого рода запутанностях, статей, где переплелись науки, политики, экономики, права, религии, техники, литературы, постоянно увеличивается. <...> Вся культура и вся природа ежедневно перемешиваются на этих страницах. (Там же: 59–60)

Наша гипотеза заключается в том, что процессы гибридизации/очищения, смешивающие и вновь разделяющие *музыку* — которая не только омузыкаливает, но и размузыкаливается; *культуру* — как образ утраченного музыкального единства мира, также обнаруживающий диалектику омузыкаливания и размузыкаливания; *природу* — которая, в свою очередь, то наполняется музыкой, то вновь становится глухой и немой, — эти процессы примечательным образом обнаруживают свою симптоматику в гибридных дискурсах музыкального воздействия, к описанию которых мы переходим.

A Kind of Magic

История представлений о воздействии музыки на человека — тема для большого исследования⁹. Наша задача гораздо скромнее: зафиксировать симптомы гибридизации, возникновения новых конфигураций природы—культуры и новых форм вовлеченности человека в локальные онтологические текстуры на материале спе-

ного класса. См.: Kamberelis, 2001; Kamberelis, Wehunt, 2012; Duff, 2003; Hanrahan, 2005; Kettle, 2005; Charteris, 2016.

9. Со второй половины XIX века музыкальное воздействие тематизируется в предметном поле музыкальной психологии. См. краткий исторический очерк: Rothfarb, 2002; Gjerdingen, 2002. Сравнительная англоязычные руководства и обзорные монографии по музыкальной психологии (напр., Radosy, Boyle, 2003; Tan et al., 2010; Deutsch, 2013; Hallam et al., 2016) с отечественными учебниками (напр., Петрушин, 2008), можно увидеть, что теоретическим ядром западной музыкальной психологии является экспериментальная психология, нейрофизиология и когнитивистика, тогда как в основе отечественной — содержательно-деятельностный подход, сфокусированный на личности музыканта. В советской науке исследования психофизиологии процессов слушания и восприятия музыки вполне легитимны, но скорее маргинальны; в постсоветской же науке если подобные исследования и ведутся, то в каком-то глубоко научном «подполье». Среди преимуществ западного подхода отметим его тенденцию к «расширению» в различные междисциплинарные исследовательские программы. Один из наиболее интересных примеров — программа исследования «коммуникативной музыкальности» человека на стыке психобиологии, этологии, музыкальной этнографии, социальной антропологии, социосемиотики и т. д. (см.: Miell et al., 2005; North, Hargreaves, 2008; Haas, Brandes, 2009; Malloch, Trevarthen, 2009; Hargreaves et al., 2012).

цифических дискурсов, в которых «музыка» играет роль трансграничного концепта, отсылающего к ранее несоизмеримым реальностям. Поскольку нововременная тональная музыка является масштабной гибридной сетью, которая в теории подвергается радикальному очищению и *культурации*, можно предположить, что теоретической почвой для дальнейшей гибридизации послужат доновременные представления о музыкальном единстве мира. Действительно, хотя пифагорейская музыкальная теория¹⁰ продолжает маргинально разрабатываться вплоть до начала XX века (см.: Godwin, 1993), в какой-то момент она помещается в совершенно новый дискурсивный контекст, где встречается с романтической натурфилософией, восточной мистикой, оккультизмом и современным естествознанием. Это момент зарождения движения New Age, который очень условно можно датировать 1875 годом — годом основания Теософского общества (см.: Godwin, 2013).

Приведем отрывок из опубликованной в 1888 году «Тайной доктрины» Е. П. Блаватской — сочинения, которое, на наш взгляд, является эталонным образцом принципиально новой гибридной дискурсивной техники, характерной для всего позднемоде́рного эзотеризма:

Творческая сила, непрерывно работающая над своим заданием преобразования, производит цвет, звук и числа в виде скоростей вибрации, которые соединяют и разъединяют атомы и молекулы. Хотя невидим и неслышим для нас в подробностях, все же синтез целого становится слышимым для нас на материальном плане. Это то, что китайцы называют «Великим Тонем», или *Кунг*. Даже по признанию науки, это есть действительный основной тон природы, который музыканты считают средним *Fa* на клавиатуре пианино. Мы явно слышим его в голосе природы, в реве океана, в шорохе листвы большого леса, в отдаленном шуме большого города, в ветре, урагане, вихре — коротче, во всем в природе, что имеет голос или производит звук. В слухе всех, кто слышит, он кульминирует в единый определенный, неподдающийся оценке высоты тон, который, как сказано, является тоном... *Fa* диатонической гаммы. (Блаватская, 2004: 578)

В одном абзаце смешаны натурфилософия, физика микромира, тайное знание и курс гармонии. В один ряд поставлены признания науки, мнения музыкантов, мудрость китайцев и голоса самой природы. Здесь нет научной доказательности, но нет и экзотической мистериальности. Это совершенно плоский дискурс, в кото-

10. Пифагорейская музыкальная теория хорошо представлена в антологиях (Barker, 1989; Godwin, 1993) и монографических исследованиях (Герцман, 1986, 2003; Barker, 2004, 2007; Levin, 2009). Об отношениях отталкивающегося от пифагорейской традиции математического музыкознания и нововременной науки см.: Gozza, 2000; Pesic, 2014.

Любопытно замечание советского музыковеда Виктора Городинского: «Все современные ультрамодернистские школы [в музыке] так или иначе прикосновенны к неопифагорейству, так как все они в своем формалистском „новаторстве“ исходят не из живых эстетических потребностей общества, а из пресловутого „математического принципа“, прикрывающего их творческое обнищание» (Городинский, 1950: 133). Вопрос о социальных смыслах музыкального авангарда XX века — конечно же, далеко не всегда сводимого к «неопифагорейству» даже в самом широком понимании этого термина — будет кратко затронут ниже.

ром отсутствуют удивление, напряжение, диалектика и недосказанность. На следующих страницах Блаватская пишет, помимо прочего, о музыке сфер, о числовом соответствии звуковых и цветовых колебаний, о соответствии семи степеней проявленности мира семи нотам гаммы, о божественной гармонии и приведении микрокосма в созвучие с макрокосмом, о дифференциации материи и законах кармы, об астральных резонансах и акашных вибрациях, об атоме как душе молекулы и Атмане объективного космоса — в том же невыразительном, канцелярском стиле, который очень напоминает современные эзотерические нарративы.

Помимо обычных для теософских текстов рассуждений о звуке как строительном материале чувственного космоса и о волновой структуре видимого мира (см., напр.: Безант, б. г.; Гендель, 2005) у некоторых представителей раннего движения New Age встречаются фрагменты или даже целые сочинения, посвященные воздействию музыки на человека. Так, в сборнике лекций Рудольфа Штейнера, прочитанных в разные годы и объединенных под общим заголовком «Сущность музыкального и переживание музыкальных тонов человеком» (Штейнер, б. г.), содержится теософская в своей основе концепция музыкального тона и музыкального воздействия:

В основе всего, что есть в физическом мире, лежит тот или иной музыкальный тон. <...> Все предметы имеют в своей основе тот или иной духовный тон, и сам человек в своей глубочайшей сущности есть духовный тон. <...> ...музыка, которая создается в физическом мире, есть... тень гораздо более возвышенной музыки Девахана¹¹. <...> Когда человек слушает музыку, ясновидящий может узреть, как притекают музыкальные тона, как они вторгаются в более плотное эфирное тело и заставляют его вибрировать вместе с собой; вот почему человек испытывает тогда чувство блаженства. <...> Праобраз музыки — в Духовном. Когда человек слушает музыку, он чувствует блаженство потому, что ее звуки гармонируют с тем, что он пережил в мире своей духовной родины. (Там же: 3–5)

Штейнер отмечает, что музыка Моцарта или Россини не очень глубоко проникает в эфирное тело человека, в отличие от музыки Вагнера, которая охватывает эфирное тело целиком¹². Согласно Штейнеру, хорошо знакомое всем нам воздействие слышимой музыки на человека обусловлено тем, что эта слышимая музыка является лишь проводником музыки неслышимой, духовной. Обычная, земная музыка — не более чем паллиатив, компромисс; человек в процессе своего духовного развития должен научиться растворяться в неслышимой музыке без посредничества музыки слышимой. Таким образом, земная музыка ценна постольку, поскольку она исчезает, утрачивает собственное бытие и уступает место силам, которые

11. В теософии — один из духовных миров; подробнее см.: Leadbeater, 1896.

12. Эти рассуждения Штейнера можно сравнить с аналогичными рассуждениями, встречающимися в гибридных дискурсах последних десятилетий, в которых Моцарт неизменно оказывает наиболее сильное и во всех отношениях положительное влияние на человека, тогда как Вагнер — также очень сильное, но, увы, подчас разрушительное.

действуют через нее. Музыка является хоть и необходимым, но все-таки *препятствием* на пути к высшим духовным мирам.

Гораздо большее внимание музыке как таковой уделяют пишущие о музыке композиторы, так или иначе связанные с движением New Age. Так, композитор Сирил (Кирилл) Скотт¹³ значительную часть своей книги «Музыка и ее тайное влияние на протяжении веков» (Скотт, 2005)¹⁴, опубликованной в 1933 году, посвящает историческому обзору механизмов влияния музыки на совершенно земные стороны человеческого существа — настроения, эмоции, сердце, разум, религиозные чувства, мораль, образ мыслей, социальные привычки. Скотт утверждает, что музыка *сама по себе* воздействует на человека, потому-то духовные сущности — Дэвы — и используют музыку, чтобы соединить человека с духовным миром. Следовательно, помимо обычного, грубого воздействия, музыка, — полагает Скотт, — всегда оказывает еще и тонкое воздействие на нематериальное тело человека. Многие композиторы были избраны Дэвами в качестве медиумов — Скотт называет здесь Франка, Грига, Чайковского, Дилиуса, Дебюсси и Равеля, — однако «самым великим из всех известных миру интерпретаторов музыки Дэв» (Там же: 253) является Скрябин¹⁵. Наиболее разрушительной музыкой, вдохновленной «темными силами» (Там же: 267), Скотт считает джаз.

Книга композитора и астролога Дейна Радьяра¹⁶ «Магия тона и искусство музыки» (Радьяр, б. г.) издана в 1982 году, однако мы встречаем здесь все тот же комплекс идей: Радьяр упоминает мировую Гармонию — музыку сфер; космический Звук, приводящий в движение материю и сообщающий ей форму; духовный Тон — музыкальный эквивалент жизненной энергии живого существа; пифагорейскую гамму; ритмы вселенной; семь уровней бытия; символизм числовых соотношений; связь европейского духа и тональной музыки. Этот старый комплекс идей обрастает новой терминологией: «холистический резонанс», «плерома звуков», «синтонная музыка», «канал для фокусированного высвобождения космической трансформирующей силы, производимой взаимодействием поляризованных трансфизических энергий», «трансперсональность», «планетарный процесс цивилизации». В финале книги встречается важное для нас замечание:

...проще эмоционально и интеллектуально реагировать в качестве резонатора, настроенного на основную вибрацию своей культуры, даже если эта вибрация является дисгармоничным ревом соперничающих между собой шумов. Намного труднее преодолеть притяжение коллективной ментальности культуры, сформировавшей персональные реакции... Легко позволить это... искать хваленого «самовыражения»; намного сложнее ослабить волю

13. О нем см.: Collins, 2013.

14. В русском издании, на которое мы ссылаемся, заглавие книги — «Music: Its Secret Influence Throughout the Ages» — переведено как «Оккультное воздействие музыки».

15. Ср. с резкими формулировками А. Ф. Лосева в очерке «Мировоззрение Скрябина» (Лосев, 1995). О Скрябине в его теософско-мистериальной ипостаси см.: Лобанова, 2012.

16. О нем см.: Ertan, 2009.

эго и преобразовать ее в волю служения процессу появления нового человечества. (Там же)

Здесь отчетливо звучит мотив *культуры как препятствия*: с точки зрения Радьяра, культура — как, впрочем, и вообще все, что является результатом эволюции/эманации исходного музыкального единства космоса — представляет собой набор в большей или меньшей степени материальных гармонических структур, с которыми мы привыкли соотносить себя. Радьяр полагает, что любое внешнее воздействие опознается нами как своего рода музыкальная формула, записанная на языке сформировавшей нас культуры, и наша реакция звучит как тональный ответ на эту формулу. Реагируя привычным образом на голоса природы, общества или совести, мы не в состоянии услышать и воспроизвести исходный космический Тон — «плерому» всех возможных звуков и звуковых структур. Таким образом, по мысли Радьяра, культура мешает достижению желанного трансперсонального космического единства.

Не претендуя на сколько-нибудь полный обзор связей музыки и музыкальной теории с эзотеризмом и теософией¹⁷, сделаем некоторые предварительные выводы. В гибридных дискурсах, характерных для движения New Age, мы наблюдаем амбивалентную трактовку музыки. С одной стороны, все есть музыка. Музыка есть альфа и омега чувственного космоса. Для адепта New Age весь мир омузыкален, и только какие-то низшие уровни действительности, максимально удаленные от Истока, подвержены размузыкаливанию. На этих уровнях тоже звучит музыка, но это обычная музыка, которую можно услышать обычным ухом. Это музыка, которая может как приблизить человека к высшим мировым сферам, так и отдалить от них. Поэтому слышимая музыка сама по себе не обладает никакой ценностью и не является ни единственным, ни сколько-нибудь надежным средством постижения музыки неслышимой. Обычная музыка — это и не музыка вовсе, а просто сочетание звуков. Отсюда понятно, что, с другой стороны, в дискурсивной системе New Age подлинная музыка, музыка сфер, не имеет ничего общего с тем, что мы обычно понимаем под «музыкой». В нашем чувственном мире эта сверхчувственная музыка сфер являет себя не в звуках, а скорее в цветах и формах. Эту музыку нельзя услышать и ею нельзя насладиться.

Следовательно, в гибридных дискурсах, инспирированных эзотеризмом и теософией, описываются две разные музыки, и ни одну из них нельзя назвать музыкой в универсальном смысле. Мистическое омузыкаливание мира в то же время является его двойным размузыкаливанием. Поскольку нет единого мира, построенного по законам музыкальной гармонии, а есть два разных мира со своей собственной музыкой и гармонией, то в человеческом мире нет совершенной, не-

17. См. информативную работу Рональда Батлера «Влияние теософии на традицию спекулятивных и эзотерических теорий музыки» (Butler, 2013). См. также: Godwin, 1995; Wuidar, 2010; Petsche, 2015. Свообразным компендиумом эзотерического музыкознания может служить книга Дэвида Тэйма «Тайная власть музыки» (Tame, 1988).

человеческой музыки и поэтому он размузыкален, а в нечеловеческом мире нет человеческой музыки и поэтому он, с нашей человеческой точки зрения, тоже размузыкален — это мир абсолютной тишины.

В нашем мире стирается различие между природой и культурой — и то и другое является для приверженца оккультизма всего лишь несовершенной музыкой. Граница, разделяющая онтологически несоизмеримые реальности, проходит уже не между природой и культурой, а между природой—культурой и чем-то таким, что ни природой, ни культурой не является. Природа и культура тождественны в своем несовершенстве: вой ветра и музыка Моцарта являются в равной степени нерепрезентативными манифестациями какого-то изначального Тона, который adept «тайной доктрины» способен, как ему верится, услышать, пройдя тернистый путь преодоления ограничений природы и избавления от условностей культуры.

Нечеловеческое, но не слишком нечеловеческое

В русскоязычном сегменте сети Интернет, на котором мы теперь сосредоточим внимание, наблюдается массовая редупликация гибридных дискурсов и нарративов музыкального воздействия. Это воздействие в большинстве случаев описывается как *терапевтическое*. Лечение музыкой, влияние музыки на организм человека, музыкотерапия — вот наиболее распространенный контекст, в котором эзотерика New Age переплетается с практической магией эпохи гипердиагностики, когда «все и каждый актуально или потенциально „болеют“ — независимо от самочувствия» (Бек, 2000: 307). Гибридная «музыкотерапия», выросшая на отечественной почве, имеет мало общего с «music therapy» в ее наиболее влиятельной американской версии — самоопределение последней основывается как раз на последовательной пурификации, решительном отказе идентифицировать себя с эзотерикой, шаманизмом или пифагорейской традицией¹⁸. Можно предположить, что

18. См.: Aigen, 2014: 3–34. Вопросам самоопределения и систематического самоописания музыкальной терапии посвящены также следующие работы: Wigram et al., 2002; Bruscia, 2014; Edwards, 2016; Bunt, Stige, 2014. Авторы последнего сочинения апеллируют к понятию гибридности в контексте постколониальной теории Хоми Бабы: «Согласно Бабе, гибридность означает открытое противостояние силам, которые стремятся жестко зафиксировать границы культур и идентичностей» (Ibid.: 208), что в случае музыкальной терапии должно привести к отказу от попыток инкорпорации в институционально разграниченные сферы медицины, психологии и образования, а также от искусственного разделения теории и практики.

В данном случае поиск рефлексивной гибридной идентичности нацелен на очищение, отделение себя от того, что могло бы быть просто смешано. Эта стратегия вполне закономерна, поскольку с самого момента институционализации в послевоенные годы западная музыкальная терапия развивалась как трансграничная гибридная практика, лишенная единого основания и теоретического ядра, подчас с трудом отличимая от родственных практик в рамках стремительно растущего движения New Age. Очищение было тем более необходимо, что некоторые теории и методики, укоренившиеся в собственном поле музыкальной терапии, имели вполне очевидные эзотерические истоки. Так, создатели одного из наиболее интенсивно практикуемых методов музыкальной терапии, Пол Нордофф и Клайв Роббинс, были последователями Рудольфа Штейнера и свои первые терапевтические опыты проводили в антропософском детском доме в Санфилде, что в английском графстве Вурстершир (см.: Ansdell,

отечественная музыкотерапия стала ареной неконтролируемой гибридной активности в силу того, что вплоть до 90-х годов XX века российские ученые — теоретики и практики — исследовали механизмы терапевтического влияния/воздействия музыки *как таковой*, то есть как онтологически недвусмысленного, определенно-го, *чистого* объекта, на другие объекты с не менее четкой и прозрачной онтологией — такие как «человек», «организм», «психика», «мозг», «болезнь», «больной», «психофизиологическая (соматическая, вегетативная) функция», «функциональное состояние», «функциональное нарушение» и др.¹⁹ Поэтому в 1990-е годы, когда институты нормативного контроля за *чистотой* в науке и обществе в целом утратили свою легитимность, на смену стратегиям контролируемого очищения пришли практики спонтанной гибридизации. Место чистых объектов занимают квазиобъекты с «нечеткой» онтологией: музыкальные ритмы Вселенной, астральные тела, биополя, энергии, вибрации, стихии, архетипы. Неустойчивое гибридное единство науки и «духовности» на практике приводит к новым редукциям и размежеваниям, которые нам и предстоит концептуализировать.

Приводить цитаты из интернет-публикаций, авторство которых также является в высшей степени «нечетким», вряд ли целесообразно. С образцами ознакомиться нетрудно — достаточно предложить поисковой системе словосочетания «влияние музыки», «воздействие музыки», «лечение музыкой» или «музыкальная терапия»²⁰. Попытаемся воспроизвести материал в обобщающих формулах, неисчислимы вариации которых составляют содержание гибридных дискурсов терапевтического воздействия музыки:

Pavlicevic, 2010; о собственно антропософской музыкальной терапии см.: Intveen, 2007, 2010; Intveen, Edwards, 2012).

19. Представление о хронологии, количестве и направлениях исследований музыкального воздействия отечественными учеными можно составить, ознакомившись с подробной «Библиографией по музыкальной терапии с середины XIX века до 1987 года» (Клебанер, Синкевич, б. г.).

20. В последнем случае обнаруживаемый поисковыми системами материал гораздо более неоднороден, а гибридные траектории разнообразны и подчас неочевидны. Показателен случай Алисы Апрелевой (страница в русской Википедии — https://ru.wikipedia.org/wiki/Алиса_Апрелева) — инициатора создания проекта «Музтерапевт.Ру». Сайт проекта — <http://muzterapevt.ru>; самописание — «Некоммерческий образовательный проект, направленный на развитие академической (доказательной) музыкальной терапии в России. <...> Алиса Апрелева, МА, ВМ, МТ-ВС, SBD — сертифицированный музыкальный терапевт... член Американской музыкально-терапевтической ассоциации... руководитель клинической практики студентов колледжа Berklee. Окончила музыкальный колледж Berklee (Бостон, США) по специальности „Музыкальный терапевт, психолог“» (<http://muzterapevt.ru/team>; дата доступа: 25.08.2016). В лекциях Апрелевой о музыкальной терапии, прочитанных в Марфо-Мариинской обители весной 2014 года и опубликованных православным порталом «Милосердие» (Апрелева, 2014), нет никаких следов гибридного дискурса, а есть, напротив, очевидная попытка пурификации — дистанцирование от локальных контекстов, риторика новаторства и первопродчества, постоянно демонстрируемые трудности перевода с английского на русский вполне обычных слов и выражений. Однако, например, в интервью Апрелевой светскому portalу «МЕД-инфо» появляются упоминания мистических ритуалов, древних гимнотерапевтических святилищ, исконно-русской колоколотерапии (см.: Плисенкова, 2015). Впрочем, вполне можно предположить, что это авторский или редакторский «тюнинг» исходного текста.

1) Знание о воздействии музыки на человека — очень древнее знание. Наши предки использовали музыку как средство решения самых разных проблем. Они знали, что музыка — одна из самых сильных разновидностей магии. Музыка содержит информацию об устройстве Вселенной — это понимали еще Пифагор и Платон. Древние были прекрасно осведомлены о тайной связи музыкальных тонов, знаков зодиака, цветов радуги, планет, стихий и элементов. В традиционных культурах музыка используется по назначению — как канал связи с высшими мирами; шаманизм и по сей день актуален в качестве эффективной формы музыкотерапии.

2) Музыка творит чудеса: она благотворно воздействует буквально на все органы и системы организма. Главное — найти правильную музыку, поскольку каждый орган вибрирует на своей частоте. Если лень экспериментировать, можно воспользоваться готовыми проверенными решениями: так, колыбельные помогают при бессоннице, Равель лечит алкоголизм, Гендель стабилизирует состояние больных шизофренией, кларнет разгоняет кровь, второй концерт Рахманинова улучшает математические способности, Бах поможет запомнить текст, Шостакович погасит импульсы злобы и раздражения. Самый незаменимый и сильнодействующий препарат «музыкальной аптечки» — Моцарт. Эффект воздействия его волшебной музыки так и называется — «эффект Моцарта»²¹. Вибрации музыки Моцарта совпадают с вибрациями здоровых нейронов.

3) Музыка не только лечит, но и калечит: передозировка Вагнера или Шопена может привести к непредсказуемым последствиям. Тяжелый рок провоцирует депрессию и суицид — недаром среди рокеров так много самоубийц. Причина — негативные вибрации. Некоторые специалисты полагают, что негативными вибрациями заряжена/заражена вся коммерческая музыка без исключения, а также часть классической музыки. Отечественные ученые выяснили, что безусловно положительное воздействие оказывает только духовная музыка, особенно православные песнопения и колокольные звоны.

4) Музыка воздействует не только на человека. Она заставляет растения лучше расти, коров — давать больше молока, кристаллы воды — складываться в красивые снежинки. Дельфины обожают классику. Правильно подобранная музыка убивает вирусы (не важно, внутри человека они находятся или в окружающем пространстве), изгоняет грызунов и прочих вредителей. С другой стороны, рок-музыка замедляет рост растений, уменьшает надои, разрушает кристаллы воды и активизирует вирусы.

5) Музыка действует непосредственно на организм человека, минуя сознание. Для того чтобы лечиться музыкой, не обязательно вслушиваться в нее, пытаться понять ее внутренний смысл. Здесь есть и опасность — мы можем развлекаться под звуки клубной музыки, тогда как ее бешеный ритм незаметно разрушает нас изнутри. Поэтому лучше выбирать проверенную классику — субъективные ощу-

21. См.: Beauvais, 2015.

щения от нее могут быть разными, но объективно она улучшает наше самочувствие, заставляет течь энергию в нужном направлении и синхронизирует наши вибрации с вибрациями космоса.

6) Воздействие музыки обусловлено не свойствами музыки как таковой, но главным образом свойствами звука. Поэтому музыкотерапия не более эффективна, чем, например, лечение звуками природы, колоколотерапия, билотерапия, мантротерапия, молитва или заговор, — все дело в правильных ритмах и вибрациях. Сама музыка — это фон, который может дать дополнительное субъективное ощущение радости или комфорта, но объективный, фиксируемый приборами терапевтический эффект оказывают именно вибрации. Есть даже специальные устройства, которые позволяют получать нужные вибрации без необходимости слушать музыку.

7) Ритмы и вибрации действуют не сами по себе: они переносят *энергию*. Природа этой энергии пока до конца не изучена учеными. Очевидно, она носит более или менее духовный и в то же время космический характер. Энергия переносится не только звуком: она переносится чем угодно. Поэтому музыкотерапия ничем не отличается от других форм терапевтического управления потоками энергии. А уж прослушать диск «Музыка для суставов» или выпить заряженной воды — каждый решает для себя сам. Наверное, лучше сделать и то и другое.

Каков социальный смысл всех этих утверждений?

Во-первых, отношение к музыке, культивируемое в очерченном дискурсивном поле, характеризуется своего рода «потребительским нигилизмом»: для того чтобы использовать Моцарта как средство от мигреней, а Бетховена принимать при дизентерии, совершенно не обязательно знать — и даже, наверное, лучше не знать, — чем в действительности музыка Моцарта отличается от музыки Бетховена или, напротив, в чем они существенно схожи. «Моцарт» и «Бетховен» используются как знаки, денотатом которых являются треки на компакт-дисках с лечебной музыкой. Эту ситуацию было бы неправильно описывать в терминах «невежества» или «бескультурия». Невежество — это когда кто-то не знает того, что ему положено знать по его социальному статусу. Но если иерархия социальных статусов становится «нечеткой», то границы знания, компетентности и социального опыта также размываются. Более того — чтобы успешно ориентироваться в нечетком, гибридном мире, чтобы быть «мобильным в мобильной среде»²², важно не знать каких-то вещей, знание которых служит маркером принадлежности к определен-

22. «Mobilis in mobili» — девиз капитана Немо из романа Жюль Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Ср.: «...формулировать понятие субъекта в эпоху мобилизации удалось не философу, а романисту — Жюлю Верну; дав капитану Немо девиз, своего рода формулу эпохи: MOBILIS IN MOBILI, он с предельной ясностью и всеобщностью демонстрирует, к чему стремиться и что должен делать модернизированный субъект. Смыслом великой флексибилизации является способность осуществлять навигацию в целостности всех достижимых мест, не являясь при этом доступным для фиксации чужих и регистрирующих средств. Самоосуществление субъекта в жидкой стихии: абсолютная свобода предпринимательства, полная анархия» (Слотердаик, 2007: 902).

ной социальной группе и, следовательно, мешает быть социально успешным в пространстве множественных, текучих, гетерогенных сетевых реальностей.

Во-вторых, если в теософском дискурсе онтологическая граница проходит между миром видимым — миром земной музыки, миром природы—культуры, и миром невидимым — миром небесной музыки, миром, который не является ни природой, ни культурой, то в дискурсах терапевтического музыкального воздействия мы обнаруживаем «нечеткие» онтологии: видимый и невидимый миры утрачивают свою онтологическую определенность, и если тут и есть какая-то условная граница, то она проходит между позитивными и негативными вибрациями, между созидательными и разрушительными энергиями. Трудно не заметить, что *в реальности* эта граница прокладывается между «хорошей» и «плохой» музыкой. И снова подчеркнем, что эта ситуация свидетельствует не просто о вкусовщине и обывательских предрассудках, поскольку селекция здесь также становится конститутивно «нечеткой»: по обе стороны границы оказываются не разнокачественные темброакустические феномены, а всего лишь *знаки* музыки — номинативные конструкции «классика», «народная музыка», «рок», «попса». Существенным признаком знака является его *произвольность*: мы никогда не можем быть до конца уверены, какую именно музыку следует считать «классической» и какой рок — по-настоящему «тяжелым». В сочетании с «потребительским нигилизмом» это приводит к селекционному хаосу: мы отбираем что-то, но не знаем, чем *в реальности* является это что-то и чем реальность этого чего-то отличается от реальности чего-то другого — того, что мы отбраковали. Однако этот хаос несколько не мешает, а, напротив, даже помогает ориентироваться в гибридных социальных текстах: если сама реальность становится «нечеткой», то почему бы временно — пока в реальности все не уляжется или не встанет на свои места — не использовать «вторую реальность» знаковых систем в качестве удобного субститута «первой реальности»? Почему бы не считать эту первую реальность временно — *технически* — не существующей?

Именно это — и это «в-третьих» — происходит в интересующих нас гибридных дискурсах. Конструируемый в них мир чистых энергий и космических вибраций — онтологически пустой мир, своего рода «мир без онтологии». К этому миру неприменимы классические онтологические дуальности — явление/сущность, субъект/объект, материя/дух и т. д. Этот мир соотносится с самим собой и воздействует сам на себя — вибрации рождают вибрации, потоки энергии вливаются в другие потоки энергии, образуя нерасчлененный и никем не слышимый белый шум. В этом мире нет никаких объектов: знаки, которые мы используем для ориентации в иллюзорной «реальности», ничего не обозначают, они являются несовершенным, доступным для восприятия образом невоспринимаемых энергий и вибраций. И вновь мы должны предостеречь от простых толкований: эта совершенно буддистская картина мира не является лишь чьим-то частным мировоззрением — она свидетельствует о значимых изменениях, происходящих во вполне *реальной* реальности общественных отношений.

Сансара—нирвана или природа—культура

Первое, что приходит в голову, — объявить этот мир чистых энергий, которые могут как исцелить, так и погубить, метафорой глобального капитализма с его невидимыми финансовыми потоками, пронизывающими все и вся. Этот позднемодерный капиталистический мир может восприниматься как бесчеловечный мир страданий, сансара для миллионов обездоленных, отчужденных как от природы — чистых рек, девственных лесов, плодородных земель, так и от культуры — образования, медицинской помощи, традиционного уклада жизни. Однако выйти из круга сансары способен лишь тот, кто поймет, что сансара есть нирвана, что между ними нет никакой онтологической разницы. Нужно, следовательно, прочувствовать невидимые финансовые энергии как целительные, несущие избавление от страданий, нужно войти с ними в резонанс и начать вибрировать на глобальной финансовой волне.

Такая трактовка, усматривающая в мировоззрении New Age всего лишь идеологию потребительского индивидуализма, не лишена оснований, однако, на наш взгляд, более продуктивен подход, обнаруживающий в гибридных дискурсах терапевтического музыкального воздействия симптоматику мутирующего социального слуха²³ — феномена, который является далеко не только идеологическим.

Чтобы описать этот феномен, вернемся к тому, с чего мы начали. В XVII веке космос умолкает, но начинает звучать социальный мир — культурная общность европейского человечества. Музыка, ставшая универсальным языком этого мира, сегодня носит собирательное название *музыкальной классики*. Если в доновременной модальной музыке человек открывал для себя единство космоса, то посредством новой тональной музыки европейский человек постигает единство социального мира и утверждает себя как социальное существо. Социальный мир наполнен узнаваемыми голосами и общезначимыми интонациями: вместе они образуют публичную социально-акустическую сферу. Эхо голосов социального мира слышится теперь и в мире природы; голоса природы и общества отражаются друг в друге, создавая гибридные связи двух миров. Во второй половине XIX века обнаруживаются симптомы как распада музыкально-интонационного единства европейской культуры, так и деконструкции природы — эха европейского культурного единства. И в природе, и в обществе обнаруживается невидимая, лишенная собственного голоса структура, масштаб которой несопоставим с привычным человеческим масштабом и которая понимается теперь как глубинная сущность наблюдаемых социальных и природных явлений. В каком-то смысле и природа, и культура оказываются иллюзией — реальны лишь атомы, электромагнитные волны, производственные отношения и социальные группы. Позднемодерный чело-

23. Исследования социальных, культурных, экологических размерностей звука/голоса/слуха/слухания сегодня объединяются под рубрикой *sound studies* (см.: Sterne, 2012; Pinch, Bijsterveld, 2012). См. также: Слотердаик, 2005: 492–547, 2010: 380–389; Ганжа, 2012б. В отечественной музыкальной науке тема родства музыкального и социального слуха разрабатывалась в рамках теории интонации (Асафьев, 1971: 210–365; Назайкинский, 1972: 248–336, 1988; Медушевский, 1993; Дашкевич, 2012).

век испытывает постоянное чувство онтологической неуверенности — он что-то видит и что-то слышит вокруг себя, но он уже не может точно сказать, *что именно* он видит и слышит. Окружающее перестает восприниматься всерьез, человек отмахивается от чужих голосов, пытаясь во внутреннем голосе, в потоке внутреннего сознания обрести утраченное единство. Тем самым он культивирует в себе превращенные формы социального слуха — способности понимать социальный смысл поступков и высказываний окружающих людей, и экологического слуха — способности понимать природу в ее единстве с человеческим миром.

Утрата «музыкальной чувствительности к культуре» (Александр, 2013: 68) и к природе легко поддается истолкованию в терминах отчуждения человека от природы и от культуры, духовной нищеты и моральной деградации. Подобное истолкование мы обнаруживаем на страницах «Философии новой музыки» Теодора Адорно (Адорно, 2001а) — точнее, *слишком легко* обнаруживаем. Тезисы Адорно, при первом прочтении, звучат так: условием эффективной репродукции современного общества — общества середины XX века — является систематическое непонимание этим обществом самого себя, осуществляющееся в форме культуриндустрии. Культуриндустрия поглощает и нейтрализует некогда созданные человечеством автономные органы самоистолкования и смыслопорождения, в том числе классическую музыку. Господствующее сегодня любительское представление о понятности классики, в противовес *непонятности* авангарда, — заблуждение, основанное на утрате классической музыкой своей социальной сущности:

...общая социальная тенденция, выжегшая из сознания и подсознания людей ту гуманность, которая некогда лежала в основе расхожего сегодня музыкального достояния, допускает повторение идей гуманности лишь в пустом, ни к чему не обязывающем, церемониале концерта, тогда как философское наследие великой музыки стало достоянием лишь тех, кто презирает наследование. Музыкальная индустрия, унижающая золотой фонд музыки тем, что она восхваляет и гальванизирует его как святыню, лишь подтверждает сам по себе уровень сознания слушателей, для которых добытая ценой отречения гармония венского классицизма и бушующая тоска романтизма превратились всего лишь в рядоположенные и готовые к потреблению предметы интерьера. На самом деле, адекватное прослушивание тех сочинений Бетховена, темы из которых походя насвистываются в метро, требует напряжения много большего, нежели то, что необходимо для прослушивания самой передовой музыки, — напряжения, необходимого для снятия налета фальшивых интерпретаций и ведущих в тупик способов реакции. (Там же: 50–51)

Классическая музыка становится идеологией современного общества, медиумом его ложного самосознания. Полнота смысла, вкладываемая публикой в классическое музыкальное произведение, на деле оборачивается пустой тавтологией, мертвым слепком обезвреженной критической субстанции музыки. Напротив, музыкальный авангард новой венской школы «организованной пустотой смысла... опровергает смысл организованного общества, о котором ничего не желает знать»

(Там же: 65). Адорно полагает, что именно нарочитая «бесмысленность» авангарда, то есть сознательное уклонение от воспроизведения «понятных» музыкальных смыслов, является его подлинным социальным содержанием. Слушатель, не обнаруживая в звучащей музыке классических гармонических ходов, испытывает недоумение и тревогу — симптомы его подлинного, не укорененного в действительности существования. Однако спонтанная программа деидеологизации, невольно реализуемая ранним авангардом, не достигает своей цели: общество отказывается прислушиваться к голосам негативности, предпочитая потреблять денатурированную, лишённую собственного содержания и многократно отражённую в себе «культуру».

Итак, современная публика не способна услышать социальные смыслы классической музыки и не расположена к рефлексии посредством музыки авангардной. Если верить Адорно, современный человек не слышит совсем ничего, он абсолютно лишен музыкально-социального слуха. Такому непродуктивному выводу сопротивляются собственные мысли Адорно, высказанные им в ряде поздних фрагментов, составляющих «Эстетическую теорию» (Адорно, 2001б). Здесь он пишет о все большем сближении современного искусства с природно-прекрасным: никогда не прекращавшиеся попытки искусства «с помощью человеческих средств заставить заговорить нечеловеческое» (Там же: 115) оказываются по-настоящему успешны именно сегодня, когда искусство сопротивляется тенденции «разыскуствления» (Там же: 28–31) и освобождается от всего мешающего ему материально-предметного, в том числе и от так называемого «материала природы», то есть от случайных, фрагментарных внешних впечатлений. Современное искусство

...сливается с природой, как это происходит в наиболее аутентичных творениях Антона Веберна, где чистый тон... обращается в естественно-природный звук — звук, издаваемый... красноречивой природой, воплощая ее язык, а не отображение какого-то ее куска. <...> Может быть, вообще любое выражение, наиболее близкое трансцендирующему началу, вплотную приближается к немоте — так в великих произведениях новой музыки ничто не обладает такой выразительной силой, как умолкающее, затихающее, как... выступающий из плотной ткани образа голый звук... (Там же: 115–117)

Трудно не заметить сходство рассуждений Адорно с гибридной риторикой New Age. «Культура» как сфера материализованных смыслов, лишённых изначальной энергии — критической у Адорно, космической у теософов²⁴, — препятствует стремлению подлинного искусства к манифестации нечеловеческого. Этому же препятствует и материальная «природа» — идеологическое зазеркалье «культуры» у Адорно, низший план бытия, застывшая музыка у теософов. Это двойное препятствие должно быть преодолено, чтобы подлинная природа зазвучала подлинной музыкой. Подлинная природа—музыка, согласно Адорно, — это нечто, трансцендирующее устанавливаемую идеологией культуриндустрии дуальность

24. «Теософов» в собирательном смысле, т. е. «репрезентантов гибридной риторики New Age».

глухой «природы» и бессодержательно-шумной «культуры», нечто, доносящееся до нас абсолютным звуком, тождественным абсолютному беззвучию. Для теософов это — музыка сфер, высший план бытия, первичный космический Тон, мир чистых энергий. Этот мир, как мы видели, также является миром совершенной тишины.

Адорно сложно упрекнуть в эзотеризме, и тем не менее вовсе не случайно его замечание о том, что «числовые игры двенадцатитоновой техники и непреложность ее законов напоминают астрологию, и нельзя считать просто капризом, что многие адепты додекафонии предавались астрологии» (Адорно, 2001а: 127). Мы можем предположить, что если, согласно Адорно, слушатель авангардной музыки и не склонен обнаруживать в ней социально-критический потенциал, то это не потому, что он социально глух, а потому, что он слышит в ней нечто иное — музыку сфер, вибрации Вселенной, трансцендентную тишину. И здесь поклонник Веберна обнаруживает сходство с современным потребителем классики в терапевтических целях: оба стремятся проникнуться чем-то таким, что находится за звучащей музыкой, будь то голос чистой природы или целительная энергия космоса²⁵.

Литература

- Адорно Т. В. (2001а). *Философия новой музыки* / Пер. с нем. Б. М. Скуратова. М.: Логос.
- Адорно Т. В. (2001б). *Эстетическая теория* / Пер. с нем. А. В. Дранова. М.: Республика.

25. Татьяна Чередниченко в книге «Тенденции современной западной музыкальной эстетики» (Чередниченко, 1989) сопоставляет, в частности, тенденцию возрождения идеи спекулятивной музыки и тенденцию социологической трактовки музыкального смысла у Адорно и его последователей. Первая тенденция иллюстрируется цитатами из работ Джосцелина Годвина и Рудольфа Штейнера — это, по сути, и есть анализируемая нами тенденция гибридизации музыкальных дискурсов в рамках движения New Age. Мы ранее называли работы Годвина по пифагорейской музыкальной традиции (Godwin, 1993), оккультным теориям музыки (Godwin, 1995) и истории теософии (Godwin, 2013). Чередниченко цитирует статью Годвина «Возрождение спекулятивной музыки» (Godwin, 1982) и оригинальное немецкое издание лекций Штейнера, на русский перевод которых (Штейнер, б. г.) мы здесь ссылаемся. Согласно Чередниченко, эта тенденция характеризуется антиисторизмом, поскольку здесь «музыкальная форма противостоит истории... как неизменное — изменяющемуся» (Чередниченко, 1989: 68), тогда как в школе Адорно отношения музыки и истории трактуются как амбивалентные. На наш взгляд, Чередниченко допускает неточность: концепция музыки у того же Штейнера декларативно исторична и представляет собой своего рода «эзотерический эволюционизм» (см. поздние лекции Штейнера о музыке, прочитанные в 1923 году: Штейнер, б. г.: 17–43). Кроме того, с нашей точки зрения, не совсем корректно отождествлять концепцию музыки, складывающуюся в рамках данной тенденции, с «теологической концепцией смысла музыки», как это делает Чередниченко.

Наш анализ позволяет утверждать, что эти тенденции — спекулятивная и социологическая — схожи в некоторых важных чертах, а именно в допущении существования некоей подлинной реальности — социальной или космической, — к которой апеллирует некая подлинная музыка. В этом смысле философия музыки Адорно не менее спекулятивна, чем эзотерические теории музыки Рудольфа Штейнера, Сирила Скотта или Дейна Радьяра.

- Александр Дж.* (2013). Смыслы социальной жизни: культурсоциология / Пер. с англ. Г. К. Ольховикова. М.: Праксис.
- Апрелева А.* (2014). Лечить музыкой: лекции о музыкальной терапии Алисы Апрелевой. URL: <https://www.miloserdie.ru/video/lechit-muzykoj-lekcii-o-muzykalnoj-terapii-alisy-aprelevoj-chast-1/> (дата доступа: 29.08.2016).
- Асафьев Б. В.* (1971). Музыкальная форма как процесс. Л.: Музыка.
- Безант А.* (б. г.). Стрoение космоса / Пер. с англ. С. Татариновой. URL: <http://www.theosophy.ru/lib/besant-k.htm> (дата доступа: 29.08.2016).
- Бек У.* (2000). Общество риска: на пути к другому модерну / Пер. с нем. В. Седелника и Н. Федоровой. М.: Прогресс-Традиция.
- Блаватская Е. П.* (2004). Тайная доктрина. Том 3. М.: Эксмо.
- Вебер М.* (1990). Наука как призвание и профессия // *Вебер М.* Избранные произведения / Пер. с нем. М. И. Левиной, А. Ф. Филиппова, П. П. Гайденко. М.: Прогресс. С. 707–735.
- Ганжа А. Г.* (2012а). Идея текстуры и актуальные проблемы онтической медиации // *Столярова О. Е.* (ред.). Онтологии артефактов: взаимодействие «естественных» и «искусственных» компонентов жизненного мира. М.: Дело. С. 135–161.
- Ганжа А. Г.* (2012б). Звонкое, глухое, травестийное: темброакустическое конструирование советского этоса // *Глущенко И. В., Кагарлицкий Б. Ю., Куренной В. А.* (ред.). СССР: жизнь после смерти. М.: Издательский дом ВШЭ. С. 160–171.
- Гендель М.* (2005). Эзотерические принципы здоровья и целительства / Пер. с англ. В. А. Хныгиной и С. П. Евтушенко. М.: ЛИТОМЕД, 2005.
- Герцман Е. В.* (1986). Античное музыкальное мышление. Л.: Музыка.
- Герцман Е. В.* (2003). Пифагорейское музыкознание: начала древнегреческой науки о музыке. СПб.: Гуманитарная академия.
- Городинский В. М.* (1950). Музыка духовной нищеты. М., Л.: Государственное музыкальное издательство.
- Дашкевич В. С.* (2012). Теория интонации. М.: Вест-Консалтинг.
- Клебанер С. Л., Синкевич В. А.* (б. г.) Библиография по музыкальной терапии с середины XIX века до 1987 года. URL: http://muzterapevt.ru/-/Page/Attachment?pageId=4160&path=bibliografia_po_muzykalnoy_terapii_19-20_vek.pdf (дата доступа: 29.08.2016).
- Косарева Л. М.* (1997). Рождение науки Нового времени из духа культуры. М.: Институт психологии РАН.
- Латур Б.* (2006). Нового Времени не было: эссе по симметричной антропологии / Пер. с франц. Д. Я. Калугина. СПб.: Изд-во ЕУСПб.
- Лобанова М. Н.* (2012). Теософ — теург — мистик — маг: Александр Скрябин и его время. СПб.: Петроглиф.
- Лосев А. Ф.* (1995). Мировоззрение Скрябина // *Лосев А. Ф.* Форма — Стиль — Выражение. М.: Мысль. С. 733–779.
- Мартынов В. И.* (2002). Конец времени композиторов. М.: Русский путь.

- Маффесоли М.* (1991). Околдованность мира или божественное социальное / Пер. с франц. И. И. Звонаревой // *Винокуров В. В., Филиппов А. Ф.* (ред.). Социо-Логос. М.: Прогресс. С. 274–283.
- Медушевский В. В.* (1993). Интонационная форма музыки: исследование. М.: Композитор.
- Назайкинский Е. В.* (1972). О психологии музыкального восприятия. М.: Музыка.
- Назайкинский Е. В.* (1988). Звуковой мир музыки. М.: Музыка.
- Паин Э. А.* (2015). Магия тоталитаризма // Политическая концептология. № 4. С. 93–101.
- Петрушин В. И.* (2008). Музыкальная психология. М.: Академический проект, Трикта.
- Плисенкова О.* (2015). Алиса Априлева: «Универсальной лечебной музыки не существует». URL: <http://med-info.ru/content/view/6941> (дата доступа: 29.08.2016).
- Радьяр Д.* (б. г.). Магия тона и искусство музыки / Пер. с англ. К. Кюлленен. URL: <http://www.theosophy.ru/lib/mag-tona.htm> (дата доступа: 29.08.2016).
- Скотт С.* (2005). Окультизм и воздействие музыки / Пер. с англ. Н. А. Шнайдер. М.: РИПОЛ-классик.
- Слотердайк П.* (2005). Сферы: Макросферология. Том I: Пузыри / Пер. с нем. К. В. Лощевского. СПб.: Наука.
- Слотердайк П.* (2007). Сферы: Макросферология. Том II: Глобусы / Пер. с нем. К. В. Лощевского. СПб.: Наука.
- Слотердайк П.* (2010). Сферы: Плюральная сферология. Том III: Пена / Пер. с нем. К. В. Лощевского. СПб.: Наука.
- Чередниченко Т. В.* (1989). Тенденции современной западной музыкальной эстетики: к анализу методологических парадоксов науки о музыке. М.: Музыка.
- Штейнер Р.* (б. г.). Сущность музыкального и переживание музыкальных тонов человеком. URL: http://www.bdn-steiner.ru/cat/Ga_Rus/283.doc (дата доступа: 29.08.2016).
- Adorno T. W.* (1998). *Beethoven: The Philosophy of Music* / Transl. by E. Jephcott. Stanford: Stanford University Press.
- Aigen K. S.* (2014). *The Study of Music Therapy: Current Issues and Concepts*. New York: Routledge.
- Allen L.* (2003). Commerce, Politics, and Musical Hybridity: Vocalizing Urban Black South African Identity during the 1950s // *Ethnomusicology*. Vol. 47. № 2. P. 228–249.
- Ansdell G., Pavlicevic M.* (2010). Practicing «Gentle Empiricism»: The Nordoff Robbins Research Heritage // *Music Therapy Perspectives*. Vol. 28. № 2. P. 131–139.
- Back L.* (2000). Voices of Hate, Sounds of Hybridity: Black Music and the Complexities of Racism // *Black Music Research Journal*. Vol. 20. № 2. P. 127–149.
- Barker A.* (2004). *Scientific Method in Ptolemy's Harmonics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Barker A.* (2007). *The Science of Harmonics in Classical Greece*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Barker A. (ed.). (1989). *Greek Musical Writings, Vol. II: Harmonic and Acoustic Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bauman Z. (1992). *Intimations of Postmodernity*. London: Routledge.
- Beauvais C. (2015). The «Mozart Effect»: A Sociological Reappraisal // *Cultural Sociology*. Vol. 9. № 2. P. 185–202.
- Berman M. (1981). *The Reenchantment of the World*. Ithaca: Cornell University Press.
- Bhabha H. (1990). The Third Space: Interview with Homi Bhabha // *Rutherford J. (ed.). Identity: Community, Culture, Difference*. London: Lawrence & Wishart. P. 207–221.
- Bhabha H. (1994). *The Location of Culture*. London: Routledge.
- Born G., Hesmondhalgh D. (eds.). (2000). *Western Music and its Others: Difference, Representation, and Appropriation in Music*. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.
- Brah A., Coombes A. E. (eds.). (2000). *Hybridity and its Discontents: Politics, Science, Culture*. London: Routledge.
- Bruscia K. E. (2014). *Defining Music Therapy*. University Park: Barcelona Publishers.
- Buch E. (2003). *Beethoven's Ninth: A Political History* / Transl. by R. Miller. Chicago: University of Chicago Press.
- Bunt L., Stige B. (2014). *Music Therapy: An Art Beyond Words*. London: Routledge.
- Butler R. K. (2013). *The Influence of Theosophy on the Tradition of Speculative and Esoteric Theories of Music*. PhD Thesis. Brisbane: Griffith University.
- Chang E. Y. L. (2007). The Daiku Phenomenon: Social and Cultural Influences of Beethoven's Ninth Symphony in Japan // *Asia Europe Journal*. Vol. 5. № 1. P. 93–114.
- Charteris J. (2016). Envisaging Agency as Discourse Hybridity: A Butlerian Analysis of Secondary Classroom Discourses // *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*. Vol. 37. № 2. P. 189–203.
- Chu Y., Leung E. (2013). Remapping Hong Kong Popular Music: Covers, Localisation and the Waning Hybridity of Cantopop // *Popular Music*. Vol. 32. № 1. P. 65–78.
- Chua D. K. L. (2009). Beethoven's Other Humanism // *Journal of the American Musicological Society*. Vol. 62. № 3. P. 571–645.
- Collins S. (2013). *The Aesthetic Life of Cyril Scott*. Woodbridge: The Boydell Press.
- Dennis D. B. (1996). *Beethoven in German Politics, 1870–1989*. New Haven: Yale University Press.
- Deutsch D. (ed.). (2013). *The Psychology of Music*. London: Academic Press.
- Duff P. A. (2003). Intertextuality and Hybrid Discourses: The Infusion of Pop Culture in Educational Discourse // *Linguistics and Education*. Vol. 14. № 3–4. P. 231–276.
- During S. (2002). *Modern Enchantments: The Cultural Power of Secular Magic*. Cambridge: Harvard University Press.
- Edwards J. (ed.). (2016). *The Oxford Handbook of Music Therapy*. Oxford: Oxford University Press.
- Elkins J., Morgan D. (eds.). (2009). *Re-Enchantment*. New York: Routledge.
- Ertan D. (2009). *Dane Rudhyar: His Music, Thought, and Art*. Rochester: University of Rochester Press.

- Gane N.* (2002). *Max Weber and Postmodern Theory: Rationalization versus Re-enchantment*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Gilhooly J.* (2010). *Enchanted Objects: Agency in the Magic Act and Contemporary Art Practice*. PhD Thesis. Canterbury: University for the Creative Arts.
- Gjerdingen R.* (2002). *The Psychology of Music* // *Christensen T.* (ed.). *The Cambridge History of Western Music Theory*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 956–981.
- Godwin J.* (1982). *The Revival of Speculative Music* // *The Musical Quarterly*. Vol. 68. № 3. P. 373–389.
- Godwin J.* (ed.). (1993). *The Harmony of the Spheres: A Sourcebook of the Pythagorean Tradition in Music*. Rochester: Inner Traditions International.
- Godwin J.* (1995). *Music and the Occult: French Musical Philosophies, 1750–1950*. Rochester: University of Rochester Press.
- Godwin J.* (2013). *Blavatsky and the First Generation of Theosophy* // *Hammer O., Rothstein M.* (eds.). *Handbook of the Theosophical Current*. Leiden: Brill. P. 15–31.
- Gozza P.* (ed.). (2000). *Number to Sound: The Musical Way to the Scientific Revolution*. Berlin: Springer.
- Graham G.* (2007). *The Re-enchantment of the World: Art versus Religion*. New York: Oxford University Press.
- Griffin D. R.* (ed.). (1988). *The Reenchantment of Science: Postmodern Proposals*. Albany: State University of New York Press.
- Haas R., Brandes V.* (eds.). (2009). *Music that Works: Contributions of Biology, Neurophysiology, Psychology, Sociology, Medicine and Musicology*. Berlin: Springer.
- Hallam S., Cross I., Thaut M.* (eds.). (2016). *The Oxford Handbook of Music Psychology*. Oxford: Oxford University Press.
- Hanrahan M. U.* (2005). *Highlighting Hybridity: A Critical Discourse Analysis of Teacher Talk in Science Classrooms* // *Science Education*. Vol. 90. № 1. P. 8–43.
- Hargreaves D. J., Miell D., MacDonald R.* (eds.). (2012). *Musical Imaginations: Multidisciplinary Perspectives on Creativity, Performance, and Perception*. Oxford: Oxford University Press.
- Harnish D.* (2013). *The Hybrid Music and Cosmopolitan Scene of Balinese Guitarist I Wayan Balawan* // *Ethnomusicology Forum*. Vol. 22. № 2. P. 188–209.
- Höyng P.* (2011). *Ambiguities of Violence in Beethoven's Ninth through the Eyes of Stanley Kubrick's A Clockwork Orange* // *The German Quarterly*. Vol. 84. № 2. P. 159–176.
- Intveen A.* (2007). *Musical Instruments in Anthroposophical Music Therapy with Reference to Rudolf Steiner's Model of the Threefold Human Being* // *Voices: A World Forum for Music Therapy*. Vol. 7. № 3. URL: <https://voices.no/index.php/voices/article/view/547/408> (дата доступа: 29.08.2016).
- Intveen A.* (2010). «The Piano is a Wooden Box with False Teeth»: Perspectives in Anthroposophical Music Therapy as Revealed through Interviews with Two Expert Practitioners // *The Arts in Psychotherapy*. Vol. 37. № 5. P. 370–377.

- Intveen A., Edwards J.* (2012). The History and Basic Tenets of Anthroposophical Music Therapy // *Voices: A World Forum for Music Therapy*. Vol. 12. № 2. URL: <https://voices.no/index.php/voices/article/view/646/548> (дата доступа: 29.08.2016).
- Joseph M., Fink J. N.* (eds.). (1999). *Performing Hybridity*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Kamberelis G.* (2001). Producing Heteroglossic Classroom (Micro)cultures Through Hybrid Discourse Practice // *Linguistics and Education*. Vol. 12. № 1. P. 85–125.
- Kamberelis G., Wehunt M. D.* (2012). Hybrid Discourse Practice and Science Learning // *Cultural Studies of Science Education*. Vol. 7. № 3. P. 505–534.
- Kapchan D. A., Strong P. T.* (1999). Theorizing the Hybrid // *Journal of American Folklore*. Vol. 112. № 445. P. 239–253.
- Keshet Y.* (2010). Hybrid Knowledge and Research on the Efficacy of Alternative and Complementary Medicine Treatments // *Social Epistemology*. Vol. 24. № 4. P. 331–347.
- Keshet Y.* (2011). Energy Medicine and Hybrid Knowledge Construction: The Formation of New Cultural-Epistemological Rules of Discourse // *Cultural Sociology*. Vol. 5. № 4. P. 501–518.
- Kettle M.* (2005). Critical Discourse Analysis and Hybrid Texts: Analysing English as a Second Language (ESL) // *Melbourne Studies in Education*. Vol. 46. № 2. P. 87–105.
- Kraidy M. M.* (2005). *Hybridity, or the Cultural Logic of Globalization*. Philadelphia: Temple University Press.
- Law J.* (ed.). (1991). *A Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology and Domination*. London: Routledge.
- Leadbeater C. W.* (1896). *The Devachanic Plane: Its Characteristics and Inhabitants*. London: Theosophical Publishing Society.
- Levin F. R.* (2009). *Greek Reflections on the Nature of Music*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Levine G.* (2006). *Darwin Loves You: Natural Selection and the Re-enchantment of the World*. Princeton: Princeton University Press.
- Linke G., Möller H.* (2009). Towards a Trans-National Indian Identity? Versions of Hybridity in Bollywood Film and Film Music // *Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik*. Vol. 57. № 1. P. 27–46.
- Maclean K.* (2015). *Cultural Hybridity and the Environment: Strategies to Celebrate Local and Indigenous Knowledge*. Berlin: Springer.
- Malloch S., Trevarthen C.* (eds.). (2009). *Communicative Musicality: Exploring the Basis of Human Companionship*. Oxford: Oxford University Press.
- Mathew N.* (2013). *Political Beethoven*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mendoza-Zuany R. G.* (2009). Building Hybrid Knowledge at the Intercultural University of Veracruz, Mexico: An Anthropological Study of Indigenous Contexts // *Intercultural Education*. Vol. 20. № 3. P. 211–218.
- Middleton J., Beebe R.* (2002). The Racial Politics of Hybridity and «Neo-eclecticism» in Contemporary Popular Music // *Popular Music*. Vol. 21. № 2. P. 159–172.

- Miell D., MacDonald R., Hargreaves D. J.* (eds.). (2005). *Musical Communication*. Oxford: Oxford University Press.
- Mora M.* (2011). *Negotiation and Hybridity in New Balinese Music: Sanggar Bona Alit: A Case Study // Perfect Beat*. Vol. 12. № 1. P. 45–68.
- Morris D.* (2011). *Hick-Hop Hooray? «Honky Tonk Badonkadonk», Musical Genre, and the Misrecognitions of Hybridity // Critical Studies in Media Communication*. Vol. 28. № 5. P. 466–488.
- Ng W. B.* (2003). *Japanese Popular Music in Singapore and the Hybridization of Asian Music // Asian Music*. Vol. 34. № 1. P. 1–18.
- Nguyen T. P. L., Seddaiu G., Roggero P. P.* (2014). *Hybrid Knowledge for Understanding Complex Agri-environmental Issues: Nitrate Pollution in Italy // International Journal of Agricultural Sustainability*. Vol. 12. № 2. P. 164–182.
- North A., Hargreaves D. J.* (2008). *The Social and Applied Psychology of Music*. Oxford: Oxford University Press.
- Pacini Hernandez D.* (2010). *Oye Como Va! Hybridity and Identity in Latino Popular Music*. Philadelphia: Temple University Press.
- Pesic P.* (2014). *Music and the Making of Modern Science*. Cambridge: The MIT Press.
- Petsche J. J. M.* (2015). *Gurdjieff and Music: The Gurdjieff/de Hartmann Piano Music and Its Esoteric Significance*. Leiden: Brill.
- Pinch T., Bijsterveld K.* (eds.). (2012). *The Oxford Handbook of Sound Studies*. New York: Oxford University Press.
- Puri S.* (2004). *The Caribbean Postcolonial: Social Equality, Post/Nationalism, and Cultural Hybridity*. New York: Palgrave Macmillan.
- Radocy R. E., Boyle J. D.* (2003). *Psychological Foundations of Musical Behavior*. Springfield: Charles C. Thomas.
- Reid K. A., Williams K. J. H., Paine M. S.* (2011). *Hybrid Knowledge: Place, Practice, and Knowing in a Volunteer Ecological Restoration Project // Ecology and Society*. Vol. 16. № 3. Art. 19.
- Ritzer G.* (2005). *Enchanting a Disenchanted World: Revolutionizing the Means of Consumption*. Thousand Oaks: Pine Forge Press.
- Roberts R.* (2008). *Two Sides of Frenchmen Street and New Orleans Hybrid Music: The Panorama Jazz Band and the Zydepunks // Popular Music and Society*. Vol. 31. № 2. P. 201–212.
- Rothfarb L.* (2002). *Energetics // Christensen T.* (ed.). *The Cambridge History of Western Music Theory*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 927–955.
- Rumph S.* (2004). *Beethoven after Napoleon: Political Romanticism in the Late Works*. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.
- Schmidt J.* (2005). *«Not These Sounds»: Beethoven at Mauthausen // Philosophy and Literature*. Vol. 29. № 1. P. 146–163.
- Solomon M.* (2003). *Late Beethoven: Music, Thought, Imagination*. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.

- Spitzer L.* (1944). *Classical and Christian Ideas of World Harmony: Prolegomena to an Interpretation of the Word «Stimmung»: Part I // Traditio. Vol. 2. P. 409–464.*
- Spitzer L.* (1945). *Classical and Christian Ideas of World Harmony: Prolegomena to an Interpretation of the Word «Stimmung»: Part II // Traditio. Vol. 3. P. 307–364.*
- Stephenson B.* (1994). *The Music of the Heavens: Kepler's Harmonic Astronomy.* Princeton: Princeton University Press.
- Sterne J.* (ed.). (2012). *The Sound Studies Reader.* Abingdon: Routledge.
- Stiegler B.* (2014). *The Re-Enchantment of the World: The Value of Spirit against Industrial Populism / Transl. by T. Arthur.* London, New York: Bloomsbury Academic.
- Stockhammer P. W.* (ed.). (2012). *Conceptualizing Cultural Hybridization: A Transdisciplinary Approach.* Berlin: Springer.
- Stratton J.* (2014). *Judge Dread: Music Hall Traditionalist or Postcolonial Hybrid // Contemporary British History. Vol. 28. № 1. P. 81–102.*
- Tame D.* (1988). *The Secret Power of Music.* Wellingborough: The Aquarian Press.
- Tan S., Pfordresher P., Harré R.* (2010). *Psychology of Music: From Sound to Significance.* Hove: Psychology Press.
- Wigram T., Pedersen I. N., Bonde L. O.* (2002). *A Comprehensive Guide to Music Therapy: Theory, Clinical Practice, Research and Training.* London and Philadelphia: Jessica Kingsley.
- Wuider L.* (ed.). (2010). *Music and Esotericism.* Leiden: Brill.
- Xu J., Grumbine R. E.* (2014). *Integrating Local Hybrid Knowledge and State Support for Climate Change Adaptation in the Asian Highlands // Climatic Change. Vol. 124. № 1. P. 93–104.*
- Young R. J. C.* (1995). *Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race.* London: Routledge.

Culture as Obstacle: Demusicalization of the World in the Hybrid Discourses of the Effects of Music

Anna G. Ganzha

Candidate of Sciences, Associate Professor, School of Cultural Studies, Faculty of Humanities, National Research University Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: ann.ganzha@gmail.com

The article problematizes the relationship between music, nature, and culture in the heterogeneous discourse of the therapeutic effects of music and in Adorno's critical theory of music. To determine the nature of this relationship, the article refers to the conceptual metaphors and ontological intuitions of the actor-network theory (ANT). Using ANT, the article articulates the concept of "hybrid discourse" that differs from the related concepts of social semiotics and postcolonial theory. This concept is used in a lesser degree to describe local communicative

practices that mixes different languages, sociolects, ethnolects and functional styles of speech, and used in a higher degree to describe discursive constructions revealing the symptoms of hybrid activity on the borders of nature and culture. The article analyses the discursive practices of the New Age movement that invokes music, from theosophy in the late XIX century to modern esoteric-therapeutic narratives. In these discursive practices, we find the significant combination of pseudo-religious re-enchantment of the world and its radical nihilistic “de-musicalization” (in the terminology of Leo Spitzer). In hybrid esoteric discourses, the modern socio-acoustic texture of nature—culture is neutralized in favor of transcendent reality of the un-human. In Adorno’s critical theory, ontological dualities are synthesized into the ideological totality of the culture industry. It is only in the early vanguard of the Second Viennese School that Adorno discovers the ghostly possibility of an exit from culture industry, achieving the true nature of music and non-alienated sociality.

Keywords: actor-network theory, hybrid discourse, philosophy of music, theosophy, music therapy, critical theory, disenchantment

References

- Adorno T. W. (1998) *Beethoven: The Philosophy of Music*, Stanford: Stanford University Press.
- Adorno T. W. (2001) *Filosofija novoj muzyki* [Philosophy of New Music], Moscow: Logos.
- Adorno T. W. (2001) *Jesteticheseskaja teorija* [Aesthetic Theory], Moscow: Respublika.
- Aigen K. S. (2014) *The Study of Music Therapy: Current Issues and Concepts*, London: Routledge.
- Alexander J. (2013) *Smysly social'noj zhizni: Kul'tursociologija* [The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology], Moscow: Praksis.
- Allen L. (2003) Commerce, Politics, and Musical Hybridity: Vocalizing Urban Black South African Identity during the 1950s. *Ethnomusicology*, vol. 47, no 2, pp. 228–249.
- Ansdell G., Pavlicevic M. (2010) Practicing “Gentle Empiricism”: The Nordoff Robbins Research Heritage. *Music Therapy Perspectives*, vol. 28, no 2, pp. 131–139.
- Apreleva A. (2014) Lechit' muzykoj: lekcii o muzykal'noj terapii Alisy Aprelevoj [To Treat by Music: Alisa Apreleva's Lectures on Musical Therapy]. Available at: <https://www.miloserdie.ru/video/lechit-muzykoj-lekcii-o-muzykalnoj-terapii-alisy-aprelevoj-chast-1/> (accessed 29 August 2016).
- Asafyev B. V. (1971) *Muzykal'naja forma kak process* [Musical Form as Process], Leningrad: Muzyka.
- Back L. (2000) Voices of Hate, Sounds of Hybridity: Black Music and the Complexities of Racism. *Black Music Research Journal*, vol. 20, no 2, pp. 127–149.
- Barker A. (2004) *Scientific Method in Ptolemy's Harmonics*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Barker A. (2007) *The Science of Harmonics in Classical Greece*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Barker A. (ed.) (1989) *Greek Musical Writings, Volume II: Harmonic and Acoustic Theory*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Bauman Z. (1992) *Intimations of Postmodernity*, London: Routledge.
- Beauvais C. (2015) The “Mozart Effect”: A Sociological Reappraisal. *Cultural Sociology*, vol. 9, no 2, pp. 185–202.
- Beck U. (2000) *Obshchestvo riska: na puti k drugomu modernu* [Risk Society: Towards a New Modernity], Moscow: Progress-Tradition.
- Berman M. (1981) *The Reenchantment of the World*, Ithaca: Cornell University Press.
- Besant A. (s. a.) Stroenie kosmosa [The Building of the Kosmos]. Available at: <http://www.theosophy.ru/lib/besant-k.htm> (accessed 29 August 2016).
- Bhabha H. (1990) The Third Space: Interview with Homi Bhabha. *Identity: Community, Culture, Difference* (ed. J. Rutherford), London: Lawrence & Wishart, pp. 207–221.
- Bhabha H. (1994) *The Location of Culture*, London: Routledge.
- Blavatsky H. P. (2004) Tajnaja doktrina. Tom 3 [The Secret Doctrine, Volume 3], Moscow: EKSMO.
- Born G., Hesmondhalgh D. (eds.) (2000) *Western Music and its Others: Difference, Representation, and Appropriation in Music*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Brah A., Coombes A. E. (eds.) (2000) *Hybridity and its Discontents: Politics, Science, Culture*, London: Routledge.

- Bruscia K. E. (2014) *Defining Music Therapy*, University Park: Barcelona Publishers.
- Buch E. (2003) *Beethoven's Ninth: A Political History*, Chicago: University of Chicago Press.
- Bunt L., Stige B. (2014) *Music Therapy: An Art Beyond Words*, London: Routledge.
- Butler R. K. (2013) *The Influence of Theosophy on the Tradition of Speculative and Esoteric Theories of Music* (PhD Thesis), Brisbane: Griffith University.
- Chang E. Y. L. (2007) The Daiku Phenomenon: Social and Cultural Influences of Beethoven's Ninth Symphony in Japan. *Asia Europe Journal*, vol. 5, no 1, pp. 93–114.
- Charteris J. (2016) Envisaging Agency as Discourse Hybridity: A Butlerian Analysis of Secondary Classroom Discourses. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, vol. 37, no 2, pp. 189–203.
- Cherednichenko T. (1989) *Tendencii sovremennoj zapadnoj muzykal'noj jestetiki: k analizu metodologicheskikh paradoksov nauki o muzyke* [Trends in Modern Western Musical Aesthetics: Towards the Analysis of Methodological Paradoxes of the Science of Music], Moscow: Muzyka.
- Chu Y., Leung E. (2013) Remapping Hong Kong Popular Music: Covers, Localisation and the Waning Hybridity of Cantopop. *Popular Music*, vol. 32, no 1, pp. 65–78.
- Chua D. K. L. (2009) Beethoven's Other Humanism. *Journal of the American Musicological Society*, vol. 62, no 3, pp. 571–645.
- Collins S. (2013) *The Aesthetic Life of Cyril Scott*, Woodbridge: The Boydell Press.
- Dashkevich V. (2012) *Teorija intonacii* [The Theory of Intonation], Moscow: Vest-Konsalting.
- Dennis D. B. (1996) *Beethoven in German Politics, 1870–1989*, New Haven: Yale University Press.
- Deutsch D. (ed.) (2013) *The Psychology of Music*, London: Academic Press.
- Duff P. A. (2003) Intertextuality and Hybrid Discourses: The Infusion of Pop Culture in Educational Discourse. *Linguistics and Education*, vol. 14, no 3–4, pp. 231–276.
- During S. (2002) *Modern Enchantments: The Cultural Power of Secular Magic*, Cambridge: Harvard University Press.
- Edwards J. (ed.) (2016) *The Oxford Handbook of Music Therapy*, Oxford: Oxford University Press.
- Elkins J., Morgan D. (eds.) (2009) *Re-Enchantment*, New York: Routledge.
- Ertan D. (2009) *Dane Rudhyar: His Music, Thought, and Art*, Rochester: University of Rochester Press.
- Gane N. (2002) *Max Weber and Postmodern Theory: Rationalization versus Re-enchantment*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Ganzha A. (2012) Ideja tekstury i aktual'nye problemy onticheskoy mediacii [The Concept of Texture and Some Actual Problems of Ontic Mediation]. *Ontologii artefaktov: vzaimodejstvie "estestvennyh" i "iskusstvennyh" komponentov zhiznennogo mira* [Ontologies of Artefacts: Interrelations between "Natural" and "Artificial" Components of the Lifeworld] (ed. O. Stoliarova), Moscow: Delo, pp. 135–161.
- Ganzha A. (2012) Zvonkoe, gluhoe, travestijnoe: tembroakusticheskoe konstruirovanie sovetskogo jetosa [Voiced, Voiceless, Travesti: Acoustic Design of the Soviet Ethos]. *SSSR: zhizn' posle smerti* [USSR: The Afterlife] (eds. I. Gluschenko, B. Kagarlicky, V. Kurennoy), Moscow: HSE, pp. 160–171.
- Gercman E. (1986) *Antichnoe muzykal'noe myshlenie* [Ancient Musical Thinking], Leningrad: Muzyka.
- Gercman E. (2003) *Pifagorejskoe muzykoznanie: nachala drevnegrecheskoj nauki o muzyke* [Pythagorean Musicology: The Beginning of the Ancient Greek Science of Music], Saint Petersburg: Gumanitarnaya akademiya.
- Gilhooly J. (2010) *Enchanted Objects: Agency in the Magic Act and Contemporary Art Practice* (PhD Thesis), Canterbury: University for the Creative Arts.
- Gjerdingen R. (2002) The Psychology of Music. *The Cambridge History of Western Music Theory* (ed. T. Christensen), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 956–981.
- Godwin J. (1982) The Revival of Speculative Music. *The Musical Quarterly*, vol. 68, no 3, pp. 373–389.
- Godwin J. (ed.) (1993) *The Harmony of the Spheres: A Sourcebook of the Pythagorean Tradition in Music*, Rochester: Inner Traditions International.
- Godwin J. (1995) *Music and the Occult: French Musical Philosophies, 1750–1950*, Rochester: University of Rochester Press.
- Godwin J. (2013) Blavatsky and the First Generation of Theosophy. *Handbook of the Theosophical Current* (eds. O. Hammer, M. Rothstein), Leiden: Brill, pp. 15–31.

- Gorodinsky V. (1950) *Muzyka duhovnoj nishhety* [Music of Moral Nullity], Moscow and Leningrad: Gosudarstvennoe muzykalnoe izdatelstvo.
- Gozza P. (ed.) (2000) *Number to Sound: The Musical Way to the Scientific Revolution*, Berlin: Springer.
- Graham G. (2007) *The Re-enchantment of the World: Art versus Religion*, New York: Oxford University Press.
- Griffin D. R. (ed.) (1988) *The Reenchantment of Science: Postmodern Proposals*, Albany: State University of New York Press.
- Haas R., Brandes V. (eds.) (2009) *Music that Works: Contributions of Biology, Neurophysiology, Psychology, Sociology, Medicine and Musicology*, Berlin: Springer.
- Hallam S., Cross I., Thaut M. (eds.) (2016) *The Oxford Handbook of Music Psychology*, Oxford: Oxford University Press.
- Hanrahan M. U. (2005) Highlighting Hybridity: A Critical Discourse Analysis of Teacher Talk in Science Classrooms. *Science Education*, vol. 90, no 1, pp. 8–43.
- Hargreaves D. J., Miell D., MacDonald R. (eds.) (2012) *Musical Imaginations: Multidisciplinary Perspectives on Creativity, Performance, and Perception*, Oxford: Oxford University Press.
- Harnish D. (2013) The Hybrid Music and Cosmopolitan Scene of Balinese Guitarist I Wayan Balawan. *Ethnomusicology Forum*, vol. 22, no 2, pp. 188–209.
- Heindel M. (2005) *Jezotericheskie principy zdorov'ja i celitel'stva* [Occult Principles of Health and Healing], Moscow: LITOMED.
- Höyng P. (2011) Ambiguities of Violence in Beethoven's Ninth through the Eyes of Stanley Kubrick's *A Clockwork Orange*. *The German Quarterly*, vol. 84, no 2, pp. 159–176.
- Intveen A. (2007) Musical Instruments in Anthroposophical Music Therapy with Reference to Rudolf Steiner's Model of the Threefold Human Being. *Voices: A World Forum for Music Therapy*, vol. 7, no 3. Available at: <https://voices.no/index.php/voices/article/view/547/408> (accessed 29 August 2016).
- Intveen A. (2010) "The Piano is a Wooden Box with False Teeth": Perspectives in Anthroposophical Music Therapy as Revealed through Interviews with Two Expert Practitioners. *The Arts in Psychotherapy*, vol. 37, no 5, pp. 370–377.
- Intveen A., Edwards J. (2012) The History and Basic Tenets of Anthroposophical Music Therapy. *Voices: A World Forum for Music Therapy*, vol. 12, no 2. Available at: <https://voices.no/index.php/voices/article/view/646/548> (accessed 29 August 2016).
- Joseph M., Fink J. N. (eds.) (1999) *Performing Hybridity*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Kamberelis G. (2001) Producing Heteroglossic Classroom (Micro)cultures Through Hybrid Discourse Practice. *Linguistics and Education*, vol. 12, no 1, pp. 85–125.
- Kamberelis G., Wehunt M. D. (2012) Hybrid Discourse Practice and Science Learning. *Cultural Studies of Science Education*, vol. 7, no 3, pp. 505–534.
- Kapchan D. A., Strong P. T. (1999) Theorizing the Hybrid. *Journal of American Folklore*, vol. 112, no 445, pp. 239–253.
- Keshet Y. (2010) Hybrid Knowledge and Research on the Efficacy of Alternative and Complementary Medicine Treatments. *Social Epistemology*, vol. 24, no 4, pp. 331–347.
- Keshet Y. (2011) Energy Medicine and Hybrid Knowledge Construction: The Formation of New Cultural-Epistemological Rules of Discourse. *Cultural Sociology*, vol. 5, no 4, pp. 501–518.
- Kettle M. (2005) Critical Discourse Analysis and Hybrid Texts: Analysing English as a Second Language (ESL). *Melbourne Studies in Education*, vol. 46, no 2, pp. 87–105.
- Klebaner S., Sinkevich V. (s. a.) Bibliografija po muzykal'noj terapii s serediny XIX veka do 1987 goda [Bibliography on Music Therapy from the Mid-Nineteenth Century until 1987]. Available at: http://muzterapevt.ru/-/Page/Attachment?pageld=4160&path=bibliografija_po_muzykalnoy_terapii_19-20_vek.pdf (accessed 29 August 2016).
- Kosareva L. (1997) *Rozhdenie nauki Novogo vremeni iz duha kul'tury* [The Birth of Modern Science from the Spirit of Culture], Moscow: Institute of Psychology RAS.
- Kraidy M. M. (2005) *Hybridity, or the Cultural Logic of Globalization*, Philadelphia: Temple University Press.
- Latour B. (2006) *Novogo Vremeni ne bylo. Jesse po simmetrichnoj antropologii* [We Have Never Been Modern: An Essay on Symmetric Anthropology], Saint Petersburg: EUSPb Press.

- Law J. (ed.) (1991) *A Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology and Domination*, London: Routledge.
- Leadbeater C. W. (1896) *The Devachanic Plane: Its Characteristics and Inhabitants*, London: Theosophical Publishing Society.
- Levin F. R. (2009) *Greek Reflections on the Nature of Music*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Levine G. (2006) *Darwin Loves You: Natural Selection and the Re-enchantment of the World*, Princeton: Princeton University Press.
- Linke G., Möller H. (2009) Towards a Trans-National Indian Identity? Versions of Hybridity in Bollywood Film and Film Music. *Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik*, vol. 57, no 1, pp. 27–46.
- Lobanova M. N. (2012) *Teosof – teurg – mistik – mag: Aleksandr Skrjabin i ego vremena* [Theosophist — Theurgist — Mystic — Magician: Alexander Scriabin and His Time], Saint Petersburg: Petroglif.
- Losev A. F. (1995) Mirovozzrenie Skrjabina [Weltanschauung of Scriabin]. *Forma — Stil' — Vyrazhenie* [Form – Style – Expression], Moscow: Mysl', pp. 733–779.
- Maclean K. (2015) *Cultural Hybridity and the Environment: Strategies to Celebrate Local and Indigenous Knowledge*, Berlin: Springer.
- Maffesoli M. (1991) Okoldovannost' mira ili bozhestvennoe social'noe [The Reenchantment of the World: The Social Divine]. *Socio-Logos* [Socio-Logos] (eds. V. Vinokurov, A. Filippov), Moscow: Progress, pp. 274–283.
- Malloch S., Trevarthen C. (eds.) (2009) *Communicative Musicality: Exploring the Basis of Human Companionship*, Oxford: Oxford University Press.
- Martynov V. (2002) *Konec vremeni kompozitorov* [The End of Time of Composers], Moscow: Russky put.
- Mathew N. (2013) *Political Beethoven*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Medushevsky V. (1993) *Intonacionnaja forma muzyki: Issledovanie* [Intonational Form of Music: A Study], Moscow: Kompozitor.
- Mendoza-Zuany R. G. (2009) Building Hybrid Knowledge at the Intercultural University of Veracruz, Mexico: An Anthropological Study of Indigenous Contexts. *Intercultural Education*, vol. 20, no 3, pp. 211–218.
- Middleton J., Beebe R. (2002) The Racial Politics of Hybridity and “Neo-eclecticism” in Contemporary Popular Music. *Popular Music*, vol. 21, no 2, pp. 159–172.
- Miell D., MacDonald R., Hargreaves D. J. (eds.) (2005) *Musical Communication*, Oxford: Oxford University Press.
- Mora M. (2011) Negotiation and Hybridity in New Balinese Music: Sanggar Bona Alit: A Case Study. *Perfect Beat*, vol. 12, no 1, pp. 45–68.
- Morris D. (2011) Hick-Hop Hooray? “Honky Tonk Badonkadonk”, Musical Genre, and the Misrecognitions of Hybridity. *Critical Studies in Media Communication*, vol. 28, no 5, pp. 466–488.
- Nazaikinsky E. (1972) *O psihologii muzykal'nogo vosprijatija* [On Psychology of Musical Perception], Moscow: Muzyka.
- Nazaikinsky E. (1988) *Zvukovoj mir muzyki* [Sonic World of Music], Moscow: Muzyka.
- Ng W. B. (2003) Japanese Popular Music in Singapore and the Hybridization of Asian Music. *Asian Music*, vol. 34, no 1, pp. 1–18.
- Nguyen T. P. L., Seddau G., Roggero P. P. (2014) Hybrid Knowledge for Understanding Complex Agri-environmental Issues: Nitrate Pollution in Italy. *International Journal of Agricultural Sustainability*, vol. 12, no 2, pp. 164–182.
- North A., Hargreaves D. J. (2008) *The Social and Applied Psychology of Music*, Oxford: Oxford University Press.
- Pacini Hernandez D. (2010) *Oye Como Va! Hybridity and Identity in Latino Popular Music*, Philadelphia: Temple University Press.
- Pain E. (2015) Magija totalitarizma [The Magic of Totalitarianism]. *Political conceptology*, no 4, pp. 93–101.
- Pesic P. (2014) *Music and the Making of Modern Science*, Cambridge: The MIT Press.
- Petrushin V. (2008) *Muzykal'naja psihologija* [Music Psychology], Moscow: Academic Project, Triksa.
- Petsche J. J. M. (2015) *Gurdjjeff and Music: The Gurdjjeff/de Hartmann Piano Music and Its Esoteric Significance*, Leiden: Brill.

- Pinch T., Bijsterveld K. (eds.) (2012) *The Oxford Handbook of Sound Studies*, New York: Oxford University Press.
- Plisenkova O. (2015) Alisa Apreleva: "Universal'noj lechebnoj muzyki ne sushhestvuet" [Alisa Apreleva: "Universal Healing Music Does Not Exist"]. Available at: <http://med-info.ru/content/view/6941> (accessed 29 August 2016).
- Puri S. (2004) *The Caribbean Postcolonial: Social Equality, Post/Nationalism, and Cultural Hybridity*, New York: Palgrave Macmillan.
- Radocy R. E., Boyle J. D. (2003) *Psychological Foundations of Musical Behavior*, Springfield: Charles C. Thomas.
- Reid K. A., Williams K. J. H., Paine M. S. (2011) Hybrid Knowledge: Place, Practice, and Knowing in a Volunteer Ecological Restoration Project. *Ecology and Society*, vol. 16, no 3, art. 19.
- Ritzer G. (2005) *Enchanting a Disenchanted World: Revolutionizing the Means of Consumption*, Thousand Oaks: Pine Forge Press.
- Roberts R. (2008) Two Sides of Frenchmen Street and New Orleans Hybrid Music: The Panorama Jazz Band and the Zydeponks. *Popular Music and Society*, vol. 31, no 2, pp. 201–212.
- Rothfarb L. (2002) Energetics. *The Cambridge History of Western Music Theory* (ed. T. Christensen), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 927–955.
- Rudhyar D. (s. a.) Magija tona i iskusstvo muzyki [The Magic of Tone and the Art of Music]. Available at: <http://www.theosophy.ru/lib/mag-tona.htm> (accessed 29 August 2016).
- Rumph S. (2004) *Beethoven after Napoleon: Political Romanticism in the Late Works*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Schmidt J. (2005) "Not These Sounds": Beethoven at Mauthausen. *Philosophy and Literature*, vol. 29, no 1, pp. 146–163.
- Scott C. (2005) *Okkul'noe vozdejstvie muzyki* [Music: Its Secret Influence Throughout the Ages], Moscow: RIPOL-klassik.
- Sloterdijk P. (2005) *Sfery: Mikrosferologija. Tom I: Puzyri* [Spheres: Microspherology, Vol. I: Bubbles], Saint Petersburg: Nauka.
- Sloterdijk P. (2007) *Sfery: Makrosferologija. Tom II: Globusy* [Spheres: Macrospherology, Vol. II: Globes], Saint Petersburg: Nauka.
- Sloterdijk P. (2010) *Sfery: Pljural'naja sferologija. Tom III: Pena* [Spheres: Plural Spherology, Vol. III: Foam], Saint Petersburg: Nauka.
- Solomon M. (2003) *Late Beethoven: Music, Thought, Imagination*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Spitzer L. (1944) Classical and Christian Ideas of World Harmony: Prolegomena to an Interpretation of the Word "Stimmung": Part I. *Traditio*, vol. 2, pp. 409–464.
- Spitzer L. (1945) Classical and Christian Ideas of World Harmony: Prolegomena to an Interpretation of the Word "Stimmung": Part II. *Traditio*, vol. 3, pp. 307–364.
- Steiner R. (s. a.) Sushhnost' muzykal'nogo i perezhivanie muzykal'nyh tonov chelovekom [The Inner Nature of Music and the Experience of Tone]. Available at: http://www.bdn-steiner.ru/cat/Ga_Rus/283.doc (accessed 29 August 2016).
- Stephenson B. (1994) *The Music of the Heavens: Kepler's Harmonic Astronomy*, Princeton: Princeton University Press.
- Sterne J. (ed.) (2012) *The Sound Studies Reader*, London: Routledge.
- Stiegler B. (2014) *The Re-Enchantment of the World: The Value of Spirit Against Industrial Populism*, London and New York: Bloomsbury Academic.
- Stockhammer P. W. (ed.) (2012) *Conceptualizing Cultural Hybridization: A Transdisciplinary Approach*, Berlin: Springer.
- Stratton J. (2014) Judge Dread: Music Hall Traditionalist or Postcolonial Hybrid. *Contemporary British History*, vol. 28, no 1, pp. 81–102.
- Tame D. (1988) *The Secret Power of Music*, Wellingborough: The Aquarian Press.
- Tan S., Pfordresher P., Harré R. (2010) *Psychology of Music: From Sound to Significance*, Hove: Psychology Press.
- Weber M. (1990) Nauka kak prizvanie i professija [Science as a Vocation]. *Izbrannye proizvedenija* [Selected Works], Moscow: Progress, pp. 707–735.

- Wigram T., Pedersen I. N., Bonde L. O. (2002) *A Comprehensive Guide to Music Therapy: Theory, Clinical Practice, Research and Training*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Wuidar L. (ed.) (2010) *Music and Esotericism*, Leiden: Brill.
- Xu J., Grumbine R. E. (2014) Integrating Local Hybrid Knowledge and State Support for Climate Change Adaptation in the Asian Highlands. *Climatic Change*, vol. 124, no 1, pp. 93–104.
- Young R. J. C. (1995) *Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race*, London: Routledge.

«Недостающее звено»: эмбриологическая интерпретация естественного состояния у Питера и Йохана Де ла Куров*

Павел Соколов

Старший научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А. В. Полетаева, доцент Школы философии факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: alharizi@rambler.ru

Статья посвящена исследованию статуса и функций медицинского («эмбриологического») аргумента в трактате нидерландских политических писателей Питера и Йохана Де ла Куров «Рассуждения о государстве, или О политическом равновесии» (1660 г.). В начале второй книги трактата Де ла Куров, не довольствуясь объяснением причин естественного состояния у Томаса Гоббса, предлагают собственную интерпретацию этого явления: травмы (*indruksele*), получаемые зародышем в момент зачатия и в период беременности. В фокусе внимания автора статьи — именно эта необычная инверсия общих мест, связанных с обстоятельствами зачатия, а также оригинальное сопряжение политических и медицинских аргументов у знаменитых представителей нидерландского республиканизма. Предметом рассмотрения сделались контексты, объясняющие привлечение этого «аномального» аргумента для объяснения генезиса естественного состояния: труды медиков — сторонников картезианской и гарвеевской эмбриологии (А. Дезинг); популярные медицинские сочинения (Я. Катс, Й. ван Бевервейк); политические трактаты, содержащие медицинские аргументы (Р. Камберленд). Результатом исследования стал вывод об амбивалентности «политического республиканизма» у Де ла Куров: сохраняя по инерции в своем составе элементы этико-риторической парадигмы (парресия, идея «древней батавской свободы»), их политическая философия не может последовательно мыслить отношения между биологическим и социальным порядком, героическим этосом и «благодетельным насилием».

Ключевые слова: Питер Де ла Кур, Йохан Де ла Кур, политический республиканизм, естественное состояние, эмбриология, Томас Гоббс, Уильям Гарвей

Апория «естественного состояния» у Томаса Гоббса — интригующий парадокс «абсолютного другого социальности» — уже в ближайшие десятилетия после выхода в свет «Основ философии» и «Левиафана» породила бесчисленное множество интерпретаций: от наделавшей немало шума гипотезы Исаака Ла Пейрера, ото-

© Соколов П. В., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-1-83-100

* Статья подготовлена по результатам исследования № 15-05-0042 «Историческая саморефлексия медицины: от *ars medica* раннего Нового времени к позитивистскому „онаучиванию“ в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета „Высшая школа экономики“ (НИУ ВШЭ)» в 2015 г. и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.

ждествлявшего «естественное состояние» с этапом в истории человечества, предшествующим сотворению Адама, до не менее провокативной идеи Джамбаттисты Вико о деградации послепотопного человечества до уровня звероподобных гигантов (*bestioni*). Некоторые из этих версий хорошо известны и многократно становились предметом интерпретации в исследовательской литературе, другие же рассматриваются как маргинальные и до сих пор остаются в тени. К числу последних принадлежит небольшой фрагмент из трактата нидерландского политического республиканца, одного из предтеч демографической науки, гуманистически образованного лейденского патриция Питера Де ла Кура (в голландской версии — Ван ден Хоове), написанного им в соавторстве с рано умершим братом Йоханом — «Рассуждения о государстве, или о политическом равновесии» (*Consideratien van Staat, ofte Polityke Weeg-schal*, 1-е изд., 1660 г.).

Трактат посвящен, как заявляют его авторы, «спекулятивному исследованию практической испорченности человеческой природы, а также лекарствам, которые могут быть использованы для ее излечения» (*De la Court*, 1662a: s.p.). Сочинение Де ла Кура располагается на границе нескольких жанров, занимая промежуточное положение между политическим трактатом, памфлетом, «анатомией» и сборником апофтегм. Эта двойственность проявляется уже в типографском оформлении книги: с одной стороны, предпочтение нидерландского языка латыни было характерно для политических памфлетов, с другой — выбор римского, а не готического шрифта (фрактуры) свидетельствовал о притязаниях авторов на академизм (*Weststeijn*, 2012: 92). При этом, однако, как в предисловии к этому трактату, так и во введении к другому своему сочинению, «Политике в шести книгах», Де ла Куры недвусмысленно декларируют свое пренебрежительное отношение к распространенной в североевропейских странах «академической» политике, «школярскому педантизму ученых»¹. Этот же синкретизм проявляется и в аргументации. В первой главе авторы рассматривают бедственное положение, в котором оказываются люди, живущие вне гражданского состояния и «подчиненные лишь закону собственного суждения», мешая стандартные гоббсианские аргументы с латинскими пословицами и афоризмами житейской мудрости: недостаточность средств, служащих для поддержания жизни («ведь мы не можем поддерживать и защищать собственное тело, жизнь и честь иначе, чем регулярно уничтожая те самые средства, благодаря которым мы их обретаем»); взаимное недоброжелательство, возникающее из стремления увеличить собственную славу за счет уничтожения других; естественное желание каждого человека «скорее погубить других, чем погибнуть самим» и т. п. Главным мотивом человеческих действий наши авторы провозглашают, опять же вслед за малмсберийским философом, самолюбие («любовь

1. Ср.: «Разве что кто-нибудь согласился бы считать за хорошие политические сочинения написанные на Латыни книги под громкими названиями — Политика, Политическая Система, Гражданское Учение, Политическое Благоразумие, о Государстве, Тайны Государств, Политические Афоризмы, Политические Аксиомы и другие подобные труды, написанные немецкими профессорами, докторами, проповедниками и школьными учителями» (*De la Court*, 1662b: s. p. [«Voor-reeden aan den Leser»]).

к себе есть подлинный источник всех человеческих действий, как благих, так и дурных») (De la Court, 1662a: 14). Закон самосохранения (которое Де ла Куры, в отличие от Гоббса, считали не «страстью», а правом) помещается превыше всех остальных Законов природы, прежде всего главного из них — «не делай другому того, чего не желаешь себе» — и является их абсолютным условием. После этого набора общих мест в начале второй главы и появляется тот самый «аномальный» аргумент, которому посвящено наше исследование. Прежде всего авторы заявляют, что для рассмотрения естественного состояния и следующих из него бедствий совершенно недостаточно исследовать человека в «зрелом возрасте». Чтобы заполнить лауну в логическом эксперименте Гоббса и «пролить немалый свет» на истоки бедственного положения человеческого рода, они предлагают обратиться к обстоятельствам зачатия и условиям протекания беременности:

Дело в том, что *coitum* производит в крови способной к деторождению женщины столь сильное смятение, а во внутренностях ее — столь значительные потрясения, <воздействие которых сохраняется на протяжении всего срока беременности>², что она начинает испытывать *печаль, страх, ужас и ярость*, а равно и другие *противоестественные страсти* (*vreemde lusten*). И вот, пока нежное тело плода подрастает в утробе матери — а надлежит заметить, что зародыш формируется не только из мужского семени в соответствии с той формой (*gesteltenisse*), которую оно сообщает женщине, ведь на образование *сердца, мозга и всех остальных частей нежного тела ребенка прежде всего влияют те аффекты* (*driften*), которые мать испытывает, и то, чем она питается, — тело это, из-за своей чрезвычайной мягкости, очень легко воспринимает столь глубокие следы этих воздействий, что они обыкновенно стираются только вместе со смертью³.

Разумеется, идею о влиянии испытываемых матерью аффектов на телесный состав и темперамент эмбриона нельзя считать оригинальной: достаточно вспомнить известное место из «Анатомии меланхолии» Роберта Бертона: «если женщина предаётся излишне печальным и тягостным размышлениям, гневу, своенравию, недовольству и меланхолии — не только в момент зачатия, но и в тот период, когда она носит ребенка во чреве своем (см.: Фернель. *О патологиях* 1.1, 11), — то сын ее испытает те же аффекты. Еще хуже, как добавляет Лемний, I.4. гл. 7, если она чрезмерно скорбит, унывает, чем-то напугана, увидела или услышала нечто ужасное, что вызвало у нее страх, — в этом случае она подвергает опасности свое дитя и

2. Прим. П. Де ла Кура к изданию 1662 г.

3. «Namentlik, het *byslaapen* veroorzaakt in het bloed der vrugtbare Vrouwen <gedurende den ganschen tyd van hare dragt> zoo groote onsteltenisse, en ongemakken in haare ingewanden, dat sy daar door meer *droefheid, vreeze, schrik, gramschap*, en andere *vreemde lusten* onderworpen zijn. Onderwylen groeit de teere Vrugt, een lighaam met zijn Moeder zijnde, zulks niet allen naar de *gesteltenisse* der manneliken zaads, der vrouwe meedegedeeld, het schepsel zijn begin neemt; maar dat zeer aanmerkens-waardig is, *het Herte, Herssenen, en alle andere deelen des lighaams van dit teere kind, weerden voorneementlik geformeerd naar't met de moederlike driften, en voedsel, geleegeen is*, sulks de zelve, in die groote teerheid, zeer ligtelik zoo diepe indrukseken krygen, dat zy niet dan met de dood, pleegen verloren te werden» (De la Court, 1662a: 18–19).

искажает его темперамент. Ведь капризное воображение женщины оказывает непосредственное воздействие на ее ребенка и, как показывает Баттиста Порты („Небесная Физиология“, 1.5. гл. 2), оставляет на нем свой отпечаток (mark)» (Burton, 1989: 209)⁴. Можно привести примеры из более близких и почти наверняка хорошо знакомых Де ла Курам текстов. Вот типичный совет, который Якоб Катс — высокопоставленный (бывший даже одно время Великим пансионарием Голландии) моралист и популярный в то время поэт — дает женщине в своей дидактической поэме, посвященной браку:

Een vrou dit swanger is moet haer geduerigh wachten,
 Van nare dwepery, van alle droeve nachten,
 Van door een gramme sucht te werden omgevoert,
 Ia van een groote vreught te werden omgeroert:
 Want als het swanger wijf is besigh met de tochten,
 Soo kromt de swacke geest in veelderhande bochten:
 En wat ontrent de vrucht sijn kracht besteden moet,
 Vergeet sich in de gal en aen het vinnigh bloet.
 Ghy, maeckt u daerom sterck om uyt te mogen jagen
 Schrick, wrevel, gramme sucht, en alle quade plagen.

Жена, что носит плод, должна всегда стеречься
 Мечтаний глупых, грез, ночных тревог беречься.
 И гнева, коли он безудержно горит,
 И радости, когда чрез край она кипит.
 Ведь коль в сетях страстей сия жена мятется,
 То слабый дух ее в жестоких корчах бьется.
 И вот уж все, что сил исполнить может плод,
 Дурную кормит кровь, да черну желчь влечет.
 Итак, гони же прочь, не ведая сомненья,
 Печаль, тревогу, страх, пустые треволенья⁵.

Приведенная цитата из Катса была включена в «Сокровищницу здоровья» (Schat der gesontheit) Дордрехтского врача и популяризатора медицинской науки Яна ван Бевервейка (1594–1647) — медицинский бестселлер, которым начиная с 1630-х годов зачитывались жители нидерландских городов, по своим жанровым и стилистическим характеристикам чрезвычайно близкий «Рассуждениям о политиче-

4. «If she be over-dull, heavy, angry, peevish, discontented, and melancholy, not only at the time of conception, but even all the while she carries the child in her womb (saith Fernelius path. 1.1, 11) her son will be so likewise affected, and worse, as Lemnius adds, I. 4. c. 7, if she grieve overmuch, be disquieted, or by any causality be affrighted and terrified by some fearful object, heard or seen, she endangers her child, and spoils the temperament of it; for the strange imagination of a woman works effectually upon her infant, that as Baptista Porta proves, Physiog. Caelestis 1. 5. c. 2, she leaves a mark upon it» (Burton, 1989: 209).

5. Перевод наш.

ском равновесии» (Beverwijck, 1660): та же смесь научных аргументов, латинских апофтегм, нравоучительных стихотворений, приправленных иногда грубоватым юмором («Свое дерьмо не пахнет», философически замечают Де ла Куры, доказывая превосходство демократии над прочими формами правления), и практических рекомендаций (рецептов у Бевервейка, политических советов — у Де ла Куров). Во введении к «Рассуждениям» Де ла Куры различают политическую историю, оперирующую строго достоверными сведениями, и политические рассуждения, для которых достаточно, как и для басни, одного лишь правдоподобия. Собственное сочинение авторы относят ко второй категории. Основания для того, чтобы считать трактат Бевервейка одним из возможных источников для эмбриологической гипотезы Де ла Куров, не ограничиваются лишь сходством жанровой природы их сочинений; категории, в которых описывается состояние женщины в период беременности и испытываемые ею аффекты, разительно напоминают наш «апоретический» фрагмент (см. главу «О том, как следует вести себя беременной женщине» (Beverwijck, 1660: сар. III), а также раздел «о движениях духа»); правда, в своей «гендерной идеологии» наши авторы радикально расходятся друг с другом: если Де ла Куры, как мы увидим далее, считали женщину существом неполноценным по сравнению с мужчиной и неполноправным, то Бевервейк посвятил целое сочинение доказательству превосходства женского пола над мужским (Beverwijck, 1643). Впрочем, значительная часть этих понятий имеет гораздо более древнее происхождение: так, упомянутые Де ла Курами «противоестественные желания» соответствуют восходящей к патриархам античной медицины категории «неуместных потребностей» (у Порфирия — ἄτοποι ἐπιθυμίαι), которые, по общему мнению, следовало удовлетворять, чтобы предотвратить негативное воздействие страстей на плод. Оригинально в эмбриологической гипотезе Де ла Куров другое: превращение патологии в норму. В самом деле: во всех известных нам античных, средневековых и ранненовременных текстах, от Гиппократов до Роберта Бертона, влияние аффектов матери на плод описывается именно как патология, приводящая к возникновению уродства (παράσχημα у Порфирия⁶), но не как неизбежное обстоятельство зачатия любого человека вообще. Кроме того, неожиданной кажется роль, которую братья придают «патологическому аффицированию» эмбриона страстями, испытываемыми матерью, в построении своей политической теории: фактически испорченность человеческой природы и вытекающая из нее необходимость в общественном договоре оказываются детерминированы обстоятельствами зачатия.

Разумеется, связь политической философии и медицины или «биологии» в XVII столетии хорошо известна: такие сюжеты, как «политика аффектов», поиск «этического аналога шишковидной железы» (В. Кан), который бы позволил объяснить связь между телеологией человеческих действий и телесной конституцией людей, дискуссии о физиологическом субстрате социальности, хорошо изучены

6. Подборку соответствующих пассажей из античных авторов см. Афонасин, 2013: 2000.

в исследовательской литературе⁷. В самом общем смысле центральную проблему «политической физиологии» XVII века можно сформулировать следующим образом: как произвести обязательство (*obligatio*) из факта, т. е. физиологического описания человеческой ситуации? У Гоббса в шестой главе «Левиафана» невозможность естественной социальности связывается с «кинетикой страстей», создающей неустранимые различия в представлении о предметах стремлений, а также в их названиях, вследствие чего люди оказываются неспособны прийти к соглашению относительно значения базовых этических терминов (Добро, Зло, Справедливость и т. д.)⁸. В еще более явном виде стремление связать человеческую физиологию и социальность можно обнаружить у авторов, подобных Ричарду Камберленду, в этике которого центральное значение придается категории «благоволение» (*benevolentia*). Деструктивные, «асоциальные» аффекты, по Камберленду (он ссылается здесь на Уильяма Гарвея), затрудняют ток крови, воздействуя на «мельчайшие ответвления артерий, рассеянные по поверхности мозга»; таким образом, «само животное естество и природа аффектов учат людей тому, что им полезно с благоволением относиться к другим, насколько возможно — ко всем людям, ведь ненависть даже к одному человеку приносит ненавистнику столькие несчастья». Со ссылкой на того же Гарвея Камберленд приводит случай, когда мизантропические чувства привели к летальному исходу — пациент заболел «цинготной Кахексией», от которой «ярменные артерии его вспухли до размера большого пальца», а сердце, как выяснилось при вскрытии, набухло от крови до такой степени, словно «принадлежало не человеку, а быку». Еще одним доказательством связи между телесной конституцией и естественной социальностью человека является идея об

7. См. показательный фрагмент из одного сочинения Р. Камберленда: «Ненависть, зависть, страх и грусть препятствуют току крови, утяжеляют сердце, так что оно с большим трудом выбрасывает кровь при сжатии (*systole*); от этого лицо человека кажется бледным, и функции всего телесного состава (*corporis oesonomia*), особенно же мозга и нервов, терпят урон, проявляющийся, например, в виде болезней, которые обыкновенно приписываются селезенке или черной желчи» (здесь и далее наш перевод фрагментов из Камберленда выполнен по изд.: Cumberland, 1672: 111—115).

8. «Because the constitution of a mans Body, is in continuall mutation; it is impossible that all the same things should alwayes cause in him the same Appetites, and Aversions: much less can all men consent, in the Desire of almost any one and the same Object... these words of Good, Evill, and Contemptible, are ever used with relation to the person that useth them: There be nothing simply and absolutely so; nor any common Rule of Good and Evill, to be taken from the objects themselves; but from the Person of the man (where there is no Common-wealth) or, (in a Common-wealth) from the Person that representeth it» (Hobbes, 1996: 39). См. также характеристику этой кинетики страстей в связи с категорией «размышление» (*deliberation*) и риторикой Гоббса у Нэнси Стрьювер: «Понятие размышления у Гоббса — это не примитивная «физикалистская» категория. Физически детерминированное, необходимое движение стимулирует неопределенные колебания, открывая тем самым пространство для контингентности и доселе нереализованных возможностей. Риторика, действуя в самом сердце политики, исследует элементы изменений и трансформаций, она отдает предпочтение не *статике*, всеобщему согласию, консенсусу, а *кинетике*. В политике многообразие — это механизм, порождающий возможность» [But this is not a simplistic «physicalist» account. The physicalist, necessary motion evokes indeterminate vibration, open to contingencies, receptive of hitherto unrealized possibilities. Rhetoric, functioning inside politics, seeks out the elements of change, alteration and privileges not *stasis*, universal accord, consensus, but *kinesis*; in politics diversity is engine, generating possibility] (Struever, 2009: 79).

общем источнике органов питания и размножения: и те, и другие формируются в зародыше под действием одних и тех же причин⁹. Более того: «У животных те же причины, которые служат сохранению жизни индивида, вызывают и стремление (*conatus*) к сохранению всего вида: таким образом, эти два вида стремления связаны между собой узлами естества». Тем самым стремление к самосохранению и стремление к сохранению всего вида объединяются на почве «усилия» (*conatus, conato, endeavour*) — механизма, значение которого для политической теории Томаса Гоббса, Бенедикта Спинозы и Джамбаттисты Вико хорошо известно, одного из претендентов на роль той самой этической «шишковидной железы». Но это еще не все: именно в пересказе Гарвеевой медицины у Камберленда можно обнаружить один пассаж, который способен пролить свет на интерпретируемый нами фрагмент из Де ла Куров: «*Вся система кровообращения и все, что ей содействует, например, мускульная сила Сердца и механизм венозных клапанов, равным образом служит для питания отдельного человека и исполняет общественно необходимую функцию, способствуя приумножению рода, ибо доставляет материю, из которой образуется семя, в сперматические сосуды*» (Cumberland, 1672: 112; курсив наш).

Итак, материя семени попадает в сперматические сосуды через посредство системы кровообращения; однако гарвеевской медицине был известен и обратный процесс, когда, напротив, семя во время зачатия попадает в кровеносную систему женщины. Здесь уместно вспомнить, что Де ла Куры говорят о «потрясениях» (*omstelenisse*), испытываемых именно кровью, которые «патологически аффицируют» зародыш. Но как семя попадает в кровь? Как вообще соитие может отражаться на состоянии крови и заключенных в ней аффектов (*driften*)? Для того чтобы это понять, необходимо представить себе в общих чертах характер гарвеевской эмбриологии и пути ее рецепции, в частности в Нидерландах. В 1651 году выходит в свет главное сочинение Гарвея, посвященное эмбриологии, — «Опыты о происхождении животных» (*Exercitationes de generatione animalium*). В этом тексте Гарвей подробно описывает производившиеся им эксперименты по вскрытию матки оленьих самок, получившие известность среди его современников под именем «Гарвеевых парадоксов». Парадокс заключался в следующем: исследуя матку оплодотворенной оленьей самки спустя некоторое время после соития (через несколько дней или недель), Гарвей, как ему казалось, обнаружил, что она была пуста — т.е. семя после соития таинственным образом исчезало. Чтобы объяснить этот феномен, он предположил, что семя оказывает некое «духовное» или «интеллигентное» воздействие на кровь женщины, подобно «флюиду»; «заряженная» этим воздействием кровь через определенный промежуток времени начинает формировать в матке плод. Эта гипотеза подкреплялась, как утверждал позднее

9. «В высшей степени достоверно, что те же самые причины, которые способствуют формированию необходимых для питания членов тела в утробе и в матке, то есть желудка, сердце и т.д., формируют также и сперматические сосуды и половые признаки уже на первых стадиях жизни зародыша, как отмечал Гарвей в трактате «О порождении животных, Изыскание 69» (Cumberland, 1672: 112).

Каспар Бартолин, и рассказами самих женщин, которые ощущали некие изменения в крови непосредственно после коитуса (Goltz, 1986: 256). Немецкий медик Г.В. Ведель сравнивал воздействие мужского семени на кровь женщины со своего рода «духовным заражением» (*spirituosum sanguinis contagium*), а дордрехтский последователь Гарвея Антон Дезинг говорил о том, что кровь трансформируется под действием «силы» семени (*sanguis ipse vi hac seminea impregnatus atque alteratus*). Могли ли Де ла Куры испытать влияние Гарвеевой концепции «инфицирования» крови женщины мужским семенем? Со времен программной работы Коссманна (Kossmann, 1960: 36–49) считается, что Де ла Куры находились под определяющим влиянием учения о страстях и эмбриологии Рене Декарта, сочинение которого «О страстях души» (*Passions de l'âme*) было издано в Амстердаме в 1649 году. Учение о возникновении животных, по мысли самого Декарта, должно было стать венцом его натурфилософии: формирование и развитие плода описываются у Картезия строго механически, в терминах материи и движения (*mechanica explicatio formationis foetus*). Однако даже такой преданный его последователь, как Николя Мальбранш, указывал на недостаточность механического объяснения для органических тел и процессов; в нашем «эмбриологическом фрагменте» аргументация также ничем не напоминает механическую модель Декарта. Не похожа она и на практически ориентированные, построенные на анатомической дескрипции и акушерском опыте тексты лейденских профессоров начала и середины XVII столетия, таких как Йохан ван Херн или Иов ван Меекерен (Heurnius, 1607). О степени медицинской образованности братьев и источниках их медицинских воззрений судить трудно. Известно, впрочем, что, когда в 1631 году Питер Де ла Кур поступил в Лейденский университет на низший факультет (в качестве *litterarum studiosus*), медицина была обязательной частью университетского куррикулума и преподавалась не столько как узкоспециальная дисциплина, сколько в универсальном духе «медицинского гуманизма», сочетавшего дескриптивный метод в анатомии с пристрастием к изучению классиков (Huisman, 1999: 249). В Лейдене можно было найти как противников, так и сторонников медицины Гарвея: так, Отто ван Херн, который преподавал медицину в Лейденском университете как раз тогда, когда там учился Питер Де ла Кур, по слухам, даже пошел на мошенничество (просверлил отверстия в сердечной перегородке), чтобы опровергнуть Гарвееву теорию кровообращения и защитить традиционный галенизм. При этом, однако, такие видные лейденские интеллектуалы, как Исаак Беекман, Николай Сильвий и Йохан Валлеус, приняли гарвеевскую модель медицины, причем последний в 1640 году резко изменил свои взгляды, из оппонентов Гарвея превратившись в первого официального его сторонника.

И все же вероятное влияние гарвеевской эмбриологии остается лишь гипотезой. Не имея возможности осуществить убедительную атрибуцию эмбриологического аргумента у Де ла Куров — фактически он представляет собой «коллаж» из общих мест медицинской и моралистической литературы XVII столетия, но со специфической «доминантой» — мы можем тем не менее реконструировать стоя-

щие за ним социокультурные значения, используя широкий спектр источников, от живописи до трактатов по риторике, и осуществляя тем самым идентификацию функции и значения нуждавшегося в расшифровке объекта.

Прежде всего обратимся к параллельным местам из других сочинений братьев. В VI книге «Политических рассуждений в шести отдельных книгах» биологический аргумент уточняется и специфицируется: в качестве основания невозможности естественной социальности приводится различие климатов и географических условий жизни наций, которое замедляет или ускоряет движение телесных членов и тем самым порождает в людях добродетели и пороки, укорененные в их телесном составе (*gestel des lighaams*). Именно по этой причине никакое воспитание неспособно до конца искоренить сформированный природой человеческий нрав, вследствие чего между нациями существует неустранимое различие в образе жизни, политическом устройстве и уровне нравственного развития: так, испанцам свойственна косность и медлительность, а французам, напротив, легкомыслие. Де ла Куры различают «медлительную» и «подвижную» телесную конституцию, определяемую преобладанием в теле более «тяжелой» или более «легкой» материи, замечая, что как та, так и другая нуждаются в «дисциплине» или «воспитании» (*tugt, tucht* или *opvoeding*): «Ведь хотя более медлительные души (*gemoederen*) по необходимости обладают Дисциплиной (*Tught*), дабы мочь быстрее начать движение, однако более быстрые и проворные души также необходимо наделены Дисциплиной (*Tucht*), чтобы как можно дольше себя в движении поддерживать». Многозначность нидерландского слова *tucht*, происходящего от глагола *tyen* (родств. нем. *ziehen*) — «тянуть», «тащить», — трудно передать на русском языке: с одной стороны, оно означает «принуждение», «приведение к порядку», «строгое воспитание» (отсюда *tuchtling* — «каторжник», *tuchtigen* — «наказывать»), а с другой — внутренний навык самодисциплины, «сопротивления энтропии», поддержания в теле импульса движения. Позднее Каролус Тейнман в своем «Светоче нижненемецкого языка» выскажет гипотезу, согласно которой от этого же корня происходят слова «сын» (*zoon*) и «дочь» (*dochter*) (Tuinman, 1722: 389–390): тем самым оказывается, что именно *tucht* ответственна за то, что в современной психологии и социальной теории называется «первичной социализацией». Излишне суровое воспитание в определенной степени вредит естественному развитию: Де ла Куры, подобно физикам-перипатетикам, различают движения «естественные» (*natuurlijke*) и «вынужденные или насильственные», злоупотребление которыми, особенно в юном возрасте, может исказить естество человека и привести к разного рода патологиям: именно поэтому «следует сначала позволить юноше вырасти, не изнуряя его слишком строгим воспитанием (*tucht*), чтобы не задушить в нем естественные движения»¹⁰. Естественный же процесс воспитания предполагает постепенную компенсацию полученных во чреве матери травм посредством «опыта, приобретаемого вследствие многократных впечатлений, оставляющих в мозгу свой отпеча-

10. «De jeugd, of de jongheid, eerst moet laten, opgroeien, sonder de selve door de tucht so naw te bekluisteren, dat de gehele beweging verdooft wert» (De la Court, 1662a: 641).

ток». Эти «отпечатки» (*indruxselen*), накапливающиеся благодаря опыту, являются как бы позитивным аналогом «следов» (также *indruxselen*), полученных от материнских «протиестественных желаний». Принципиально важно, что исцеление от пренатальных травм, как нам рассказывает медицинская притча в «эмблематическом» разделе «Рассуждений»¹¹, должно непременно осуществляться в форме автотерапии: как бы незначительны ни были медицинские познания частного человека в сравнении с компетенциями профессионального врача, он обладает тем важным преимуществом, что заботится о собственной пользе, в то время как врач радеет лишь о своей мошне.

Несмотря на то что параллельные места из «Политических рассуждений» позволили нам в общих чертах реконструировать натурфилософские воззрения братьев, они все же не дали ответа на главный вопрос: почему патологии зачатия превращаются в универсальный принцип, объясняющий невозможность естественной социальности и делающий неизбежным «рождение великого Левиафана» — возникновение государства. Коль скоро наша задача — описать тот резервуар общих мест (*koinai ennoiai* ученой культуры¹², визуальных топосов, универсалий социального опыта), из которого Де ла Куры могли составить свой аргумент (напомним, что латинское *argumentum* обозначает не только доказательство, но и «общее место»), то не будет недозволенным *deus ex machina* обратиться к социальному и биографическому контексту, к которому они принадлежали. Если биография умершего в 1660 году Йохана, младшего из братьев, мало что может нам дать, то в жизни Питера мы обнаруживаем по крайней мере один эпизод, поразительно созвучный пессимистической эмбриологии трактата «О политическом равновесии». Речь идет о трагически завершившемся браке сестры Питера, Йоханны, с учителем (и долгое время близким другом) братьев Де ла Кур, лейденским профессором философии и риторики Адрианом Хееребоордом (1614–1661). Виртуозный адепт чрезвычайно популярного в то время эклектического метода, сумевший объединить в органичном синтезе аристотелевскую «новодревнюю философию», новомодное картезианство и дидактически эффективный рамизм, Хееребоорд одним из первых испытал на себе риторические способности братьев. Причиной этого конфликта, приведшего один раз даже к рукоприкладству в стенах Лейденского университета, стало жестокое обращение Хееребоорда с женой, той самой Йоханной, приведшее к преждевременным родам и смерти ребенка (инцидент имел место в апреле 1648 года). Одновременно с этим по городу распространились анонимные памфлеты (заказчиком их считали Хееребоорда, хотя сам он это отрицал) — в одном из них под названием «Пьер Де ла Кур, или Ужасы разорения» (*Piere la Cour, gruwel der verwoesting*) Йоханна обвинялась, ни много ни

11. «Het eerste van een opperste Doctor in de Medicinen... het tweede Eiland zeide hy bewoond te zijn van veele Heeren Doctoren in de Medicinen... Maar dat het derde Eiland, ter contrarie geen Medicijn-meesters in hebbende, was bewoond van menschen, die met zeer geringe kennisse, haar eige Medicijn-meesters derfden te weezen» (De la Court, 1662a: 647–648).

12. Об этом понятии см. у Якоба Томазия, одного из наиболее проникательных и скрупулезных теоретиков ученой культуры в ранненовременной Республике ученых: Thomasius, 1679: 71.

мало, в инцестуальной связи с собственным отцом, причиной которой был ее необузданный «Валлонский темперамент» (Weststeijn, 2012: 88). После этих событий Питер забрал сестру в родительский дом и составил от ее имени памфлет «*Factum*, или Восстановление справедливости Йоханной Де ла Кур», в котором, вооружившись риторикой, которой учил его когда-то Хееребоорд, представил своего прежнего ментора и зятя пьяницей, дебоширом и софистом. Не входя в детали этой долгой и неприятной истории, отметим только, что брак Хееребоорда и Йоханны так никогда и не был восстановлен, и последним словом сестры Де ла Кура в этой семейной ссоре был решительный отказ, о котором нам сообщает с горечью сам Хееребоорд: «Она предпочла бы Смерть совместной жизни со мной и хотела бы лучше умереть, чем ко мне вернуться», — пишет тот в «Апологии». Таким образом, осмысление отношений между мужчиной и женщиной в терминах травматического опыта биографически было, по-видимому, близко братьям, особенно Питеру¹³.

Не менее важным резервуаром архетипов, которые могли оказать влияние на воображаемое Де ла Куров, можно считать современную им нидерландскую реалистическую живопись, прежде всего весьма популярный ее поджанр, процветавший в родном для Де ла Куров Лейдене, — «визит доктора к женщине, больной любовным недугом». Можно вспомнить, к примеру, серию иронических картин Яна Стена на этот сюжет, создававшийся в те же годы, что и «Трактат о политическом равновесии». Визуальные и нарративные репрезентации «gendered diseases» раннего Нового времени — женской меланхолии, бешенстве матки и «зеленой немочи», образующих своего рода генеалогию «дофрейдовского понятия истерии» и порой не менее загадочных для современной медицины, чем исследованный Людвигом Флеком «сифилис», по описанию симптомов очень напоминают исследуемые нами патологии зачатия, но по способу терапии (замужество или *titillatio* матки) находятся к ним в отношении инверсии (Dixon, 1995: 3). В популярной дидактической литературе насилие со стороны мужчины рассматривается как перманентная угроза для женщины, едва ли не нормальный горизонт ее существования; по слову Якоба Катса, изнасилование есть то, чего должна опасаться всякая девушка (*wat te vreesen staat voor alle jonge vrouwen*). Более того, история о насилии над женщиной стабильно осмысляется как инаугурационный акт возникновения политической общности, или *conditio sine qua non* ее выживания: почерпнутые из античной классики и Ветхого Завета истории о Лукреции, Елене Троянской, похищении сабинянок, захвате девушек из Шило вениаминитянами становятся конститутивными элементами политического «Атласа Мнемозины» в Нидерландах золотого века. По едкому замечанию Аманды Пипкин, «Нидерландская республика нуждалась в историях об изнасиловании, чтобы создать нацию там, где для этого не было никаких предпосылок» (*Dutch republic required stories of rape to create a nation where none previously existed*) (Pipkin, 2008: 23). Концепт женской *virtus*, вос-

13. На полях можно отметить и еще одно событие — в 1658 г., за два года до выхода в свет первого издания трактата, умерла родами Элизабет Толенаар, первая жена Питера и родственница Яна де Витта.

ходящий к знаменитой легенде из Тита Ливия, сделался одной из основ республиканской мифологии Нидерландов (как это прежде случилось с «флорентийской свободой») — помимо двух «Лукреций» Рембрандта, можно вспомнить программные произведения величайших драматургов золотого века, Питера Корнелисзона Хофта — «Герард ван Вензел» (1613 г.) и Йоста ван Вондела — «Гейсбрехт Амстердамский» (1637 г.), в которых защита женской чести становится сюжетообразующей метафорой борьбы за политическую свободу. Эта литература была хорошо известна Де ла Курам: сам образ политического равновесия (буквально «весов», *weegschaal*), украшающий фронтиспис их одноименного трактата, был заимствован из знаменитого памфлета Йоста ван Вондела, выпущенного по случаю конфликта гомаристов и арминиян в эпоху Дортского синода 1618—1619 годов. Что же касается истории Гейсбрехта ван Амстела, то ей Питер Де ла Кур посвятил один из разделов своей «Истории графского правления в Голландии» (*Historie van Gravelike Regering in Holland*, 1662), никак, впрочем, специально не маркируя значение этого события для политического самосознания Нидерландов. Однако «мифологема Лукреции», т. е. возможность героической смерти, представляет собой в действительности одну из сложнейших апорий для имманентистских гражданских наук XVII столетия. Апорию эту можно описать следующим образом: если базовым и неотменимым аффектом (а в интерпретации Де ла Куров даже «правом») каждого человека является стремление к самосохранению, то что может заставить человека в гражданском состоянии принять смерть по воле суверена, который именно ради обеспечения права на самосохранение и был авторизован (например, в случае гибели на войне или смертной казни). Логически дедукция добровольной смерти из стремления к самосохранению и в самом деле представляется почти невозможной задачей, что не мешало, однако, целому ряду авторов от Томаса Гоббса до Джамбаттисты Вико пытаться ее осуществить. «Праву на наказание» подданного сувереном у Гоббса посвящено множество исследований, и в большинстве из них констатируется, что это имплицитное противоречие в его политической философии не получило удовлетворительного разрешения¹⁴. У Джамбаттисты Вико в его первой «Новой науке» героическая смерть реабилитируется в совершенно классических терминах, но наполненных радикально новым содержанием: жертвование жизнью ради свободы вовсе не имело целью, по Вико, стяжание бессмертной славы (*immortal fama*), как хотели бы думать философы эпохи «явленного разума» (*uomini di menti spiegate*); скорее оно представляет собой почти неосознанный рефлекс «неограниченной свободы», царившей в естественном состоянии или «состоянии семей». У Вико элементы этико-риторической парадигмы (такие лексемы-маркеры, как *virtù eroica*, *libertà*) сочетаются с понятийным аппаратом оригинальной герменевтики мифов, образуя порой формулировки, которые для его образованных читателей должны были казаться оксюморонами: например, «дикарский обычай жить и умирать свободными» (*il feroce costume di vivere e morir*

14. Наиболее исчерпывающим и интригующим из всех посвященных этой теме исследований нам кажется вот это: Schrok, 1991: 853–890.

liberi). Именно эта привычка к дикой свободе (которая у Вико описывается в весьма неприглядных выражениях) и побудила «в мирное время Курций броситься в роковую пропасть»¹⁵, а в военное — Дециев одного за другим принести себя в жертву ради спасения войска, дабы показать плебеям, что они достойны распоряжаться auspiciis (Vico, 2014: 64). Между *virtù eroica* у Вико и ливийской *virtus*, несмотря на внешнее сходство, пролегает пропасть, разделяющая этико-риторическую парадигму и имманентистскую постмакиавеллиевскую политическую философию Де ла Куры называют стремление к самосохранению любыми средствами, в том числе и за счет других людей, неотъемлемым правом человека в естественном состоянии; при этом, однако, весь фронтиспис другого, чуть менее известного сочинения старшего из братьев — «История графского правления в Голландии» — покрыт девизами, провозглашающими примат свободы над самосохранением: *tenere libertatem aut mori ante servitutem* [сохранить свободу или умереть прежде порабощения], *libertas vita charior* [свобода дороже жизни]; сверху лев Иуды когтями и зубами защищается от тех, кто пытается накинуть на его шею аркан, внизу осел Иссахара безропотно принимает удары от своего погонщика¹⁶. Откуда же возникает героический республиканский этос, как он сочетается с естественным императивом самосохранения? И в какой мере иконографическая программа трактата соответствует его содержанию? В самом деле: в предисловии к читателю говорится, напротив, о необходимости повиновения гражданским властям как основе гражданского мира и *salus populi*¹⁷. В другом месте суицидальная логика республиканской *virtus* опровергается прямо: «Страх всеобщего истребления приводит к возникновению *политического порядка* (*politie*) и *дисциплины* (*tugt*), как бы порождая их из самого себя. Так сбывается старое изречение *Qui mori scit, Cogi nescit*: кто не боится умирать, того и принудить ни к чему невозможно, и управлять им невозможно тоже». При этом, однако, одной из важнейших

15. Марк Курций, молодой римлянин из знатного патрицианского рода, принесший себя в жертву подземным богам: по легенде, однажды на форуме образовалась огромная яма, и оракул объяснил, что боги желают получить от римлян в жертву лучшее, что у них есть, — узнав об этом, Курций по собственной воле бросился в «роковой ров» (*Liv. Ab urb. VII, 6*). Отец, сын и внук из рода Дециев, которые носили все трое имя Публий Деций Мус, трижды (при Везувии, Сантинуме и Аускууме) спасали от разгрома римское войско ценой собственной жизни. Вико допускает здесь историческую ошибку: Деции — плебейский род.

16. Иссахар, девятый сын Иакова, родоначальник одноименного колена Израилева, который славился своей крепостью и долготерпением, в Ветхом Завете традиционно сравнивался с ослом: «Иссахар осел крепкий, лежащий между протоками вод» (Быт. 49:14), а Иуда, четвертый сын патриарха, — со львом: «Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица: кто поднимет его?» (Быт. 49:9). В действительности образ Иссахара не столь однозначен, как пытается его представить автор эмблемы, опирающийся, видимо, на следующий фрагмент Писания: «И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна; и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани» (Быт. 49:15). Так, в 1-й Книге Паралипоменон люди колена Иссахарова характеризуются как «люди воинственные» и крепкие в битве (1 Пар. 7:1–5).

17. «Want gelyk de Wetten der Nature den Regeerders verplichten, hun Onderdaanen alle welvaaren te versorgen en geweld af te keeren; soo verplichten ook, de naturelike en civile Wetten alle Onderdanen tot gehoorsaamheid; dewyl sonder de selve 's Lands welvaaren (*salus Populi*) niet kan bestaan, maar voor alle uit- en inheemse grouwelen wijken moet» (*De la Court, 1654: s.p.*).

политических добродетелей Де ла Кур называет свободу высказывания, *паррессию*, и открыто аттестует себя не как придворного льстеца, иноземца, которому безразличны судьбы страны (это больное место для Де ла Кура как эмигранта), а как «истинного голландца, привыкшего называть вещи своими именами» (букв. «лодку — лодкой» или, в другом месте, «грабли — граблями»). Таким образом, героический этос в общем и целом редуцируется до «свободы слова»; в целом же повиновение (*gehoorzamheid*) рассматривается как одна из основополагающих политических добродетелей еще и потому, что демократический гражданский порядок — исторически самый первый и естественный — возникает по всеобщему справедливому соглашению без какого-либо насилия. Так как никто не обладает достаточной властью, чтобы подчинить себе остальных (ср. *equality of hope* у Гоббса), то заключается договор (*verdrag*), результатом которого становится естественное господство большинства¹⁸. Именно поэтому Де ла Куры могут утверждать, что «Народное Правление не основано ни на каком насилии, но является естественным, разумным и справедливым» (*De la Court*, 1662: 530). Из равенства так же естественно рождаются скромность, стыд и нравственность, ибо каждый видит границы своих возможностей и осознает необходимость согласовывать их с интересами других.

Однако не основывается ли эта идиллическая естественность на вытеснении изначального насилия, впрочем, также рассматриваемого как «естественное», а именно исконной власти над женщиной? В самом деле: с одной стороны, для того чтобы человеческий род вообще мог продолжать существование, необходимо участие женщины, но это участие — не добровольное, ибо женщина в силу своего естества подчинена власти мужчины: «Подчиненное положение возникает вследствие недостатка силы или знаний. Недостаток силы очевиден у женщин, ибо такие страсти, как страх, ужас и печаль, проявляются у них сильнее, а способность суждения слабее»¹⁹. Нельзя не увидеть сходства между перечнем страстей в этом фрагменте и в «эмбриологической гипотезе». Именно недостаток силы служит основанием для исключения женщин из политической жизни, их естественной неполноправности и подчиненности мужчинам как «господам и владыкам»²⁰.

Характерно, что, несмотря на патологический характер всякого зачатия, Де ла Куры никоим образом не занимают по отношению к этому акту негативной «гностической» позиции: напротив, как известно, авторы «Рассуждений» усматривали необходимую связь между численностью населения государства и его полити-

18. «En vermits niemand met haar, als op billike en gelijke conditien soude willen verdragen, soo volgdt hier uit, *dat zy volgens deese billikheid, noodzakelik het regt, ende magt van gebieden, aan de meeste stemmen moeten ooverdragen*» (*De la Court*, 1662: 123–124).

19. «Alle onderdaanigheid ontstaat door gebrek van magt, en kennisse. Welk gebrek van magt zig allesins openbaart in de Vrouwluiden, om dat de passien van vrees, schrik en droefheit, grooter in haar, en het oordeel minder, als in de mannen schijnt te wesen... Zulks de Opperhoofdigheit der Mannen, boven de Vrouwen, en Kinderen hier uit klaarlik schijnt te volgen» (*De la Court*, 1662: 520).

20. «Weegens gebrek van *magt*, moesten werden buiten geslooten, alle *Onmondigen, Vrouwluiden, en Dieners*, als aan haare Ouders, Eegade, en Meesters ofte Heeren gehoorsaamheid schuldigh zijnde. En dienvolgende niet vryelik *moogende stemmen*» (*De la Court*, 1662: 662).

ческой устойчивостью. В этом отношении Де ла Куры выступают наследниками Ботеро с его идеей «величия города» (*grandezza della città*). Для изобретателя «государственного интереса» величие города складывалось из трех элементов: выгодного географического положения, славы государева двора и численности населения вкупе с количеством их имущества. Де ла Курам как патриотам Лейдена пришлось сократить этот список, так как ни блестящим двором, ни выгодными природными условиями Лейден похвастаться не мог, — и сделать ставку на численность населения, которому должны были способствовать слава городского университета и процветание торговли (прежде всего — международной торговли текстильной продукцией) (Hartman, Weststeijn, 2013: 17). Они неоднократно указывают на то, что залог могущества любого государства — численность его жителей, и предлагает даже в случае демографических проблем ввозить новых граждан из других стран. Итак, неслучайно девиз «плодитесь и размножайтесь» так часто встречается в текстах Де ла Куров; прививка дурными страстями и политическим бессилием, получаемая каждым человеком во время зачатия вследствие слабой и подверженной аффектам природы женщины, никак не отменяет необходимости умножать число рождаемого ими дефектного потомства.

На языке политических архетипов нидерландского золотого века политико-биологическая конструкция Де ла Куров находится в оппозиции к инициатическому «мифу о Лукреции» и сближается с мифом о «похищении сабинянок». Подобно ливийской мифологии *civitas romana*, демократическая республика Де ла Куров имеет двойную генеалогию: одна объясняет саму биологическую возможность ее существования, другая конституирует ее политическое самосознание, центр которого образует гражданская *virtus* («истинная Батавская свобода»). В одном случае из героического самоубийства рождается республиканское политическое самосознание (*status politicus*), в другом — из принятия женщиной насилия над собой рождается патологическое потомство, образующее человечество в естественном состоянии (*status naturalis*), — Лукреция и анонимные «сабинские женщины» с равным правом могут быть названы «матерями отечества».

Литература

- Афонасин Е. В. (2013). Порфирий об одушевлении эмбриона // СХОЛН. Vol. 7. № 1. URL: www.nsu.ru/classics/schole (дата доступа: 24.09.2016).
- Beverwijck J. van. (1643). Van de wtneementheyt des vrouwelicken geschlachts. Dordrecht: Hendrick van Esch.
- Beverwijck J. van. (1660). Schat der gesontheyt // Id. Alle de wercken. Amsterdam: Ian Iacobsz Schipper.
- Burton R. (1989). The Anatomy of Melancholy, Vol. 1: Text / Ed. by Th. C. Faulkner, N. K. Kiessling, Rh. L. Blair. Oxford: Clarendon Press.
- Cumberland R. (1672). De legibus naturae disquisitio philosophica, in qua earum forma, summa capita, ordo, promulgatio, et obligatio e rerum natura investigantur. Quineti-

- am Elementa Philosophiae Hobbiana cum moralis tum civilis considerantur et refutantur. Londini: Typlis E. Flesher.
- De la Court P.* (1654). *Historie der gravelike regering in Holland*. Amsterdam.
- De la Court J. en P.* (1662a). *Consideratien van Staat, ofte Polytyke Weegschal*. Ysselmonde: Querinus Overal.
- De la Court J. en P.* (1662b). *Politike discoursen handelende in ses onderscheide boeken van Staden, Landen, Oorlogen, Kerken, Regeringen en Zeeden*. Amsterdam: Pieter Hackius.
- Dixon L. S.* (1995). *Perilous Chastity: Women and Illness in Pre-Enlightenment Art and Medicine*. Ithaca: Cornell University Press.
- Goltz D.* (1986). *Der leere Uterus: Zum Einfluß von Harveys De generatione animalium auf die Lehren von der Konzeption // Medizinhistorisches Journal*. Bd. 21. H. 3-4. S. 242-268.
- Hartman J., Weststeijn A.* (2013). *An Empire of Trade: Commercial Reason of State in Seventeenth-Century Holland // Reinert S. A., Roge P.* (eds.). *The Political Economy of Empire in the Early Modern World*. New York: Palgrave. P. 11-31.
- Heurnius I.* (1607). *De gravissimis morbis mulierum liber. De humana felicitate liber. De morbis novis et mirandis epistola*. Utrecht: Raphelengif.
- Hobbes Th.* (1996). *Leviathan / Ed. by R. Tuck*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Huisman F.* (1999). *Medicine and Health Care in the Netherlands, 1500-1800 // Berkel K. van, Helden A. van, Palm L.* (eds.). *The History of Science in the Netherlands: Survey, Themes and Reference*. Leiden: Brill. P. 239-278.
- Kossmann E. H.* (1960). *Politieke theorie in het zeventiende-eeuwse Nederland*. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
- Pipkin A. C.* (2008). *Every Woman's Fear: Stories of Rape and Dutch Identity in the Golden Age*. New Brunswick: Rutgers University Press.
- Schrok Th. S.* (1991). *The Rights to Punish and Resist Punishment in Hobbes's Leviathan // Western Political Quarterly*. Vol. 44. № 4. P. 853-890.
- Struever N. S.* (2009). *Rhetoric, Modality, Modernity*. Chicago: Chicago University Press.
- Thomasius J.* (praes.), *Reinellius J. M.* (resp.). (1679). *Dissertatio philosophica de plagio literario*. Lipsiae: Ch.-E. Buchta.
- Tuinman C.* (1722). *Fakkelt der Nederduitsche Taale, ontsteken byzonderlyk aan de Hebreuwsche, Grieksche, en Latynsche spraaken, als ook de oude Duitsche, uit de overblyfzels der gryze aaloudheid, en die van laater eeuwen*. Leyden: Samuel Luchtmans.
- Vico G.* (2014). *Principi di una Scienza Nuova intorno alla natura delle nazioni per la quale si ritrovano i principi di altro sistema del diritto naturale delle genti*. Napoli: Diogene.
- Weststeijn A.* (2012). *Commercial Republicanism in the Dutch Golden Age: The Political Thought of Johan and Pieter De la Court*. Leiden: Brill.

“Missing Link”: The Embryological Interpretation of the State of Nature by Pieter De la Court and Johan De la Court

Pavel V. Sokolov

Senior Researcher, Poletayev Institute for Theoretical and Historical Studies in the Humanities, National Research University Higher School of Economics

Assistant Professor, School of Philosophy, Faculty of Humanities, National Research University Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: alharizi@rambler.ru

This study examines the status and the functions of the medical (“embryological”) argument in Pieter and Johan De la Court’s treatise *Considerations of State, or Political Balance*. In the beginning of the second book of the treatise, the co-authors decide not to confine themselves to the Hobbesian explanation of the causes of the state of nature, setting forth their own interpretation of this phenomenon, which is the certain “impressions” or “marks” (*indruksele*) the foetus receives at the moment of conception and during the mother’s pregnancy. The article primarily focuses on this striking inversion of the commonplace regarding prenatal conditions, and on the particular way of merging the political arguments with medical arguments while approaching *aporia*, the famous state of nature. The authors proceed by sorting out the contexts of Cartesian and Harvean embryological writings (A. Deusing), popular medical texts describing the pathologies of conception and pregnancy (J. Cats and J. van Beverwijk), and treatises on “political natural philosophy” (R. Cumberland) which illuminates the reasons of using this “anomalous” argument as an explanation of the inevitability of the state of nature. The research emphasizes the ambivalence of the De la Courts’ political republicanism. Though preserving some significant elements of the ethical-rhetorical paradigm (*parrhesia*, the idea of the “Batavian liberty”), this political philosophy does not manage to coherently represent the relationships between the biological and the civil orders, or between heroic ethos and “beneficial violence”.

Keywords: Pieter De la Court, Johan De la Court, political republicanism, state of nature, embryology, Thomas Hobbes, William Harvey

References

- Afonasin E. (2013) Porfirij ob odushevlennii embriona [Porphyry On the Animation of the Embryo]. ΣΧΟΛΗ, vol. 7, no 1. Available at: www.nsu.ru/classics/schole (accessed 24 September 2016).
- Beverwijck J. van (1643) *Van de wtneementheyt des vrouwelicken geslachts*, Dordrecht: Hendrick van Esch.
- Beverwijck J. van (1660) *Schat der gesontheyt. Alle de wercken*, Amsterdam: Ian Jacobsz Schipper.
- Burton R. (1989) *The Anatomy of Melancholy, Vol. 1: Text* (eds. Th. C. Faulkner, N. K. Kiessling, Rh. L. Blair), Oxford: Clarendon Press.
- Cumberland R. (1672) *De legibus naturae disquisitio philosophica, in qua earum forma, summa capita, ordo, promulgatio, et obligatio e rerum natura investigantur. Quinetiam Elementa Philosophiae Hobbiana cum moralis tum civilis considerantur et refutantur*, Londini: Typlis E. Flesher.
- De la Court P. (1654) *Historie der gravelike regering in Holland*, Amsterdam.
- De la Court J. en P. (1662) *Consideratien van Staat, ofte Polytyke Weegschal*, Ysselmonde: Querinus Overal.
- De la Court J. en P. (1662) *Politike discoursen handelende in ses onderscheide boeken van Staden, Landen, Oorlogen, Kerken, Regeringen en Zeeden*, Amsterdam: Pieter Hackius.
- Dixon L. S. (1995) *Perilous Chastity: Women and Illness in Pre-Enlightenment Art and Medicine*, Ithaca: Cornell University Press.
- Goltz D. (1986) Der leere Uterus: Zum Einfluß von Harveys De generatione animalium auf die Lehren von der Konzeption. *Medizinhistorisches Journal*, vol. 21, no 3–4, pp. 242–268.

- Hartman J., Weststeijn A. (2013) An Empire of Trade: Commercial Reason of State in Seventeenth-Century Holland. *The Political Economy of Empire in the Early Modern World* (eds. S. A. Reinert, P. Røge), New York: Palgrave, pp. 11–31.
- Heurnius I. (1607) *De gravissimis morbis mulierum liber. De humana felicitate liber. De morbis novis et mirandis epistola*, Utrecht: Raphelengif.
- Hobbes Th. (1996) *Leviathan* (ed. R. Tuck), Cambridge: Cambridge University Press.
- Huisman F. (1999) Medicine and Health Care in the Netherlands, 1500–1800. *The History of Science in the Netherlands: Survey, Themes and Reference* (eds. K. van Berkel, A. van Helden, L. Palm), Leiden: Brill, pp. 239–278.
- Kossmann E. H. (1960) *Politieke theorie in het zeventiende-eeuwse Nederland*, Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
- Pipkin A. C. (2008) *Every Woman's Fear: Stories of Rape and Dutch Identity in the Golden Age*, New Brunswick: Rutgers University Press.
- Schrok Th. S. (1991) The Rights to Punish and Resist Punishment in Hobbes's Leviathan. *Western Political Quarterly*, vol. 44, no 4, pp. 853–890.
- Struever N. S. (2009) *Rhetoric, Modality, Modernity*, Chicago: Chicago University Press.
- Thomasius J. (praes.), Reinelius J. M. (resp.) (1679) *Dissertatio philosophica de plagio literario*, Lipsiae: Ch.-E. Buchta.
- Tuinman C. (1722) *Fakkkel der Nederduitsche Taale, ontsteken byzonderlyk aan de Hebreuwsche, Grieksche, en Latynsche spraaken, als ook de oude Duitsche, uit de overblyfzels der gryze aaloudheid, en die van laater eeuwen*, Leyden: Samuel Luchtmans.
- Vico G. (2014) *Principi di una Scienza Nuova intorno alla natura delle nazioni per la quale si ritrovano i principi di altro sistema del diritto naturale delle genti*, Napoli: Diogene.
- Weststeijn A. (2012) *Commercial Republicanism in the Dutch Golden Age: The Political Thought of Johan and Pieter De la Court*, Leiden: Brill.

Утопическое чтение: к вопросу о герметичности «Утопии» Томаса Мора

Ирина Каспэ

Кандидат культурологии, старший научный сотрудник
лаборатории историко-культурных исследований
Школы актуальных гуманитарных исследований
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Адрес: просп. Вернадского, 82, стр. 9, Москва, Российская Федерация 119571
E-mail: ikaspe@yandex.ru

В статье исследуется особый коммуникативный режим, который задается «Утопией» Томаса Мора. Рассматривая понятие утопии в историко-культурном контексте, автор статьи исходит из убеждения, что именно с «Золотой книжечки» начинается история утопического письма и чтения (и вообще любых утопических практик), и что написанные впоследствии утопии можно расценивать как вариант рецепции книги Мора. Классическая утопия обладает статусом дидактического повествования, навязывающего жесткую программу восприятия. Однако рецептивные исследования последних десятилетий показывают, что реальные практики чтения утопий разнообразны и противоречивы, часто связаны с замешательством, с непониманием мотиваций утопического письма, с осознанием его герметичности. Отсюда, как правило, делается вывод, что утопия предполагает «диалогическое» чтение, намеренно провоцируя своих реципиентов на активный и творческий поиск. В данной статье выдвигается более радикальное предположение — тип письма, используемый в «Утопии» Мором, во многом противоречит тем ценностным принципам, на которые в дальнейшем опирается институт новоевропейской литературы: именно поэтому к классической утопии так сложно применить выработанные в рамках литературной теории подходы (например, определить заложенную в тексте «программу чтения»). Являясь продуктом Нового времени, утопия, с одной стороны, отражает появление новых моделей отношений с реальностью (проблематика «ноевропейской репрезентации», описанная М. Ямпольским) и отношений субъекта с собой (проблематика «формирования „я“ в эпоху Ренессанса», исследованная С. Гринблаттом); с другой — становится индикатором культурного недоверия к этим моделям (к их «иллюзорности», «фиктивности», «искусственности»). Как демонстрируется в статье, «Золотая книжечка» осваивает новые механизмы репрезентации и идентичности и, одновременно, пытается их блокировать, — что, собственно, и создает эффект герметичности, «автореферентности», по которому опознается классическая утопия.

Ключевые слова: классическая утопия, Томас Мор, утопическая рецепция, новоевропейская репрезентация, автореферентность, идентичность, «фальшивое „я“», нарциссизм

Я бы мог замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя царем бесконечного пространства, если бы мне не снились дурные сны.

Уильям Шекспир. «Гамлет»
(пер. М. Лозинского)

«Утопия» в сегодняшнем общеупотребительном языке — прежде всего метафора, отсылающая к довольно размытому набору значений, в то же время имеющему свои границы. Их вряд ли удастся описать, не активировав память о том, что в основе этой метафоры лежит апелляция к читательскому опыту, к опыту чтения литературных утопий. Занимаясь исследованием утопической рецепции (Каспэ, 2015), я вижу необходимость вернуться к проблематике такого опыта, к его началу — к «Утопии» Томаса Мора.

Анализируя культурные практики визуализации утопии, Лоран Жерверо внимательно рассматривает карту наилучшего острова на самой первой и самой известной иллюстрации «Золотой книжечки» — гравюре 1516 года: топография Утопии напоминает исследователю очертания человеческого мозга, заключенного внутри черепа, и одновременно эмбриона, заключенного внутри матки. Гравюра «подтверждает наши подозрения», пишет Жерверо: утопия — «цитадель разума», «эпицентр истины», «ядро мысли», заточённое в прочной черепной коробке и изолированное от окружающего хаоса; и она же помещена «в исходную чистоту, мир до грехопадения, до родового крика, до сепарации» — этот дистиллированный мир со всех сторон защищен околоплодными водами, и утопия-эмбрион испытывает желание «никогда не родиться, никогда не поддаться времени» (Gervereau, 2000: 358).

Возможность увидеть эти впечатляющие образы, конечно, не в последнюю очередь задана историей утопической рецепции, сложившимися моделями читательского и зрительского восприятия — «нашими подозрениями» и ожиданиями, которые должны быть оправданы. Но в то же время в столь поэтичном описании Жерверо отражено желание, которое, по видимости, могло бы быть разделено многими, — проникнуть в самую суть утопического, *уловить* утопию, понять, что она собой представляет.

Такое желание тем более амбициозно, что известные способы рецепции литературных утопий с трудом поддаются классификации и совсем не поддаются унификации. Так, Питер Рупперт, первым предпринявший развернутое исследование этих способов, подчеркивает, что «Утопия» Мора «в разные времена... прочитывалась как революционная книга, которая предлагает радикальные изменения, как реакционная книга, которая ностальгически тоскует по простой монашеской жизни и средневековым идеалам, и как шутливая и ироничная книга, которая одобряет отсутствие какого бы то ни было мировоззрения» (Ruppert, 1986: 78). Список читательских реакций здесь, разумеется, заведомо не полон. Литературная утопия обладает статусом дидактического повествования, навязывающего некую жесткую программу восприятия, однако при этом — обнаруживает Рупперт — реаль-

ные практики чтения утопий удивительно разнообразны и, более того, противоречивы.

В последние десятилетия объект *utopian studies* всё чаще описывается через внутреннюю противоречивость, как если бы все другие способы описания оказались в данном случае нефункциональными и нелегитимными. С такой точки зрения утопия основывается на противоречивых желаниях, располагаясь между стремлением к изменению, с одной стороны, и к стабильности — с другой: между историцизмом и хилиазмом, активизмом и эскапизмом, практицизмом и идеализмом etc. (Ruppert, 1986; Gervereau, 2000; Jameson, 2005). Нередко замечается также, что утопия зависает между противоречивыми целями — между эмансипацией и принуждением, разоблачением и обманом; она, как пишет Рупперт, «намеревается освободить нас от форм социальной манипуляции и дисциплинирования, но предлагает систему, которая, в своем принуждении и манипулятивности, также становится угнетающей» (Ruppert, 1986: 73). Наконец, утопия дискурсивно противоречива и может определяться как «жанровый гибрид» (по формулировке другого исследователя утопического чтения, Кеннета Рёмера) — читательское восприятие тут разрывается между типами письма, которые наделяются характеристиками правдоподобия (и предполагают «фактуальную» доказательность, описательность, аналитическую критику), и типами письма, имеющими дело с невероятным, небывалым, непредставимым (Roemer, 2003: 29).

Предполагается, что столкновение разнозаряженных полюсов производит «подрывной» эффект и побуждает читателя занять критичную и творческую позицию по отношению к тексту: запускает «процесс конструирования нашего собственного утопического видения — если не на бумаге, то, по крайней мере, в нашем воображении» (Ruppert, 1986: 77). Противоречия и несогласованности указывают на исторические границы возможного, на пределы утопических желаний и могут позволить читателю (конечно, при условии, что он захочет избрать именно такую — «активную», «открытую», «диалогическую» — модель чтения) «диалектически исследовать» собственные исторические ограничения и собственные утопические мечты (Ibid.).

Этот «диалектический» взгляд на утопию сегодня вполне конвенционален (в целом его вполне разделяют Фредерик Джеймисон, Том Мойлан и другие авторитетные исследователи утопического). Он сформировался не без влияния Луи Марена, полагавшего, что утопия выявляет скрытые, вытесненные, непроявленные в культуре социальные и когнитивные противоречия (впрочем, тут же их «нейтрализует»); существенную роль сыграли и концепции, закрепляющие за утопическим текстом эффект «отчуждения» (Morson, 1981), «когнитивного остранения» (Suvin, 1979), «когнитивного диссонанса» (Pfaelzer, 1984) — продуктивного замешательства, благодаря которому читатель приобретает возможность увидеть собственный «настоящий момент» дистанцированно (Roemer, 2003: 63) и осознать его как момент исторический, вписать в исторический контекст (Ruppert, 1986: 166).

Только такой тип утопического чтения — предельно независимый от текста, настроенный на производство собственных альтернативных версий наилучшего общества — представляется Питеру Рупперту (и далеко не только ему) осмысленным и интересным. Рупперт настойчиво показывает, что все прочие варианты читательского обращения с утопиями обречены на фрустрацию и провал — утопия будет казаться скучной, наивной, авторитарной, неубедительной. Иными словами, единственный способ справиться с противоречивостью утопии — признать противоречия продуктивными и вдохновляющими; единственный способ преодолеть герметичность утопического письма, его непроницаемость для адресата — вступить с утопией в творческий диалог. Таким образом, будучи сторонником самых либеральных взглядов на литературную рецепцию и отстаивая читательское право на свободную трактовку, не ограниченную никакими устойчивыми представлениями об авторском замысле, Рупперт, по сути, не оставляет аудитории литературных утопий выбора — ей придется либо следовать «диалогической» модели, либо вовсе отказаться от заведомо обреченных попыток прочесть утопию. Если я и утрирую, то лишь с целью сделать более очевидными те «исторические ограничения» — в терминологии Рупперта, — в рамках которых существует привлекающий его способ воспринимать утопический текст.

Конечно, «активная», «диалогическая» модель утопической рецепции — как она описывается Руппертом и его коллегами — отражает потребности и тревоги читателя конца XX века, испытывающего желание реабилитировать утопию, очистить ее от прямых отождествлений с катастрофами тоталитаризма и политического насилия, найти ей новое место в актуальном интеллектуальном ландшафте¹.

Поэтому ценность концепции Рупперта (и причина ее довольно подробного разбора здесь) мне видится не столько в предложенной «позитивной программе» чтения утопий, сколько в том, что предшествует такому предложению — в самой фиксации читательского замешательства, своего рода бессилия перед классической утопией. По большому счету мы не очень понимаем, как утопию читать. Она принципиально отказывает нам в ключах и подсказках, которые позволили бы с достаточной уверенностью судить о мотивациях утопического письма. Мы не знаем, к кому обращена утопия и для чего написана — мы можем лишь строить более или менее убедительные догадки.

Но при всём широком диапазоне нередко исключаящих друг друга догадок и интерпретаций, при всём многообразии литературных утопий, которые были созданы за последние пять веков (и которые тоже можно рассматривать как варианты утопической рецепции, варианты читательского отклика на «Золотую книжечку») — читатели имеют возможность ощутить на себе работу механизма узнавания. Мы *узнаём* утопическое пространство, как только сталкиваемся с ним в своем читательском опыте. Если такое узнавание происходит — вне зависимости от того, какой материал, какой текст послужил для нас дверью в утопию, — мы раз

1. О всплеске интереса к утопиям (начиная с 1960-х годов), который сопровождался переопределением задач *utopian studies*, см.: Moylan, 2000: 96.

за разом возвращаемся в одно и то же знакомое место, пусть и модифицированное в результате очередного вмешательства чьей-то фантазии. Этот механизм, безусловно, может быть описан в терминах узнавания жанровых канонов и формул — как оправдание ожиданий и «подтверждение подозрений», — но всё-таки он не сводится к жанровой проблематике.

1

В представлении Луи Марена утопия — не столько жанр, сколько пространство (внезаходимое, неопределимое, присутствующее только в тексте etc.). Этот взгляд развивает и продолжает интуицию Эрнста Блоха, для которого условием появления утопии является некая пространственная избыточность — специфические пустоты в структуре «человеческого» (как он формулирует) восприятия мира: «Что-то как бы осталось полым, возникло новое полое пространство. Оно заполняется мечтами, и возможное (которое, скорее всего, никогда не сможет стать действительным) живет внутри» (Блох, 1991: 50). Метафоры нового, дополнительного, полого пространства так или иначе востребованы в разговоре об утопическом. Способом указать на такой «пространства внутренний избыток» может стать упоминание о «пространстве воображения», или «пространстве желания», или о «потенциальности». Более выверенный понятийный аппарат позволяет говорить о том же самом, скажем, в связи с проблемой репрезентации.

Примерно в этом ключе Михаил Ямпольский описывает «новоевропейскую» («классическую») репрезентацию: она возникает в ренессансной культуре как открывающееся пространство («область») «между реальностью и миром платонических идей. <...> Но отношения репрезентации с идеями и реальностью никогда не бывают простыми. Область репрезентации — это область неопределенного, как неопределенен онтологический статус присутствия, одновременно являющегося отсутствием» (Ямпольский, 2007: 5). Под классической репрезентацией Ямпольский понимает «особую форму представления реальности. Она основана на замещении некоего объекта его иллюзионным изображением. Отсутствие изображаемого замещается в ней *иллюзией* присутствия. При этом иллюзия почти никогда не достигает такой интенсивности, чтобы буквально обмануть зрителя или читателя. Иллюзия почти всегда не скрывает того, что она не обладает истинным бытием» (Там же). Такая репрезентация возможна лишь при наличии в культуре понятия субъекта, она опирается на субъектно-объектные отношения и отличается от известных ранее способов «копировать реальность» в первую очередь тем, что предполагает мимесис не «внешних физических форм мира», а «призраков души» — соответственно, «её сферой... оказывается воображение», а «моделью... является сновидение, греза или видение» (Там же: 5–7).

Очевидно, что этому теоретическому ракурсу соответствуют инициированные Жаном Бодрийяром подходы к описанию культуры Нового времени через констатацию произошедшего и усиливающегося разрыва между знаком и референтом

(Там же: 261). Утопия в этом свете будет выглядеть как предельный случай такого разрыва — коль скоро она, по предположению Луи Марена, автореферентна. «Утопия... — пишет Фредерик Джеймисон, — это репрезентация, которая стала замкнутой настолько, насколько это возможно (а это, конечно, невозможно), автономной и самореферентной» (Jameson, 2005: 39–40). Это, разумеется, не означает, что утопия в своем стремлении к автореферентности погружается в некий омут персонального фантазма. «Непростые отношения репрезентации с идеями и реальностью», которые упоминает Ямпольский, изначально связаны с представлениями об универсальной истине и универсальном разуме, то есть, как формулирует Марен, о «совершенной эквивалентности знаков, визуальных образов, вещей и идей» — все они оказываются втянуты в «великий обмен репрезентации». В этих условиях приходится, замечает Марен, «осторожно исследовать репрезентации для того, чтобы исследовать мир, конструировать их, чтобы артикулировать бытие». Пространство репрезентации (если только оно не становится «слепым пятном», не выносится за скобки в претензии на «точное», «адекватное» воспроизведение мира) может восприниматься как инструмент извлечения смысла, экстракта истинной реальности — и отсечения, отбраковывания всего случайного, единичного, исключительного (Marin, 1990: 206–207).

Утопическое письмо, безусловно, основывается на использовании этого инструмента, но одновременно — на стремлении его блокировать. Оккупируя пространство репрезентации и, более того, обустроивая внутри него модель *идеальной, образцовой* репрезентации (экстракт смысла извлечен, шумовые помехи отброшены, знак абсолютно соответствует референту), утопия вместе с тем заряжена интенцией остановить «великий обмен», сделать работу механизма репрезентации невозможной. Читательская потребность наладить коммуникацию с герметичным утопическим текстом, убедиться в том, что он говорит *с нами и о нас* (об известном нам мире, о том, что доступно нашему пониманию и имеет для нас значение) реализуется через попытки увидеть в классической утопии критический памфлет, или конституционный проект, или предсказание будущего; ту же потребность отражают исследовательские гипотезы о географических прототипах придуманного Мором острова (о них, напр.: Zubrycki, 2007: 274). Такого рода попытки действительно (тут нельзя не согласиться с Руппертом) почти всегда требуют дополнительного усилия и никогда не оказываются полностью удовлетворительными — за любыми интерпретативными рамками остается не до конца проявленный, но неизменный эффект столкновения с Другим, опыт инаковости, который провоцирует утопия. Именно этот опыт, скажем, позволяет Джеймисону рассматривать в утопическом ракурсе Зону из «Пикника на обочине» братьев Стругацких — пространство, заполненное абсолютно чужеродными объектами, на которые человечеству приходится смотреть непонимающими, не улавливающими смысла глазами, но которые оно пытается приспособить к собственным нуждам и собственным представлениям о пользе (Jameson, 2005: 73–74).

Утопия автореферентна (или, точнее, пытается быть автореферентной) прежде всего в том смысле, что она разрушает логику мимесиса, предполагающую первичность подлинника, оригинала — будь то платоновский «мир идей» или «реальный мир» в рамках референциальной иллюзии — и вторичность подобия (Жерверо использует в связи с утопией термин «немиметическая репрезентация» [Gervereau, 2000: 358]). Собственно говоря, так и достигается прежде всего эффект герметичности. Утопическое пространство поглощает различные варианты понимания «реального» («подлинное», «истинное», «фактуальное» etc.) — однако наделяется именем, содержащим вполне прозрачный намёк на нереальность, несуществование самого пространства («outopia»). В том, что утопический текст «подражает» фактуальным типам письма (от путевых записок до философского трактата) и при этом присваивает им фикциональный статус, мне видится нечто большее, чем жанровая проблема.

Мор уделяет довольно много внимания коммуникативной игре со своими первыми читателями, для которых фикциональный характер «Золотой книжечки» мог оставаться неочевидным. В работах, исследующих «Утопию» с позиций литературной теории, подробно анализируются вступительные письма к Петру Эгидию, в которых эксплицитный автор настаивает на своей скромной роли публикатора заметок путешественника Рафаила Гитлодея (одно из писем появляется в самом раннем издании книги; другое было написано для второго, парижского издания (1517) уже по итогам некоторых читательских откликов). Дискурсивная стратегия этого эпистолярия, как замечает Альберто Петруччани, заключается в чередовании довольно явных подсказок и их игрового опровержения, она строится «в основном на контрасте назойливо повторяемых уверений в подлинности описываемого и последовательном игнорировании имен собственных» (Петруччани, 1991: 104). Делая вид, что не имеет к этим «варварским» именам никакого отношения, Мор, безусловно, побуждает читателей всё же заметить их и расшифровать: «Если бы не вынуждала меня верность истории, то я ведь не настолько глуп, чтобы по собственному своему желанию давать такие варварские, ничего не обозначающие названия, как „Утопия“, „Анидр“, „Амаурот“, „Адем“» (Там же: 106). Таким образом, Мор с увлечением балансирует между игровым уходом от авторской ответственности (ссылка на «верность истории» здесь подразумевает уклонение от позиции транслятора собственных идей, категоричного ментора, морального арбитра, вообще от любой субъектной позиции по отношению к тексту) и желанием быть разоблаченным.

Эта игра, в своей настойчивости даже способная казаться утомительной (Петруччани упоминает о том, что второе письмо Эгидию показалось Эразму Роттердамскому «откровенно скучным» и поэтому в издание, для которого сочинялось, оно так и не вошло), — не выглядела непривычно для современников «Утопии» и, кажется, ничего не добавила к их восприятию книги. Самые простодушные читатели оставались нечувствительными к намекам и воспринимали заявления о публикаторской роли Мора буквально, более искушенные прочитывали «Золотую

книжечку» через призму «идеального государства» Платона — как демонстрацию должного, как образец достигнутого общественного блага, как пример совершенного государственного устройства, на который необходимо ориентироваться:

— Понимаю: ты говоришь о государстве, устройство которого мы только что разобрали, то есть о том, которое находится лишь в области рассуждений, потому что на земле, я думаю, его нигде нет.

— Но может быть, есть на небе его образец, доступный каждому желающему; глядя на него, человек задумается над тем, как бы это устроить самого себя. А есть ли такое государство на земле и будет ли оно — это совсем не важно. Человек этот занялся бы делами такого — и только такого — государства. (Платон, 1994: 388)

Мор, безусловно, имеет в виду возможность такого прочтения; «Золотая книжечка», как формулирует Петруччани, «прямо-таки изобилует аллюзиями» (Петруччани, 1991: 102) — и на платоновские диалоги, и (пусть менее явно) на другие античные и средневековые тексты, в которых речь так или иначе заходит о несуществующих государствах. Однако слишком акцентированно обыгрывая границу между правдивой историей и вымыслом, примеряя на себя роль нейтрального публикатора и вместе с тем настойчиво давая понять, что под этой маской скрывается другая роль — создателя воображаемого мира, автор «Утопии» привлекает внимание к рубежу, за которым, собственно, начинается утопия.

Платоновские диалоги об идеальном государстве, лежащие не в области воображения, а «в области рассуждений», довольно далеки от того, что мы сегодня привыкли считать утопией. Их задача — не описать, а понять, логически реконструировать образец, который «может быть, есть на небе», «разобрать» его законы. В этом смысле Атлантида, лишь бегло упомянутая в диалоге «Тимей» и толком так и не описанная в диалоге «Критий» (описание прерывается, едва начавшись, — как отмечают комментаторы, «на самом интересном месте»²), — всего лишь объяснительная модель, схематичная иллюстрация, необходимая в рамках строгой мыслительной процедуры. Показательно, что Петруччани, придерживаясь скорее взгляда на утопию как на некий вневременной «архетип» (с чем мне сложно согласиться), но всё-таки полагая, что Мор изобретает для этого архетипа новые жанровые рамки, характеризует дошедшие до нас более ранние опыты моделирования несуществующих государств именно как недостаточно описательные, слишком фрагментарные и «декларативные» (Петруччани, 1991: 99).

Остров Утопия оказывается в гораздо большей степени видимым, утопический текст провоцирует визуальное воображение (Gervereau, 2000: 357) — это вполне согласуется с ракурсом, в котором Ямпольский рассматривает новоевропейскую репрезентацию, определяя ее в первую очередь как «визионерскую» и говоря об утопии в контексте ренессансных архитектурных проектов «идеального города» (Ямпольский, 2007: 231–249). Желание *увидеть* утопию и открывающаяся возмож-

2. См. примечания А. Ф. Лосева в изд.: Платон, 1994: 622.

ность ее *вообразить* прямо связаны с тем, как устроено пространство репрезентации, — с той «иллюзией присутствия», которую оно производит. Указывая путем прозрачных намёков на условную, фиктивную природу репрезентации, «Утопия» Мора задает контекст восприятия такой иллюзии и при этом пытается достичь ее предельных форм — репрезентировать не просто отсутствующий, но несуществующий объект. Визуализация утопий весьма специфична: исследуя утопическую иконографию, Жерверо отмечает прежде всего ее редукционистский и тавтологичный характер (Gervereau, 2000); к этой теме стоит вернуться позднее, пока же важно подчеркнуть особое свойство утопической образности — она может быть вдохновенной и вдохновляющей и вместе с тем воспроизводиться на грани несуществования.

Последовательность в восприятии утопического острова как безупречного образца потребовала бы признать, что модель совершенного государства здесь помещена в никуда — Утопии (в том виде, в каком она задумана и описана Мором) нет ни на земле, ни, в отличие от идеального государства Платона, на небе. Разумеется, первые читатели Мора и его первые последователи легко научились не замечать, игнорировать подобные знаки несуществования — прежде всего, конечно, через попытки смоделировать христианскую версию утопии. Предполагается, что Христианополис Андреа или Новая Атлантида Бэкона устроены в полном соответствии с Божественным замыслом о человеческом обществе и, следовательно, являются лишь медиаторами должного, лишь репрезентируют образец. Однако сам Мор подобных (с христианской точки зрения достаточно опасных) ходов избегает. Здесь можно было бы коротко указать на принятую у утопийцев свободу вероисповедания (за исключением, правда, запрета на атеизм) и на то, что Рафаил Гитлодей называет утопические верования «ересями», но глава «О религиях утопийцев» организована настолько замысловато, что требует отдельного разговора, ну или как минимум небольшого отступления.

Вначале нам сообщается, что «религии утопийцев отличаются своим разнообразием» (Мор, 1953: 196), затем — что доминирует всё же одна, наиболее «благо-разумная» — некий предельно универсальный, нейтральный (Луи Марен одобрил бы это слово) монотеизм. Таким образом, Утопия оказывается благодатным полем для христианской миссионерской деятельности — вскоре мы узнаем, что «немалое количество» утопийцев заинтересовалось христианством, впервые услышав о нём от Гитлодея и его спутников:

Трудно поверить, как легко и охотно они признали такое верование; причиной этому могло быть или тайное внушение божие, или христианство оказалось ближе всего подходящим к той ереси, которая у них является предпочтительной. Правда, по моему мнению, немалую роль играло тут услышанное ими, что Христу нравилась совместная жизнь, подобная существующей у них, и что она сохраняется и до сих пор в наиболее чистых христианских общинах. (Там же: 197–198)

Многие утопийцы даже принимают крещение водой (правда, все прочие таинства остаются для них пока недоступными, поскольку среди путешественников-христиан не оказалось священника). Однако введенный Утопом закон о свободе вероисповедания продолжает действовать — как выясняется дальше, Утоп в свое время намеренно оставил вопрос о религиозной истине «нерешенным», в том числе и для самого себя: «Для него было неясно, не требует ли бог разнообразного и многостороннего поклонения и потому внушает разным людям разные религии. <...> Но допуская тот случай, что истинна только одна религия, а все остальные суетны, Утоп все же легко предвидел, что сила этой истины в конце концов выплывет и выявится сама собою; но для достижения этого необходимо действовать разумно и кротко» (Там же: 200).

Эти размышления воспроизводятся в традиционной молитве утопийцев, пересказанной в финале главки:

В... молитвах всякий признает бога творцом, правителем и, кроме того, подателем всех прочих благ; воздаст ему благодарность за столько полученных благодеяний, а особенно за то, что попал в такое государство, которое является самым счастливым, получил в удел такую религию, которая, как он надеется, есть самая истинная. Если же молящийся заблуждается в этом отношении или если существует что-нибудь лучшее данного государственного строя и религии и бог одобряет это более, то он просит, чтобы по благодати божией ему позволено было познать это; он готов следовать, в каком бы направлении бог ни повел его. Если же этот вид государства есть наилучший и избранная им религия — самая приличная, то да пошлет ему бог силу держаться того и другого и да приведет он всех остальных смертных к тем же правилам жизни, к тому же представлению о боге. Правда, может быть, неисповедимая воля находит удовольствие в подобном разнообразии религий. (Там же: 215)

В таком нагромождении условных конструкций, в сменяющих друг друга «если», собственно, и отражено устройство всей главки в целом. Нам неизвестно, получают ли утопийцы ответ на свои вопрошания (мы знаем только, что «После произнесения этой молитвы они снова падают ниц на землю и, встав через короткое время, идут обедать, а остаток дня проводят в играх и в занятиях военными науками» [Там же]). Мы можем лишь гадать — не было ли таким ответом, собственно, прибытие на остров путешественников-христиан; и *если* тут действительно имело место «тайное внушение божие», то останется ли Утопия утопией, когда (и *если*) на острове действительно распространится христианство? Здесь выбрана сложная, лабиринтообразная повествовательная стратегия, благодаря которой удастся ничего не утверждать и почти ничего не отрицать. Вместе с тем очевидно, что учреждение законов утопического общества было связано не столько с пониманием и воплощением Божественной воли, сколько с непониманием и признанием ограниченности собственного взгляда; не столько с обретением истины через Божественное откровение (как, например, у Бэкона), сколько с *нейтра-*

лизацией сомнений; не столько с рациональным поиском истины (как у Платона), сколько с рациональным поиском нейтральной территории, срединного решения, позволяющего избежать неисправимых ошибок.

Иными словами, Мор, кажется, не позволяет себе обманываться относительно того места, где находится, или, точнее, не существует утопия. В этом смысле ложными являются не только параллели с Платоном, но и в первую очередь с образами Эдема, Небесного Иерусалима, Царствия Божьего, — Мор провоцирует читателей на такого рода аналогии (сегодня неотделимые от утопической рецепции), однако строит конструкцию наилучшего острова на специфической инверсии; чтобы ее описать, нам понадобится категория трансцендирования, которую Мангейм прочно привил дискурсу об утопии. Место Утопии прямо противоположно месту Царствия Божьего, которое признается трансцендентным постольку, поскольку оно «не от мира сего», и при этом безусловно существующим, более того, собственно и являющимся подлинной, абсолютной реальностью. Напротив, расположение Утопии определяется при помощи совершенно земных, географических координат (хотя эксплицитному автору и «не удастся» расслышать их — якобы из-за внезапного приступа кашля), а трансцендентна она постольку, поскольку демонстративно противопоставлена любой реальности, объявлена несуществующей.

Этот логический выверт может переживаться как опыт разрыва между «реальным» и «должным», между «реальным» и «возможным» (по тонкому замечанию Марена, утопические возможности преподносятся так, чтобы читатель мог убедиться в том, что они невозможны [Marin, 1990]), наконец, как опыт принципиальной нереализуемости желания. Если представление о рае связывает категории должного, возможного и желаемого с модусом абсолютной реальности, то утопия, являясь, согласно названию, несуществующим и благим местом одновременно, эту связь проблематизирует и обрывает.

2

Здесь мы приблизились к теме субъектности (которую Ямпольский считает опорной для своего описания новоевропейской репрезентации); Стивен Гринблатт формулирует эту тему в терминах идентичности, самоконструирования, «формирования „я“» — и такая логика размышлений, как я постараюсь показать дальше, может вывести нас к еще одной версии метафоры «полого пространства», сделавшего возможной утопию.

В своем известном (и хрестоматийном для «нового историзма») исследовании «От Мора до Шекспира: формирование „я“ в эпоху Ренессанса» Гринблатт подчеркивает, что оборотной стороной идеи самоконструирования (означающей на первый взгляд обретение индивидуальной автономии, свободы распоряжаться собой) становится представление о том, что идентичность выстраивается не только «изнутри», но и «извне» — посредством социальных связей и культурных институтов. Такое культурное измерение «я» всегда оказывается подозрительным,

вызывает стремление контролировать процесс производства идентичностей и создает ощущение зависимости («Человеческий субъект начинает казаться подчеркнуто несвободным, идеологическим продуктом властных отношений в партикулярном обществе» [Greenblatt, 1980: 256]). Иными словами, речь в данном случае идет прежде всего о диссоциации, распаде цельного переживания самости, возникновении зазоров между различными образами «я» (и в этом смысле разрыву между «знаком» и «референтом» будет соответствовать наметившийся опыт несоответствия между самостью и социальной ролью, между присвоенной и предьявляемой идентичностью, между «истинным» и «фальшивым» «я» etc.).

С этой точки зрения для Гринблатта важно, что его герои — гуманисты начала XVI века — склонны воспринимать политическую и социальную жизнь через призму метафор театра и безумия. Томаса Мора, как полагает Гринблатт, преследует ощущение, что окружающая социальная реальность бессмысленна, абсурдна, иллюзорна, а устройство коллективных ритуалов и коммуникативных практик принципиально не предполагает различения истины и фикции. Возникающее временами впечатление, что речь здесь идет об «эпистемологической неуверенности» (как она представлялась теоретикам постмодернизма) и что мы имеем дело скорее с обобщенным портретом интеллектуала конца XX века, провоцируется характерным для Гринблатта вниманием к субъективности самого исследователя, специфической оптикой, в рамках которой исследование становится своего рода отражением исследователя, его терапевтическим зеркалом.

Вместе с тем реконструкция сложной, многоуровневой идентичности Мора, предпринятая Гринблаттом, завораживает своей убедительностью. Гринблатт видит Мора колеблющимся между вовлеченностью и отстраненностью — между деятельным и искусным участием в публичной жизни и тоской по приватности, автономности, одиночеству, между стремлением к упорядочению мира и отчуждением, между склонностью к саморефлексии и потребностью в самоотстранении. Мор выстраивает дистанцию по отношению к собственному образу «я» (вплоть до способности задаться вопросом «Что сказал бы об этом Мор?»), конструирует себя как импровизационный «проект», при этом следствием такого конструирования оказывается, по наблюдению Гринблатта, постоянное чувство существовавшей возможности других, «теневого» идентичностей, вытесненных актуальной ролью, нереализованных, «скорчившихся в темноте» — и сожаление об этих упущенных возможностях, приписывание именно им статуса «подлинного „я“» (подобным образом, например, Мор сожалеет о неосуществленном монашестве) (Ibid.: 31–33). Здесь принципиально нельзя достичь удовлетворения, подчеркивает Гринблатт, — даже если удастся отождествиться с какой-то из «теневого» идентичностей, она, становясь актуальной ролью, вытесняет в тень все прочие самости, которые будут казаться «подлинными». Более того, «за этими теновыми самостями остается еще одна тень, темнее: мечта о стирании идентичности как таковой, о конце импровизации, о бегстве из нарратива» (Ibid.: 32).

Опыт подобно бегства от себя, или, точнее, его результатом, Гринблатт считает «Утопию». «Утопия» (и Утопия) — место, из которого Томас Мор успешно самоустраняется, в котором его нет. Гринблатт показывает это, применяя к «Золотой книжечке» процедуру историзирующего чтения. Внимание исследователя тут привлекает собственно устройство утопического общества, в котором коллективное явно доминирует над индивидуальным и из которого, вместе с частной собственностью, исключены любые проявления приватности и самости вообще, любая идея «внутренней жизни» — жизнь острова регулируется общественным мнением через систему «внешних» оценок, будь то «почёт» или «позор». В этом усиленном зачеркивании идеи «внутренней жизни» Мор, согласно Гринблатту, пытается «остановить историю современности (modern history) до того, как она начнется, — точно так же как он хочет стереть собственную идентичность» (Ibid.: 54).

Гринблатт понимает такую тотальную редукцию самости прежде всего как бихевиористский взгляд на общественный договор — он вспоминает в этом контексте специфическую терпимость утопийцев к атеистам: тот, кто «считает, что души гибнут вместе с телом» (Мор, 1953: 200), не признается в Утопии ни человеком, ни гражданином, однако и не подвергается наказанию, если не начинает отстаивать свои убеждения в публичных диспутах. «Утопийцы гораздо больше обеспокоены тем, что люди делают, чем тем, во что они верят... — заключает Гринблатт. — В Утопии то, что не манифестируется в публичном поведении, имеет очень небольшую претензию на существование и, следовательно, не интересуется всерьез сообществом» (Greenblatt, 1980: 53). Впрочем, исследователь замечает, что в некоторых социальных установлениях утопийцы руководствуются явно иными критериями — так, преступники, наказанные рабством, могут быть впоследствии отпущены на свободу, если «обнаружат раскаяние, свидетельствующее, что преступление тяготит их больше наказания» (Мор, 1953: 174). Гринблатт видит здесь противоречие и интерпретирует его как параллельное и независимое сосуществование в «Золотой книжечке» разных, плохо совместимых «этосов» — например, задач *realpolitik* (в исходном значении этого термина, охватывающем не только внешнюю, но и внутреннюю политику) и этики христианского гуманизма (Greenblatt, 1980: 56).

В этом ракурсе, конечно, игнорируется — не исключено, что намеренно — более банальная и более простая трактовка (столь значимая для обоснования идеи о «тоталитарных» потенциях утопии): в «Утопии» манифестируется универсальная взаимосвязь нравственного блага и политической (социальной) целесообразности. Пересказанному чуть выше эпизоду о наказании и раскаянии преступников соответствует своего рода «зеркало» в первой части книги: упоминая о законах вымышленного народа полилеритов, Рафаил Гитлодей описывает, в сущности, то же установление, которому следуют утопийцы — преступники наказываются общественными работами, — и резюмирует: «Люди... встречают такое обхождение, что им необходимо стать хорошими и в остальную часть жизни искупить все то количество вреда, какое они причинили раньше» (Мор, 1953: 71).

Необходимость стать хорошими — центральная точка в логических построениях повествователя «Золотой книжечки». В этой точке общественная польза должна пересечься с персональной выгодой и персональным «удовольствием», нравственные законы — с юридическими, вера в то, что «добродетели после этой жизни ожидает награда, а позорные поступки — мучения» (Там же: 200) — с социальной системой поощрений и наказаний, религиозные убеждения в целом — с рациональными доводами, форма — с содержанием, «внешнее» — с «внутренним». «Эгоизм и альтруизм, индивидуализм и солидарность, частное и общественное идентичны», — пишет об Утопии Марен (Marin, 1990: 170–171).

«То, во что люди верят» и то, о чем они думают, здесь, без сомнения, важно — хотя верования как таковые и не могут быть сочтены преступлением, они остаются незащищенными от общественного внимания и социальной оценки. Атеистам (чья опасность для наилучшего общества заключается именно в том, что они «не боятся ничего, кроме <человеческих> законов» и, следовательно, могут постараться их обойти) предписывается не только запрет проповедовать на публике, но и право (оно же, судя по всему, обязанность) не скрывать своих взглядов — утопийцы, как поясняет Гитлодей, «не допускают притворства и лжи, к которым... питают удивительную ненависть» (Mor, 1953: 201). Это, безусловно, бихевиористская и даже «конструктивистская» логика, но не столько потому, что для нее отсутствуют не проявленные в публичном поведении практики, сколько потому, что внешние поведенческие модели призваны форматировать «внутренний мир», делая его «хорошим», — так, «присутствие на глазах у всех создает необходимость проводить все время или в привычной работе, или в благопристойном отдыхе», просто не оставляя «никакого случая для разврата» (Там же: 136). Еще точнее было бы сказать, что логика законов и обычаев наилучшего острова (или логика повествования о них — в данном случае это почти одно и то же) представляет собой своеобразную ленту Мёбиуса, в которой «внутренняя» оптика оказывается продолжением «внешней», а персональное желание — продолжением социальных предписаний.

Всё это вполне очевидно — размышления о подобных свойствах утопического (и об их связи с механизмами политического насилия) хорошо известны по антиутопиям XX века; однако меня сейчас интересует иной контекст, тот, который был задан Гринблаттом — проблематика идентичности.

Как можно заметить, в утопической ленте Мёбиуса не только стираются границы приватности, но и трансформируются характеристики публичности — публичная жизнь интимизируется, утрачивает признаки ролевого взаимодействия, то есть перестает быть «притворной», «фиктивной», «театральной», «абсурдной» и начинает основываться исключительно на принципах честности, абсолютного доверия и рационального смысла. Как должна быть устроена идентичность, чтобы столь специфичная идеальная модель симбиоза приватного и публичного не казалась пугающей?

Гринблатт избегает психологической терминологии, но в главе о Томасе Море, в сущности, описывает тип самовосприятия, который психологи назвали бы нарциссическим. Я отдаю себе отчет в том, что ступаю на шаткую почву — под «психологизированием» (особенно если оно не опирается на лакановскую традицию) во многих междисциплинарных исследовательских сообществах сегодня понимается некий методологический сбой, недостаток: в самом деле, возникает подозрение, что язык психологии способен «загрязнить» социологически нейтральный подход оценочными категориями нормы и дисфункции или сделать проблематичными процедуры исторического суждения. Тем не менее я рискну прибегнуть к помощи этого языка. Собственно говоря, попытка применить к нашей теме понятие нарциссизма не окажется экзотичной — так, Фредерик Джеймисон использует в своих размышлениях об утопии фрейдовскую концепцию «нарциссического письма». Я, однако, буду иметь в виду другую, более позднюю интерпретацию этого понятия — когда оно напрямую связывается с проблематикой идентичности и во многом оказывается отправной точкой для построения «психологии самости» (Kohut, 1971).

Такой взгляд на нарциссизм («нарциссическое расстройство личности», «нарциссический стиль личности»), выработывавшийся в рамках теории объектных отношений (Winnicott, 1965; Kohut, 1971; Kernberg, 1975; Blanck, Blanck, 1974, 1979), впоследствии становится достаточно универсальным и воспроизводится не только с позиции психоанализа, в разных ее вариантах (см.: Miller, 1975; Schwartz-Salant, 1982; Bach, 1985; Morrison, 1989; McWilliams, 1994 и др.), но и, скажем, с позиции экзистенциальной психологии (Лэнгле, 2002). Ключевой для этого взгляда является идея «фальшивого „я“»: нарциссическая патология самовосприятия понимается прежде всего как отказ от реальных чувственных переживаний и потребностей — они отвергаются и игнорируются, представление о самости начинает связываться не с ними, а с абстрактным, идеальным образом, который складывается на основе ожиданий и требований значимых других (то, что в «Утопии» представлено как необходимость «стать хорошими»). Формирование идентичности в результате травматического опыта застревает, блокируется на том раннем этапе, когда образ «я» отражает представления близких взрослых, — и в дальнейшем человек, приобретший нарциссическое расстройство, остается неспособным увидеть себя иначе, кроме как чужими глазами. Одним из проявлений такого блока становятся сложности с различением собственных психологических границ, с дифференциацией «внутреннего» и «внешнего», «субъектного» и «объектного», вплоть до состояния, которое основатель психологии самости Хайнц Кохут назвал «нарциссическим расширением» (Kohut, 1971) — значимые другие начинают восприниматься как продолжение или даже функциональная часть нарциссической личности. Обратной стороной стремления к безграничному контакту (которое никогда не удастся полностью реализовать) является стремление к бегству от любых контактов вообще — как отмечает экзистенциальный аналитик Альфред Лэнгле в статье с выразительным названием «Грандиозное одиночество», «тема нарциссизма, таким

образом, находится в напряженном поле между интимным и общественным, между отграничением и открытостью, между Я и Ты, между разносторонней зависимостью человека от общества и стремлением от этой зависимости освободиться» (Лэнгле, 2002: 35–36).

В формулировке психотерапевта Стивена Джонсона, нарциссическая травма побуждает того, кто ее испытывает, принять «неизбежное трагическое решение, предпочтя власть удовольствию» (Джонсон, 2001: 183) — удовольствия предают, вытесняются властью и контролем, необходимыми для поддержания «фальшивого „я“» (ср. витиеватый монолог Рафаила Гитлодея об удовольствиях, опирающийся на трактат Цицерона «О высшем благе и высшем зле»: осуждая и аскетизм, и излишества, утопийцы, как это им свойственно, находят третий путь — они ценят «духовные удовольствия», понимая под ними преимущественно «упражнения в добродетели и сознание беспорочной жизни», и предпочитают не нуждаться в удовольствиях физических, которые могли бы разрушить иллюзию абсолютного контроля и комфорта: «Эти удовольствия, как наименее чистые, — самые низменные из всех. Они никогда не возникают иначе, как в соединении с противоположными страданиями. Например, с удовольствием от еды связан голод» [Мор, 1953: 159–160]). Позитивное самоощущение, как подчеркивает Джонсон, здесь будет выражаться в гипертрофированной гордости и эйфории от успехов, но поскольку нарциссические успехи всегда связаны с внешним одобрением и не могут быть приняты и подтверждены внутренне, они переживаются скорее интеллектуально, чем кинестетически, «не насыщают», «никогда не удовлетворяют полностью» и постоянно подвергаются сомнению (Джонсон, 2001: 183–184). Так возникает «нарциссическая поляризация»: восприятие себя и других скачкообразно смещается от полюса идеализации к полюсу обесценивания и обратно (как и повествование об Утопии выстраивается на полярных оценках — либо «почёт», либо «позор»); проблема оценки и собственной ценности становится навязчивой и неразрешимой. Лэнгле описывает эту проблематику следующим образом:

Нарциссизм связан с поиском Я, с вечным поиском того, на чем основано Я в своей ценности. Из-за этого безрезультатного кружения вокруг тематики Я поведение нарцисса всегда столь эгоистично. Вопросы «Кто Я?», «Есть ли во мне что-нибудь, что представляет действительную ценность?» потому превращаются в страдание, что ответа на них не находится. Эта рана, зияющая в одной из фундаментальных экзистенциальных мотиваций, не дает покоя. Без весомого внутреннего обоснования успокоения не происходит — в нарциссизме человек не находит того места, где в нем говорит Я, где Я говорит из него. И поэтому ему приходится напряженно и неустанно продолжать поиски всего того, что может иметь отношение к его Я. Так как *внутри* ничего не обнаруживается, он может найти себя только в том, что относится к *внешней* стороне его бытия. (Лэнгле, 2002: 49)

Кажется, общим (и, по сути, центральным) местом всех описаний нарциссического самовосприятия является констатация ощущения «внутренней пустоты», «зияющей раны», «вакуума», «нарциссической дыры» — невозможности обретения и присвоения самости. В какой мере все эти метафоры пустоты соотносимы с размышлением о «полом пространстве», в котором возникает утопия? В какой мере концепция нарциссической травмы применима к реалиям XVI века?

Исследователи нарциссизма часто признают его «современной» патологией (и даже — характерной для современности, отражающей и выражающей современность), хотя в определении хронологических координат современности заметно расходятся — речь может идти о тенденциях последних десятилетий или о достижительной ориентации и индивидуализме «западной культуры» (Лэнгле, 2002: 36–37). Можно предположить всё же, что для возникновения нарциссической патологии необходимо существование в культуре той идеи конструирования, формирования идентичности, которую рассматривает Гринблатт. Его замечания о Море — о его вовлеченности в публичную жизнь и отстраненности, о неисчерпаемой тоске по подлинному «я», о подозрениях, что самым подлинным «я» является пустота, отсутствие самости, — вполне переводимы на язык психологии нарциссизма. Устраняя частную собственность, моровская Утопия декларативно опровергает и отвергает «суетные» символы престижа, «безумие» тщеславия, бессмысленность заносчивой гордости, «не приносящий никакой пользы почет» (в тех случаях, когда поводом для него становятся знатность и богатство) (Мор, 1953: 153), однако делает это лишь затем, чтобы противопоставить несовершенным паттернам социального одобрения другие, идеальные, ложным ценностям — нереализуемую мечту об адекватной внешней оценке. Рассказывая об утопиях, которые, пренебрегая золотом, используют его для производства ночных горшков и рабских цепей, книга Мора называет себя «*Libellus vere aureus*» — *подлинно золотой*.

То, что Гринблатт видит как редукцию самости, как предпринятое Мором бегство из нарратива, и что с психологической точки зрения выглядело бы как «нарциссическая пустота» и «нарциссическое бегство», можно обнаружить не только собственно в устройстве утопического общества, но и в устройстве книги в целом, в выстраивании авторских стратегий — и эксплицированных, и имплицитных.

В этом ракурсе становится понятнее затеянная в «Утопии» игра с маской эксплицитного автора, который уклоняется от субъектной позиции, делая вид, что имеет к тексту лишь опосредованное отношение, и в то же время хочет быть разоблаченным и, вероятно, вознагражденным.

Я избавлен в этой работе от труда придумывания;.. мне несколько не надо было размышлять над планом, а надлежало только передать тот рассказ Рафаила, который я слышал... У меня не было причин и трудиться над красноречивым изложением — речь рассказчика не могла быть изысканной, так как велась экспромтом, без приготовления... и чем больше моя передача подходила бы к его небрежной простоте, тем она должна была бы быть ближе к ис-

тине, а о ней только одной я в данной работе должен заботиться и забочусь.
(Там же: 33)

— подчеркивает эксплицитный автор в письме Петру Эгидию. Специфическое алиби требуется Мору, чтобы избежать не только нефункциональной (а значит — «абсурдной», «бессмысленной») декоративности стиля, но и — ловушек воображения.

Собственно говоря, здесь мы возвращаемся к теме визуальной редукции, которую исследовал Жерверо. Современное восприятие нередко ретроспективно приписывает утопии романтические и постромантические представления о воображении — нам часто хочется считать утопию территорией безграничного творческого вдохновения, изобретательной фантазии и экзотичной образности. Но, как показывает Гринблатт (впрочем, уже не в контексте разговора об «Утопии»), для Мора понятие воображения имеет скорее негативные коннотации (и в этом смысле Мор тоже пытается «остановить историю современности») — «поклонение своему воображению» осуждается совершенно в платоновском духе как приверженность фикции, иллюзии, обману (Greenblatt, 1980: 112–114). Джеймисон, уделивший проблеме утопического воображения много внимания, замечает, что процедуры воображения реализуются в «Утопии» прежде всего через отрицание, через фигуры отсутствия — Мор скорее исключает из модели наилучшего общества те или иные современные ему социальные установления (от частной собственности и денег до института адвокатуры), чем пытается изобрести нечто принципиально новое; во всяком случае первая интенция почти всегда предшествует второй (Jameson, 2005: 12).

Джеймисона при этом интересует прежде всего невозможность вообразить утопию, непреодолимость пределов воображения, однако утопическое письмо часто как будто и не намеревается их преодолевать, останавливаясь перед ними и их демонстрируя. Описание атрибутов утопической повседневности нередко сводится к указаниям на то, что они «великолепны», «прекрасно устроены», «снабжены всем необходимым», «другой формы, чем те, которые имеются у нас», «своею приятностью превосходят употребительные у нас, их нельзя даже и сравнивать с нашими». Показательно, что подобная риторика аскетично-неловкого умолчания воспроизводится в последующих литературных утопиях и закрепляется как жанровая особенность. «Нет, мой друг, у меня не хватило бы слов, чтобы изобразить мое восхищение, да к тому же пришлось бы исписать не один том. Я привезу тебе все планы, а здесь ограничусь тем, что дам тебе общее представление о них», — рапортует из утопической Икарии персонаж Этьена Кабе (Кабе, 1948: 168). Герберт Уэллс, один из самых пронизательных утопических читателей, в своей «Современной Утопии» передает подобную анемию воображения при помощи следующего риторического оборота: «Чем поразит нас большой город Утопии? Чтобы ответить на этот вопрос как следует, надо быть или художником, или инженером, а я ни то, ни другое» (Уэллс, 2010: 211).

Утопическое письмо должно демонстрировать бессилие перед утопией. Но не только потому, что совершенство неопишимо и у несовершенного повествователя в этом случае всегда заведомо недостаточно изобразительных средств, но и потому, что письмо тут намеренно отключено от любых проявлений самости, оно обязано быть стертým, невыразительным, *нейтральным*. Ему противопоказано всё, что могло бы быть воспринято как увлеченный авторский произвол, как производство текста, вышедшее из-под строгого контроля. Витиеватые описания, смакующие случайные подробности быта, нефункциональная завороченность деталями, настройка дескриптивного аппарата на передачу чувственного, кинестетического опыта — все те принципы письма, которые могут быть соотнесены с бартовским «удовольствием от текста», совершенно непредставимы в «Утопии» Мора и начинают использоваться для конструирования «воображаемых миров» существенно позднее. Классическая утопия неизменно вытесняет практики удовольствия, предпочитая им практики контроля.

3

Таким образом, интуицию, что *утопия отключена от реальности*, мы можем описать и через проблематику репрезентации, и через проблематику идентичности. Оккупируя пространство репрезентации (являющееся, согласно Ямпольскому, пространством воображения), утопия, с одной стороны, пытается нейтрализовать его, очистить от «призраков души», от случайных следов «реального „я“», добиться такой универсальности, которая бы исключала субъектность, а с другой — блокирует это пространство, настаивает на том, что оно автореферентно.

Анализируя устройство «Золотой книжечки», Джеймисон ненадолго останавливается на сюжете о полилеритах, чьё государство «со всех сторон окружено горами» и «управляется по своим законам» (Мор, 1953: 71), однако вынуждено платить ежегодную дань персидскому царю. Эта дань, эта «геополитическая зависимость» представляется Джеймисону своего рода аллегорией «структуры репрезентации как таковой, которая зависит от внешних связей и эмпирического материала» (Jameson, 2005: 39). Остров Утопия делает вид, что разрывает такую, неизбежную для любой репрезентации, зависимость; в читательском восприятии утопия «изолирована от окружающего хаоса» — как мозг внутри черепной коробки или как эмбрион внутри матки.

Конечно, герметичность Утопии тоже относительна — на это обращает внимание в своем исследовании Карла Зубрицки (Zubrycki, 2007): моровские утопийцы не только активно контактируют со столь же вымышленными, как и они, соседями, но и обладают знаниями об античной цивилизации — научились «всякого рода искусствам» от нескольких римлян, тысячу двести лет назад потерпевших кораблекрушение у берегов Утопии (выживших, но домой не вернувшихся), более того, сами предположительно происходят от греков.

В дальнейшем «всемирная отзывчивость» становится характерным свойством классических утопий — она отражена и на внутренних стенах кампанелловского Города Солнца («Когда же стал я с изумлением спрашивать, откуда известна им наша история, мне объяснили, что они обладают знанием всех языков и постоянно отправляют по свету нарочных разведчиков» [Кампанелла, 1947: 34]), и в названиях и архитектуре кварталов Икары, столицы Икарии («Вы найдете... кварталы Пекина, Иерусалима, Константинополя, как и кварталы Рима, Парижа и Лондона. Таким образом, Икара — действительно земной шар в миниатюре» [Кабе, 1948: 120–121]). Повествователь бэконовской «Новой Атлантиды», пожалуй, наиболее ярко выразил то впечатление, которое производит подобная осведомленность: «Но как могут островитяне знать языки, книги и историю тех, кто отделен от них таким расстоянием, — вот что кажется нам непостижимым; и представляется свойством и особенностью божественных существ, которые сами неведомы и незримы, тогда как другие для них прозрачней стекла» (Бэкон, 1978: 495). Утопия в таком описании осторожно подпитывает свои смысловые запасы, поглощая всё, что может ей пригодиться, однако, как правило, делает это тайно, не вступает в прямой контакт, не участвует в обмене, не передает дальше присвоенные ресурсы, не отражает их, не репрезентирует.

В «Золотой книжечке» всё устроено несколько сложнее, чем в «Новой Атлантиде», но придуманная Мором Утопия, абсорбируя и реалии современной ему Англии, и «идеальное государство» Платона, вместе с тем в определенном смысле стремится остаться автореферентной, репрезентировать только себя — безопасный островок абсолютной подконтрольности, которого нет ни на земле, ни на небе. Место, где можно, осознавая свою ограниченность, обрести, наконец, безграничную власть.

Марен в своей склонности к парадоксам утверждал, что утопия находится «езде, но нигде» (Magin, 1990: 207). Если и описывать классическую утопию через риторику противоречий, то пусть это будут противоречия нарциссические — между «расширением» и стремлением к отграниченности, между ощущением всемогущества и ощущением собственной ничтожности (в конечном счете — отсутствия), между желанием жить и решением не чувствовать себя живым.

Существует соблазн увидеть в утопии прообраз тех характеристик, при помощи которых определяется впоследствии литература Нового времени — будь то «вторая реальность» или «автономное поле». Но по большому счету утопии совершенно чужд путь, по которому направляется позднее европейская литература. С одной стороны, автономность утопии никогда не манифестируется как ценность и целеполагание (в противоположность литературной автономии — ср. концепции «эстетизма», «искусства для искусства» etc.); такого рода манифестации прямо противоречили бы утопическому стремлению к универсальности и функциональности. С другой стороны, утопия предельно далека от идеи неподконтрольности и неисчерпаемости воображения, от идеи, что текстуальный мир может оказаться неуправляемым, независимым от своего создателя (Татьяна Ла-

рина — своевольно выйти замуж), от идеи идентификации читателя с персонажами и вообще восприятия нарратива через призму индивидуального читательского опыта — любая идея ответа, вторжения «реальности» в текст противоречит принципам утопического письма. В этом отношении оно — не литература. Собственно говоря, поэтому к нему так сложно применить всё, что литературная теория знает о «программе чтения» или «имплицитном читателе».

Мы, читатели, можем видеть классическую утопию только на определенной дистанции, только через внешний взгляд стороннего наблюдателя, только как чужую, иную культуру — это взгляд, редуцирующий частности и различия; не удивительно, что утопийцы кажутся нам одинаковыми (как поэтично формулирует один из исследователей, «в мертвенных глазах утопийцев мы видим только бесконечное множественное отражение идентичного Другого» [Trousson, 1986: 15–16]). И в то же время утопия обладает своим, завораживающим способом воздействия. Это происходит то ли тогда, когда удастся почувствовать, что «мертвенные глаза утопийцев», в свою очередь, наблюдают за нами и мы для них «прозрачней стекла», то ли тогда, когда начинает казаться, что метафорой границы между нами и утопией является, парадоксальным образом, не столько стекло, сколько поверхность зеркала. Если, подчиняясь нарциссической воле, мы соглашаемся считать утопические желания своими, утопия приглашает нас разделить с ней ее «грандиозное одиночество».

* * *

Итак, сильно огрубляя, можно сказать, что утопия рождается тогда, когда в культуре появляется «место» для выстраивания новых отношений с реальностью (конечной точкой которых, возможно, является идея «конструирования реальности») и новых отношений с субъекта с собой (конструирования идентичности, «формирования „я“»). Утопия, безусловно, выявляет подозрительную сторону этих отношений, она — своего рода индикатор культурного недоверия к ним. Опасения, что механизмы репрезентации и идентичности могут работать вхолостую, что, отрываясь от чувственно переживаемого опыта, они ни к чему не отсылают, что за иллюзиями, которые они производят, скрывается пустота, «полное пространство» (именно отсюда возникает хрестоматийное мангеймовское сопоставление «утопии» и «идеологии» — из ощущения, что политическое становится автореферентным, перестает репрезентировать реальность), — такого рода опасения утопия пытается компенсировать гиперфункциональностью, предельной концентрацией подлежащего рациональному обоснованию смысла, и вытеснением всего, что представляется нецелесообразным, прагматически неясным и, следовательно, в рамках этой логики, бессмысленным. Восприятие утопии, конечно, неоднократно меняется на протяжении нескольких веков — однако «пространство», обнаруженное Мором, сохраняет свои границы. Иными словами, его культурная функция всё еще актуальна.

Литература

- Блох Э.* (1991). Принцип надежды / Пер. с нем. Л. Лисюткиной // *Чаликова В. А.* (ред.). Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литературы. М.: Прогресс.С. 49–78.
- Бэкон Ф.* (1978). Новая Атлантида / Пер. с англ. З. Е. Александровой // *Бэкон Ф.* Сочинения в 2-х тт. Т. 2. М.: Мысль. С. 483–518.
- Джонсон С. М.* (2001). Психотерапия характера / Пер. с англ. В. Мершавка. М.: Центр психологической культуры.
- Мор Т.* (1953). Утопия / Пер. с лат. А. Малеина и Ф. Петровского. М.: Изд-во АН СССР.
- Кабе Э.* (1948). Путешествие в Икарию: философский и социальный роман / Пер. с франц. под ред. Э. Л. Гуревича. М.-Л.: Изд-во АН СССР.
- Кампанелла Т.* (1947). Город Солнца / Пер. с лат. Ф. Петровского. М.-Л.: Изд-во АН СССР.
- Каспэ И.* (2015). Навык утопического взгляда: на материале авторских фотографий последних десятилетий социализма // *Социологическое обозрение.* № 2. Т. 14. С. 41–69.
- Лэнгле А.* (2002). Грандиозное одиночество: нарциссизм как антропологическо-экзистенциальный феномен / Пер. с нем. О. Ларченко // *Московский психотерапевтический журнал.* № 2. С. 34–58.
- Петруччани А.* (1991). Вымысел и поучение. Структура утопии / Пер. с ит. А. Киселевой // *Чаликова В. А.* (ред.). Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литературы. М.: Прогресс. С. 98–112.
- Платон.* (1994). Государство / Пер. с древнегреч. А. Н. Егунова // *Платон.* Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 3 / *Общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи.* М.: Мысль. С. 79–420.
- Уэллс Г.* (2010). Современная Утопия / Пер. с англ. В. Зиновьева. М.: Книжный Клуб Книговек; СПб.: Северо-Запад.
- Ямпольский М.* (2007). Ткач и визионер: очерки истории репрезентации, или О материальном и идеальном в культуре. М.: Новое литературное обозрение.
- Bach S.* (1985). *Narcissistic States and the Therapeutic Process.* Northvale: Jason Aronson.
- Blanck R., Blanck G.* (1974, 1979). *Ego Psychology: Theory and Practice.* New York: Columbia University Press.
- Gervereau L.* (2000). *Symbolic Collapse: Utopia Challenged by its Representations* // *Schaer R., Claeys G., Sargent L. T.* (eds.). *Utopia: the Search for the Ideal Society in the Western World.* New York: Oxford University Press. P. 357–367.
- Greenblatt S.* (1980). *Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare.* Chicago: University of Chicago Press.
- Jameson F.* (2005). *Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions Paperback.* London: Verso.

- Kohut H.* (1971). *The Analysis of the Self: A Systematic Approach to the Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personality Disorders*. New York: International Universities Press.
- Marin L.* (1990). *Utopics: The Semiological Play of Textual Spaces / Transl. by R. A. Vollrath*. New York: Humanity Books.
- McWilliams N.* (1994). *Psychoanalytic Diagnosis: Understanding Personality Structure in the Clinical Process*. New York: The Guilford Press.
- Miller A.* (1975). *Prisoners of Childhood: The Drama of the Gifted Child and the Search for the True Self*. New York: Basic Books.
- Morrison A. P.* (1989). *Shame: The Underside of Narcissism*. Hillsdale: Analytic Press.
- Morson G. S.* (1981). *The Boundaries of Genre. Dostoevsky's Diary of Writer and the Traditions of Literary Utopia*. Austin: University of Texas Press.
- Moylan T.* (2000). *Scraps of the Untainted Sky: Science Fiction, Utopia, Dystopia*. Boulder: Westview Press.
- Pfaelzer J.* (1984). *The Utopian Novel in America, 1886–1888: The Politics of Form*. Pittsburgh: University of Pittsburg Press.
- Roemer K.* (2003). *Utopian Audiences: How Readers Locate Nowhere*. Amherst: University of Massachusetts Press.
- Ruppert P.* (1986). *Reader in a Strange Land*. Athens: University of Georgia Press.
- Schwartz-Salant N.* (1982). *Narcissism and Character Transformation: The Psychology of Narcissistic Character Disorder*. Toronto: Inner City Books.
- Suvín D. R.* (1979). *Metamorphoses of Science Fiction*. New Haven, London: Yale University Press.
- Trousson R.* (1986). Introduction // *Imbroscio C., Trousson R.* (eds.). *Requiem pour l'utopie? Tendances autodestructrices du paradigme utopique*. Pise: Goliardica.
- Winnicott D. W.* (1965). *Ego Distortion in Terms of True and False Self [1960] // The Maturation Process and the Facilitating Environment: Studies in the Theory of Emotional Development*. New York: International Universities Press. P. 140–152.
- Zubrycki K.* (2007). *Literary Utopias: Literal Hells? // Prairie Perspectives*. Vol. 10. P. 265–290.

Utopian Reading: Towards a Hermeticity of Thomas More's *Utopia*

Irina Kaspe

Senior Research Fellow, School of Advanced Studies in Humanities, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Address: Prospect Vernadskogo, 82, Moscow, Russian Federation 119571

E-mail: ikaspe@yandex.ru

The article explores the specific communicative regime established in Thomas More's *Utopia*. Classical utopia possesses the status of a didactic narrative which imposes a rigid pattern of perception. However, in recent decades, reception studies demonstrates that actual practices of reading utopias are various, contradictory, and often associated with confusion and a lack of understanding of the motivations for utopian writing, as well as with the recognition of its hermeticity. The conclusion which usually follows from this is that utopia implies "dialogical" reading, intentionally inspiring an active and creative reader's response. This article provides more a radical suggestion: the type of writing used by More in his *Utopia*, in many respects, contradicts the value principles on which the European institute of literature was based. This is why it is difficult to apply the approaches of literary theory to classical utopia (for example, to identify the "program of reading" foreseen by the text). As a phenomenon of early modern culture, utopia, on the one hand, reflects the new patterns of personal relationship with reality (the "classical representation" issue described by Mikhail Yampolsky), and with the self (the "Renaissance self-fashioning" issue, examined by Stephen Greenblatt). On the other hand, utopia becomes an indicator of the cultural distrust of these patterns of their "illusiveness," "fictitiousness," or "artificiality." As the article demonstrates, More's *Utopia* absorbs new tools of representation and identity while attempting to block them at the same time. Thus, the well-known effect of hermeticity, or the "autoreference" of classical utopia, could be produced.

Keywords: classical utopia, Thomas More, utopian reception, "classical representation", autoreferentiality, identity, "false self", narcissism

References

- Bacon F. (1978) *Novaja Atlantida* [New Atlantis]. *Sobranie sochinenij. Tom 2* [Works, Vol. 2], Moscow: Mysl, pp. 483–518.
- Cabet E. (1948) *Puteshestvie v Ikariju: filosofskij i social'nyj roman* [Travel and Adventures of Lord William Carisdall in Icaria], Moscow, Leningrad: Akademiya nauk SSSR.
- Campanella T. (1947) *Gorod Solnca* [The City of the Sun], Moscow, Leningrad: Akademiya nauk SSSR.
- More T. (1953) *Utopija* [Utopia], Moscow: Akademiya nauk SSSR.
- Plato (1994) *Gosudarstvo* [Republica]. *Sobranie sochinenij. Tom 3* [Works, Vol. 3], Moscow: Mysl, pp. 79–420.
- Wells H. G. (2010) *Sovremennaja Utopija* [A Modern Utopia], Moscow: Knizhnyj Klub Knigovek; Saint Petersburg: Severo-Zapad.
- Bach S. (1985) *Narcissistic States and the Therapeutic Process*, Northvale: Jason Aronson.
- Blanck R., Blanck G. (1974, 1979) *Ego Psychology: Theory and Practice*, New York: Columbia University.
- Bloch E. (1991) Princip nadezhdy [The Principle of Hope]. *Utopija i utopicheskoe myshlenie: antologija zarubezhnoj literatury* [Utopia and Utopian Thinking: An Anthology of Foreign Literature] (ed. V. Chalikova), Moscow: Progress, pp. 49–78.
- Gervereau L. (2000) Symbolic Collapse: Utopia Challenged by its Representations. *Utopia: the Search for the Ideal Society in the Western World* (eds. R. Schaer, G. Claeys, L. T. Sargent), New York: Oxford University Press, pp. 357–367.
- Greenblatt S. (1980) *Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare*, Chicago: University of Chicago Press.
- Jameson F. (2005) *Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions Paperback*, London: Verso.
- Johnson S. M. (2001) *Psihoterapija haraktera* [Character Styles], Moscow: Centr psihologicheskoy kul'tury.
- Kaspe I. (2015) *Navyk utopicheskogo vzgljada: na materiale avtorskih fotografij poslednih desjatiletij socializma* [The Skill of Utopian Vision: Photojournalism in the Last Soviet Decades]. *Russian Sociological Review*, vol. 14, no 2, pp. 41–69.
- Kohut H. (1971) *The Analysis of the Self: A Systematic Approach to the Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personality Disorders*, New York: International Universities Press.

- Langle A. (2002) Grandioznoe odinochestvo: narcissizm kak antropologicheskoe-ekzistencial'nyj fenomen [The Grand Solitude: Narcissism as an Anthropological and Existential Phenomenon]. *Moscow Journal of Psychotherapy*, no 33, pp. 34–58.
- Marin L. (1990) *Utopics: The Semiological Play of Textual Spaces*, New York: Humanity Books.
- McWilliams N. (1994) *Psychoanalytic Diagnosis: Understanding Personality Structure in the Clinical Process*, New York: The Guilford Press.
- Miller A. (1975) *Prisoners of Childhood: The Drama of the Gifted Child and the Search for the True Self*, New York: Basic Books.
- Morrison A. P. (1989) *Shame: The Underside of Narcissism*, Hillsdale: Analytic Press.
- Morson G. S. (1981) *The Boundaries of Genre. Dostoevsky's Diary of Writer and the Traditions of Literary Utopia*, Austin: University of Texas Press.
- Moylan T. (2000) *Scraps of the Untainted Sky: Science Fiction, Utopia, Dystopia*, Boulder: Westview Press.
- Petruciani A. (1991) Vymysel i pouchenie. Struktura utopii [Fiction and Persuasion: The Structure of Utopia]. *Utopija i utopicheskoe myshlenie: antologija zarubezhnoj literatury* [Utopia and Utopian Thinking: An Anthology of Foreign Literature] (ed. V. Chalikova), Moscow: Progress, pp. 98–112.
- Pfaelzer J. (1984) *The Utopian Novel in America, 1886-1888: The Politics of Form*, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Roemer K. (2003) *Utopian Audiences: How Readers Locate Nowhere*, Amherst: University of Massachusetts Press.
- Ruppert P. (1986) *Reader in a Strange Land*, Athens: University of Georgia Press.
- Schwartz-Salant N. (1982) *Narcissism and Character Transformation: The Psychology of Narcissistic Character Disorder*, Toronto: Inner City Books.
- Suvin D.R. (1979) *Metamorphoses of Science Fiction*, New Haven: Yale University Press.
- Trousseau R. (1986) Introduction. *Requiem pour l'utopie? Tendances autodestructrices du paradigme utopique* (eds. C. Imbroscio, R. Trousseau), Pise: Goliardica.
- Winnicott D.W. (1965) Ego Distortion in Terms of True and False Self. *The Maturation Process and the Facilitating Environment: Studies in the Theory of Emotional Development*, New York: International Universities Press, pp. 140–152.
- Yampolsky M. (2007) *Tkach i vizioner: ocherki istorii reprezentacii, ili O material'nom i ideal'nom v kul'ture* [Weaver and Visioner: Essays on the History of Representation; or, Of the Material Ideal in Culture], Moscow: New Literary Observer.
- Zubrycki K. (2007) Literary Utopias: Literal Hells? *Praire Perspective*, vol. 10, pp. 265–290.

Без шуток. О том, как не надо переводить остроты Бертрана Рассела

Август Похлёбкин

Независимый исследователь

Адрес: Октябрьский проспект, д. 1А, кв. 32, г. Подольск, Российская Федерация 142117

E-mail: a.v.pokhlebkina@gmail.com

Рассматривая критически две предыдущих попытки перевода Нобелевской лекции (1950) Бертрана Рассела, автор приходит к выводу о необходимости нового перевода. Перевод д.ф.н. Б. А. Гиленсона 1998 года признаётся неудачным ввиду наличия в нём свыше ста существенных смысловых искажений и мелких неточностей, десять из которых приведены и прокомментированы. Второй опыт перевода, опубликованный анонимно в журнале «Юность» в 2001 году, признаётся негодным ввиду обильных купюр, составляющих 24 % общего объёма текста. В качестве главного объяснения слабых сторон этих переводов предположена неполнота источников и контекстной информации, которой располагали их авторы. Кратко приведены сведения об основаниях присуждения Расселу Нобелевской премии, о взаимосвязанности его литературных произведений разной тематики и об истории публикации Нобелевской речи на других языках. Для определения эмоциональной окраски высказываний Рассела подчеркивается важность использования аудиозаписи выступления, помогающей однозначно отличить шуточки от серьёзных утверждений. Пояснены отдельные отклонения от буквального перевода некоторых выражений. Подчеркнуто центральное значение речи для понимания социально-политических взглядов Рассела и её типичность для выражения его юмора и стиля.

Ключевые слова: Бертран Рассел, Нобелевская лекция, эмоции в политике, история литературы, история идей, англо-русский перевод, перевод юмора, перевод идиом

Британский философ Бертран Рассел (1872–1970) — третий лорд Рассел, внук дважды премьер-министра Великобритании Джона Рассела и крестник Джона Стюарта Милля — проделал уникальную, полную драматических поворотов литературную карьеру, дважды пройдя путь от любимца влиятельной и почтенной публики до травимого и высмеиваемого, но не поддающегося маргинализации ересиарха. Его авторству принадлежит более 70 книг и брошюр, а полная библиография его публикаций занимает три тома (Blackwell, Ruja, 1994a, 1994b; Blackwell, Ruja, Turcon, 1994).

Период, к которому относится Нобелевская лекция Бертрана Рассела, занимает в его биографии особое — триумфальное — место. Как отмечал сам Рассел за год до своей смерти в автобиографии: «1950 год, начавшийся с вручения мне ордена „За заслуги“ и закончившийся Нобелевской премией, ознаменовал, похоже, апогей моей респектабельности» (Russell, 2009: 502). Нобелевская премия по ли-

тературе была присуждена Расселу «как признание многообразия и значимости его произведений, в которых он защищает свободомыслие и идеалы гуманности» (Nobel Media AB, 2016a). Представляя лауреата, ответственный секретарь Шведской академии Андерс Эстерлинг¹ так описал мотивы решения:

Эпохальные научные труды Рассела в области эпистемологии и математической логики сравнивают с фундаментальными достижениями Ньютона в механике. Но данная Нобелевская премия призвана отметить вовсе не эти достижения в узких отраслях науки. С нашей точки зрения, важно, что Рассел адресовал свои книги максимально широкой аудитории неспециалистов и тем самым в высшей степени преуспел в поддержании интереса к философии вообще. Всю свою жизнь он положил на вдохновенное оправдание здравого смысла. (Nobel Media AB, 2016b)

В русскоязычной литературе представлены (нередко в купированном виде) двадцать книг и несколько крупных статей Рассела. Большинство из них знакомы мне лишь по обложке в силу следующих причин: моё знакомство с ними началось в конце ноября 2011 года, с прочтения отчета Рассела о его поездке в Россию — книги «Практика и теория большевизма». Мне сразу бросилось в глаза, что каждый раз, когда в тексте появлялось слово «буржуазный», оно было выделено курсивом и снабжено примечанием переводчика: «Курсив Рассела» (Рассел, 1991: 17, 21, 24, 29, 86). Очевидно, что ни переводчик, ни редактор русского издания, выпущенного под эгидой Научного совета «История революций и социальных движений» Академии наук (уже распадавшегося тогда) СССР, не имели представления о разнице в использовании курсива в английском и русском текстах². С этого момента я перестал читать Рассела по-русски и продолжал по-английски, лишь иногда отмечая для себя в новых книгах особенно понравившиеся фрагменты и стараясь потом найти их в русских изданиях, если таковые имелись. В большинстве таких случаев я обнаруживал, что чем утонченнее и глубже был текст оригинала, тем грубее и поверхностнее перевод, а в купированных изданиях — тем вероятнее, что именно данный фрагмент будет пропущен. Естественно, что подобная крайне выборочная проверка методом тыка не может служить основой для окончательного вывода об общем качестве всех или какого-то отдельного издания, но она позволила мне поставить необходимые вопросы и подсказала направления дальнейших поисков.

1. Андерс Эстерлинг (Anders Österling) (1884–1981) — шведский поэт, писатель и переводчик (с английского, немецкого, французского и итальянского); в 1941–1964 — ответственный секретарь Шведской академии, в 35 лет был рекордно рано избран и в течение 62 лет рекордно долго оставался её активным членом.

2. В отличие от русского текста советского периода, где курсив, как правило, означает смысловое выделение, в английском он чаще используется в двух дополнительных функциях: как альтернатива нашим традиционным кавычкам для выделения названий книг и периодических изданий и, как в упомянутом случае, для обозначения слов иностранного происхождения, которые следует произносить иначе, чем обычные английские слова.

Кроме того, с ростом числа прочитанных мною книг Рассела я начал замечать, что у его литературного творчества есть одна важная для любого переводчика и критика особенность, которую, на мой взгляд, русские издания недостаточно принимают во внимание, — это внутренняя взаимосвязь разных произведений, о чём весьма красноречиво говорят не только косвенные обстоятельства (перекликающиеся документальные источники, персоналии, аргументы, факты, сюжеты и темы), но и прямое свидетельство автора. Вспоминая в автобиографии время, проведённое в Берлине в работе над своей первой книгой, Рассел писал:

В этот период оформились мои интеллектуальные замыслы. Я решил не связываться с узкой специальностью, но посвятить себя литературе. Я помню ясный холодный день ранней весной, когда я гулял один по зоопарку, строя планы будущих работ. Я думал, что напишу две серии книг: одну по философии научных дисциплин от математики до физиологии, другую — по социальным вопросам. Я надеялся, что в итоге где-то на их пересечении возникнет научный и вместе с тем практический синтез. Идеи, вдохновившие этот план, были в основном гегельянскими. Тем не менее в последующие годы я до некоторой степени — настолько, по меньшей мере, насколько можно ожидать — следовал ему. В отношении моих целей это был важный и определяющий момент. (Russell, 2009: 116)

Мой выбор данной лекции как объекта публикации продиктован следующими причинами. Во-первых, в психологическом отношении я склонен рассматривать её как своего рода «замковый камень» ко всему комплексу произведений Рассела и квинтэссенцию многих тем, развиваемых им в других произведениях. Во-вторых, содержательно эта речь сохраняет, на мой взгляд, свою историческую и практическую актуальность, а в отношении политической роли массовых эмоций, пожалуй, даже более насущна в нашу эпоху, чем в 1950 году, что неудивительно ввиду троекратного роста населения планеты и качественного скачка в развитии коммуникаций.

Теперь несколько слов об истории текста. Помимо литературной работы одной из обычных для Рассела форм заработка были лекционные туры. Именно для одного из таких туров и была в начале 1950 года написана данная лекция. До выступления перед Нобелевским комитетом Расселу как минимум дважды уже приходилось читать её перед иной аудиторией (Уиллис, 2014: 110). Поэтому первым вариантом, в котором существует эта лекция, является архивный черновик Рассела. Вторым должна быть протокольная аудиозапись с церемонии вручения, копия которой должна храниться в архиве Нобелевского комитета. Третьим — текст, записанный на основе данной аудиозаписи для сборника речей нобелевских лауреатов. Данный текст содержит несколько пропусков отдельных слов и коротких фрагментов, связанных с техническими трудностями восприятия на слух с устройства, не имеющего удобной функции обратного частичного отматывания записи. Именно этот текст опубликован на сайте Нобелевского комитета. Четвёр-

тым вариантом является грампластинка, записанная в 1952 году специально для американской аудитории. И последним, пятым, — текст соответствующей главы в книге «Общество со стороны морали и политики» (Russell, 1954: 159–174), который, несмотря на небольшие сокращения по сравнению с устным выступлением, наиболее удобен в отношении определения авторской пунктуации и выделений.

Текст Нобелевской лекции Рассела неоднократно переводили на другие языки, но чаще всего не как самостоятельное произведение, а как главу вышеупомянутой книги: в 1955 на финский и шведский, в 1956 на немецкий и на португальский, в 1957 на испанский, в 1958 на корейский, в 1960 на арабский, в 1970 на персидский, в 1981 на японский, в 1986 на итальянский, а в 1992 на китайский. Исключение составляет французский перевод 1962 года, сделанный в рамках сборника речей нобелевских лауреатов (Blackwell, 1994a: 217, 381).

В русскоязычной литературе настоящая попытка перевести Нобелевскую лекцию Бертрана Рассела является, насколько позволяют судить открытые источники, третьей. Первый перевод был опубликован в 1998 году заслуженным деятелем науки Российской Федерации, доктором филологических наук, профессором Московского городского педагогического университета Б. А. Гиленсоном под заголовком «Какие мотивы человеческого поведения влияют на политику?» (Рассел, 1998a: 115–130). Я не располагаю данными относительно того, какие материалы находились в распоряжении Гиленсона при работе над переводом. Но, вероятно, в основу перевода был положен слегка сокращённый текст речи, не содержащий ремарок, которые могли бы указывать на взаимодействие оратора и аудитории. Для читателя-англофона, знакомого с бытовыми реалиями Запада, историческими и литературными аллюзиями Рассела, это не играет особой роли — он всё равно в состоянии отличить серьёзное утверждение от иронического. Более того, носители английского языка при чтении речи могут воспринять наличие указаний на реакцию зала в стиле стенографического отчета как излишний педантизм. Но для автора первого русского перевода отсутствие подобных ремарок способствовало тому, что его русский текст оказался полон грубых ошибок. Под грубыми ошибками я понимаю такие ошибки, в основе которых лежит прямое искажение оригинала ввиду непонимания грамматических конструкций, фразеологических оборотов, бытовых реалий или пропуска по небрежности фрагментов текста, а вовсе не индивидуальное толкование переводчиком тонкостей исходного текста. Приведу несколько примеров для иллюстрации масштаба отклонений:

Перевод Б. А. Гиленсона	Вероятный исходный текст Рассела	Мой комментарий
Какими бы сильными ни были желания, они, как правило, лишены особой политической мотивации. Большинство людей на определённом этапе жизни	There are some desires which, though very powerful, have not, as a rule, any great political importance. Most men at some period of their lives desire to marry, but as a rule	В первом предложении пропущено ключевое слово <i>some</i> (некоторые), а <i>importance</i> необъяснимым образом превратилось в «мотивацию» вместо

<p>хотят жениться, но, как правило, они реализуют эту потребность, не прибегая к каким-либо политическим акциям. Есть, конечно, исключения — например, изнасилование женщин в австралийском городе Сабине*. Развитие северной Австралии серьёзно тормозится тем, что молодые люди, вынужденные там трудиться, недовольны своей полной изоляцией от женского общества. Но подобные случаи — нетипичны. В целом же взаимный интерес мужчин и женщин слабо воздействует на политику.</p> <p>* Имеются в виду нападения на женщин в австралийском городе Сабине, где в силу исторических условий мужское население преобладало над женским. — <i>Прим. Б. А. Гиленсона</i></p>	<p>they can satisfy this desire without having to take any political action. There are, of course, exceptions; the rape of the Sabine women is a case in point. And the development of northern Australia is seriously impeded by the fact that the vigorous young men who ought to do the work dislike being wholly deprived of female society. But such cases are unusual, and in general the interest that men and women take in each other has little influence upon politics.</p>	<p>«значимости, важности, веса».</p> <p>В третьем предложении переводчик не сумел распознать отсылку к эпизоду древнеримской истории, известному в русской литературе как «похищение сабинянок», и стал фантазировать, распространив свою фантазию на примечание.</p>
<p>Однажды я совершил визит к императору и папе...</p>	<p>On one occasion I had a visit from the Emperor and the Pope simultaneously.</p>	<p>Перевёрнуты субъектно-объектные отношения. To have a visit — иметь гостя, быть посещённым. To make (pay) a visit — навестить кого-то, совершить визит.</p>
<p>Если вы предложите своему боссу уйти из офиса на каком-то законном основании, его любовь к власти позволит ему с наслаждением от этого отказаться, нежели согласиться.</p>	<p>If you ask your boss for leave of absence from the office on some legitimate occasion, his love of power will derive more satisfaction from a refusal than from a consent.</p>	<p>To ask for a leave of absence — попросить отгул. To ask someone to leave — попросить кого-либо уйти, выйти вон, покинуть помещение.</p>
<p>Краснокожие индейцы, все еще никак не поддающиеся влиянию белых, курят их папиросы, но не так спокойно, как это делаем мы...</p>	<p>Red Indians, while they were still unaffected by white men, would smoke their pipes, not calmly as we do...</p>	<p>Во-первых, трубки, а не папиросы. Во-вторых — свои, а не «их»; иначе складывается впечатление, будто индейцы как-то хитроумно изымают папиросы у белых. В-третьих, речь идёт о прошлом, а не настоящем.</p>

<p>Если говорить по-серьёзному, то болевые ощущения полезно использовать в качестве эффективного средства для любителей острых ощущений.</p>	<p>More seriously, pains should be taken to provide constructive outlets for the love of excitement.</p>	<p>To take pains — стараться, прилагать усилия. Выражение имеет переносный смысл и не связано с буквальной физической болью.</p>
<p>Но если какой-то заезжий визитёр попробовал бы нас также уверить, что и русские — наши братья...</p>	<p>But if some fellow-traveller were to go on to say that the Russians also are your brothers...</p>	<p>Данное место при всей своей простоте переведено неверно не только у Гиленсона, но и в «Юности», а потому требует пояснения. Английское fellow-traveller является калькой... русского слова «попутчик». Оно пришло в английский политический лексикон из литературно-критических статей Л. Д. Троцкого, сохранив там пренебрежительный оттенок, но по прямо противоположным причинам, чем в оригинале. Поскольку излишнее знакомство с историей вопроса до смерти И. В. Сталина могло стоить переводчику жизни, а до перестройки — свободы, то неудивительно, что память об этом английском руссизме угасла.</p>
<p>Преодоление страха достигается двумя способами: один — это ослабление внешней опасности; а другой — выработка стоической выносливости.</p>	<p>There are two ways of coping with fear: one is to diminish the external danger, and the other is to cultivate Stoic endurance.</p>	<p>Stoic endurance, stoicism — выражения, часто используемые Расселом. В разговорном смысле они не имеют отношения к стоицизму как философской доктрине, а означают попросту «выдержку». Слово stoic в словосочетании stoic endurance нужно лишь для того, чтобы было понятно, что речь идёт о моральном качестве, а не о физической выносливости (endurance).</p>

<p>Если положение исправится, первым и действенным шагом станет поиск путей ослабления страха.</p>	<p>If matters are to improve, the first and essential step is to find a way of diminishing fear.</p>	<p>Тут нарушено и время, и модальность глагола, и подчиненность составных предложений. Частая у Рассела конструкция [if + subject + is/are + инфинитив] примерно в 3 случаях из 4 без потерь переводится придаточным предложением цели с союзом «чтобы/дабы» или обстоятельством цели с предлогом «для/ради».</p>
<p>...odium theologium [sic] (т. е. религия ненависти)...</p>	<p>...odium theologicum...</p>	<p>Латинское выражение «богословская ненависть» служит напоминанием о том градусе эмоций, которого в Средние века достигали богословские прения. Применительно к более близким нам эпохам это скорее аналог «идеологической одержимости».</p>
<p>Моралисты ответят, что мы не способны стать абсолютно своекорыстными, что это неосуществимо, пока не наступит золотой век.</p>	<p>Moralists will see to it that we do not become wholly selfish, and until we do the millennium will be impossible.</p>	<p>Тут целый клубок синтаксических и семантических искажений. Во-первых, зависимость ровно обратная — золотой век не наступит, пока мы не станем эгоистичны, а не наоборот. Во-вторых, моралисты не просто пассивно констатируют факт нашего бескорыстия, но активно постараются уберечь нас от соблюдения собственной выгоды. В-третьих, выражение see to it означает «принимать меры для чего-либо, следить за осуществлением чего-либо» и т. п. Это «что-то» обычно, как и в данном случае, выражается придаточным предложением с that. Чтобы интерпретировать see to it как «ответить», нужно изначально прочесть его как say to it, что, по всей видимости, и произошло.</p>

Данный набор примеров далеко не исчерпывающий, а служит лишь образцом встречающихся в тексте проблем. Искажения меньшего порядка содержатся, как правило, в каждом абзаце. При беглом нестрогом подсчете я заметил 69 существенных и 35 мелких переводческих просчетов и три пропущенных фрагмента текста. Справедливости ради необходимо отметить, что подобные ошибки показательны не только для данного текста Гиленсона, но и для многих других переводчиков Рассела на русский язык, работавших в 1990-е и начале 2000-х. Дело тут не только в личном уровне компетентности переводчика, но и в плохой доступности в тот период справочных материалов и в господствовавшем тогда общем организационном подходе, согласно которому задача перевода рассматривалась издателями в лучшем случае как чисто техническая, канцелярская, ординарная — количественная, а не качественная, а в худшем — и вовсе с чисто хозяйственной точки зрения как источник дохода, если у издания был спонсор, или как убыточная операция, если для возмещения расходов приходилось полагаться на милость рынка. Близкого уровня неточности, хотя и значительно реже, чем у Гиленсона, можно обнаружить в русских изданиях таких книг, как «Практика и теория большевизма» (Рассел, 1991, 1998а), «История западной философии» (Рассел, 2004а), «Мудрость Запада» (Рассел, 1998б), «Искусство мыслить» (Рассел, 1999), «Брак и мораль» (Рассел, 2004б)³.

Можно предположить, что именно недостатки первого перевода Нобелевской лекции Рассела подтолкнули в 2001 году анонимного переводчика журнала «Юность» опубликовать собственный вариант под заголовком «Какие желания имеют значение для политики? (из Нобелевской лекции)» (Рассел, 2001: 69–73). Данная попытка представляла собой явный шаг вперед по сравнению с первой, но её также нельзя считать удовлетворительной. Хотя случаи прямых ошибок перевода там единичны, они всё же имеются (например, изгнание Чан Кайши превратилось в его «появление», а деление столбиком [long division] в предложение «делить очень долго»). Однако главный недостаток данного текста состоит в наличии обильных купюр (около четверти объёма текста) и, как следствие, частичной логической нестыковки фрагментов оставшегося текста. Кроме того, следует признать недостатками отсутствие указаний на источник оригинала и принцип, по которому производились изъятия, а также анонимность переводчика. Для обозначения того, что именно было опущено в публикации «Юности», я выделил соответствующие фрагменты в своём тексте фигурными скобками { }.

Что касается моего собственного варианта, то он представляет собой максимум того, что в настоящее время можно извлечь из публичных сетевых и библиотечных источников без использования архивных данных. В отличие от предшественников, у меня в работе над переводом была возможность опереться не только на сокращенный печатный текст речи, но и на две её аудиозаписи. Это, во-первых, двухминутный фрагмент, доступный на сайте Nobelprize.org, то есть часть того,

3. Конкретные примеры, поскольку они не относятся напрямую к настоящей публикации, я полагаю уместным привести в иной, более подробной статье.

что выше я обозначил как второй вариант речи. Он позволяет восстановить слово «американцы», отсутствующее в большинстве печатных версий текста речи, но совершенно необходимое для объяснения неожиданного появления американского сленгового выражения в устах английского лорда, выступающего перед шведами. Во-вторых, это почти полная аудиозапись выступления, доступная на сайте бывшего сотрудника американской радиостанции KPFA Джона Уайтинга, посвященном истории этой радиостанции, неоднократно транслировавшей речь Рассела (Whiting, 2009). Данный источник представляет собой оцифровку популярной в 50-е годы в США граммофонной записи Нобелевской лекции Рассела (Russell, 1952). Эта запись (выше обозначенная как четвёртый вариант речи) ценна прежде всего тем, что, во-первых, местами полнее печатной версии, а во-вторых, помогает, поскольку фиксирует реакцию зала, устранить двусмысленность и неопределённость там, где в печатном виде не вполне ясно, следует ли воспринимать слова нобелиата в шутку или всерьёз. Эти аудиозаписи во многих случаях послужили основой моих стилистических решений там, где мой выбор отличен от сделанного переводчиками предыдущих версий. Все элементы выступления, восстановленные с помощью аудиозаписей, приведены в квадратных скобках [].

Кроме того, я хотел бы дать несколько пояснений к тем случаям, где мне пришлось пожертвовать буквальными словами Рассела для более точной передачи духа его высказывания. Во-первых, это касается словосочетания «dance hall», которое я перевожу как «студия танцев» ввиду того, что его буквальный перевод как «танцплощадка» мгновенно противоречит элементарному бытовому факту, доступному наблюдению любого современника, хоть раз в жизни видевшего танцы в американских ночных клубах или на русских дискотеках. Рассел старается противопоставить художественное соперничество более агрессивным формам конкуренции, но современная «танцплощадка» способна сломать всю логику расселовской аргументации. Во-вторых, точно так же для сохранения общей логической стройности и цельности восприятия речи я отказался переводить выражение «mother-nature» как «мать-природа», чтобы уйти от лишних фрейдистских коннотаций борьбы с родителями, которые возникают при буквальной передаче расселовских слов.

В заключение я хотел бы сердечно поблагодарить представительницу «Nobel Media» г-жу Аллегру Гревелиус (Allegra Grevelius) за любезно предоставленное разрешение на публикацию перевода Нобелевской лекции Б. Рассела в «Социологическом обозрении», а Почётного архивиста Центра расселовских исследований университета МакМастер и главного редактора журнала «Russell» д-ра Кеннета Блэкуэлла (Kenneth Blackwell) за разъяснение библиографической путаницы с различными изданиями граммпластины Рассела.

Литература

- Рассел Б.* (1991). Практика и теория большевизма / Пер. с англ. И. Ю. Воробьевой, И. Е. Задорожнюк, Ю. Г. Казанцева. М.: Наука.
- Рассел Б.* (1998а). Практика и теория большевизма / Пер. с англ. И. Ю. Воробьевой, И. Е. Задорожнюк, Ю. Г. Казанцева. М.: Панорама.
- Рассел Б.* (1998б). Мудрость Запада: историческое исследование западной философии в связи с общественными и политическими обстоятельствами / Пер. с англ. О. Н. Орнатской. М.: Республика.
- Рассел Б.* (1999). Искусство мыслить / Пер. с англ. Е. Н. Козловой, О. А. Назаровой, С. Г. Сычевой. М.: Дом интеллектуальной книги.
- Рассел Б.* (2001). Какие желания имеют значение для политики? (из Нобелевской лекции) // Юность. № 12. С. 69–73.
- Рассел Б.* (2004а). История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней / Под ред. В. В. Целищева. М.: Академический проект.
- Рассел Б.* (2004б). Брак и мораль / Пер. с англ. Ю. В. Дубровина. М.: КРАФТ+.
- Blackwell K., Ruja H.* (1994а). A Bibliography of Bertrand Russell, Vol. 1: Separate Publications 1896–1990. London: Routledge.
- Blackwell K., Ruja H.* (1994б). A Bibliography of Bertrand Russell, Vol. 2: Serial Publications 1890–1990. London: Routledge.
- Blackwell K., Ruja H., Turcon S.* (1994). A Bibliography of Bertrand Russell, Vol. 3: Indexes. London: Routledge.
- Nobel Media AB. (2016а). The Nobel Prize in Literature 1950. URL: http://www.nobel-prize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1950/ (дата доступа: 26.06.2016).
- Nobel Media AB. (2016б). The Nobel Prize in Literature 1950: Award Ceremony Speech. URL: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1950/press.html (дата доступа: 26.06.2016).
- Russell B.* (1952). Bertrand Russell Speaks. «Human Nature and Politics». His Nobel Prize Acceptance Apeech. [Sound recording] [n.p.]. Audio Archives LP H-1202.
- Russell B.* (1954). Human Society in Ethics and Politics. London: George Allen and Unwin.
- Russell B.* (2009). Autobiography. London: Routledge.
- Whiting J.* (2009). My KPFA: A Historical Footnote. URL: http://www.kpfahistory.info/dandl/bertrand_russell.html (дата доступа: 26.06.2016).
- Willis K.* (2014) Russell and the Nobel Prize // Russell: The Journal of Bertrand Russell Studies. Vol. 34. № 2. P. 101–116.

No Kidding: Some Notes on Mistranslations of Bertrand Russell's Witticisms

Avgust Pokhlebkina

Independent Researcher

Address: Oktabsrsky Prospekt, 1A-32, Podolsk, Russian Federation 142117

E-mail: a.v.pokhlebkina@gmail.com

A new Russian translation of Bertrand Russell's 1950 Nobel lecture is necessary on the basis of the critique of the two previous attempts. The first attempt by Dr. Boris Gilenson in 1998 is considered deficient for having over one hundred major and minor mistranslations. Ten examples of Gilenson's mis-translations are cited and discussed. The second attempt, by an anonymous translator of *Yunost* magazine in 2001, is ruled inadequate for omitting 24% of the text. The author of this paper suggests that a deficiency of sources may have hampered the efforts of previous translators, and presents a more holistic approach as a way to detect and overcome the errors. In particular, a brief history of the publications of the speech and its translations into other languages is related. A gramophone recording of the speech is used as a source to help conclusively distinguish between the statements Russell makes in earnest and the ones made in jest. Additionally, some difficulties with the literal translation of particular expressions are commented upon. A specific memoir from Russell's autobiography is invoked to support the claim of the interdependency of his writings. Above all, the lecture is presented to the readers as a keystone document of the laureate's political worldview, and as a typical specimen of his wit and style.

Keywords: Bertrand Russell, Nobel lecture, emotions in politics, literary history, intellectual history, English-Russian translation, translation of humor, translation of idioms

References

- Blackwell K., Ruja H. (1994) *A Bibliography of Bertrand Russell, Vol. 1: Separate Publications 1896–1990*, London: Routledge.
- Blackwell K., Ruja H. (1994b) *A Bibliography of Bertrand Russell, Vol. 2: Serial Publications 1890–1990*, London: Routledge.
- Blackwell K., Ruja H., Turcon S. (1994) *A Bibliography of Bertrand Russell, Vol. 3: Indexes*, London: Routledge.
- Nobel Media AB (2016) The Nobel Prize in Literature 1950. Available at: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1950/ (accessed 26 August 2016).
- Nobel Media AB (2016) The Nobel Prize in Literature 1950: Award Ceremony Speech. Available at: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1950/press.html (accessed 26 August 2016).
- Russell B. (1952) Bertrand Russell Speaks. "Human Nature and Politics". His Nobel Prize Acceptance Speech (Sound Recording, n.p.), Audio Archives LP H-1202.
- Russell B. (1954) *Human Society in Ethics and Politics*, London: George Allen and Unwin.
- Russell B. (1991) *Praktika i teoriya bol'shevizma* [The Practice and Theory of Bolshevism], Moscow: Nauka.
- Russell B. (1998) *Praktika i teoriya bol'shevizma* [The Practice and Theory of Bolshevism], Moscow: Panorama.
- Russell B. (1998) *Mudrost' Zapada: istoricheskoye issledovanie zapadnoy filosofii v svyazi s obshchestvennymi i politicheskimi obstoyatel'stvami* [Wisdom of the West: A Historical Survey of Western Philosophy in its Social and Political Setting], Moscow: Respublika.
- Russell B. (1999) *Iskusstvo myslit'* [The Art of Philosophising], Moscow: Dom intellektual'noy knigi.
- Russell B. (2001) *Kakie zhelaniya imeyut znachenie dlya politiki? Iz Nobelevskoy lektzii* [What Desires Are Politically Important? An Abridged Russian Translation]. *Yunost*, no. 12, pp. 69–73.

- Russell B. (2004) *Istoriya zapadnoy filosofii i ee svyazi s politicheskimi i sotsial'nymi usloviyami ot Antichnosti do nashikh dney* [A History of Western Philosophy And Its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day], Moscow: Academic Project.
- Russell B. (2004) *Brak i moral'* [Marriage and Morals], Moscow: KRAFT+.
- Russell B. (2009) *Autobiography*, London: Routledge.
- Whiting J. (2009) My KPFA: A Historical Footnote. Available at: http://www.kpfahistory.info/dandl/bertrand_russell.html (accessed 26 August 2016).
- Willis K. (2014) Russell and the Nobel Prize. *Russell: the Journal of Bertrand Russell Studies*, vol. 34, no 2, pp. 101–116.

Какие желания политически весомы?*

Нобелевская лекция. 11 декабря 1950 г., Стокгольм

Бертран Рассел

Август Похлёбкин

(переводчик)

Независимый исследователь

Адрес: Октябрьский проспект, д. 1А, кв. 32, г. Подольск, Российская Федерация 142117

E-mail: a.v.pokhlebkina@gmail.com

Статья представляет собой перевод на русский язык Нобелевской лекции Бертрана Рассела (1872–1970), прочитанной на церемонии вручения премии в Стокгольме 11 декабря 1950 года. В целях уточнения эмоциональной окраски речи текст перевода опирается на сопоставление двух её версий: той, что опубликована на официальном сайте Нобелевского комитета, и полученной на основе аудиозаписи. Где уместно, отмечена разница в формулировках, обозначена реакция аудитории (более 60 взрывов смеха и 5-кратное прерывание оратора аплодисментами), шумы и паузы, добавлены пояснения и примечания. В тексте отмечены фрагменты, пропущенные в одном из предыдущих русских изданий речи. Выступление Рассела посвящено политическому значению таких желаний, которые он определяет как безграничные и второстепенные с точки зрения жизнеобеспечения человека. Эти желания делятся в свою очередь на основные (стяжательство, соперничество, бахвальство и властолюбие) и дополнительные (поиск переживаний, страх, ненависть и сострадание). Рассел даёт определение каждому из этих желаний, а затем на исторических, бытовых и вымышленных примерах рассматривает особенности и формы его проявления. Желания представляются как неотъемлемая составляющая человеческой жизни, их нельзя ни подавить, ни уничтожить. Но их проявление на практике чрезвычайно различно в зависимости от того, какой выход они находят себе при том или ином общественном строе. Поэтому Рассел подчеркивает важность наличия нейтральных и социально благотворных каналов выхода эмоций. В заключении он приходит к выводу, что лучшим противоядием против социальной розни является культивирование умственного развития общества.

Ключевые слова: Бертран Рассел, Нобелевская лекция, социальная рознь, социальная сплоченность, эмоции, страсти, психология масс

© The Nobel Foundation, 1950

© Похлёбкин А. В., перевод, 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-1-138-150

* Перевод произведен по тексту, опубликованному на портале Нобелевского комитета (nobelprize.org), и сверен с оцифрованной копией аудиозаписи выступления Рассела. Фигурные скобки { } заключают фрагменты, отсутствующие в купированном анонимном переводе журнала «Юность»; двойные фигурные скобки {{ }} содержат фрагменты, присутствующие в письменной, но отсутствующие в устной версии речи, в квадратных скобках [] — элементы оригинала, восстановленные по аудиозаписи, в двойных квадратных скобках [[]] — обращение, отсутствующее и в аудиозаписи, и в печатной версии речи (предположительно из-за технического сбоя), но вставленное мной по аналогии со стандартной формой приветствия, используемой на Нобелевских мероприятиях, где присутствует глава королевской семьи.

{[[Ваше королевское величество!]]

Ваше королевское высочество!

Дамы и господа!

[Я хотел бы поговорить о том, как человеческая природа проявляет себя в политике, о мотивах, движущих массами, и о том, что определяет масштабные общественные явления.] Такую тему {{для сегодняшней лекции}} я выбрал, поскольку полагаю, что в большинстве текущих практических и теоретических рассуждений о политике её психологическую сторону недооценивают. Мы скрупулёзно описываем факты экономической жизни, статистику населения, положения конституций и т. д. Совершенно нетрудно определить, сколько человек жило в Южной или Северной Корее к началу войны между ними. Можно, заглянув в нужные книги, выяснить размер их среднего дохода на душу населения и численность соответствующих армий. Но, пожелав узнать, что за личность представляет собой кореец и есть ли сколько-нибудь заметная разница между северным корейцем и южным, чего тот и другой ждут от жизни, чем они недовольны, на что надеются, чего боятся — одним словом, что их, как говорят [американцы], «заводит», вы не найдёте ответа в справочниках. И, таким образом, нельзя сказать, хотят ли южные корейцы восторженно поддержать ООН или предпочли бы объединиться со своими северными собратьями. Как не угадать, захотят ли они обойтись без земельной реформы ради привилегии голосовать за политика, о котором они никогда не слышали. Именно пренебрежение подобными вопросами со стороны высокопоставленных мужей в далёких столицах и вызывает столь частое разочарование.} Чтобы политика обрела научные основания, а результаты её перестали быть неожиданными, наше политическое мышление обязано глубже понять мотивы человеческих действий. Как голод влияет на восприятие лозунгов? Как оно варьируется с изменением калорийности диеты избирателя? Если один человек предложит вам демократию, а другой мешок с зерном, то на какой стадии истощения вы предпочтёте зерно праву голоса? [Смех. Рассел прокашливается.] Над подобными вопросами задумываются слишком мало. {Но давайте на время забудем о корейцах и подумаем о людях. [Смех аудитории, сдавленный смехок Рассела.]

Людей ко всякой их деятельности подталкивают желания. Существует в корне неверная теория, продвигаемая некоторыми рьяными моралистами, будто ради долга и нравственности желание можно подавить. Я утверждаю, что это неверно, не потому, что никто никогда не повинуется чувству долга, а потому, что чувство долга не имеет ни малейшей власти над человеком, не *желающим* ему следовать. Чтобы узнать, как поступят люди, необходимо знать не только и не столько их материальные условия, сколько всю систему их желаний и относительную силу оных.

Некоторые желания, хоть и очень мощные, как правило, не имеют политического¹ веса. Большинство мужчин в определённый период своей жизни хотят

1. В книге слово «политического» выделено курсивом.

жениться, но удовлетворить это желание они могут, как правило, не прибегая к политическим мерам. [Смех.] Бывают, разумеется, и исключения. [Бурный смех.] Примером тут может служить похищение сабинянок. [Смех.] Как и то, что в северной Австралии нежелание энергичных молодых мужчин, занятых на тяжёлых работах, полностью лишиться женского общества сильно тормозит экономическое развитие региона. Но это редкие случаи, а в целом интерес, который мужчины и женщины питают друг к другу, не особо влияет на политику.}

Желания, обладающие политическим весом, можно разделить на первичные и вторичные. В первичную группу входит желание предметов жизненной необходимости: еды, жилья, одежды. Когда подобных вещей остро не хватает, нет предела тем усилиям, которые люди предпримут, или насилью, на которое они пойдут, в надежде их обеспечить. [Рассел кашляет.] Исследователи древнейшей истории утверждают, что засуха на Аравийском полуострове четырежды заставляла население этого края мигрировать в соседние страны, что имело колоссальные политические, культурные и религиозные последствия. Последней из этих четырёх миграций был подъём ислама. Схожие мотивы побуждали постепенное перемещение германских племён с Юга России² в Англию, а оттуда в Сан-Франциско. [Смех. Рассел откашливается.] Поиск пропитания, несомненно, был и остаётся одной из основных причин великих политических событий.

Но в одном очень важном отношении человек отличается от прочих животных, а именно в том, что {{некоторые из}} его желаний никогда нельзя удовлетворить полностью, они, так сказать, беспредельны и лишат его покоя даже в раю. Удав, наевшись, засыпает и спит, пока не проголодается. Люди в большинстве своём — не такие. [Смех.] Когда арабы, привыкшие обходиться горсткой фиников в день, овладели богатствами Восточно-Римской империи и поселились во дворцах почти невероятной роскоши, они не впали из-за этого в бездельность. Ими уже не мог двигать голод, ибо стоило лишь кивнуть, и рабы-греки подавали изысканнейшие яства. Но иные желания продолжали побуждать их к действию — а именно четыре, которые можно обозначить как стяжательство, соперничество, бахвальство и властолюбие.

Стяжательство — желание владеть как можно большим количеством благ или правом на оные — является движущей силой, которая, я полагаю, происходит из сочетания страха с жаждой предметов первой необходимости. Однажды я подружился с двумя девочками из Эстонии, которые до того чуть не погибли во время голода. Они стали жить в моей семье и, естественно, ели досыта. Но весь свой досуг они проводили, бегая на соседние фермы и воруя там картошку, которую они тайком запасали. Испытавший в детстве острую нищету Рокфеллер³, повзрослев, вёл себя сходным образом. [Бурный смех. Рассел откашливается.] Так же и предводители арабов, возлегая на шёлковых византийских диванах, не могли позабыть

2. Имеется в виду междуречье Днестра и Днепра.

3. Рокфеллер Джон Дэвисон-старший (Rockefeller John Davison Sr.) (1839–1937), первый долларовый миллиардер.

пустыню и запасали сокровища сверх всякой физической необходимости. Но какова бы ни была психологическая подоплёка стяжательства, нельзя отрицать, что это, особенно среди людей влиятельных, одна из мощных побудительных сил, ибо, как я уже говорил, она относится к категории беспредельных. Сколько бы благ вы ни обрели, вам всегда захочется ещё. Насыщение останется вечно ускользающей мечтой.

{Но стяжательство, даже будучи мотором капиталистической системы, ни в коем случае не является сильнейшей из движущих сил, способных пережить утоление голода.} Соперничество — куда сильнее. Раз за разом в истории магометан династии обрывались, поскольку сыновья султана от разных матерей не могли прийти к согласию, и следующая за этим гражданская война приводила к общему краху. То же самое происходит и в современной Европе. Когда британское правительство весьма непредусмотрительно позволило кайзеру присутствовать на смотре флота в Спитхедде, мелькнувшая в его голове мысль никак не соответствовала тому, что ему хотели внушить. [Смех.] Ему подумалось: «Мне нужен флот не хуже, чем у бабушки⁴». [Бурный смех.] И эта мысль — источник всех наших последующих несчастий. [Смех. Рассел прокашливается.] Мир был бы счастливее, чем ныне, будь стяжательство всегда сильнее соперничества. Но на деле очень многие люди с радостью обеднеют, если сумеют тем самым добиться полного разорения соперника. Отсюда — действующие ставки [подходного] налога. [Бурный смех.]

Бахвальство — движущая сила колоссальной мощи. Любой, кому приходилось иметь дело с детьми, знает, как они, постоянно вытворяя что-нибудь, привлекают к себе внимание. «Посмотри на меня!» — это одно из основополагающих желаний человеческого сердца. Оно может принимать бесчисленные формы: от фиглярства до стремления к посмертной славе. [Рассел делает выжидательную паузу, прокашливается. Аудитория после мгновенной задержки смеётся.] Когда в Италии эпохи Возрождения священник спросил одного умирающего мелкого князя, раскаивается ли он в чём-либо, тот ответил: «Конечно. В одном. Как-то раз меня одновременно посетили император и Папа⁵. Я отвёл их на смотровую башню, чтобы показать им вид на окрестности, и упустил возможность столкнуть вниз обоих, [Смех.] чем мог бы навеки прославиться». [Бурный смех.] {История умалчивает, получил ли он отпущение. [Смех. Рассел прокашливается.] Одна из проблем с бахвальством состоит в том, что оно растёт по мере своего удовлетворения. Чем больше о вас говорят, тем больше вам хочется, чтобы о вас говорили. [Осуждённый убийца... как мне рассказывали... у меня нет личного опыта...] [Смех.] Осуждённый убийца, которому дадут возможность прочитать заметки прессы о своём суде, возмутится, если обнаружит газету, описавшую процесс недостаточно подробно. И чем больше он узнаёт о себе из других газет, тем больше он возмущается той, чьи заметки скудны. Политики и писатели подпадают под то же правило. [Редкий смех.] И чем известнее они становятся, тем труднее агентствам мониторинга прессы их

4. Германский кайзер Вильгельм II приходился внуком британской королеве Виктории.

5. Имеется в виду император Священной Римской империи германской нации и Папа римский.

удовлетворить.} Практически невозможно преувеличить влияние бахвальства на людей независимо от возраста и общественного положения: от трёхлетнего ребёнка до властелина, одним движением бровей приводящего мир в трепет. {Даже Богу, которого люди воображают алчущим непрерывного восхваления, человечество кощунственно приписало желания, подобные собственным. [Рассел ждёт реакции, аудитория отвечает отдельными робкими смешками.]

Но сколь бы велико ни было влияние рассмотренных движущих сил, существует ещё одна, перевешивающая все остальные. Я имею в виду властолюбие.} Властолюбие очень схоже с бахвальством, но {{это}} никоим образом не то же самое. Бахвальству для реализации нужен почёт, а почёт легко обрести и без власти. В США наибольшим почётом пользуются кинозвезды, но их легко может поставить на место Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, [Бурный смех.] которая никаким почётом не пользуется. [Бурный смех.] [В Англии...] В Англии у короля больше почёта, чем у премьер-министра, но у премьер-министра больше власти, чем у короля. Почёт многие предпочитают власти, но в целом такие люди в меньшей степени влияют на ход событий, чем те, кто предпочитает власть почёту. Когда Блюхер⁶ в 1814 году увидел дворцы Наполеона, он воскликнул: «Ну не глупо ли было, имея всё это, ринуться на Москву?!» [Неуверенный смех.] Наполеон, определённо не лишённый желания блеснуть собой, при необходимости выбирать предпочитал власть. Блюхеру этот выбор казался глупым. Властолюбие, как и бахвальство, ненасытно. Утолить его полностью нельзя ничем, что не дотягивает до всемогущества. А коль скоро этот порок свойственен главным образом энергичным людям, масштаб воздействия властолюбия совершенно несоразмерен тому, как часто оно встречается. В жизни влиятельных людей эта движущая сила является воистину наисильнейшей.

Властолюбие резко возрастает с опытом распоряжения властью, что в равной степени применимо и к мелкой власти, и к самодержавной. В счастливые времена до 1914 года, когда состоятельные дамы могли обладать сонмом слуг, их наслаждение от помывкания прислугой с возрастом неуклонно нарастало. [Отдельные смешки.] {Сходным образом при любом авторитарном режиме власти предержавшие по мере вхождения во вкус повелевания становятся всё более тираничны.} Поскольку власть над людьми проявляется в принуждении их к действиям, которых те предпочли бы избежать, человек, движимый властолюбием, в большей степени склонен причинять боль, чем допускать удовольствие. Если вы, имея уважительную причину, попросите начальника об отгуле, его властолюбие найдёт больше удовлетворения в отказе, чем в разрешении. Если вам нужно разрешение на проведение строительных работ, соответствующий мелкий администратор очевидно получит больше удовольствия, сказав «Нет», чем сказав «Да». [Отдельные смешки.] Именно подобные явления и делают властолюбие опасным.

6. Гебхард Леберехт фон Блюхер (Gebhard Leberecht von Blücher) (1742–1819) — прусский фельдмаршал, участник Наполеоновских войн, победитель при Ватерлоо.

{Но у него есть и другие, более желательные стороны.} Стремление к знанию, я думаю, движимо в основном властолюбием. Как и весь прогресс в научных технологиях. Да и в политике [властолюбие играет гигантскую роль:] у реформатора его может быть не меньше, чем у деспота. Было бы совершенно ошибочно всецело порицать властолюбие как движущую силу. Приведёт ли она к благотворным действиям или к пагубным, зависит от общественного строя и вашей функции. Исполняя функции теоретика и техника, вы приумножите знания и умения, и ваша деятельность будет, как правило, благотворна. В политической карьере вами может⁷ двигать властолюбие, но, как правило, оно сливается с желанием осуществить некое положение вещей, которое вы по той или иной причине предпочитаете сложившемуся. {Великому генералу вроде Алкивида может быть совершенно безразлично, на чьей стороне он воюет, но большинство генералов предпочитают сражаться за собственную страну и, следовательно, помимо властолюбия имеют дополнительные побудительные мотивы. Политик может, чтобы всегда быть с большинством, постоянно перебегать из одного лагеря в другой, [Смех.] но большая часть политиков предпочитает одну партию прочим и подчиняет своё властолюбие этому предпочтению.} Некоторые типы людей демонстрируют властолюбие практически в чистом виде. Один из таких типов — солдат удачи, высшим примером которого является Наполеон. {Я думаю, что у Наполеона не было каких-либо идейных оснований предпочитать Францию Корсике. Но стань он императором Корсики, он не был бы столь же великим человеком, каким стал, прикинувшись французом. Однако подобные люди не представляют собой идеально чистого образца властолюбия, поскольку и бахвальство доставляет им колоссальное удовлетворение. Чистейшим типом властолюбца является серый кардинал — сила, скрывающаяся за тронem и никогда не появляющаяся на публике, которая всего лишь утешает себя тайной мыслью: «А марионетки-то и не знают, кто кукловодит!»} Барон Гольштейн, контролировавший внешнюю политику германской империи с 1890 по 1906 годы, выражает этот тип в совершенстве. Он жил в трущобе, никогда не появлялся в обществе, избегал встречи с императором за исключением одного случая, когда нельзя было отбиться от назойливости монарха. Он отклонял все приглашения на дворцовые приёмы на том основании, что у него не было подходящей одежды. Завладев секретами, позволявшими ему шантажировать канцлера и многих приближённых кайзера, он пользовался добытой шантажом властью не для обогащения и не для того, чтобы прославиться или получить какую-либо иную очевидную выгоду, но *лишь* для принуждения к принятию того внешнеполитического курса, который считал верным. {На Востоке подобные личности были не так уж редки среди евнухов.

Сейчас я подхожу к тем движущим силам, которые, хоть в некотором смысле и не столь ключевые, как те, что мы уже рассмотрели, всё равно существенно весомы. Первой из них является жажда переживаний.} Люди выражают своё превос-

7. В книге «может» выделено курсивом.

ходство над зверьми способностью скучать, [Смех. Рассел откашливается.] хотя, глядя на обезьян в зоопарке, я порой думаю, что и у них, пожалуй, есть начатки этой утомительной эмоции. [Смех.] Как бы то ни было, опыт показывает, что избавление от скуки почти у всех людей представляет собой одно из очень мощных желаний. Когда белые люди впервые вступают в контакт с какими-нибудь не испорченными цивилизацией дикарями, они предлагают тем разнообразные блага — от света Евангелия до тыквенного торта. [Отдельные смешки.] Однако оные, как бы мы о том ни жалели, большинство дикарей приемлет равнодушно. [Отдельные смешки.] Что из наших подношений они ценят по-настоящему, так это дурмящий напиток, [Отдельные смешки.] позволяющий им впервые в жизни на мгновение ощутить иллюзию, будто живым быть лучше, чем мёртвым. [Бурный смех.] До контакта с бледнолицыми краснокожие курили свои трубки не как мы, спокойно, а бешено — затягиваясь резко, до потери сознания. Когда никотиновый дурман сходил на нет, к ним взывал патристичный оратор и вводил их в атаку на соседнее племя, что давало им ту же радость, какую мы (в зависимости от темперамента) получаем {{на скачках⁸}} или на парламентских выборах. [Смех. Рассел прокашливается.] Удовольствие от азартных игр состоит почти исключительно в переживаниях. Миссионер-иезуит мсье Гюк⁹ описывает, как зимой у Великой стены китайские купцы проигрывали сначала все свои наличные, затем товары и, наконец, собственную одежду, выходя в степь голыми умирать от холода. Я думаю, что и у цивилизованных народов, и у первобытных индейцев именно жажда переживаний заставляет население аплодировать началу войны. Эмоция тут точно та же, что и на футбольном матче, хотя последствия бывают посерьёзнее.

Непросто решить, в чём первопричина жажды переживаний. Я склонен полагать, что наш духовный склад приспособлен к той стадии развития, на которой люди жили охотой. Когда мужчина в надежде поужинать проводил свой день, преследуя с копьём оленя, а к вечеру, триумфально затащив его тушу в пещеру, довольный падал от усталости, пока жена разделявала и готовила мясо. Хотелось спать, кости ныли, а запах приготовления пищи заполнял каждый закуток его сознания. Наконец, поев, он погружался в глубокий сон. В подобной жизни ни времени, ни энергии для скуки не оставалось. Но когда он занялся земледелием, взвалив все тяжёлые полевые работы на жену, [Бурный смех.] у него появилось время поразмыслить о суетности бытия, [Бурный смех.] придумать мифы и философские системы [Бурный смех.] и помечтать о загробной жизни, {{в которой он будет вечно охотиться на}} вепря Вальхаллы. Наш духовный склад соответствует жизни, сопряжённой с крайне тяжёлым физическим трудом. Будучи моложе, я проводил каникулы в пешеходных походах. Я проходил {{по сорок километров в день,}} и к вечеру мне не нужно было никаких развлечений, так как наслаждения присест с лихвой хватало. [Смех.] Но вести современную жизнь согласно этим физически изнурительным принципам нельзя. Львиная доля работы — сидячая, а

8. В аудиозаписи вместо скачек в качестве примера приведён бейсбол.

9. Гюк Эварист Регис (Régis Évariste Huc) (1813–1860) — французский миссионер и путешественник.

большая часть физического труда вовлекает лишь несколько профильных мышц. Когда [лондонские] толпы собираются на Трафальгарской площади поприветствовать ликованием решение правительства отправить собравшихся на убой, [Бурный смех.] им вряд ли бы это удавалось, пройди каждый митингующий по сорок километров в этот день. [Бурный смех.] Однако такое лекарство от агрессивности непрактично, [Смех.] и ради выживания человечества — цели, быть может, и напрасной — [Смех.] необходимо как-то иначе обеспечить безвредный выход неиспользованной физической энергии, питающей жажду переживаний. И моралисты, и реформаторы общества слишком мало задумываются над этим вопросом. {Реформаторы полагают, что есть вещи и посерьёзнее. Моралисты, с другой стороны, шокированы серьёзностью дозволенных отдушин жажды переживаний. [Отдельные смешки.] Серьёзными, по их мнению, эти отдушины нужно считать из-за их греховности. [Смех.] Студии танцев, кинозалы, джаз — всё это, если верить ушам, врата ада, и лучше нам сидеть дома, размышляя о душевном спасении. [Смех.] Я нахожу, что я не в силах безоговорочно согласиться [Смех.] [...безоговорочно согласиться] с мрачными мужами, изрекающими подобные предостережения. [Смех.] У сатаны множество обличий: одни для искушения молодых, другие — для старых {{и ревностных}}. Если именно дьявол соблазняет молодых весельем, то разве не он же убеждает пожилых осуждать веселье молодёжи? [Рассел откашливается. Смех.]} Разве осуждение не представляет собой лишь пристойную в пожилом возрасте форму переживания? [Бурный долгий смех, переходящий в аплодисменты.] Разве оно не наркотик, который для получения желаемого эффекта нужно, как опиум, принимать во всё больших дозах? [Смех.] Не следует ли опасаться, что, начав с осуждения кино, мы шаг за шагом перейдём к осуждению противоположной политической партии, итальяшек, латиносов, раскосых — короче, [почти] всех, кроме людей собственного круга? [Смех.] Именно подобные осуждения, становясь массовыми, и приводят к войнам. Я ни разу не слышал о войне, начавшейся со студии танцев. [Одиночный хлопок, за которым следует общий смех.]

Серьёзной стороной жажды переживаний является то, что многие формы её утоления разрушительны. Они разрушительны у тех, кто не в состоянии обуздать свою тягу к алкоголю или к азартным играм. Они разрушительны, когда приобретают форму погромов. И они в высшей степени разрушительны, когда приводят к войнам. Эта жажда настолько фундаментальна, что обязательно найдёт себе [вре...] вредные выходы вроде вышеназванных, если наготове нет безобидных. Безобидные выходы в настоящее время можно найти в спорте и в политике, пока та проходит в конституционных рамках. Но этого недостаточно, особенно в силу того, что наибольшие переживания доставляет именно тот тип политики, который как раз наиболее вреден. Цивилизованная жизнь стала слишком пресной, и для поддержания стабильности ей нужно давать безвредные выходы тем влечениям, которые наши далёкие предки удовлетворяли охотой. В Австралии, где зайцев не счесть, а людей не сыскать, [Смех.] я видел, как всё население удовлетворяет своё

первобытное влечение первобытным же способом, мастерски истребляя зайцев тысячами. Но в Лондоне или Нью-Йорке, где не счесть людей и не сыскать зайцев, [Бурный смех.] утолять первобытные влечения нужно иначе. [Смех.] Я думаю, что в каждом мегаполисе нужно держать искусственные водоскаты, по которым можно будет спускаться на очень хрупких каноэ, [Бурный смех.] а также бассейны с механическими акулами. [Смех.] Каждого, кто станет агитировать в пользу превентивной войны, нужно приговаривать плавать по два часа в день с этими высокотехнологичными монстрами. [Бурный смех, аплодисменты.] Ну а если серьёзно, то нужно приложить немало усилий к созданию условий для того, чтобы жажда переживаний находила созидательный выход. На свете нет переживания более острого, чем момент неожиданного открытия или изобретения, и испытать его может гораздо большее число людей, чем иногда полагают.

Многие политические влечения сплетаются с ещё двумя тесно связанными между собой страстями, к которым, увы, склонны люди, а именно — со страхом и ненавистью. Ненависть к тому, чего мы боимся, естественна, и часто, хоть и не всегда, мы боимся того, что ненавидим. Я думаю, что в отношении людей первобытных можно принять за правило, что они и боятся, и ненавидят всё, что им незнакомо. У них есть родное стадо, изначально очень небольшое. Внутри него, если нет конкретной почвы для неприязни, все — друзья. Прочие стада представляют собой действительного или потенциального врага. Любого одиночку, случайно отбившегося от своего стада, убивают. В целом же чужие стада либо избегают, либо атакуют — по обстоятельствам. Именно такое первобытное правило до сих пор властвует над нашим инстинктивным отношением к зарубежным нациям. Ни разу не выезжавший за границу человек смотрит на всех иностранцев, словно дикарь на членов чужого стада. Но человек, много путешествовавший или поднаторевший в международной политике, понимает, что для собственного процветания его стаду необходимо в известной степени слиться с другими. Если {{вы англичанин и}} кто-нибудь заявит вам, что французы нам — братья, вашей инстинктивной реакцией будет: «Что за чушь! Они же всё время жестикулируют, да ещё и лопочут не по-нашему! [Смех.] Я слышал, они даже лягушек едят». [Приглушённые смешки.] Но если этот человек объяснит вам, что нам, возможно, придётся воевать с русскими, а оборону в этом случае неплохо бы организовать по линии Рейна, а для этого без помощи французов не обойтись, до вас начнёт доходить, что он имел в виду, утверждая, что французы — наши братья. [Смех.] Но если бы какой-нибудь подпевала коммунистов добавил бы к этому, что и русские нам — братья, он без явной угрозы марсианского завоевания вас бы не убедил. [Смех.] Мы любим тех, кто ненавидит наших врагов, и не будь у нас врагов, мы [не научившись более щедрому и открытому темпераменту, чем у большинства современников,] будем любить очень немногих.

Однако всё это верно лишь до тех пор, пока мы затрагиваем исключительно отношение к другим людям. Но в качестве противника можно рассматривать и почву, коль скоро та неохотно отдаёт скудное пропитание. Можно считать против-

ником и природу как таковую и смотреть на жизнь как на стремление одержать верх над силами природы. Если бы люди смотрели на жизнь подобным образом, организовать сотрудничество всего человечества было бы легче. А людей без труда можно было бы склонить смотреть на жизнь подобным образом, если бы школы, пресса и политики посвятили себя этой цели. Но школы настроены воспитывать патриотов, пресса — подогревать страсти, а политики — быть переизбранными. [Смех.] Поэтому ни одна из этих трёх сил не в состоянии сделать что-либо для удержания рода людского от взаимоистребления.

Существуют два способа преодоления страха: уменьшение внешней угрозы и воспитание выдержки. В случаях, не требующих безотлагательных действий, последнее можно подкрепить, отвлекая мысли от источника страха. Преодоление страха — задача чрезвычайно важная. Страх сам по себе унизителен, но, кроме того, он легко становится навязчивым состоянием, порождает ненависть к тому, чего бояться, и напрямую поощряет избыточную жестокость. Ничто не влияет на человека столь благотворно, как защищённость. Если удастся установить такую систему международных отношений, при которой исчезнет угроза войны, повседневная психика обычных людей улучшится кардинально и очень быстро. В настоящее время мир омрачён страхом. Размахивание атомной и бактериологической бомбой злыми коммунистами — или, по ситуации, злыми капиталистами — заставляет трепетать Вашингтон и Кремль и подталкивает людей всё ближе и ближе к пропасти. Изыскание способа ослабить страх является первым и ключевым шагом, дабы положение дел улучшилось. В настоящее время мир погружён в конфликт соперничающих идеологий, а одним из явных факторов разжигания конфликта является стремление к победе нашей собственной идеологии и к поражению чужой. Мне кажется, что питающая конфликт сила не сильно связана с содержанием идеологий. Я полагаю, что идеологии — лишь способ объединить людей в группу, а возникающие при этом страсти — те же, что всегда возникают при групповом соперничестве. Конечно, есть немало причин ненавидеть коммунистов. Во-первых и прежде всего, мы убеждены, что они хотят отнять нашу собственность. Но того же хотят и воры-домушники. И хотя мы осуждаем домушников, наше отношение к ним на деле сильно отличается {{от отношения к коммунистам. Главным образом,}} потому что они не внушают той же степени страха. Во-вторых, мы ненавидим коммунистов, потому что они неверующие. Но китайцы с одиннадцатого века живут без религии, а ненавидеть их мы стали только, когда они изгнали Чан Кайши. [Бурный смех.] В-третьих, мы ненавидим коммунистов за то, что они не придерживаются демократии, но мы считаем, что это не основание, чтобы ненавидеть Франко. [Смех, аплодисменты.] В-четвёртых, мы ненавидим их, потому что они не допускают свободы. В этом мы так твёрдо убеждены, что сами решили им уподобиться. [Долгий смех, бурные аплодисменты.] Ясно, что ничто из вышеперечисленного не составляет реальной основы нашей ненависти. Мы ненавидим их, потому что они угрожают нам и мы их боимся. Даже если бы русские, как и прежде, исповедовали православие, введя у себя парламентское правление

и обладая совершенно свободной прессой, которая бы ежедневно поносила нас на чём свет стоит [Смех.], то и тогда — при условии, что их вооружённые силы сохранили бы свою нынешнюю мощь — мы всё равно бы их ненавидели, будь у нас основания подозревать у них враждебные намерения. {Остаётся, разумеется, и отвлечение к иноверцам, которое вполне может лежать в основе враждебности. Но это, мне думается, продолжение стадного чувства: человек, исповедующий иную веру, воспринимается как чужой, а всё чужое как опасное.} На деле идеологии представляют собой один из способов формирования стада, психология которого примерно одинакова вне зависимости от того, как именно в него сгоняют.

{{У вас могло сложиться ощущение}}¹⁰, что я допускаю лишь негативные мотивы поведения или в лучшем случае морально нейтральные. Боюсь, что, как правило, таковые мощнее более бескорыстных мотивов, но я не стал бы отрицать, что и бескорыстные мотивы существуют и временами демонстрируют свою действенность. Агитация против рабства, шедшая в Англии в начале XIX века, была, несомненно, бескорыстной и абсолютно успешной. Её бескорыстие доказывает как то, что в 1833-м британские налогоплательщики выплатили многие миллионы фунтов стерлингов ямайским плантаторам как возмещение за освобождение рабов, так и то, что на Венском конгрессе британское правительство было готово пойти на важные уступки, лишь бы поощрить другие нации отказаться от работорговли. Это пример из прошлого, но современная Америка даёт столь же замечательные примеры. Я не стану их описывать, поскольку не хочу погружаться в текущие споры.}

Думаю, не следует сомневаться в том, что сострадание может побуждать к действию и что от чьих-то чужих страданий кому-то когда-то становится как-то не по себе. [Смех.] {Многие достижения человеколюбия за последние несколько веков были осуществлены именно благодаря состраданию.} [Один из слушателей прокашливается.] Ныне рассказы о жестоком обращении с душевнобольными шокируют нас, и во многих приютах с ними уже обходятся гуманно. Заключённых западных стран не должны подвергать пыткам, а обнаружение случаев пыток вызывает общественное возмущение. Мы не одобряем, когда с сиротами обращаются, как в «Оливере Твисте». В протестантских странах осуждают истязания животных. Во всех этих случаях сострадание оказывалось политически действенным. С исчезновением страха перед войной оно станет ещё действеннее. Возможно, лучшее, на что может надеяться человечество, это найти способы расширить сферу человеческого сострадания и умножить его силу.

{Пора подытожить сказанное.} Политику интересуют не столько отдельные личности, сколько стада, а следовательно, вес в политике имеют те страсти, в которых члены одного стада могут испытывать схожие чувства. Общим инстинктивным правилом, на котором зиждется любая политическая надстройка, является правило сотрудничества внутри стада и враждебности к прочим стадам. Сотруд-

10. В аудиозаписи: вы могли бы сказать.

ничество внутри стада никогда не идеально. Всегда существуют «вопиющие», то есть не попадающие в унисон с общей массой, особи. Это те, кто опустился ниже или поднялся выше обычного уровня. К таковым относятся: слабоумные, преступники, пророки и первооткрыватели. [Смех.] Умное стадо найдёт, как проявить терпимость к эксцентричности поднявшихся выше среднего уровня и как свести к минимуму нетерпимость к опустившимся ниже.

Что касается отношений с другими стадами, современные технологии создают противоречие между инстинктом и собственной выгодой. В былые времена на войне одно племя истребляло другое, а территорию захватывало. С точки зрения победителя, дело обстояло более чем удовлетворительно. [Смех.] Убийства были недорогими, а переживания — приятными. [Одиноким разряд смеха.] Неудивительно, что в таких условиях войны шли постоянно. К сожалению, наш эмоциональный склад по-прежнему адаптирован к подобной первобытной войне, тогда как реальный порядок её ведения полностью изменился. В современной войне убийство врага обходится очень дорого. Можно, посчитав сколько немцев было убито в последней войне и сколько налогов пришлось уплатить на это победителям, сложением и делением получить цену мёртвого немца. [Смех.] Она окажется немаленькой. На Востоке, правда, враги немцев сохранили за собой старое преимущество изгнания побеждённого населения и занятия его земель. За западными победителями, однако, подобных преимуществ не сохранилось. Очевидно, что с финансовой точки зрения современная война — бизнес невыгодный. Мы, хотя и выиграли обе мировых войны, были бы сейчас намного богаче, если бы их не произошло. [(По меньшей мере так дело обстоит в Англии.)] Если бы люди исходили из собственной выгоды, чего они, за исключением отдельных праведников, не делают, [Рассел на мгновение замедляет речь в ожидании реакции аудитории, но, не почувствовав её, быстро продолжает.] [все люди на Земле...] [Аудитория запоздало реагирует смехом.] все люди на Земле сотрудничали бы. Не было бы ни войн, ни армий, ни флотилий, ни ядерных арсеналов. Не было бы ни полчищ пропагандистов, натравливающих нацию А на нацию Б, и наоборот. Не было бы полчищ чиновников на границе, запрещающих ввоз зарубежных книг и идей, пусть даже самых замечательных. Не было бы таможенных барьеров, которые обеспечивают существование многих малых предприятий там, где рентабельнее было бы одно большое. Всего этого можно было бы достичь очень быстро, если бы люди желали своего счастья столь же страстно, как желают горя своему ближнему. {Но к чему, скажете вы, все эти утопические мечтания? Моралисты позаботятся о том, чтобы мы не стремились исключительно к собственной выгоде, [Смех.] и до тех пор, пока это так, никакого хилиазма не выйдет.

Я не хотел бы заканчивать на циничной ноте. [Я не отрицаю...] [Бурный чуть запоздалый смех.] Я не отрицаю существования целей лучших, чем собственная выгода, и что некоторые люди успешно их достигают.} Я утверждаю, однако, что моменты, когда важные в политическом отношении большие массы людей могут подняться над собственной выгодой, с одной стороны, редки, а с другой — часто

возникают обстоятельства, при которых массы населения опускаются ниже того, что диктует собственная выгода, если под собственной выгодой иметь в виду просвещённое понимание своих интересов.

{И к тем ситуациям, когда люди опускаются ниже собственной выгоды, принадлежит большинство случаев, в которых они убеждены, будто действуют из идеалистических побуждений.} Многие из того, что принимают за идеализм, оказывается завуалированной ненавистью либо властолюбием. Когда вы видите большие массы людей, охваченных тем, что внешне выглядит как благородные побуждения, следует взглянуть глубже и спросить себя, что порождает эти побуждения. Исследовать психологическую подоплёку, как я только что попытался, стоит отчасти именно потому, что фасадом благородства легко обмануться. В заключение скажу, что если я прав, то главное, чего не хватает миру, чтобы стать счастливее, — это ума. [Смех.] А это, в конце концов, оптимистический вывод, [Бурный смех.] ибо для умственного развития существуют испытанные педагогические методики. [Аплодисменты.]

What Desires Are Politically Important?

Bertrand Russell

Av gust Pokhlebkin (translator)

Independent Researcher

Address: Oktiabrsky Prospekt, 1A-32, Podolsk, Russian Federation 142117

E-mail: a.v.pokhlebkin@gmail.com

The article provides a Russian translation of Bertrand Russell's Nobel lecture delivered on December 11th, 1950, at the Nobel Prize Awards Ceremony in Stockholm. The text is based on a collation of two versions of the speech, one as available on NobelPrize.org, and the other as transcribed from a 1952 recording of the same speech for an American audience. The differences in the wording of the sources are indicated. Audience reactions and Russell's non-verbal signals have also been included. The translator's comments are added to clarify the translation, to disambiguate a mentioned fact, or to identify a person. For historical purposes, parts of the text that were omitted in an earlier Russian translation are also marked. The speech deals with the political impact of the desires deemed unessential to an immediate human self-preservation and limitless in terms of their fulfillment. Of these desires, acquisitiveness, rivalry, vanity, and the love of power are classified as the main ones, while boredom, fear, hate, and compassion are classified as corollary ones. Each kind of desire is defined, and then discussed through historical, anecdotal, and hypothetical examples. Desires are seen as an integral part of human life and cannot be eliminated completely, but their practical impact differs greatly depending on the venue they are allowed to take in a particular social system. Therefore, the importance of neutral and socially beneficial venues for the venting of passions is highly stressed. In conclusion, Russell suggests the cultivation of intelligence as the best antidote for social strife.

Keywords: Bertrand Russell, Nobel lecture, social strife, social cohesion, emotions, passions, mass psychology

Русский консерватор: о системе политических воззрений К. П. Победоносцева 1870–1890-х годов

Андрей Тесля

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии
социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского государственного университета
Адрес: ул. Тихоокеанская, д. 136, г. Хабаровск, Российская Федерация 680035
E-mail: mestr81@gmail.com

Константин Петрович Победоносцев (1827–1907) — один из наиболее известных и политически влиятельных представителей русского консервативного и националистического направления мысли. На протяжении целой четверти столетия он занимал пост обер-прокурора Святейшего Синода и осуществлял более или менее деятельное вмешательство в иные направления идеологической политики Российской империи. В отдельные моменты его влияние оказывалось решающим или, по меньшей мере, крайне значительным. Наша цель — показать, что Победоносцев обладал не только весьма последовательным, но и подвергавшимся на протяжении десятилетий довольно небольшим изменениям политическим мировоззрением, определявшим направление его политических усилий. В центре нашего внимания оказывается реконструируемая на основе отдельных высказываний в статьях и эпистолярном наследии система представлений об устройстве российской монархии, в первую очередь — анализ понятий «простой народ» и «простые люди» в их политическом значении, а также понимание им природы русской монархии и представлений об идеальном «Русском Государе». «Простота» понимается Победоносцевым как способность «верно чувствовать», истинность непосредственной реакции, которая может быть затемнена последующими воздействиями или собственными рефлексивными действиями. Свою собственную роль и роль подобных себе людей у престола Победоносцев мыслил в том, чтобы быть выразителями чувств и чаяний этих «простых людей», а в наиболее ответственных случаях — и выступать самому непосредственно в качестве «простого человека», т. е. способного непосредственно и в соответствии с «народным чувством», «традицией» и «преданием» реагировать на происходящее. Отдельно анализируется понятие «свобода» в представлениях Победоносцева и его соотношение с такими понятиями, как «авторитет» и «свободная сила».

Ключевые слова: Победоносцев, бюрократия, консерватизм, национализм, славянофильство, контрреформы 1880-х годов

Бедный мы, бедный народ, сироты Господни, овцы без пастырей!.. Есть что-то таинственное и роковое в этой нашей бедности, в отсутствии всяких у нас запасов и сбережений, кроме запасов церковного предания.

К. П. Победоносцев — Е. Ф. Тютчевой,
письмо от 12 июня 1881 г.
(цит. по: Полунов, 2010а: 98)

Константин Петрович Победоносцев (1827–1907) является одним из наиболее известных представителей консервативного направления русской общественной мысли. Его биография, государственная и научная деятельность закономерно привлекали и привлекают внимание поколений исследователей¹, но число научных работ, специально посвященных изучению системы его идеологических воззрений, — не очень велико, из их числа по фундированности выделяются труды Р. Бирнса (1968), Е. В. Тимошиной (2000) и А. Ю. Полунова (2010а). Нашей целью является представить систему политических воззрений Победоносцева в 1870–1890-х годах, когда она обрела свою завершенность. Не подменяя конкретно-исторического исследования, мы стремимся представить его политические воззрения этого периода как единую и последовательную систему взглядов, нашедшую свое выражение в разнообразных источниках, начиная с газетной публицистики и заканчивая эпистолярией.

Взгляды Константина Петровича Победоносцева, как и всех мыслящих людей, претерпевали с возрастом и с ходом событий в стране и в мире изменения — однако примечательно не это обстоятельство, а то, что масштаб этих изменений, касавшихся политического мировоззрения Победоносцева в зрелом возрасте, оказался довольно незначительным. Разумеется, в 1880-е годы Победоносцев не написал бы таких строк, которые адресовал К. Д. Кавелину в 1860-х: «Цензура у нас стала просто черный кабинет... терзают и режут все печатное; циркуляры сыплются один за другим из П[етер]бурга... Литературе нашей очень плохо приходится» (цит. по: Репников, 2010: 362). В позднейшие годы «литература» и терзания «печатного» вызвали у него мало сочувствия (см.: [Победоносцев], 1935), однако если обратиться к первому значительному публицистическому выступлению Победоносцева, его памфлету «Граф В. П. Панин. Министр юстиции», вышедшему в качестве VII книжки «Голосов из России» в герценовской типографии в Лондоне в 1859 году, то, кроме места издания, в ней мало что удастся найти радикально непримиримого с его позднейшими взглядами. В ней присутствуют и основные понятия, которыми в дальнейшем будет оперировать Победоносцев, в первую очередь «жизнь» — так, именно в вину николаевскому царствованию он ставит утрату «живого отношения» правительства «к народу» ([Победоносцев], 1859: 5): «Идея о патриотизме, которую покойный государь открыто стремился превратить в понятие о службе

1. См. библиографические обзоры: Тимошина, 2000: 4–8; Полунов, 2010а: 4–24; замечательный обзор карьеры и воззрений Победоносцева как цивилиста дан в работах: Тимошина, 2002а, 2002б.

правительству, как будто вовсе исчезла из сознания наших правителей от мала до велика; служба государственная почти повсеместно — сделалась службою — лицу Начальника, или службою маммону» ([Победоносцев], 1859: 6–7).

Основной порок русской современности публикующийся у Герцена молодой обер-секретарь Общего собрания московских департаментов Сената и профессор юридического факультета Московского университета видит в том, что «Императорская власть, при нынешнем развитии Министерской, сделалась мифом, не имеющим существенного значения. Государь вверяет власть свою Министрам, все, что знает, знает от них и покрывает все их действия своим именем! Не так бывало прежде, при Петре, при Екатерине, — но преемники их к несчастью пожертвовали отвлеченной пустой идее власти всем существом ее...» ([Победоносцев], 1859: 13), тем более угрожающий, что подобное положение вещей неизбежно разрушает идею царской власти ([Победоносцев], 1859: 14).

Лекарство же к исцелению этих бед, по крайней мере бедствий министерства юстиции, он видит в реформе Сената, возвращении к первоначальному, петровскому пониманию этого учреждения (в духе Державина, предлагавшего схожее молодому Александру I) и восстановлении власти генерал-прокурора как самостоятельной фигуры и независимости суда — в скромном смысле независимости от министра юстиции ([Победоносцев], 1859: 34–35, 92).

Наиболее авторитетный сегодня исследователь жизни и творчества Победоносцева А. Ю. Полунов отмечает, что тот дважды достигал максимального политического влияния — в 1881–1883 годы и в конце 1894 — начале 1895 года, оба раза оказавшись в роли «наставника» при относительно или просто молодом и, что гораздо более важно, неопытном в государственных делах и растерянном в новой ситуации государе (Полунов, 2010б). И оба раза Победоносцев довольно быстро утрачивал приобретенное влияние. Отчасти это связано с тем, что он не столько медленно его добивался, сколько самим ходом событий оказывался ближайшей или одной из ближайших к государю политических фигур — тем, кто одновременно мог дать совет в государственных делах и восприниматься как «близкий человек», тот, к кому император испытывал личное доверие. Не столько он стремился преобладать, сколько к нему обращались — и утрата влияния происходила одновременно с тем, как эти обращения делались все реже, находились новые советники и/или сам государь получал опытность в делах, а самозванные советы со стороны «наставника» все чаще начинали восприниматься как обращения старого ментора, которые требуют, по возможности, вежливого ответа, но которые не следует воспринимать слишком всерьез.

Однако более важным, как нам представляется, была другая сторона дела, отмеченная уже современниками, — государи, отец и сын, не столько переставали нуждаться в советах наставника, сколько они не получали тех советов, на которые рассчитывали или к которым вынуждались ситуацией. После того как проходила первая, кризисная пора, когда Победоносцев давал силу отвергнуть предлагаемые планы реформ или хотя бы обещания последних, возникал вопрос другого рода,

теперь уже позитивный — о программе государственной политики — что надлежит делать взамен отвергнутого? И здесь казалось, что у Победоносцева нет никакого ответа — как писал, выражая едва ли не общее мнение, прот. Г. Флоровский, «это был человек острого и надменного ума, „нигилистического по природе“... Это был безочарованный скептик» (Флоровский, 1989: 411). С. Ю. Витте, цитату из которого приводит Флоровский, дал известную оценку Победоносцева:

Это был человек несомненно высоко даровитый, высоко-культурный и, в полном смысле слова, человек ученый. Как человек он был недурной, был наполнен критикою разумною и талантливою, но страдал полным отсутствием положительного жизненного творчества; он ко всему относился критически, а сам ничего создать не мог. Замечательно, что этот человек не в состоянии был ничего воспроизводить ни физически, ни умственно, ни морально. (Витте, 1924: 250)

Характерный анекдот сохранил в своем дневнике государственный секретарь А. А. Половцов, рассказывавший, как «после заседания [Государственного совета] Абаза, проходя мимо группы, в которой стоял Победоносцев, обратился к нему со словами: „И ничего во всей природе благословить он не хотел“» (Половцов, 2005: 449, запись от 21 апреля 1886 г.). Он выступал критиком и тех проектов преобразований, которые оценивались как «консервативные», — так, серьезное противодействие с его стороны вызвал закон о земских начальниках, ставший одной из наиболее известных мер в так называемой «политике контрреформ» (см.: Победоносцев, 1926: 104–106, письмо от 18 апреля 1886 г.; Христофоров, 2011: 342–343), в 1886 г., критикуя в Государственном совете проект закона о найме на сельскохозяйственные работы, существенно расширявший права нанимателя по отношению к работнику (ПСЗ РИ-III, № 3803), Победоносцев, «в весьма талантливой речи», по словам государственного секретаря А. А. Половцова, представил «картину пореформенной России, где никакой на месте внушающей доверие власти не существует, а между тем обсуждаемый законопроект вносит в отношения сельского населения подробную регламентацию, долженствовавшую внести в трудовую жизнь известное раздражение» (Половцов, 2005: 448–449, запись от 21 апреля 1886 г.). П. А. Зайончковский находил, что в данном случае обер-прокурор «по существу, критиковал проект „слева“» (Зайончковский, 1970: 196), и А. Ю. Полунов приводит данное суждение без возражений (Полунов, 2010а: 290, прим. 2). Однако с данной оценкой сложно согласиться — точнее, это тот случай, когда по конкретному вопросу возможная критика «слева» и «справа» совпадает, радикально расходясь в основаниях. Если для критиков «слева» речь шла о противодействии расширению административной власти землевладельца, нанимающего сельских работников, как ущемляющему интересы последних, подлежащих первоочередной защите, то для Победоносцева суть дела заключалась в том, что монархия не должна становиться защитником чьих бы то ни было сословных или классовых интересов как таковых. Ей, для того, чтобы не только соответствовать своему идеальному пред-

назначению, но и сохранять опору в обществе, надлежало быть надсословной и надклассовой, выступать не столько в роли арбитра (что предполагало бы соствяжание разных сил), сколько как воплощение «общего дела» и «общей воли». Так, 26 марта 1898 г. Победоносцев писал Витте, критикуя политику покровительства помещному дворянству: «Создано учреждение земских начальников с мыслью обуздать народ посредством дворян, забыв, что дворяне одинаково со всем народом подлежат обузданию» (Витте, Победоносцев, 1928: 101)².

Победоносцев критически относился, как правило, к любому роду инициатив, которые, на взгляд Витте, были «делом», не важно, «прогрессивным» или «консервативным», поскольку его программа — если можно говорить о таковой — заключалась в возможности «обжить» уже существующие институты, приспособить их к жизни, что лучше всего сделают сами люди, а не очередные установления.

Воззрения Победоносцева нередко определялись как близкие к «славянофильским», «народнические» или «почвеннические» (Флоровский, 1989: 410), как «националистические» (Карпович, 2012: 224) и т. д. Для каждой из этих характеристик есть свои резонные основания. Константин Петрович не только был близок к славянофильскому кругу, в первую очередь к И. С. Аксакову (окончившему Училище правоведения двумя годами ранее и, как и Победоносцев и вместе со многими другими воспитанниками Училища, сохранивший на всю жизнь верность братству «правоведов») и к Н. П. Гилярову-Платонову (см.: [Гиляров-Платонов, Победоносцев], 2011), но и разделял многие из славянофильских представлений. Славянофилам же он казался, по крайней мере до назначения обер-прокурором, человеком, сходным с ними образом понимающим церковь. Так, Аксаков писал сестре Софье по получении известия об отставке гр. Д. А. Толстого и назначении Победоносцева на должность обер-прокурора Св. Синода: «Это последнее назначение наилучшее, потому что Победоносцев глубоко-верующий и церковный человек, Командиром Церкви не будет»³. Свидетельства о близости Победоносцева и Достоевского хорошо известны (см.: Гроссман, 2015 [1934]; Твардовская, 1990), напомним лишь знаменитый фрагмент из письма Победоносцева наследнику престола, написанного в день похорон Достоевского: «Мне очень чувствительна потеря его: у меня для него был отведен тихий час, в субботу, после всенощной, и он нередко ходил ко мне, и мы говаривали долго и много за полночь» (Победоносцев, 1925: 311, письмо от 1 февраля 1881 г.). Националистский характер воззрений Победоносцева не

2. Более чем за двадцать лет до этого Победоносцев, например, пересылал цесаревичу Александру Александровичу изданную в Берлине брошюру Ю. Ф. Самарина и М. Ф. Дмитриева «Революционный консерватизм», направленную против пропагандируемых Р. А. Фадеевым дворянско-консервативных воззрений, сопровождая ее осторожным, но сочувственным письмом, где, в частности, говорил о Фадееве: «Там, где автор принимается сочинять основания новых рекомендуемых им порядков, предположения его, равно как и основания новых проектов, обсуждаемых ныне дворянами, оказываются очень слабы».

Во всяком случае, кто читал книгу Фадеева и отдавал справедливость его таланту, тому необходимо ознакомиться и с возражениями на его мысли, для того, чтоб не увлечься односторонностью взгляда в таком важном предмете» (Победоносцев, 1925: 36, письмо от 20 марта 1875 г.).

3. ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 15. Ед.хр. 17. Л. 300б., письмо от 21 апреля 1880 г.

составляет сам по себе предмета полемики. Однако неточность всех этих характеристик была очевидна и их авторам, обычно закономерно сопровождавшим их оговорками и ограничениями. Так, в отличие от славянофилов, Победоносцев никогда не утверждал в качестве существенного положения убеждение в «мессианском предназначении» России и/или православия, его рассуждения о России было повернуты «вовнутрь». Он не предполагал (но и не отрицал) веры в ее вселенское призвание, а отстаивал местное своеобразие как самоценность, причем для самих обитателей страны⁴. В этом отношении его позиция сходилась со столь чтимыми им основоположниками германской «исторической школы» (см.: Тимошина, 2000: 30–48) и с Монтескье, неоднократно им упоминаемым (и с «Духом законов» которого он, в качестве высшей оценки, вровень ставит «Основную конституцию человеческого рода» Ле-Пле: [Победоносцев], 1897 [1893]: XXXI): установления и обыкновения не имеет смысла оценивать абстрактно, как хорошие или дурные сами по себе — то, что в одном месте и в одно время оказывается совершенным, перенесенное в иные обстоятельства, окажется непригодным. Посему «местные установления» и «местные обыкновения» оказываются ценными уже по одной той причине и заслуживают бережного отношения, что они — хорошо или плохо — удовлетворяют существующие здесь и сейчас потребности, они приурочены к местным нравам, и даже их недостатков, вполне очевидных, следует решительно избегать касаться — поскольку к ним также успела приурочиться местная жизнь, они тоже стали частью целого, которое без них, вполне возможно, будет функционировать хуже, чем с ними, ведь нельзя заведомо учесть, со сколь многими другими, вполне положительно оцениваемыми, элементами и формами местной жизни оно оказалось взаимосвязано. В первую очередь Победоносцев был консерватором — редким в русской интеллектуальной жизни персонажем, так как в большинстве случаев «русский консерватизм» предполагал иной, чем «либеральный» или «радикальный», но план реформирования государства и общества.

Мировоззрение Победоносцева как в капле отлилось в письме к Александру III в ответ на прошение г-жи Жадовской дозволить ей повторное вступление в брак (поскольку при разводе она была объявлена виновной стороной и, соответственно, согласно ст. 253 Устава духовных консисторий, осуждена на безбрачие⁵). Подробно обосновав недопустимость отклонения от существующих узаконений,

4. В славянофильстве И. С. Аксакова Победоносцев видел, собственно, либерализм — только в отличие от того политического течения, которое обыкновенно называлось именем в России, использующим националистическую риторику. Так, в 1881 г. он писал Е. Ф. Тютчевой: «Разве не противоречие исходить из русского чувства народного — и проповедовать либеральные начала, выразившиеся в формуле западного просвещения, например свободу печати» — и в другом письме к тому же адресату задавался вопросом в ответ на критику со стороны Аксакова либерализма: «А сам-то он кто, как не либерал по тому же западному типу, которого в своем либерализме не узнает, потому что одел его по своей фантазии в русское платье из лоскутов» (Полунов, 2010а: 150). В дальнейшем, уже после смерти Аксакова, подобный упрек будет публично адресован славянофилам как защитникам свободы печати: «ходячего положения новейшего либерализма» (Победоносцев, 1996: 302).

5. Норма эта действовала для виновной стороны, независимо от пола, с 1811 по 1904 г. (до 1811 г. воспрещение действовало только для жены). См.: Загоровский, 2003 [1909]: 116–119.

Победоносцев далее предлагает выход — в виде высочайшего принятия просьбы «о прекращении дел о незаконности брака, уже совершенного»:

Здесь нет *прямого* вмешательства в церковную юрисдикцию. Брак совершен священником, хотя и вопреки церковному запрещению; супруги живут вместе и прижили детей. Начинается дело о незаконности брака, большею частью по доносу. В таких случаях объявляется иногда высочайшее повеление: *приостановить* в консистории производство о незаконности брака. Таким образом брак остается фактически, как он был первоначально записан, то есть в виде законного.

Такие высочайшие повеления объявлялись неоднократно и от имени вашего величества, по моему докладу. Вот *единственное* возможное средство в подобных случаях. Пусть и г-жа Жадовская ищет, как ей угодно, помимо участия верховной власти, способа обвенчаться; затем может и не возникнуть вовсе вопрос о незаконности этого брака, а если возникнет, тогда уже может она обратиться к монаршему милосердию. (Победоносцев, 1926: 35–36, письмо от 23 мая 1883 г.)

Аргументация, к которой прибегает Победоносцев, носит трехплановый характер — отстаивая свои воззрения перед публикой, он далеко не всегда стремится убедить в них оппонентов, более того, признает возможность добросовестно придерживаться тех или иных, весьма далеких от его собственных, взглядов. Критика популярных воззрений ведется им, во-первых, со скептических позиций — притязания знания всегда носят частный характер, то, что теперь считается научным, в дальнейшем, вполне вероятно, лишится этого статуса. Потому несоответствие тех или иных представлений ныне господствующим научным подходам, не говоря уже о воззрениях, распространенных в образованном обществе, само по себе не может быть безоговорочным критерием их неверности.

Однако Победоносцев отнюдь не считает, что его оппонентом является исключительно «неверие» — напротив, он обращает внимание на попытки создать иную веру, соответствующую времени, поскольку в старую веру больше нет возможности верить. Более того, он не считает, что подобное невозможно — его аргумент принципиально иного рода:

Такая религия, какую воображает себе Милль, может быть, пожалуй, достаточна для *подобных ему мыслителей* [выделено нами. — А. Т.]... В народе такая религия, если бы могла быть введена когда-либо, оказалась бы поворотом к язычеству. *Народ, который нельзя себе представить в отделении от природы* [выделено нами. — А. Т.], если бы мог позабыть веру отцов своих, снова олицетворил бы для себя как идею вселенную, разбив ее на отдельные силы, или то человечество, которое ставят ему в виде связующего духовного начала, разбив его на представителей силы духовной, — и явились бы только вновь многие живые боги вместо единого Бога истинного... (Победоносцев, 1996: 371)

Вновь и вновь апеллирует Победоносцев к просвещенческой логике защиты «предрассудка» и «суеверия» — критика последних может быть адресована только тем, кто сам вполне «просвещен», способен выносить собственные суждения, и следовательно — не должна быть доступна массам, «народу»: «...этого не хотят знать народные реформаторы... Из-за обрядов и форм они забывают о сущности учреждения и готовы разбить его совсем, ничего в нем не видя, кроме грубости и обрядного суеверия. Сами они думают, что перешли через него, пережили его и могут без него обойтись, забывая о миллионах, которым оно доступно по мере быта и духовного развития их лишь в этой грубой обрядности» (Победоносцев, 1996: 383, ср.: 361–363). Здесь уже можно заметить третью линию аргументации — Победоносцев не соглашается видеть в «суеверии» лишь «суеверие», но утверждает, что если даже и так, если встать на точку зрения оппонентов — каким образом сможет обойтись без него тот, кто не дорос до иного:

Есть в человечестве натуральная, земляная сила инерции, имеющая великое значение. <...> Сила эта, которую близорукие мыслители новой школы безразлично смешивают с невежеством и глупостью, безусловно необходима для благосостояния общества. Разрушить ее — значило бы лишить общество той устойчивости, без которой негде найти и точку опоры для дальнейшего движения. В пренебрежении или забвении этой силы — вот в чем главный порок новейшего прогресса. (Победоносцев, 1996: 310)

Дело не только в том, что «большинство» не доросло или не способно к «логическому мышлению» — независимо от этого «в большей части случаев невозможно довериться действию одной способности логического мышления в человеке» (Победоносцев, 1996: 310). Если бы было иначе, то человек стал бы «послушным рабом всякого рассуждения, на которое он не умеет в данную минуту ответить» (Победоносцев, 1996: 311):

Стоит только признать силлогизм высшим, безусловным мерилom истины, — и жизнь действительная попадает в рабство к отвлеченной формуле рассудочного мышления, ум со здравым смыслом должен будет покориться пустоте и глупости, владеющей орудием формулы, и искусство, испытанное жизнью, должно будет смолкнуть перед рассуждением первого попавшегося юноши, знакомого с азбукой формального рассуждения. Можно себе представить, что случилось бы с массой, если бы удалось, наконец, нашим реформаторам привить к массе веру в безусловное, руководительное значение логической формулы мышления. В массе исчезло бы то драгоценное свойство устойчивости, с помощью коего общество успевало до сих пор держаться на твердом основании. (Победоносцев, 1996: 311)

Иначе говоря, теперь «масса» оказывается неустойчивой, нуждающейся в защите и попечении именно потому, что способна поверить в одну «способность логического мышления», принять на веру силлогизм как «безусловное мерило исти-

ны» — тогда как более разумный человек, действительно просвещенный, обретает в самом разуме противоядие против чрезмерных притязаний от имени разума.

Весьма характерна в данном случае трактовка Победоносцевым «свободы церкви» и «свободы веры». Победоносцев, во-первых, соглашается с тем, что подлинная вера свободна — и никакой другой она быть не может. Однако из этого он не считает нужным сделать тот вывод, к которому призывают, например, славянофилы, говорящие о необходимости освобождения церкви от синодальной опеки или, например, о прекращении репрессивных действий в отношении раскольников. Согласно Победоносцеву, это значит провозгласить принцип, не желая соотносить его с обстоятельствами. Объясняя свою позицию Е. Ф. Тютчевой, он говорил на исходе 1881 года:

Вы писали мне недавно о принуждении в делах веры, что душа ваша не принимает этого. Да чья же душа может это принять! <...> ...сколько бы мы не говорили о свободе и непринуждении в делах веры, слово это, в существе истинное, будет так же рассыпаться в соприкосновении с действительностью, как слово проповедников мира о беззаконии и греховности войны. <...> церковь наша — одно с народом — не лучше его и не хуже. В этом ее великое качество. Но Государство обязано понять его и обязано защитить ее. От кого? от целой армии дисциплинированных врагов ее и наших — всяких вероисповедных пропагандистов, которые, пользуясь простотою народной, бездействием правительства, условиями пространства и бедной культуры, врываются, как волки, в наше стадо, не имеющее достаточно пастырей. Стадо это — наша будущность; что сегодня не может быть в нем возделано, то будет возделано через десятки лет, но покуда — мы должны оберегать его от волков. ([Победоносцев К. П.], 1995: 184, 185–186, письмо от 20 декабря 1881 г., ср.: Победоносцев, 1996: 264–277)

Впрочем, сам Победоносцев вполне воспринимал понятийное напряжение, существующее между утверждением «свободы церкви» и отстаиванием попечительной и ограничительной политики. Так, в статье «Болезни нашего времени», наиболее пространной из включенных в «Московский сборник», он предпринимает попытку дать новое понимание «свободы». Последняя трактуется им теперь исключительно нейтрально — она «есть... лишь естественное условие причинной связи в действиях воли человеческой. В этом смысле она производит явления и действия самые противоположные — добрые или дурные, полезные или вредные и гибельные» (Победоносцев, 1996: 348). Посему теперь требование «свободы» выступает как неопределенное — свобода не есть благо само по себе, а нечто, что в своем характере как блага или зла обусловлено иным. Так как не всякая свобода есть благо, то она подлежит ограничению извне — и источником этого ограничения является «авторитет» (Победоносцев, 1996: 348, об истории данного понятия см.: Марей, 2017). Если бы последний имел только внешний характер, то борьба эта «не имела бы исхода», однако «в душе человеческой» есть «внутренний судья», «совесть, средоточие и опора суда нравственного», которая «одна дает нашим дей-

ствиям правую силу» (Победоносцев, 1996: 348) — т. е. то, что способно признать требование авторитета как справедливое и сотворить из воли «силу свободную», т. е. господствующую «над побуждениями инстинкта» (Победоносцев, 1996: 348). «Авторитет» тем самым трактуется как то, что накладывает на нас ограничения, которые нами могут признаваться несправедливыми, но мы признаем за ним право накладывать их на нас или не можем противиться им (т. е. в данном случае Победоносцев сливает воедино *auctoritas* и *potestas*, мысля скорее второе как частный случай первого, то, что возможно только постольку, поскольку в конечном счете отсылает к некоему авторитету) — а гармоничное состояние заключается в совпадении требований справедливости и накладываемых на нас извне ограничений и накладываемых нами на самих себя.

В целом предложенная им теоретическая рамка применительно к российской монархии включала пять элементов:

1) самодержца — личное начало власти и одновременно персонифицированный принцип, стоящего над любыми группами, сословиями и классами, но при этом монарха «национального», «русского»: он должен был быть «Русским Государем» (Победоносцев, 1996: 166), царем «народа»⁶ (господствующего), по выражению «Московского сборника», в то же время соблюдая справедливость в отношении прочих⁷. Всякая власть стоит верою, «доверие массы народа к правителям основано на вере, т. е. не только на единоверии народа с правительством, но и на простой уверенности, что правительство имеет веру и по вере действует» (цит. по: Ведерников, 2010: 35), а в идеале самодержец сливает душу с народной. Так, перед коронацией Победоносцев писал Александру III: «Господь да хранит вас, всемиловитивейший государь, в тишине уединения, пока народная душа готовится соединиться с вашею в великом акте венчания» (Победоносцев, 1926: 32–33, письмо

6. Готовя текст манифеста о коронации, Победоносцев извещал государя о внесенных поправках: «Еще одно примечание. В конце у меня поставлено: попечение о благе *народа*, а не *народов*, как сказано было в прежней и в печатной редакции. И в 1856 году это слово: *народов* — казалось странным. Замечали, что австрийский император может говорить о своих *народах*, а у нас *народ* один и власть единая» (Победоносцев, 1926: 4, письмо от 14 января 1883 г.).

7. Победоносцев считал неприложимым парламентское представительство к российским условиям: «Мы видим теперь, что каждым отдельным племенем... овладевает... желание иметь свое самостоятельное управление со своею, нередко мнимою, культурой. И это происходит не с теми только племенами, которые имели свою историю и, в прошедшем своем, отдельную политическую жизнь и культуру, но и с теми, которые никогда не жили особою политическою жизнью. Монархия неограниченная успевала устранять или примирять все подобные требования и порывы и не одною только силой, но и уравнением прав и отношений под одною властью. Но демократия не может с ними справиться, и инстинкты национализма служат для нее разъедающим элементом: каждое племя из своей местности высылает представителей — не государственной и народной идеи, но представителей племенных инстинктов, племенного раздражения, племенной ненависти и к господствующему племени, и к другим племенам, и к связующему все части государства учреждению. Какой нестройный вид получает в подобном составе народное представительство и парламентское правление — очевидным тому примером служит в наши дни австрийский парламент. Провидение сохранило нашу Россию от подобного бедствия, при ее разноплеменном составе. Страшно и подумать, что возникло бы у нас, когда бы судьба послала нам роковой дар — всероссийского парламента! Да не будет» (Победоносцев, 1996: 293).

от 10 мая 1883 г.); о самом акте: «Мы стояли и плакали, и вашему величеству послал господь радость великую, в которой поистине душа ваша сливалась с народной душою. <...> У всех теперь точно великая поэма народной жизни совершилась в душе, это великое и высокое чувство» (Победоносцев, 1926: 33, письмо от 15 мая 1883 г.), а в поминальной речи утверждал применительно ко всему царствованию: «душа народная слилась с его душой» (Победоносцев, 1996: 168);

2) «истинно русских», «живых русских людей» или хотя бы тех, в ком, как в графе Н. П. Игнатъеве, «звонит серебро русского инстинкта» ([Победоносцев], 1995: 184) — способных слышать голос «простого народа», отзываться на запросы «жизни», сочувствовать «живому делу», тех, в ком образование и воспитание не истребило или не изменило до неузнаваемости «русской души»;

3) [интеллигенция], те, кто усвоил «отвлеченный идеал» (Победоносцев, 1996: 166), утратил связь со своим народом, «заклучившие себя от всего мира в скорлупу отвлеченного мышления» (Победоносцев, 1996: 371). Так, сугубо критически восприняв представленный Б. А. Чичериным после 1 марта 1881 года проект созывает законсовещательного представительства (см.: Победоносцев, 1923: 104–120 и сл.), Победоносцев отзывался о своем многолетнем приятеле (с которым после этого наступил разрыв, продолжавшийся почти вплоть до кончины Чичерина в 1904 г.) в письме к С. А. Рачинскому: «Он честный человек, но голова у него просечена прямыми линиями... *В нем не бьется живая жилка духовной жизни народной* [выделено нами. — А. Т.]» (письмо от 29 июля 1882 года, цит. по: Полунов, 2010а: 147). Еще более характерно противопоставление на сей раз «чиновничества» и «здравых и простых людей» в письме к Александру III от 4 марта 1881 года с описанием реакции на манифест от 29 апреля или утверждение из письма тому же корреспонденту от 10 июля 1881 года: «все зло у нас шло сверху, от чиновничества, а не снизу» (Победоносцев, 1925: 338, 346);

4) «иностранческий элемент», которому следовало «не уступать» (Победоносцев, 1996: 167)⁸ в том случае, когда не было возможности обрусить, путь к чему виделся в принятии православия как ключевой составляющей «русскости» (Победоносцев, 1996: 156)⁹;

8. Большая часть вербальных примеров заимствована из речи К. П. Победоносцева «Государь императора Александр Александрович», прочитанной на собрании ИРИО в присутствии Николая II. Об этом чтении сохранилась дневниковая запись А. А. Половцова от 6 апреля 1895 г.: «Победоносцев прочитал речь, в которой при весьма изящной внешней литературной форме изложил те свои политические идеалы нетерпимости, односторонности, насилия, эгоизма и непонимания высших человеческих стремлений, хвастаясь тем, что он и его единомышленники успели наполнить ими голову покойного Государя. Очевидно, то было назидание юному монарху идти по тому же грустному пути» (Половцов, 2014: 147).

9. Вполне типично для консервативной мысли Победоносцев среди «иностранческого элемента» выделял евреев, рассматривая их как своего рода агентов современности, — так, Ф. М. Достоевскому он писал: «А что Вы пишете о жидах, то совершенно справедливо. Они все заполнили, все подточили, однако за них *дух века сего*. Они в корню революционно-социального движения и цареубийства, они владеют периодической печатью, у них в руках денежный рынок, к ним попадает в денежное рабство масса народная, они управляют и началами нынешней науки, стремящейся стать вне христианства» (Гроссман, 2015 [1934]: 101, письмо от 19 августа 1879 г.).

5) «простой народ» — его свойство верно чувствовать, даже если ошибочно понимать. Так, например, «простой человек, приближаясь к» Александру III, «чувствовал свое душевное сродство с Русским Государем» (Победоносцев, 1996: 166) — и это было одновременно свидетельство и действительной простоты приближающегося, и высоких достоинств государя. В письме, написанном два дня спустя после убийства Александра II, Победоносцев, например, усиливает свой голос, выступая перед лицом молодого государя как репрезентант «простых людей»: «не один я тревожусь: эту тревогу разделяют все простые русские люди» и следом добавляет — «сегодня было у меня несколько простых людей» (Победоносцев, 1925: 315, письмо от 3 марта 1881 г.). Голосом этих «простых людей» может выступать, например, «извозчик», разговор с которым передает Победоносцев государю, поздравляя его с наступающим 1883 годом (Победоносцев, 1925: 400, письмо от 31 декабря 1882 г.). Впрочем, такое качество, как принадлежность к «простым людям», распространяется и на самого Победоносцева — теперь уже не передающего «их» слова, а прямо говорящего как один из них в особенно эмоциональные моменты, когда преграды, отделяющие одни сословия или классы от других, падают: «Веруем мы, простые русские люди, что он не оставит вас и с вами бедную, страдающую и верующую Россию!» — писал он императору 4 марта 1887 года, вскоре после неудавшейся попытки покушения на Александра III, предпринятой «Террористической фракцией „Народной воли“» во главе с П. Я. Шевыревым (Победоносцев, 1926: 140).

В этой схеме отчетливо заметно влияние славянофильских идей — об историческом разрыве между «Землей» и «Государством», об образованном обществе, утратившем связь со своим народом, и т. д. Вместе с тем есть и фундаментальное различие — если для славянофилов речь идет о том, чтобы преодолеть пропасть между «простым народом» и «образованным обществом», дабы мог возникнуть единый «народ» и «общество» как орган его самосознания, «Земля» как самостоятельная сила (Тесля, 2012), то в логике Победоносцева подобная цель если не отрицается (Константин Петрович вообще не был склонен к радикальному отрицанию¹⁰), то мыслится находящейся в далекой перспективе. Более того, любые попытки двинуться в данном направлении сейчас воспринимаются им как опасные, безрассудные (Полунов, 2015) — надежда возлагается только на медленный, «органический» рост, который когда-нибудь приведет, возможно, к желаемому результату. В известном письме Александру III в ответ на ставшую известной инициативу гр. Н. П. Игнатьева о созыве Земского собора одновременно с коронацией Победоносцев писал:

По истинной правде и по долгу совести и присяги, по здравому смыслу, по любви к отечеству обязываюсь сказать, что считаю это дело безумным! Не

10. См. замечание о будущем русской церкви в цитированном выше фрагменте из письма к Е. Ф. Тютчевой от 20 декабря 1881 г.

диво, что Аксаков проповедует его на листах газеты: диво, что государственный человек вдруг решается пустить его в ход.

Если б я и веровал в земские соборы древней России, то остановился бы в недоумении перед такою мыслью. Древняя Русь имела цельный состав, в простоте понятий, обычаев и государственных потребностей, не путалась в заимствованных из чужой, иноземной жизни формах и учреждениях, не имела газет и журналов, не имела сложных вопросов и потребностей. А теперь нам предлагается из современной России, содержащей в себе вселенную двух частей света, скликать пестрое разношерстное собрание. Тут и Кавказ, и Сибирь, и Средняя Азия, и балтийские немцы, и Польша, и Финляндия! И этому-то смешению языков предполагается предложить вопрос о том, что делать в настоящую минуту. В моих мыслях — это верх государственной бессмыслицы. Да избавит нас господь от такого бедствия! (Победоносцев, 1925: 380–381, письмо от 4 мая 1882 г.)

Подобная установка была связана с общим восприятием хрупкости существующего порядка — отнюдь не только российского. Так, статью о «церковных делах в Германии», опубликованную в редактируемом Ф. М. Достоевским «Гражданине», Победоносцев закончил следующими словами: «...человек нового мира составлен из тех же стихий, стоит, как и прежде, *на самом рубеже хаоса*, и не выходит из кризиса, в котором находилось человечество постоянно, с первой минуты бытия своего. Одна черта, одно мгновение — и может открыться перед нами и около нас тот хаос, от которого отделяет нас тонкая, щегольская и обольстительная перегородка цивилизации» (Победоносцев, 2010: 86).

В речи на совещании 8 марта 1881 года (в передаче Е. А. Перетца) Победоносцев утверждал: «Бедный народ, предоставленный сам себе, стал несчастной жертвой целовальников, кулаков, жидов и всяких ростовщиков» (цит. по: Христофоров, 2011: 332). Охранительная политика, отстаиваемая Победоносцевым, заключалась в попытках сохранить «тонкую... перегородку цивилизации», по возможности ничего не трогая, — в надежде на «жизнь», «живые силы», которые сумеют найти выход, делая свои малые дела. Проблема, с которой столкнулся Победоносцев, заключалась, однако, в том, что в попытках не допустить перемен приходилось постоянно что-то менять, политика, рассчитанная на «жизнь», на «естественный ход вещей», который мудрее любого плана, на то, чтобы искать «живых людей», а не менять учреждения¹¹, — не учитывала одного: изменившегося темпа событий. Будучи зорким наблюдателем, Победоносцев замечательно фиксировал перемены — например, хорошо понял изменившуюся роль общественного мнения, значение печати в его формировании — но ответ у него оставался неизменным, лишь с течением времени менялось представление о будущем, ожидания делались все более безнадежными. Так, согласно воспоминаниям Е. М. Феоктистова, Победоносцев

11. 5 октября 1873 г., рассказывая цесаревичу о своих делах в Госсовете, Победоносцев писал: «Впереди множество новых законов, но, право, приступаешь к ним со стесненным сердцем. *Хочется верить в новых людей, а не в новые законы. Их уже столько накопилось, что люди с ними не справятся* [выделено нами. — А. Т.]» (Победоносцев, 1925: 18).

утверждал: «Никакая страна в мире не в состоянии была избежать коренного переворота, что, вероятно, и нас ожидает подобная же участь и что революционный ураган очистит атмосферу» (Феоктистов, 1991: 219).

Афоризм Победоносцева о «лихом человеке», бродящем или гуляющем «по ледяной пустыне», который вспоминают и З. Н. Гиппиус, и В. В. Розанов (см.: Репников, 2010: 365), — не только диагноз, поставленный Победоносцевым русскому обществу в начале XX века, но и признание краха его конструкции. В предложенной им идеологической схеме было место только для «Русского Государя» и «простых людей», для всех, кто не укладывался в чаемую «простоту», была заготовлена только ячейка «болезни»: их надлежало «чистить... сверху» (Победоносцев, 1925: 346, письмо от 10 июля 1881 г.), но болезнь дошла почти до самого «верха». Делясь своими впечатлениями от Петербурга, Победоносцев, например, писал цесаревичу 14 декабря 1879 года: «От всех здешних чиновных и ученых людей душа у меня наболела, точно в компании полоумных людей или исковерканных обезьян. Слышу отовсюду одно натверженное, лживое и проклятое слово: конституция» (Победоносцев, 1925: 249). Вся надежда оказывалась на цесаревича — и на «простой народ», который сам только верно чувствовал, но не действовал, в свою очередь, возлагая всю надежду на Александра Александровича:

Но я вижу и слышу здоровых русских людей в крайнем смущении. Душа у них объята страхом — боятся больше всего именно этого коренного зла, конституции. Повсюду в народе зреет такая мысль: лучше уже революция русская и безобразная смута, нежели конституция. Первую еще можно побороть вскоре и водворить порядок в земле; последняя есть яд для всего организма, разъедающий его постоянною ложью, которой русская душа не принимает.

<...> В нынешнее правительство так уже все изверились, что *ничего от него не чают*. Ждут в крайнем смущении, что еще будет, но народ глубоко убежден, что правительство состоит из *изменников*, которые держат слабого царя в своей власти.

Всю надежду возлагают, в будущем, *на вас*, и у всех только в душе шевелится страшный вопрос: неужели и наследник может когда-нибудь войти в ту же мысль о конституции. <...>

Важно то, что эта мысль глубоко засела *в народе*: по деревням и по уездным городам простые люди, обсуждая простым здравым смыслом и горячею душою нынешние события, говорят об этом, — там уже знают, что такое конституция, и опасаются этого больше всего на свете. (Победоносцев, 1925: 249)

Между «простым народом» и «Русским Государем» не допускалось никакое «средостение» и в то же время для Победоносцева была неприемлема никакая форма массовой мобилизации, активности «простого народа», выходящая за пределы частных, местных дел: но тем самым неизбежно единственным способом действия для «Русского Государя» оказывалось действие посредством чиновничества. В 1881 году Победоносцев испытывал надежду на оздоравливающее действие и самого государя, и поставленных им достойных людей — способных каждый

подобрать себе таких же и тем самым исцелить царство или, по крайней мере, не дать болезни распространяться дальше, используя предпочитаемые Победоносцевым органические метафоры. В своем позднем дневнике, уже после отставки с поста государственного секретаря, Половцов сохранил рассказ Победоносцева:

...в тот день, когда в Комитете министров докладывалось представление Виты¹² о приобретении в казну железнодорожных линий Главного общества, он, Победоносцев, сказал Виту: «Я здесь так давно сижу, что был свидетелем и того, как Московскую дорогу правительство продало Главному обществу, и того, как объявлено было, что дороги будут строиться казной и принадлежать казне, и того, как вслед за тем частные общества стали строить дороги и покупать их от казны». <...>

Стоявший возле государственный контролер Филиппов, имеющий обыкновение всегда говорить в смысле угодном сильному, поспешил, хотя и не спрошенный, отвечать: «В этом-то, Константин Петрович, и мудрость правительства, что оно следует линии, хотя и кривой, но изящной».

Победоносцев: «Дай Бог, чтобы по пословице кривая вывезла». (Половцов, 2014: 52–53, запись от 17 сентября 1893 г.)

Известный американский исследователь русского консерватизма Р. Таден в свое время назвал воззрения Победоносцева «бюрократическим национализмом» (Thaden, 1964), в то время как первый академический биограф Победоносцева — Р. Бирнс подчеркивал его стремление управлять «посредством людей, а не институтов» (Burnes, 1969; Полунов, 2010б: 10). Действительно, характеристика Тадена вроде бы совершенно не подходит ни к оценке взглядов Победоносцева, ни к его практикам — обер-прокурор тратил невероятно много времени и сил на то, чтобы вырваться из пут канцелярии, на поездки по стране, встречи с самыми разными людьми, на внимание к вопросам, зачастую далеким от его собственного ведомства (что навлекало предсказуемое недовольство коллег). И тем не менее она оказывается верной — не применительно к заявленным целям и не по отношению к тому результату, к которому стремился Победоносцев, но по объективному результату: бюрократия оказывалась единственным приводным ремнем, имеющимся в распоряжении у системы.

* * *

Подводя итог, отметим, что система политических представлений К. П. Победоносцева в 1870–1890-х годах строилась на следующих ключевых положениях:

1) Типичное для консерватизма противопоставление «органического», «естественного» — «искусственному» и «конкретного» — «абстрактному», где первый член дихотомии оценивался положительно.

12. Так Половцов записывал фамилию С. Ю. Витте.

2) В силу этого изменение принималось только тогда, когда оно вызревало «естественным» порядком, либо когда уже вошло в общий «порядок вещей». Являясь само по себе искусственным вторжением, оно стало частью нового исторического порядка и противодействовать ему, в том числе ради восстановления «старины», значило бы вновь действовать искусственным образом.

3) Всякий порядок вещей является конкретным — существующим в своем месте и времени. Из этого следует, например, позитивное отношение к английскому конституционному опыту, по крайней мере до парламентской реформы 1867 года, или к либеральным установлениям в конкретных европейских странах. Критику вызывает иное — рассмотрение представительства как универсального идеала, кризис либеральных учреждений перед лицом демократии и т. п. В данном отношении показателен «Московский сборник», где присутствует критика западноевропейских порядков, для убедительности ведущая преимущественно европейскими авторитетами (Т. Карлейлем, Дж. С. Миллем, Г. Спенсером, М. Нордау). Она была призвана продемонстрировать не столько их негодность, сколько неспособность служить в качестве идеала.

4) Существующее ныне заслуживает позитивной оценки уже на том основании, что оно существует. В отличие от противостоящего ему проектируемого изменения, которому только надлежит осуществиться и практика осуществления которого неизбежно будет отличаться от нынешних представлений о нем.

5) Следовательно, желательны только постепенные и ограниченные изменения — «люди, а не учреждения». Конкретные люди создают новые практики или улучшают, модифицируют существующие, их опыт затем тиражируется, возникшие отношения институционализируются и т. д. В связи с этим Победоносцев выступал как против конкретных «либеральных реформ», так и против «контрреформ», одинаково видя и в тех и в других насилие над «жизнью».

Две основные проблемы, с которыми сталкивался Победоносцев при приложении своих идей к практике, заключались, во-первых, в факторе времени и, во-вторых, в принципиальном конфликте с «образованным слоем». Логика консервативных воззрений Победоносцева предполагала практически неограниченный временной ресурс для реализации необходимых постепенных изменений, для «органического роста». Вместе с тем все возрастающий темп происходящих в стране и мире изменений приводил к тому, что перспектива начинала оцениваться преимущественно негативно. Вопреки утверждаемой логике «органических изменений» начинала преобладать логика приостановки, замедления перемен, расценивающихся как преимущественно негативные, из чего следовала необходимость принятия новых мер, призванных замедлить нежелательные изменения и поддержать должные тенденции. Победоносцев за четвертьвековое пребывание на посту обер-прокурора Св. Синода оказался весьма деятельным реформатором: он организовал церковно-приходские школы, принял меры по «обручительной политике» в Остзейских губерниях, активно противодействовал бурятскому буддизму, боролся с расколом. Стремление избежать «искусственности» приводило к при-

оритету административных мер, осуществляемых за пределами законодательного регулирования, утверждало практику «усмотрения» и сохранения режима «особой охраны», т. е. стирания границы между чрезвычайным положением и нормой.

В констатации второй проблемы Победоносцев оказался парадоксально близок к Чичерину, писавшему в 1878 году, что существует «возможность только двух путей: к демократическому цезаризму и к конституционному порядку» (Чичерин, 1906: 15). В его конструкции пару «царю» составлял «простой народ», тогда как все промежуточное оказывалось подозрительным. Вместе с тем Победоносцев был принципиально далек от «демократического цезаризма» — его реакция на поставленную Чичериным дихотомию заключалась в том, чтобы максимально продлить время до ответа, в надежде, что за это время сам вопрос окажется неактуален.

Победоносцев на протяжении всей своей интеллектуальной биографии демонстрировал удивительное постоянство мысли в сочетании с интеллектуальной восприимчивостью. Он был живым наблюдателем происходящих споров, сохраняя неизменность той оптики, сквозь которую воспринимал последние. Однако его воззрения могут служить замечательным примером «маскирующей» роли идеологии: на практике большинство из отстаиваемых им тезисов служили обоснованием и защитой тем установлениям и действиям, которые им прямо противоречили. Отстаивая обычное течение дел, «тишину», Победоносцев стал одним из столпов режима чрезвычайного положения, неизменно критикуя бюрократию и восславляя «простого человека», он последовательно отсекал большинство способов внешнего контроля за деятельностью бюрократической машины и т. д. Представляется, что его случай типичен для последовательного консерватизма, выступающего не как орудие критики, а как идеология государственной власти. Или, точнее, как один из инструментов в ее арсенале, позволяющих обосновывать изменения через сохранение неизменности и неизменность через стремление дать ход «органическим» переменам.

Список сокращений

ИРЛИ РАН — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук

ИРИО — Императорское Русское историческое общество

ПСЗ РИ — Полное собрание законов Российской империи

Литература

Ведерников В. В. (2010). К. П. Победоносцев — публицист «Гражданина» // *Победоносцев К. П. «Будь тверд и мужественен...» Статьи из еженедельника «Гражданин» 1873–1876. Письма / Под ред. В. В. Ведерникова. СПб.: Санкт-Петербургские Епархиальные ведомости. С. 5–53.*

- Витте С. Ю. (1924). Воспоминания. Т. III: Детство. Царствования Александра II и Александра III (1849–1894). Л.: Государственное издательство.
- Витте С. Ю., Победоносцев К. П. Переписка Витте и Победоносцева (1895–1905) // Красный Архив. 1928. Т. 5. № 30. С. 89–116.
- [Гиляров-Платонов Н. П., Победоносцев К. П.] (2011). Разумевающие верой: переписка Н. П. Гилярова-Платонова и К. П. Победоносцева (1860–1887) / Сост., подг. текстов и коммент. А. П. Дмитриева. СПб.: Росток.
- Гроссман Л. П. (2015 [1934]). Достоевский — реакционер. Достоевский и правительственные круги 1870-х годов. Письма консерваторов к Достоевскому / Науч. ред. О. Золотько. М.: Common place.
- Загоровский А. И. (2003 [1909]). Курс семейного права / Под ред. В. А. Томсинова. М.: Зерцало.
- Зайончковский П. А. (1970). Российское самодержавие в конце XIX столетия. М.: Наука.
- Карпович М. М. (2012). Лекции по интеллектуальной истории России (XVIII — начало XX века) / Пер. с англ. А. И. Кырлежева, Е. Ю. Моховой. М.: Русский путь.
- Марей А. В. (2017). Авторитет, или Подчинение без насилия. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге.
- Пешков А. И. (1996). «Кто разоряет — мал во Царствии Христовом...» // Победоносцев К. П. Сочинения / Вступ. ст. и прим. А.И. Пешкова. СПб.: Наука. С. 3–33.
- [Победоносцев К. П.] (1859). Граф В. П. Панин. Министр юстиции // Голоса из России. Книжка VII. London: Trübner & Co.
- [Победоносцев К. П.] (1897 [1893]). Очерк жизни и деятельности Ле-Пле // Ле-Пле [П. В. Ф.] Основная конституция человеческого рода. С очерком жизни и деятельности автора / Издание К. П. Победоносцева. М.: Синодальная типография.
- [Победоносцев К. П.] (1923). К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки. С предисловием М. Н. Покровского. Т. I: *Novum Regnum*. Полутом 1. М., Пг.: Государственное издательство.
- Победоносцев К. П. (1925). Письма Победоносцева к Александру III. Т. I / Предисл. М.Н. Покровского. М.: Новая Москва.
- Победоносцев К. П. (1926). Письма Победоносцева к Александру III. Т. II. С приложением писем к в. кн. Сергею Александровичу и Николаю II. М.: Новая Москва.
- [Победоносцев К. П.] (1935). Письма К. П. Победоносцева к Е. М. Феоктистову / Вступ. ст. Б. Горева; публ. и коммент. И. Айзенштока // Литературное наследство. Т. 22–24. С. 497–560.
- [Победоносцев К. П.] (1995). К. П. Победоносцев в 1881 г. Письма к Е. Ф. Тютчевой / Публ. А. Ю. Полунова // Река времен. Вып. 1. М.: Эллис Лак. С. 178–189.
- Победоносцев К. П. (1996). Сочинения / Вступ. ст. и прим. А.И. Пешкова. СПб.: Наука.
- Победоносцев К. П. (2010). «Будь тверд и мужественен...» Статьи из еженедельника «Гражданин» 1873–1876. Письма / Под ред. В. В. Ведерникова. СПб.: Санкт-Петербургские Епархиальные ведомости.

- Половцов А. А.* (2005). Дневник Государственного секретаря. В 2 тт. Т. 1 / Подгот. текста П. А. Зайончковского; вступ. ст. Л. Г. Захаровой. М.: Центрполиграф.
- Половцов А. А.* (2014). Дневник. 1893–1909 / Сост. О. Ю. Голечковой. СПб.: Женский проект, Алетейя.
- Полунов А. Ю.* (2010а). К. П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России. М.: РОССПЭН.
- Полунов А. Ю.* (2010б). Константин Петрович Победоносцев: вехи политической биографии. М.: МАКС-пресс.
- Полунов А. Ю.* (2015). Славянофильское министерство: Победоносцев и граф Игнатьев в начале 1880-х годов // Родина. № 2. С. 31–34.
- Репников А. В.* (2010). Победоносцев, Константин Петрович // Русский консерватизм середины XVIII — начала XX века / Отв. ред. В. В. Шелохаев. М.: РОССПЭН. С. 362–368.
- Твардовская В. А.* (1990). Достоевский в общественной жизни России. М.: Наука.
- Тесля А. А.* (2012). Запрещенная 6-я статья И. С. Аксакова из цикла «О взаимном отношении народа, общества и государства» // Социологическое обозрение. Т. 11. № 2. С. 41–70.
- Тимошина Е. В.* (2000). Политико-правовая идеология русского пореформенного консерватизма: К. П. Победоносцев. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет.
- Тимошина Е. В.* (2002а). Консервативные особенности цивилистической концепции К. П. Победоносцева // *Победоносцев К. П.* Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. М.: Статут. С. 50–64.
- Тимошина Е. В.* (2002б). «Я вижу ясно путь и истину...» // *Победоносцев К. П.* Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. М.: Статут. С. 7–49.
- Феоктистов Е. М.* (1991). За кулисами политики и литературы (1848–1896): воспоминания. М.: Новости.
- Флоровский Г.*, прот. (1989). Пути русского богословия. Paris: YMCA-Press.
- Христофоров И. А.* (2011). Судьба реформы: русское крестьянство в правительственной политике до и после отмены крепостного права (1830–1890-е гг.). М.: Собрание.
- Чичерин Б. Н.* (1906). Конституционный вопрос в России. Рукопись 1878 года. СПб.: Товарищество Печатного Станка.
- Byrnes R.* (1968). Pobedonostsev: His Life and Thought. Bloomington: Indiana University Press.
- Thaden E.* (1964). Conservative Nationalism in Nineteenth Century Russia. Seattle: University of Washington Press.

The Russian Conservative: On the System of K. P. Pobedonostsev's Political Views in the 1870–1890s

Andrey Teslya

Associate Professor, School of Social Studies and Humanities, Pacific State University

Address: Tihookeanskaya str., 136, Khabarovsk, Russian Federation 680035

E-mail: mestr81@gmail.com

Konstantin Petrovich Pobedonostsev (1827–1907) is one of the most prominent and politically influential representatives of the Russian conservative and nationalist lines of thought. For a quarter century, he held the position of ober-procurator of the Holy Synod, undertaking a more-or-less active interference into the other directions of the ideological policy of the Russian Empire. At times, his influence turned out to be decisive, or at least significant. Our aim is to show that Pobedonostsev possessed consistent political views but underwent rather subtle alterations that were definitive for the direction of his political efforts. Our primary focus is on the system of ideas of the organization of Russian monarchy, as reconstructed on the basis of utterances in articles and epistolary heritage, though first of all on the analysis of the concepts of “lowborn folk” and “lowborn people” in their political meaning. We also focus on his understanding of the nature of the Russian monarchy and the idea of the ideal “Russian Sovereign.” “Being lowborn” is understood by Pobedonostsev as the ability to “feel properly”, that is, the truthfulness of an immediate reaction which cannot be obscured with consequential pressures or one’s own reflexive agency. Pobedonostsev claims that his own role, as well as the role of those of his kind close to the throne, is to be the spokesman of feelings and aspirations of those “lowborn people,” and, in the most responsible cases, to become a “lowborn man” himself, reacting to what is happening in accordance with “people’s feelings,” “tradition”, and “legend.” Additionally, the concept of “freedom” within Pobedonostsev’s views, and its relation to the notions of “authority” and “free might,” is analyzed.

Keywords: Pobedonostsev, bureaucracy, conservatism, nationalism, Slavophilism, 1880s counter-reforms

References

- Byrnes R. (1968) *Pobedonostsev: His Life and Thought*, Bloomington: Indiana University Press.
- Chicherin B. (1906) *Konstitucionnyj vopros v Rossii. Rukopis' 1878 goda* [The Question of Constitution in Russia. The 1878 Manuscript], Saint Petersburg: Tovarishhestvo Pechatnogo Stanka.
- Feoktistov E. (1991) *Za kulisami politiki i literatury (1848–1896): vospominaniya* [Behind the Curtains of Politics and Literature (1848–1896): Reminiscences], Moscow: Novosti.
- Florovsky G. (1989) *Puti russkogo bogoslovija* [The Ways of Russian Theology], Paris: YMCA-Press.
- Giliarov-Platonov N., Pobedonostsev K. (2011) *Razumevajushhie veroj: perepiska N. P. Giljarova-Platonova i K. P. Pobedonostseva (1860–1887)* [Understanding with Faith: Correspondence Between N. P. Giliarov-Platonov and K. P. Pobedonostsev (1860–1887)] (ed. A. Dmitriev), Saint Petersburg: Rostok.
- Grossman L. (2015) *Dostoevskij — reakcioner. Dostoevskij i pravitel'stvennye krugi 1870-h godov. Pis'ma konservatorov k Dostoevskomu* [Dostoevsky the Reactionary. Dostoevsky and the Establishment of the 1870s. The Conservatives' Letters to Dostoevsky] (ed. O. Zolotko), Moscow: Common place.
- Khristoforov I. (2011) *Sud'ba reformy: russkoe krest'janstvo v pravitel'stvennoj politike do i posle otmeny krepostnogo prava (1830–1890-e gg.)* [The Destiny of the Reform: Russian Peasantry in the Establishment Politics Before and After Abolition of the Law of Serfdom (1830–1890s)], Moscow: Sobranie.
- Karpovich M. (2012) *Lekcii po intellektual'noj istorii Rossii (XVIII — nachalo XX veka)* [Lectures on Intellectual History of Russia (18th — beginning of 20th Century)], Moscow: Russkij put.

- Marey A. (2017) *Avtoritet, ili Podchinenie bez nasilija* [Authority, or Subjection Without Violence], Saint Petersburg: EUSPb Press.
- Peshkov A. (1996) "Kto razorjaet — mal vo Carstvii Hristovom..." ["The One Who Ruins is Small in Kingdom of Christ"]. Pobedonostsev K. P., *Sochinenija* [Collected Works] (ed. A. Peshkov), Saint Petersburg: Nauka, pp. 3–33.
- [Pobedonostsev K.] (1859) Graf V. P. Panin. Ministr justicii [Earl V. P. Panin. The Minister of Law]. *Golosa iz Rossii. Knizhka VII* [Voices from Russia, Book VII], London: Trübner & Co.
- [Pobedonostsev K.] (1897 [1893]) Oчерk zhizni i dejatel'nosti Le-Ple [Outline of Le-Ple's Life and Activity]. Le-Ple P. V. F., *Osnovnaja konstitucija chelovecheskogo roda* [The Basic Constitution of Human Genera], Moscow: Sinodalnaja tipografija.
- [Pobedonostsev K.] (1923) *K. P. Pobedonostsev i ego korrespondenty. Pis'ma i zapiski. T. I: Novum Regnum. Polutom 1* [K. P. Pobedonostsev and His Correspondents, Vol. I: Novum Regnum. Half-Volume 1], Moscow, Petrograd: Gosudarstvennoe izdatel'stvo.
- Pobedonostsev K. (1925) *Pis'ma Pobedonostseva k Aleksandru III. T. I* [Pobedonostsev's Letters to Alexander III, Vol. I] (ed. M. Pokrovsky), Moscow: Novaja Moskva.
- Pobedonostsev K. (1926) *Pis'ma Pobedonostseva k Aleksandru III, T. II* [Pobedonostsev's Letters to Alexander III, Vol. II], Moscow: Novaja Moskva.
- [Pobedonostsev K.] (1935) *Pis'ma K. P. Pobedonostseva k E. M. Feoktistovu* [K. P. Pobedonostsev's Letters to E. M. Feoktistov] (eds. B. Gorev, I. Aizenshtok). *Literaturnoe nasledstvo*, vol. 22–24, pp. 497–560.
- [Pobedonostsev K.] (1995) K. P. Pobedonostsev v 1881 g. Pis'ma k E. F. Tjutchevoj [K. P. Pobedonostsev in 1881. Letters to E. F. Tjutcheva] (ed. A. Polunov). *Reka vremen. T. 1* [River of Times, Vol. 1], Moscow: Jellis Lak, pp. 178–189.
- Pobedonostsev K. (1996) *Sochinenija* [Collected Works] (ed. A. Peshkov), Saint Petersburg: Nauka.
- Pobedonostsev K. (2010) "Bud tverd i muzhestvenen..." *Statji iz ezhenedelnika "Grazhdanin" 1873–1876. Pisma* ["Be Strong and Courageous..." Articles from the Citizen Weekly Newspaper 1873–1876. Letters] (ed. V. Vedernikov), Saint Petersburg: Sankt-Peterburgskie Eparhial'nye vedomosti.
- Polovtsov A. (2005) *Dnevnik Gosudarstvennogo sekretarja. T. 1* [The Diaries of State Secretary, Vol. 1] (ed. P. A. Zaionchkovskiy), Moscow: Centrpoligraf.
- Polovtsov A. (2014) *Dnevnik. 1893–1909* [The Diaries, 1893–1909] (ed. O. Golechkova), Saint Petersburg: Aleteija.
- Polunov A. (2010) *K. P. Pobedonostsev v obshhestvenno-politicheskoy i duhovnoj zhizni Rossii* [K. P. Pobedonostsev in Socio-Political and Spiritual Life of Russia], Moscow: ROSSPEN.
- Polunov A. (2010) *Konstantin Petrovich Pobedonostsev: vehi politicheskoy biografii* [Konstantin Petrovich Pobedonostsev: The Landmarks of Political Biography], Moscow: MAKS-press.
- Polunov A. (2015) Slavjanofil'skoe ministerstvo: Pobedonostsev i graf Ignat'ev v nachale 1880-h godov [The Slavophil Ministry: Pobedonostsev and Earl Ignatiev in the Beginning of 1880s]. *Rodina*, no 2, pp. 31–34.
- Repnikov A. (2010) Pobedonostsev, Konstantin Petrovich [Pobedonostsev, Konstantin Petrovich]. *Russkij konservatizm serediny XVIII — nachala XX veka* [Russian Conservatism in the Middle of the 17th — Beginning of the 20th Century] (ed. V. Shelohaev), Moscow: ROSSPEN, pp. 362–368.
- Teslya A. (2012) Zapreshhennaja 6-ja stat'ja I. S. Aksakova iz cikla "O vzaimnom otnoshenii naroda, obshhestva i gosudarstva" [The Censored 6th Article by Ivan Aksakov from the Series "On the Mutual Relationship between People, Society and State"]. *Russian Sociological Review*, vol. 11, no 2, pp. 41–70.
- Thaden E. (1964) *Conservative Nationalism in Nineteenth Century Russia*, Seattle: University of Washington Press.
- Timoshina E. (2000) *Politiko-pravovaja ideologija ruskogo poreformennogo konservatizma: K. P. Pobedonostsev* [The Politico-Juridical Ideology of Russian Post-Reform Conservatism: K. P. Pobedonostsev], Saint Petersburg: Saint Petersburg State University.
- Timoshina E. (2002) Konservativnye osobennosti civilisticheskoy koncepcii K.P. Pobedonostseva [The Conservative Features of Civilistic Conception of K. P. Pobedonostsev]. Pobedonostsev K. P., *Kurs grazhdanskogo prava. Pervaja chast': Votchinnye prava* [The Course of Civil Law. Part One: Patrimonial Law], Moscow: Statut, pp. 50–64.

- Timoshina E. (2002) "Ja vizhu jasno put' i istinu..." ["I See Clearly the Way and Truth..."]. Pobedonostsev K.P., *Kurs grazhdanskogo prava. Pervaja chast': Votchinnye prava* [The Course of Civil Law, Part One: Patrimonial Law], Moscow: Statut, pp. 7–49.
- Tvardovskaja V. (1990) *Dostoevskij v obshhestvennoj zhizni Rossii* [Dostoevskij in Social Life of Russia], Moscow: Nauka.
- Vedernikov V. (2010) K. P. Pobedonostsev — publicist "Grazhdanina" [K. P. Pobedonostsev as a Publicist of the "Grazhdanin"]. Pobedonostsev K. P., "Bud tverd i muzhestvenen..." *Statii iz ezhenedel'nika "Grazhdanin" 1873–1876. Pisma* ["Be Strong and Courageous..." Articles from the Citizen Weekly Newspaper, 1873–1876. Letters] (ed. V. Vedernikov), Saint Petersburg: Sankt-Peterburgskie Eparhial'nye vedomosti, pp. 5–53.
- Vitte S. (1924) *Vospominanija. T. III: Detstvo. Carstvovanija Aleksandra II i Aleksandra III (1849–1894)* [Reminiscences, Vol. III: Childhood. The Emperorship of Aleksandr II and Aleksandr III (1849–1894)], Leningrad: Gosudarstvennoe izdatel'stvo.
- Vitte S., Pobedonostsev K. (1928) *Perepiska Vitte i Pobedonostseva (1895–1905)* [Vitte—Pobedonostsev Correspondence, 1895–1905]. *Krasny Arhiv*, vol. 5, no 30, pp. 89–116.
- Zagorovskij A. (2003 [1909]) *Kurs semejnogo prava* [The Course of Family Law] (ed. V. Tomsinov), Moscow: Zerkalo.
- Zayonchkovskij P. (1970) *Rossijskoe samoderzhavie v konce XIX stoletija* [The Russian Autocracy at the End of XIXth Century], Moscow: Nauka.

По ту сторону тоталитаризма: советское как форма социальности в исследовательской программе Н. Н. Козловой*

Олег Кильдюшов

Научный сотрудник Центра фундаментальной социологии
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: kildyushov@mail.ru

Статья посвящена творческому наследию выдающегося исследователя «советского человека» Натальи Никитичны Козловой (1946–2002). В своих сочинениях 1990-х годов по социологии повседневности и социально-исторической антропологии она разработала уникальную методологию изучения человеческого измерения «модернизации сверху», проводившейся в СССР в рамках политики построения социалистического общества. Ее исследовательская программа была направлена на теоретическую реконструкцию социальных практик и модусов существования «простого советского человека», понимаемого в качестве «антропологического последствия» попытки реализации коммунистического проекта в России. При этом стремление к «обнаружению следов маленького человека в большой истории», как формулировала свой творческий метод сама исследовательница, не имело ничего общего с идеологически нагруженным дискурсом «тоталитаризма»: Н. Н. Козлову интересовали не столько формы контроля над обществом со стороны диктатуры, сколько лакуны в нем, не техники тоталитарного господства, а практики неполитического сопротивления снизу, не тотальность, а дискретность социальной ткани нового массового общества. Ведущим познавательным интересом в ее работах, новаторских как с содержательной, так и методологической точки зрения, всегда оставался «неправильный» советский модерн, плохо вписывающийся в нормативные представления о Современности. Исследовательская оптика, разработанная в трудах Козловой, сохраняет свою эвристическую значимость и сегодня, когда Россия переживает своеобразный «советский ренессанс». Более того, ее подходы к изучению общества «нового типа» во многом позволяют понять на антропологическом уровне и то, что сейчас происходит с нашей страной. В статье реконструируется исследовательская программа Н. Н. Козловой по изучению советской социальности как предмета социальной философии и социальной антропологии. Основное внимание будет уделено теоретическим подходам к анализу повседневных практик, позволившим ей разработать уникальную авторскую методологию.

Ключевые слова: политическая антропология, исследования советского, Н. Н. Козлова, исследовательская программа, повседневность, бессубъектные формы социальности

© Кильдюшов О. В., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-1-173-182

* В основу статьи легли тезисы выступления на конференции «По ту сторону тоталитаризма: программа исследования «советского человека» Н. Н. Козловой», которую Центр социальной теории и политической антропологии имени Н. Н. Козловой при философском факультете РГГУ провел 30 марта 2016 года совместно с Центром фундаментальной социологии НИУ ВШЭ.

В данной научной работе использованы результаты проекта «Спонтанность и длительность в социальной жизни: от эпизодов коммуникации к структурам порядка», выполняемого в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2017 году.

Это только «сверху» кажется, что масса серая,
а на самом деле тут люди живут.

Андрей Платонов

Открывая новую для журнала «Социологическое обозрение» рубрику «*Studia sovietica*» текстами о творческом наследии Натальи Никитичны Козловой, в этом вводном слове сразу обратим внимание на один важный момент содержательного и структурного свойства. В случае с рецепцией творчества Н. Н. Козловой существует одна проблема, которая была очевидна еще при ее жизни (во всяком случае, я неоднократно обсуждал это с нею): ее занятие судьбами «маленьких людей», сюжетами из частной жизни, т. е., казалось бы, никак не связанными между собой социальными траекториями персонажей из гетерогенных социальных слоев, не только порождало оптическую иллюзию «мелкотемья», т. е. недостаточной теоретической релевантности предмета исследования, но и вызывало подозрение в концептуальной ненагруженности этих *case studies*, в отсутствие здесь и намеков на «большую» и целостную социальную теорию. Сегодня понятно, что это была именно оптическая иллюзия, поскольку исследовательский проект Н. Н. Козловой по реконструкции политической антропологии русского модерна был очень амбициозным академическим предприятием, вписанным в серьезный теоретический контекст. На это указывают уже имена-маркеры определенных теоретических подходов и исследовательских методологий, которые встречаются в ее текстах и которые относятся сегодня к «новой классике» социальной теории: П. Бурдьё и Э. Гидденс, В. Беньямин и А. Шюц, Н. Элиас и Э. Канетти, М. Маффесоли и М. де Серто и многие другие. В этом смысле она работала на уровне современной методологии социального познания и именно поэтому сама стала классиком новой русской социальной антропологии. Тем не менее рискну предположить, что в ее содержательно и методологически новаторских работах все же не найти эксплицитной теории советского. В этом смысле можно сказать, что ее амбициозный проект по теоретической реконструкции, т. е. по концептуализации социально-исторического опыта России в XX веке, не был завершен.

Вклад данных размышлений в актуальную дискуссию о советском, давно превратившуюся в необозримый корпус текстов¹, может заключаться в выдвигании «базовой гипотезы»: ведь часто важнее развить некую рамочную — и, всегда хочется надеяться, интересную и когерентную в себе — возможность интерпретации, чем доказывать, что она во всех деталях дословно подходит к понимаемому тексту или истолковываемому явлению. Естественно, не может быть и речи о том, что предлагаемая здесь интерпретация очень многомерной исследовательской программы Н. Н. Козловой является единственно «правильной», что она исключает

1. В качестве подтверждения непрекращающихся дебатов о советском модерне приведу дискуссию «Споря о модерности» на страницах журнала «НЛО», спровоцированную статью американского историка Майкла Дэвид-Фокса (Дэвид-Фокс, 2016).

ет альтернативные подходы к пониманию ее наследия. Амбиции последнего типа, помимо своей архаичности, и без того являются методически вторичными...

В целом мы исходим из того, что основные теоретические усилия этого выдающегося исследователя советского были направлены на поиск концептуального решения структурной для Современности проблемы *политического кондиционирования социального*, которая конкретно-исторически может решаться в различных формах. В этой оптике весь исследовательский проект Н. Н. Козловой был посвящен исследованию форм кондиционирования советского типа социальности, понимаемого как антропологическое последствие проекта большевистской модернизации. Именно в этом смысле она говорила о политической антропологии модерна, задающего совершенно иные стандарты «личности», предлагающего новые модели «индивидуальных» идентичностей и траекторий личной биографии. Именно в этом смысле она рассматривала советских людей как безусловно современных и с точки зрения генеалогии, и по базовым характеристикам, хотя и относящихся к другому, незападному, модерну. Конечно, этот «неправильный» советский модерн возник в совершенно иных общественно-политических условиях и иной социокультурной среде, нежели классическая Современность западноевропейского или американского типа. На наш взгляд, именно эта тема является эвристически центральной для всего наследия Н. Н. Козловой.

Далее я попытаюсь кратко эксплицировать базовые характеристики советской формы социальности, выявленные или выявляемые в рамках исследовательской программы Н. Н. Козловой.

Сразу отмечу «антитоталитаризм» ее подхода, причем в двух смыслах: с одной стороны, это прямое неприятие самого концепта «тоталитаризм», а с другой — способа его применения адептами этого «всепобеждающего учения» в 1990-е, рецидивы которого наблюдаются среди авторов определенного направления до сих пор. Она подчеркивала, что представление о советском обществе как тоталитарном возможно лишь в рамках концептуализации, игнорирующей все многообразие социокультурного опыта и нивелирующей локальное, индивидуальное (Козлова, 2004: 21).

Поэтому при разработке собственной исследовательской программы исходным пунктом для нее стало критическое дистанцирование от не столько научно, сколько идеологически мотивированных подходов к изучению истории советской Современности не только по политическим, но именно по эвристическим причинам: доминировавшая тогда «тоталитаристская» парадигма интерпретации, претендовавшая на единственно научное объяснение русского исторического опыта XX века, оказалась неспособной построить адекватную модель советского общества. По сути, эта модель была структурно изоморфна советскому дискурсу советского: только она предлагала негативные нормативные образы «реального социализма», которые затем подвергались онтологизации. Как убедительно показала Н. Н. Козлова, подобный подход скорее создавал непреодолимые когнитивные преграды, разделяющие исследователя и изучаемую им действительность. Исто-

рическая реальность как бы ускользала от адептов новой всеобъясняющей теории, блокировавшей своими квазинаучными способами операционализации идеологически перегруженных понятий доступ к социальной феноменологии, к реальным практикам воспроизводства самой социальности. Это касается не только раннесоветского периода, т. е. собственно ускоренной насильственной модернизации сталинской эпохи, но и периода остывания и последующего разложения советского революционаризма как мобилизирующего и легитимирующего мифа в последние десятилетия существования реального социализма².

В частности, в рамках тогдашних (а нередко и нынешних) дебатов устойчивым топосом является тезис об архаичности советского, о его регрессивном, антимодернистском и антидемократическом характере: речь шла ни много ни мало о том, что наша страна свернула со столбовой дороги «нормального» развития, характерного для эпохи Современности. В рамках этой оптики СССР предстал как великая историческая девиация, стоившая огромных напрасных человеческих, духовно-интеллектуальных и институциональных потерь, восполнить которые не удастся очень долгое время. По-человечески это вполне понятная реакция на, несомненно, катастрофический характер русского модернизационного процесса в его сталинской версии. Тем не менее сама она являлась дискурсивным артефактом позднесоветского интеллигентского сознания, блокировавшим предметное отношение к трагическому опыту русской модернизации во всей его полноте. В наивно-«либералистской» перспективе весь советский опыт и советский человек (презрительно маркировавшийся в новом языке как *homo soveticus*) в качестве его антропологического результата описывался как отклонение от нормы исторического развития: «совок» предстал как воплощение социальной патологии³. Н. Н. Козлова писала в этой связи, что подобная стигматизация больших масс людей была средством в символической борьбе интеллектуалов и не имела отношения к проблеме теоретического объяснения реально происходившего в социальной ткани советского общества (Козлова, 2004: 22).

Педалирование насильственного характера советского проекта, причем именно в форме открытого, буквально физического насилия⁴, не позволяло обратить должного внимания на другие не менее важные структурные элементы, самое главное, на реальные техники социального воспроизводства⁵. Отсюда интерес выдающейся исследовательницы к методологиям, позволявшим рассматривать темы

2. См. критику упрощенного взгляда на поздний социализм посредством бинарных оппозиций типа подавление—сопротивление в методологически прорывной работе американского антрополога Алексея Юрчака (Юрчак, 2016: 38–44; раздел «Бинарный социализм»).

3. Уничжительные термины такого рода использовались в 1990-е не только в политической публицистике определенного толка, но и в серьезной исследовательской литературе (см., например: Вишневский, 1998. Особенно раздел 5.4 «Автономная личность: „Homo Sovieticus“»: 174–181).

4. Несмотря на серьезные содержательные и методологические достижения исследователей советского исторического опыта последних десятилетий, подобные работы продолжают выходить. Таково, например, сочинение немецкого историка сталинизма Йорга Баберовски (Баберовски, 2014).

5. В качестве примера исследования, обращающего внимание именно на социально-технологическую сторону функционирования идеократических режимов XX века, можно назвать недавний труд

социальной нестабильности, вариативности, альтернативности социальных сценариев, переходности, маргинальности, множественности культурных практик. Именно поэтому в фокусе ее внимания оказались повседневные практики: дискурсивные, телесные, жизненно-стилевые. В результате подобной смены оптики все то, что могло казаться цельным и монолитным, то есть тотальным, превращается в относительно автономные сферы и анклавов, где было возможно если не прямое сопротивление власти, то в любом случае саботаж, ускользание от нее и даже использование в собственных интересах. Одним словом, тоталитарная реальность предстает в такой перспективе не столь уж и тоталитарной. Подчеркну еще раз, что Н. Н. Козлова вовсе не пыталась реабилитировать безусловно людовоедскую систему, а стремилась теоретически зафиксировать неоднородность и многообразие социального опыта, порожденного взаимодействием с ней (Козлова, 2004: 21).

В любом случае антимодернизационный тезис не адекватен современному уровню социально-научного знания — особенно если иметь в виду центральный для социологии вопрос, поставленный еще Максом Вебером в рамках его теории действия: «Какие мотивы заставляли и заставляют отдельных „функционеров“ и членов данного „сообщества“, вести себя таким образом, чтобы подобное сообщество возникло и продолжало существовать!» (Вебер, 1990: 620). Козлова обоснованно считала, что без содержательного ответа на этот вопрос невозможно понять не только то, как возникло и существовало почти целый век советское общество, но и то, как и почему это общество прекратило свое существование (Козлова, 2004: 14). В этом смысле она исследовала конституцию советской формы социальнойности в рамках веберовской эвристики, требующей при анализе любого социального порядка, даже самого тоталитарного и насильственного, учета перспективы тех, кто ему подчиняется. Таким образом, ее исследовательская программа была попыткой ответа на рамочный вопрос М. Вебера об условиях стабильности всякого политического господства и его зависимости от веры в его «легитимность».

Козлова справедливо указывала на ряд структурных характеристик нового общества, которые просто не укладывались в схему советского как антимодернизационной архаики. Методологически контролируемое чтение документов жизни, а не только референтных текстов эпохи позволило исследовательнице получить «непосредственный» доступ к структурам жизненного мира носителей советской социальнойности. Собственно его реконструкции и посвящены многие ее тексты. Как она писала в одной из поздних работ, жизнь советского общества завершилась, его кумиры давно повержены, однако базовой задачей исследователя, а не идеолога остается поиск и описание структур социального производства и воспроизводства (Козлова, 2000).

Именно поэтому она говорила о необходимости теоретического переосмысления советского общества в его фактической, а не фиктивной социальной истории.

знатока сталинской повседневности Ш. Мерля «Политическая коммуникация при диктатуре: Германия и Советский Союз в сравнении» (см. рецензию на эту книгу: Кильдюшов, 2014).

Речь идет о сознательном смещении фокуса внимания с того, что сверху видится жестким, централизованным и институциональным, на то, что практикуется и переживается внизу как амбивалентное, локальное и поливариативное. Благодаря смене объекта исследования — от официального дискурса к нарративам маленьких людей — достигается поразительный по результатам когнитивный эффект. На основании анализа человеческих документов «простых»⁶ советских граждан Козловой удалось выявить следующие конститутивные признаки нового массового общества современного типа. Не претендуя на полноту перечисления, назову лишь некоторые из них:

— радикальный *конструктивизм* советского проекта (его абсолютно «неестественно-исторический» характер вопреки утверждениям самого советского дискурса советского);

— *рефлексивность* и контролируемость модернизационного процесса;

— поразительно быстрая *интериоризация* вчерашними крестьянами *высоко абстрактного* легитимирующего метанарратива (вместе со связанными и навязанными способами социальной классификации людей, идей и вещей — несмотря на исторически стремительную скорость формирования этой системы таксономий!);

— утверждение в качестве нормативного представления *Я-центрированной перспективы*, сделавшей возможным не только новый массовый жанр индивидуальной биографии, но и принципиально иные институционально-правовые техники;

— следующее ключевое для эвристики советского у Козловой слово — «*согласие*»: она очень близко подошла к пониманию СССР как «консенсусной» или «патриципаторной» диктатуры, концепты которой были разработаны рядом западных исследователей на немецком историческом материале (Peukert, 1982; Fullbrook, 2005);

— *устойчивость советской идентичности* как в качестве целостного габитуса советского человека, так и — прежде всего — отдельных ее конститутивных элементов (как показывает опыт нынешнего несоветского ренессанса, который был предсказан ею еще в начале 1990-х, речь идет не только об относительно легкой воспроизводимости советской идентичности, но и о «регулярности» этого воспроизводства);

— абсолютно современный по происхождению *выбор социального репертуара* — как на уровне используемых символических и семиотических средств, так и на уровне социальных траекторий.

При этом Козлова подчеркивала, что «узость границ выбора» отнюдь не является особенностью лишь советского варианта вхождения в модерн: советская современность не только открывала «возможности эмансипации и самоактуали-

6. Наталья Никитична часто говорила, что «простых людей» в принципе не бывает, поскольку это всегда сложный продукт взаимодействия различных социальных сил, часто невидимых для традиционных методов социального анализа.

зации», но и задавала пределы для них, «производя различие, исключение и маргинализацию». В своих работах она показала: вопрос выбора жизненных стилей стоял не только перед элитой, поскольку очень многим советским людям придется принимать решение о том, «кем быть» в рамках предлагаемого набора опций (Козлова, 2004: 21). При этом она ссылаясь на Н. Элиаса, писавшего о том, что нет ни одного общества, где подобные пространства выбора отсутствуют полностью. Другое дело, что вид и широта выбора, доступного отдельному индивиду, зависят от структуры общества (Элиас, 1990: 9). Именно поэтому исследовательница протестовала против популярной интерпретации советского общества как лишенного пространства личного выбора.

В заключение остановлюсь на ключевой для исследовательской программы Козловой проблеме советской субъектности, или, скорее, бессубъектного характера советской формы социальности. Эта проблема имеет общетеоретическую релевантность и является ключевой для теории социального порядка в целом. Еще со времен Макса Вебера принято считать, что любое социальное изменение происходит тогда, когда социальные агенты в своих действиях перестают ориентироваться на представление о действенности существующего социального порядка. И, напротив, всякий социальный порядок стабилен в ситуации, когда постоянно воспроизводится вера в такую действенность (Вебер, 1990: 631). Таким образом, «своими действиями актеры социальной драмы воспроизводят или изменяют сами условия действия»: с одной стороны, свойства социальной системы лишь в ограниченной степени зависят от сознания и воли индивидов, с другой — характер социальных процессов вызван не чем иным, как повседневными решениями множества социальных агентов, их фактическими действиями, а не нормативными представлениями (Козлова, 2005: 22).

В своих методологически новаторских текстах Козлова подчеркивала несопадение у ее героев таких свойств, как авторство и автономия, субъективность и субъектность. Опираясь на работы М. Фуко, она на материале личных документов советской эпохи зафиксировала уникальный на первый взгляд феномен *бессубъектной я-интенциональности* и несубъектной рациональности. При этом исследовательница указывала на то, что само представление о субъекте, возникшее в контексте истории новоевропейского классического рационализма, малоприменимо при анализе советской формы социальности, поскольку «субъект мыслится хозяином истории, который берет ответственность за настоящее, прошлое и будущее. Субъектом почитают того, кто обладает сознанием волевым и рефлексивным, способен совершать сознательный выбор из альтернатив, реализуя возможности индивидуальной свободы». Более того, Н. Н. Козлова прямо указывала на то, что не только изучаемые ею «маленькие люди», но и большинство людей не отвечают высоким требованиям идеологии модерного субъекта, «самим своим существованием наводя на мысль о наличии бессубъектных форм культуры и иллюстрируя представление о человеке только как о точке пересечения социальных связей» (Козлова, 2004: 22).

Козлова считала, что подобный «бессубъектный подход релевантен не только в рамках советских исследований, но является важным методологическим условием для более реалистической реконструкции процессов социальной модернизации в целом: ведь речь идет об обнаружении способов социального действия, которые не схватываются и ускользают от господствующих форм рациональности. Именно поэтому она предпочитала вместо проблематичного понятия «субъект», перегруженного волюнтаристскими коннотациями из европейской истории идей, использовать *terminus technicus* «актор», допускающий многообразие форм и степеней субъектности. Таким образом, на материале советской антропологии Н. Н. Козлова убедительно показала, что «человек может и не быть субъектом, но он всегда деятель» (Козлова, 2004: 23), т. е. актор или агент социального взаимодействия.

Здесь можно заметить, что представление об идеальном социальном агенте модерна как во взрослом дееспособном лице, осуществляющем свободный сознательный выбор, напрямую связано с классической антропологией права, в рамках которой только и возможно вменение индивидуальной ответственности за совершенные действия. Этот конструкт позволяет применять в рамках того же дискурса тоталитаризма правовую по своей сути технику вменения индивидуальной вины за действия социальной системы.

С другой стороны, подобное смещение фокуса может иметь серьезные последствия, в том числе правовые и политические: если мы признаем, что индивид не является субъектом и автором своей судьбы, то проблематичной становится вся политическая и правовая техника модерна. Например, тогда бессмысленно представление о его способности осуществлять политический выбор в рамках процедуры демократического волеизъявления, как и нести за свои действия ответственность в качестве правового лица. Стоит ли говорить, какие огромные перспективы это открывает для политики антимодернизационного реванша, что можно наблюдать в текущей политической практике. При этом структурно они мало отличаются от попыток со стороны самоназначенных производителей нормы стигматизировать конститутивный для большинства советский социальный опыт как историю пассивного претерпевания бессловесной и безликой массы, против которых был направлен исследовательский пафос Н. Н. Козловой.

Литература

- Баберовски Й. (2014). Выжженная земля: сталинское царство насилия / Пер. с нем. Л. Ю. Пантиной. М.: РОССПЭН.
- Вебер М. (1990). Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
- Вишневский А. Г. (1998). Серп и рубль: консервативная модернизация в СССР. М.: ОГИ.
- Дэвид-Фокс М. (2016). Модерность в России и СССР: отсутствующая, общая, альтернативная или переплетенная? / Пер. с англ. Т. Пирусской // Новое литературное обозрение. № 4. С. 19–44.

- Кильдюшов О. В.* (2014). Политическое как коммуникация (Рецензия на книгу: Stephan Merl, Politische Kommunikation in der Diktatur. Deutschland und die Sowjetunion im Vergleich [Göttingen: Wallstein, 2012]) // Социологическое обозрение. Т. 13. № 3. С. 238–245.
- Козлова Н. Н.* (2000). Опыт социологического чтения «человеческих документов», или Размышления о значимости методологической рефлексии // Социологические исследования. № 9. С. 22–32.
- Козлова Н. Н.* (2004). Методология анализа человеческих документов // Социологические исследования. № 1. С. 14–26.
- Козлова Н. Н.* (2005). Советские люди: сцены из истории. М.: Европа.
- Элиас Н.* (2001). Изменения баланса между Я и Мы // *Элиас Н.* Общество индивидов. М.: Праксис. С. .
- Юрчак А.* (2016). Это было навсегда, пока не кончилось: последнее советское поколение. М.: НЛО.
- Fullbrook M.* (2005). The People's State: East German Society from Hitler to Honecker. New Haven: Yale University Press.
- Peukert D.* (1982). Volksgenossen und Gemeinschaftsfremde: Anpassung, Ausmerze und Aufbegehren unter dem Nationalsozialismus. Köln: Bund-Verlag.

Beyond Totalitarianism: The Soviet as a Form of Sociality in N. N. Kozlova's Research Program

Oleg Kildyushov

Researcher, Centre for Fundamental Sociology, National Research University Higher School of Economics
Address: Myasnitskaya Str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: kildyushov@mail.ru

These reflections are dedicated to the creative heritage of the outstanding researcher of the "Soviet man," Natalya Nikitichna Kozlova (1946–2002). In her works of the 1990s on the sociology of everyday life and socio-historical anthropology, a unique methodology was developed for the investigation of the human dimension of "modernization from above" that was provided within the politics of building a socialist society in the USSR. Her research program was focused on the theoretical reconstruction of social practices and modes of existence of the «ordinary Soviet man», understood as an "anthropological consequence" of the attempt of the realization of the communist project in Russia. However, her intention for the "disclosure of traces of little man in big history," as it was expressed by the researcher herself, has nothing to do with the ideology-laden discourse of "totalitarianism." N. N. Kozlova was not so interested in the forms of controlling the society as the lacunas in it, or in the techniques of totalitarian supremacy as in the practices of non-political resistance from below, or even in the totality as much as the discreteness of social matter of the new mass society. The "wrong" Soviet modern dropping out from the normative representations of Modernity was the main epistemological interest in her works, which is innovative from both the substantial and methodological standpoints. The investigative vision developed in Kozlova's works retains its heuristic significance even today when Russia is

experiencing a “Soviet Renaissance.” Moreover, her approaches to the study of the society of the “new type” allows for the anthropological understanding of the current state of our country. The paper reconstructs Kozlova’s research program regarding Soviet sociality as an object of social philosophy and social anthropology. The main focus will be the theoretical approaches to the analysis of the daily practices which allowed her to develop her unique methodology.

Keywords: political anthropology, Soviet studies, Natalya Kozlova, research program, everyday life, subjectless forms of sociality

References

- Baberowski J. (2014) *Vyzhzhennaja zemlja: stalinskoe carstvo nasilija* [The Scorched Earth: The Stalinist Realm of Violence], Moscow: ROSSPEN.
- David-Fox M. (2016) Modernost’ v Rossii i SSSR: otsutstvujushhaja, obshhaja, al’ternativnaja ili perepletennaja? [Modernity in Russia and USSR: Absent, Common, Alternative, or Intertissued?] *New Literary Observer*, no 4, pp. 19–44.
- Fullbrook M. (2005) *The People’s State: East German Society from Hitler to Honecker*, New Haven: Yale University Press.
- Elias N. (2001) Izmenenija balansa mezhdu Ja i My [The Change of Balance between Me and We]. *Obshhestvo individov* [The Society of Individuals], Moscow: Praksis.
- Kildushov O. (2014) Politicheskoe kak kommunikacija (Recenzija na knigu: Stephan Merl: Politische Kommunikation in der Diktatur. Deutschland und die Sowjetunion im Vergleich. Göttingen: Wallstein, 2012) [The Political as Communication (Book Review: Stephan Merl, Politische Kommunikation in der Diktatur. Deutschland und die Sowjetunion im Vergleich, Göttingen: Wallstein, 2012)]. *Russian Sociological Review*, vol. 13, no 3, pp. 238–245.
- Kozlova N. (2000) Opyt sociologicheskogo chtenija “chelovecheskih dokumentov”, ili Razmyshlenija o znachimosti metodologicheskoy refleksii [Essay on Sociological Reading of “Human Documents”; or, Thoughts on the Significance of Methodological Reflection]. *Sociological Studies*, no 9, pp. 22–32.
- Kozlova N. (2004). Metodologija analiza chelovecheskih dokumentov [The Methodology for Analysis the Human Documents]. *Sociological Studies*, no 1, pp. 14–26.
- Kozlova N. (2005) *Sovetskie ljudi: sceny iz istorii* [The Soviet People: Scenes from the History], Moscow: Evropa.
- Peukert D. (1982) *Volksgenossen und Gemeinschaftsfremde: Anpassung, Ausmerze und Aufbegehren unter dem Nationalsozialismus*, Köln: Bund-Verlag.
- Vishnevsky A. (1998) *Serp i rubl’: konservativnaja modernizacija v SSSR* [The Sickle and the Ruble: Conservative Modernization in USSR], Moscow: OGI.
- Weber M. (1990) *Izbrannye proizvedenija* [Collected Works], Moscow: Progress.
- Yurchak A. (2016) *Yeto bylo navsegda, poka ne konchilos’: poslednee sovetskoe pokolenie* [Everything Was Forever, Until: The Last Soviet Generation], Moscow: New Literary Observer.

«Переписывая» советское прошлое: о программе исследований «советского человека» Н. Н. Козловой

Тимофей Дмитриев

Кандидат философских наук, доцент Школы культурологии факультета гуманитарных наук
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: tdmitriev@hse.ru

В статье сделана попытка наметить контуры новых теоретических подходов к изучению советского прошлого на основе культурно-антропологической программы исследований «советского человека», предложенной Н. Н. Козловой (1946–2002). Наше предположение заключается в том, что в ходе осуществления этой исследовательской программы Козлова пыталась решить двойную задачу: преодолеть идеологические рамки, заданные концепцией тоталитаризма как базовой модели понимания советского общества, с одной стороны, и понять советское общество как непреднамеренное социальное изобретение, с другой. В рамках модели советского общества как непреднамеренного социального изобретения классические социально-теоретические концепции вступают в сложный теоретический симбиоз с постклассическими социальными теориями Н. Элиаса, М. Фуко, М. де Серто и П. Бурдьё. Целью такой стратегии исследования является поиск адекватных мыслительных моделей и общей теоретической рамки понимания взаимоотношений между индивидом и обществом. Характеристика советского общества как социального изобретения подразумевает, что в процессе совместной жизни людей благодаря взаимодействию между ними возникает функциональная сеть взаимозависимых индивидов. Эта функциональная сеть, в свою очередь, движется в определенном направлении и обладает своими собственными закономерностями, которые — в качестве специфических закономерностей отношений между отдельными людьми — никто конкретно не определяет. Базовой моделью для осмысления такой функциональной сети взаимозависимых индивидов выступает не модель системы, но модель общей игры и лежащей в ее основе социальной грамматики. Особое внимание в статье уделяется оценке эвристического потенциала гипотезы Козловой о советской цивилизации как особом типе общества модерна и ее значению для исследований советского общества и культуры.

Ключевые слова: теоретические рамки изучения «советского», советское общество, советская культура, Н. Н. Козлова, культурно-антропологическое исследование, homo soveticus

В современной научно-исследовательской и публицистической литературе, посвященной советскому прошлому, широко представлены два подхода, которые можно назвать апологетическим и социально-критическим соответственно, причем последний очень часто имеет тенденцию соскальзывать на обличительный или

разоблачительный тон¹. Оба эти подхода являются теоретически неудовлетворительными, в том числе не в последнюю очередь потому, что они оказываются не в состоянии дать объяснение тем социальным процессам и изменениям, которые происходят в России и на бывшем постсоветском пространстве в последнюю четверть века. Иными словами, они не дают внятных теоретических ответов на вопросы о том, как стало возможным советское общество, как оно воспроизводило себя, за счет чего держалось и почему в конце концов перестало существовать². Однако без такого внятного теоретического видения советского прошлого невозможно адекватное понимание политических, социальных и культурных процессов, происходящих в современной России и в мире, не говоря уже о выработке практических стратегий действия. Именно поэтому сегодня, по нашему мнению, одной из главных задач изучения советского прошлого является разработка такого теоретического подхода или спектра подходов, которые открыли бы новые операциональные перспективы исследования и теоретического объяснения тех событий и процессов, которые происходили в советском обществе на протяжении его сравнительно недолгой истории (1917–1991), но которые и после ухода этого общества с исторической сцены продолжают сказываться на судьбах бывших «советских» и «постсоветских» людей, стран и народов. В статье предпринимается попытка наметить контуры таких новых теоретических подходов к исследованию советского прошлого с учетом методических рекомендаций и новаций, предложенных в свое время Н. Н. Козловой в ее работах, посвященных исследованию «советского человека»³.

Данный круг проблем попал в поле зрения Козловой еще на рубеже 1990–2000-х гг. Антропологические исследования повседневной жизни советских людей, связанные с работой в Центре документации «Народный архив», довольно рано подвели ее к кругу проблем, связанным с необходимостью внятного теоретического осмысления советского прошлого. «Советское общество — отмечала Козлова, — предпосылка того, что происходит здесь и теперь. Это, вероятно, наш единственный ресурс. К сожалению, мы действительно знаем о советском обществе непростоительно мало. Нет теоретической картины того, что представляли собой общественные структуры советского типа» (Козлова, 2005: 472). Проблема здесь,

1. О том, что такая постановка вопроса не является преувеличением и что она не ограничивается исключительно публикациями научно-популярного и публицистического характера, но вполне зримо и осязаемо представлена в современной исследовательской литературе, свидетельствуют, на мой взгляд, последние работы одного из ведущих немецких специалистов по истории СССР Йорга Баберовского (Баберовски, 2007, 2014).

2. В последнее время такие работы стали появляться. К их числу я отнес бы прежде всего не так давно переведенное на русский язык фундаментальное исследование позднего советского общества, принадлежащего перу Алексея Юрчака (Юрчак, 2016), в котором сделана многообещающая заявка на новую «оптику» рассмотрения советского прошлого. Правда, следует оговориться, что работа была опубликована по-английски еще в 2005 году.

3. Эти работы уже после кончины Н. Н. Козловой были собраны и опубликованы в сборнике: Козлова, 2005. Именно на тексты Козловой, опубликованные в данном сборнике, я и опираюсь в первую очередь в этой статье.

как говорил в одном из своих последних интервью П. Бурдые, на которого ссылается Козлова, заключается в том, что «этот вопрос мало изучен, потому что русские не смогли проработать его как следует», оставаясь в рамках псевдополюемических концепций типа «тоталитаризма».

Не менее четко формулировала Козлова и то, что было ставкой в ее исследованиях. Несмотря на то, что их предметом было советское прошлое, она всегда совершенно четко и определенно говорила о том, что на кону стояло российское настоящее и будущее. Как справедливо отмечает Козлова, «в данном случае речь идет именно о советском обществе в его истории. Не изменив представления о советском обществе, невозможно понять российское настоящее. Этот процесс переосмысления можно обозначить как *переписывание*» (Козлова, 2005: 471). Главное достоинство такого переосмысления представлений о советском прошлом заключается в том, что, «переписывая, мы расщепляем свое внимание и уходим от анализа того, что видится *жестким и нормальным, центральным и институциональным*». Занимаясь подобным переписыванием прошлого, мы тем самым, по словам Козловой, «начинаем уделять внимание не только официальному дискурсу, но и нарративам рядовых и не совсем грамотных людей, чему свидетельством служит и эта работа». Одним из главных теоретических открытий, обретенных на этом пути, становится понимание того, что «общество держится отнюдь не только институциональными взаимодействиями» (Козлова, 2005: 58).

Иными словами, предметом исследовательского интереса Козловой была история советского общества и советского прошлого в том виде, в каком оно нашло свое преломление в дневниках, письмах, воспоминаниях и биографических заметках простых советских людей. Все эти артефакты советской повседневной жизни и служат тем материалом, с которым она работала и на основе которых делала свои выводы и заключения.

Записки, к которым я обращаюсь, — писала Козлова, — несомненно, принадлежат к новому типу источников. Они как бы напоминают нам, что в идеале ни один из голосов, ни одна из человеческих жизней не должна быть забыта. Понятно, что реально это невозможно: в любом случае имеешь дело с фрагментами. Важен, однако, методологический принцип. Обращаясь к «фрагментам», демонстрируешь, что для тебя реальность множественна. Мозаика жизненных траекторий представляет репертуар возможностей. (Козлова, 2005: 62)⁴

С позиций сегодняшнего дня в проекте исследований «советского человека» Козловой огромный интерес представляет прежде всего то, что ей удалось превратить чтение и интерпретацию автобиографических историй жизни советских лю-

4. В то же самое время Козлова специально оговаривается, что «данный тип социального анализа не является по жанру микроанализом, то есть исследованием отношений в небольшой группе. Это способ работы, где в макродискурс об обществе включаются „голоса“ людей, его составляющих, где антропологический угол зрения, обращение к субъективной стороне социального как раз и позволяет задать ряд существенных вопросов» (Козлова, 2005: 476).

дей в скрупулезное исследование процессов сложения специфической советской идентичности, истории формирования того самого «homo soveticus», которым так долго пугали «цивилизованный мир». На этом пути Козлова сумела сделать целый ряд примечательных открытий, которые проливают новый свет как на историю взлета и падения советского общества, так и на историю появления характерных для него антропологических и социальных типов.

Как отмечала Козлова в своих текстах, посвященных социальной философии, социально-философская и социально-теоретическая мысль, пытающаяся понять настоящее через призму прошлого и прошлое через призму настоящего, должна практиковать *историческое видение социальных процессов*. Согласно этой точке зрения, общество есть исторический феномен, а история — способ существования общества. Социальная философия имеет дело с историей в двух главных состояниях: *объективированном* и *инкорпорированном*. В первом случае история — это «история в ее объективированном состоянии, т. е. вне человека. В результате долгого развития она воплотилась в вещах и машинах, зданиях и книгах, а также в обычаях, праве, во множестве разновидностей норм и институтов, которые служат посредниками в человеческих взаимодействиях». Во втором случае история — это «история в инкорпорированном состоянии, т. е. в самом человеке» (Козлова 2007: 458–459). Инкорпорированная история предполагает внимательное изучение практик и техник работы с телом индивида, его маркирования, клеймения и пространственного ограничения (изоляция в тюрьме, лагере, ссылке, запрете на проживание в больших городах, подписке о невыезде и т. д. — если брать жизненные примеры только из области действия дисциплинарно-карательных практик). Кроме того, «неощутимое занесение в тело структур социального порядка может осуществляться с помощью перемещения и движения тела» (Козлова, 2007: 460) в социальном пространстве, т. е. в ходе перемещения отдельных лиц в системе социальной стратификации как по вертикали в обоих направлениях, так и по горизонтали. Именно такая преломившаяся в теле человека, порою буквально на нем записанная история советского общества занимает центральное место в программе исследований «советского человека» Козловой.

В своей статье я намереваюсь сперва рассмотреть задачи, которые ставила перед собой Козлова в своих антропологических исследованиях советского общества, затем проанализировать те значимые теоретические открытия, к которым она пришла в ходе этих исследований и, наконец, в заключение кратко обрисовать перспективы, которые открываются в исследованиях советского общества как особой формы или инварианта цивилизации модерна в фокусе теоретической рамки, намеченной в работах Козловой.

Пересматривая теоретические рамки изучения «советского»

Для начала постараемся очертить общие теоретические рамки исследований «советского человека» в работах Н. Н. Козловой. Для этого следует несколько слов

сказать о тех задачах, которые, как представляется, она ставила перед собой как исследователем в рамках данного проекта. Наше исходное предположение заключается в том, что в ходе осуществления своей программы исследований «советского человека» Козлова пыталась решить задачу двоякого рода: преодолеть идеологические рамки, заданные концепцией тоталитаризма как базовой модели понимания советского общества, с одной стороны, а также, понять советское общество как особую цивилизацию и непреднамеренное социальное изобретение, с другой. Для этого, в свою очередь, ей необходимо было переосмыслить одно из базовых понятий социальной и культурной антропологии — понятие «выживания» и перейти «от понимания выживания как существования „на элементарном уровне“ к пониманию выживания как воспроизводства» (Козлова, 2005: 475).

Иными словами, программа исследований «советского человека» Н. Н. Козлова может быть охарактеризована двояко в свете тех задач, которые она ставила перед собой в рамках данного исследовательского проекта. С одной стороны, речь шла о том, что можно назвать «работой негативного» — о преодолении нормативных рамок исследований советского общества и советского человека на разных этапах их истории, заданных псевдо-полемиическими концепциями тоталитаризма. Этот подход или, если использовать понятие, идущее от Л. Витгенштейна, семейство концепций и подходов, не только представлялся Козловой совершенно неудовлетворительным для понимания советского общества, но, помимо всего прочего, служил теоретическим инструментом объяснения перехода от *тоталитаризма* к *либеральному рыночному обществу* в России в 1990-е годы и в этом качестве пользовался в ту пору большой популярностью у «прогрессивно» мыслящих российских интеллектуалов. Однако, как не уставала повторять Козлова, эта концепция не работала, поскольку не позволяла объяснять повседневные социальные практики советского общества.

Существо взглядов Н. Н. Козловой на советское общество сталинской эпохи лучше всего уясняется путем противопоставления. Еще в начале 2000-х гг. она отмечала, что «картина современного российского общества далека от идеальной либеральной модели. Тоталитарная модель советского общества также видится неудовлетворительной. Все больше становится ясно, что как апологетические, так и социально-критические (перестроечного и постперестроечного периода) концепции советского периода не имеют ничего общего с адекватным описанием советского общества. Ведь получается, что происходящее ныне либо не имеет предпосылок вообще, либо имеет в качестве таковых жесткую конструкцию, которая лишь теперь *размягчается*» (Козлова, 2005: 472).

Поэтому первое, что с точки зрения Козловой было необходимо сделать для выработки новой перспективы исследований советского общества — это уйти от идеологически предписанных рамок его видения, восприятия и оценки, заданных теорией «тоталитаризма». Подобные теоретические рамки исследования советского общества, или «сталинизма», с которым его в ту пору отождествляли, были заложены в западном академическом сообществе после Второй мировой войны в

рамках так называемой теории «тоталитаризма». Согласно этой теории, представленной в работах таких влиятельных в 1950–1960-е годы авторов, как Х. Арндт, Р. Арон, К. Фридрих, З. Бжезинский, К. Лёвенштайн, М. Фэйнсон, А. Инкелес и многих других исследователей и интеллектуалов рангом поменьше, советское общество и его политическая система представляли собой инвариант системы тоталитарного господства («тоталитарной диктатуры»), характерного для периода между двумя мировыми войнами, и представленного также фашистской Италией и национал-социалистической Германией (Arendt, 1951; Friedrich, Breziński, 1956; Loewenstein, 1957; Fainsod, 1958; Inkeles, Bauer, 1959; Aron, 1965). Отличительными чертами системы тоталитарного господства в рамках тоталитарной модели является монополия на власть одной партии, масштабный контроль тоталитарной партии-государства над всеми сторонами общественной и частной жизни людей, что приводит к практически полному стиранию границы между «публичным» и «приватным» в обществах подобного типа, массовый государственный террор против реальных и воображаемых политических противников, идеологическая обработка населения в духе одной, единственной верной идеологии и всевластие тайной полиции. С точки зрения теории тоталитаризма, система тоталитарного господства или «тоталитарной диктатуры» (К. Фридрих, З. Бжезинский) представляла собой качественно новое явление в человеческой истории, принципиально отличавшее ее от всех прежних авторитарных форм правления и диктатур прошлого. Эта новизна была обусловлена как техническими (развитие новых средств пропаганды, массовой коммуникации, а также аппаратов надзора, контроля и террора), так и социальными предпосылками (пришествие массовой современной демократии, которая представляет собой благоприятную почву для появления и прихода к власти тоталитарных партий и движений). Отвечая на вопрос о причинах жизнеспособности тоталитарных режимов (тоталитарная диктатура Гитлера потерпела крах лишь в результате военного поражения в годы Второй мировой войны, тогда как Советский Союз вышел из нее победителем) авторы тоталитарного «направления» обычно ссылались на значение массовой пропаганды и террористического полицейского контроля как на те два ключевых фактора, которые позволяли правящим группировкам тоталитарных обществ обеспечить себе подчинение и лояльность доминируемых социальных групп и слоев. Тем не менее, эта концепция постепенно утрачивала свою академическую респектабельность по мере того, как после смерти И. В. Сталина в 1953 г. советское руководство отказалось от массовых репрессий как способа удержания власти и либерализовало отдельные стороны политической, культурной и частной жизни страны, что, однако, не привело к необратимой дестабилизации системы. Тем не менее, в годы «перестройки» и в 1990-е годы теория тоталитаризма снова привлекла внимание, на этот раз — отечественных интеллектуалов, многие из которых увидели в ней ключ к пониманию советского прошлого и российского настоящего. Именно в адрес этого ренессанса теории тоталитаризма как модели понимания и объяснения советского человека и советского общества в кругах отечественных интеллектуалов и литераторов 1990-х

годов и была полемически направлена критика данной идеологической рамки понимания советского прошлого в антропологических исследованиях Козловой.

«Само понятие тоталитаризма, — писала Козлова, — не столько описывает реальность обществ в условиях коммунистических режимов, сколько предписывает идеологические рамки видения этих обществ. Представляется, что здесь имеет место смешение языка политической теории и языка социального и тем более антропологического исследования» (Козлова, 2005: 473). Несостоятельность концепции перехода от тоталитаризма к либерально-рыночному обществу в качестве теоретической модели, объясняющей политические и социальные изменения в российском обществе 1980–1990-х гг. побудили исследователей, работающих в разных областях социального и гуманитарного знания, искать новые средства понимания и интерпретации. Речь шла о таких областях социального и гуманитарного знания, как социальная история, социально-экономические и социокультурные исследования крестьянских и эксплоярных экономик, экономики символического обмена, социологических исследованиях локальных сетей поддержки и обмена, «культуры бедности», моральной экономики, социальных технологий повседневного сопротивления и т. д. Благодаря этим теоретическим и методологическим новациям сложились благоприятные предпосылки для кристаллизации новой теоретической перспективы исследований советского общества как особой типа общества модерна и одновременно — как непреднамеренного социального изобретения, возникшего в качестве результата множества социальных игр, в которые играли советские люди.

Советское общество как особая форма общества модерна и непреднамеренное социальное изобретение

Постановка под вопрос модели советской истории, ориентированной на теории тоталитаризма, потребовала построения иных, альтернативных теоретических моделей понимания и объяснения советского прошлого. Именно из поиска таких альтернативных моделей берет свое начало предпринятое Козловой теоретическое усилие понять советское общество как особое социальное образование, возникшее в качестве непреднамеренного социального изобретения. «Главный вопрос, — писала Козлова, — на который мне хотелось бы ответить: как и чем держалось советское общество» (Козлова, 2005: 20). Свою работу она понимала как попытку ответить — на материале истории советского общества — на поставленный еще Максом Вебером вопрос: «Какие мотивы заставляли и заставляют отдельных „функционалов“ и членов данного „сообщества“ вести себя таким образом, чтобы подобное сообщество возникло и продолжало существовать?» (Вебер, 1990: 620). Без ответа на этот вопрос, добавляет Козлова, невозможно понять, как возникло и существовало целый век советское общество, как и почему оно прекратило свое существование.

В этом своем стремлении Козлова была отнюдь не одинока. Ее исследовательские интересы в данном случае шли параллельно и даже в известном смысле совпадали с усилиями исследователей советского общества из других стран. Еще к 1995 году американский ученый Стивен Коткин, в своей книге «Магнитка» (Kotkin, 1995)⁵ с примечательным подзаголовком «Сталинизм как цивилизация», посвященной строительству города Магнитогорск и его градообразующего предприятия — Магнитогорского металлургического комбината на Южном Урале в годы первой пятилетки, подчеркивал, что сталинизм был не просто «политической системой, или же правлением одного человека, но совокупностью ценностей, социальной идентичностью, образом жизни» (Kotkin, 1995: 23).

В 1930-е годы, — писал Коткин, — советские люди были вовлечены в великое историческое предприятие, которое получило название «строительства социализма». Этот насильственный переворот, начавшись с ликвидации капитализма, вылился в коллективный поиск социализма в домашнем хозяйстве, жилье, градостроительстве, массовой культуре, экономике, управлении, миграции населения, социальной структуре, политике, ценностях, и во множестве других областей, от стиля одежды до стиля мышления. В рамках твердой, но смутно очерченной некапиталистической ориентации, это открывало большие возможности для экспериментирования. (Kotkin, 1995: 355)

Иными словами, сталинизм в этой исследовательской перспективе рассматривается как целая цивилизация, комплексное изучение которой требовало разработки нового репертуара исследовательских стратегий и подходов. Они сложились в противовес тоталитарной модели советского общества в американской историографии 1970–1990-х гг., получив в ней название «ревизионистских». Эти новые стратегии исследований советского прошлого были представлены прежде всего работами таких авторов, как Ш. Фитцпатрик, М. Левин, С. Коткин. Главное достоинство этого пионерского на то время подхода Козлова усматривала в том, что здесь на смену модели советского общества как социального монолита, скрепленного пропагандой и террором, где есть лишь жертвы, составляющие большинство, и агенты системы — надсмотрщики и палачи, которых всегда меньшинство, приходила более дифференцированная и мозаичная картина советского модерна, учитывающая «голоса» людей, живущих в рамках этой системы и использующих ее в своих собственных, зачастую далеких от официальных целей. Парадокс, однако, заключается в том, что такой образ действий вовсе нет необходимости прочитывать как борьбу с системой, поскольку игра не по правилам, предписываемым системой, зачастую способствовала воспроизводству социального порядка не в меньшей степени, чем слепое следование его правилам.

5. В самом названии книги автор сознательно обыгрывает двусмысленность, заключенную в английской версии этого названия: с одной стороны, *Magnetic Mountain* — это магнитная гора, Магнитка, с другой — волшебная, чарующая гора.

«Обращение к миру повседневности, — отмечала Козлова, — позволяет нарисовать картину, в корне отличную от той, которую дает политическая теория тоталитаризма. Язык концепций тоталитаризма „не совпадает с тем“, как этот мир обговаривался людьми» (Козлова, 2005: 474). Со второй половины 1990-х годов этот тренд исследований советского прошлого становится одним из ведущих как в России, так и за рубежом⁶. В 2000-е годы он оформляется в целое направление исследований советского общества через призму его повседневных социальных практик, которое сегодня занимает одно из центральных мест в историографии советского прошлого⁷.

Именно на перепутье этих исследовательских интересов и новых теоретических подходов складываются предпосылки для появления новой многообещающей научно-исследовательской перспективы, направленной на «переосмысление советского общества как цивилизации, как *социального изобретения*» (Козлова, 2005: 475) или, точнее, как непреднамеренного социального изобретения. По словам Н. Н. Козловой, «проблема вхождения в современность — не только и не столько проблема объективных предпосылок воспроизводства (или изобретения). Это проблема людей, у которых есть мотивы отвергать существующее положение вещей и желать изменения собственных жизненных обстоятельств и самих себя. Разные люди по-разному понимали изменение, но множественные усилия по изменению объединялись. Советское общество — побочный продукт. Мы не можем сказать, что-то и те-то изобрели это общество. Речь идет действительно о *непреднамеренном социальном изобретении*» (Козлова, 2005: 483).

В центре такого понимания социальной динамики советского общества находится идея имманентного и непреднамеренного порядка социальных изменений и перемен. Речь идет о таком функциональном переплетении отношений и взаимодействий между людьми в общественной жизни, которое возникает в ходе их совместной игры по определенным правилам в общем социальном пространстве. Его результатом становится производство и воспроизводство невидимого, непосредственно не воспринимаемого социального порядка, в рамках которого уста-

6. Подводя в 2008 году промежуточные итоги трансформации исследований советского общества после распада СССР, Шейла Фитцпатрик писала: «Расцвели региональные исследования, включая „Волшебную гору“ Стивена Коткина, о Магнитогорске на Урале, который выдвинул тезис о том, что в 1930-е годы в качестве побочного продукта русской революции появляется особая советская культура („сталинская цивилизация“). Социальные историки открыли значение писем простых граждан властям, — жалоб, доносов, просьб, — хранящихся в архивах, что способствовало динамичному развитию исследований повседневной жизни, имевших много общего с исторической антропологией. По сравнению с 1980-ми годами (что отражает общие тенденции развития в рамках исторической науки) нынешнее поколение молодых историков проявило столько же интереса к культурной и интеллектуальной истории, сколько и к социальной, используя дневники и автобиографии для разьяснения субъективных и индивидуальных аспектов советского опыта» (Fitzpatrick, 2008: 8).

7. Хорошим примером подобного типа исследования может служить не столь давняя коллективная монография под редакцией Шейлы Фитцпатрик и Микаеля Гаера: Gayer, Fitzpatrick, 2009.

навливаются определенные подвижные властные балансы между различными социальными категориями и слоями советского общества⁸.

Как отмечала Н. Н. Козлова, сам термин *социальное изобретение* принадлежит к языковым репертуарам постклассических социальных теорий и встречается в работах Н. Элиаса и Б. Вальденфельса, М. Фуко и Р. Харре, М. де Серто и П. Бурдьё.

Генетически этот термин, — пишет Козлова, — связан с понятием общественного воспроизводства, которое также акцентирует внимание на процессуальном характере социального изменения. Понятие воспроизводства, однако, более нейтрально в том смысле, что не делает акцента на субъективной стороне процесса. В представлении о социальном изобретении, несомненно, учитывается способность индивида быть агентом (агентность). Когда употребляют выражение «социальное изобретение», вовсе не имеют в виду, что это конкретное общество, социальное установление или ритуал изобретены теми-то и теми-то, то есть отдельными *конкретными* людьми или даже группами людей. Напротив, желают подчеркнуть, что социальное изобретение люди делают только *вместе*, в процессе совместной жизни. Социальное изобретение — побочный продукт, именно в этом смысле оно *непреднамеренно*. Результат никогда не совпадает с намерением индивидуального агента. Это всегда *изобретение без изобретателя*. (Козлова, 2005: 71–72)

Советское общество и игры идентичности

Представление об обществе как о «социальном изобретении» связано с метафорой игры. Задавшись вопросом о том, какую теоретическую рамку можно было бы противопоставить тоталитарной модели советского общества, неудовлетворительность которой становилась все более заметной, Козлова пришла к выводу, что теоретической альтернативой ей могло бы стать понимание советского общества как общей игры по определенным правилам, как формальным, так и неформальным. Выдвижение на первый план понятия игры как наиболее *адекватного способа репрезентации социального* позволило ей сделать ряд неординарных выводов об устройстве советского общества и особенностях жизненных практик советских людей.

Судя по всему, идея советского общества как общей игры была подсказана Козловой как ее методологическими размышлениями, связанными с антропологическими исследованиями советского общества, так и чтением трудов американских

8. Заметим по ходу дела, что та проблема, которую Козлова на материале своих антропологических исследований формулирует применительно к советскому обществу, была еще в 30-е годы прошлого века сформулирована Н. Элиасом на языке и материале теоретической социологии. То, чего нам недостает, писал Элиас, — «так это мыслительных моделей и общего видения, с помощью которых мы, размышляя, могли бы понять, что же мы в действительности ежедневно видим, постичь, каким образом многие отдельные люди вместе образуют нечто большее, нечто иное, нежели просто совокупность множества отдельных людей, — как они образуют „общество“ и как получается, что это общество может определенным образом изменяться, что оно имеет историю, которая протекает так, как она действительно протекает, и которая никем не задумана, не предумышлена, не запланирована никем из отдельных людей, ее образующих» (Элиас, 2001: 19).

историков — «ревизионистов» (Ш. Фитцпатрик, С. Коткин). Еще в своих работах 1970–1980-х годов Ш. Фитцпатрик показала, что сталинизм как система и как жизненная практика опирался на поддержку довольно обширного социального слоя, — а именно, на новые кадры научной, технической и административной интеллигенции, созданные в ходе сталинской Культурной революции 1929–1932 гг. и рекрутировавшиеся из числа рабочих и крестьян (Fitzpatrick, 1979, 1982, 1992). В сталинскую эпоху их было принято называть «выдвиженцами», тогда как Ш. Фитцпатрик именует их новым советским «средним классом». Это поколение сталинских выдвиженцев, занявшее значимые позиции в партийном и хозяйственном административно-бюрократическом аппарате к концу 1930-х гг., было главным бенефициаром сталинского «великого перелома». Именно из этой категории советских людей вышли главные игроки в советское общество сталинской эпохи; тем из них, кто вошел в советскую элиту, суждено было стать «становым хребтом советского общества» (Козлова, 2005: 446).

Особенно созвучным исследовательским усилиям Козловой в ту пору оказался проект американского исследователя Стивена Коткина, направленный на реконструкцию социальных практик повседневной жизни строителей Магнитогорского металлургического комбината и города Магнитогорск на Южном Урале в годы первой пятилетки (1929–1932). Достоинство его социально-антропологических исследований состояло в том, что он первым применил для осмысления повседневных социальных практик сталинского общества метафору «игры». С ее помощью ему удается преодолеть упрощенный взгляд на сталинское общество, в соответствии с которым каждый человек — либо жертва, либо агент политической системы. Коткин показывает, пишет Козлова, что

советское общество сталинской поры функционировало как система правил, включая правило социальной идентификации. Правила налагались партийно-государством, но одновременно активно использовались людьми. Результаты этих игр идентичности отнюдь не были предопределены государством. Работая с огромным материалом, исследователь рисует динамичную, постоянно изменяющуюся сеть социальных отношений как некий «пейзаж возможностей». Одновременно он показывает, как социальные актеры действовали в пределах этих возможностей. (Козлова, 2005: 32)

В каком значении берется термин «игра» в антропологических исследованиях «советского человека» у Козловой? Отказ от использования «жесткого» понятия социальной системы, давящей на индивидов сверху и предполагающей манипулятивную модель объяснения их поведения, настоятельно требовал нахождения более подходящих концептуальных средств описания и истолкования взаимодействия индивидов в советском обществе. В рамках антропологических исследований Козловой эта проблема принимает форму вопроса о том, какая метафора описания социальных взаимодействий способна задать наиболее адекватный контекст интерпретации рассматриваемых автобиографических источников.

Обращение к исследованию человеческих документов, — отмечает Козлова, — позволяет ощутить и показать, как по одним и тем же правилам начинают действовать люди, друг на друга совершенно не похожие и обитающие в разных социальных пространствах. Причастность генетически разных социальных акторов к одной культуре можно интерпретировать, опираясь на метафору игры, которая выступает как познавательное и методологическое средство. (Козлова, 2005: 63)

Использование метафоры игры для объяснения социальных и культурных взаимодействий между отдельными индивидами в обществе имеет давнюю традицию в философской и социально-научной мысли XX в. Её использовали такие выдающиеся социологи XX в., как Н. Элиас и П. Бурдьё, историк Й. Хейзинга, философ Л. Витгенштейн. Последний в своих «Философских исследованиях» разработал довольно сложный концептуальный аппарат, включающий такие базовые понятия, как «языковые игры», «следование правилу» и «фоновое понимание», которые получили впоследствии широчайшее применение не только в аналитической философии, но и в современной социальной теории.

Понятия *следования правилу* и *согласия* (точнее, молчаливого согласия, т. е. того феномена, что на английском языке передается терминами *tacit agreement* и *background understanding*) являются ключевыми для понимания игры как метафоры социальных взаимодействий между индивидами. В своих исследованиях «советского человека» Козлова использует понятие социального правила, предложенное известным антропологом А. Радклифф-Брауном. В своем анализе правилосообразной деятельности он делал особый акцент на том, что социальное отношение всегда включает ожидание того, что участники отношения будут придерживаться определенных правил поведения. В свою очередь, это ожидание конституируется эмпирическими актами вербального (или молчаливого) признания правил большинством членов общества. «Правило существует в его признании, — писал Радклифф-Браун. — Признание и есть его феноменальная реальность». Соответственно, «правило поведения — это нечто, существующее в умах определенного множества людей, существующее благодаря тому факту, что они признают это нечто в качестве подходящего образа действия» (Radcliff-Brown, 1948: 100).

То, что в данном случае имеется в виду, подчеркивала Козлова, следует называть не системой правил, но родом *социальной грамматики*⁹. Социальная грам-

9. Выбор в пользу *социальной грамматики*, а не *системы правил* и тем более не *социальной системы* как базового понятия и метафоры в исследованиях Козловой был продиктован уже хорошо известной нам задачей уйти от манипулятивных моделей объяснения и понимания советского общества. «Игровые модели, — писала она, — позволяют схватить вероятностный характер социальных процессов, решить на уровне методологических средств проблему альтернативности истории как оппозиции социального детерминизма и прогрессистской установки. Выражение „система правил“ начинаешь употреблять с опаской. Не лучше ли употребить выражение „грамматика правил“? В конечном итоге речь идет не о системе (отдельной от людей), но об изменяющихся *фигурациях* (Н. Элиас) людей. „Социальная система“ и „социальная структура“ — понятия, выработанные в классической парадигме социального знания, в обычном словоупотреблении не просто статичны. Они создают

матика любого общества, в том числе и советского, представляет собой структурированное целое, однако то, как употреблять содержащиеся в ней правила, в значительной степени отдается на усмотрение действующего лица. Вступая в новую для них социальную игру, индивиды действуют в соответствии с привычным для них габитусом, обусловленным своеобразием их социального — «крестьянского», «местечкового», «мещанского», «рабочего» и т. д. — опыта и происхождения. *Габитус* (данное понятие Козлова заимствует из социологии культуры П. Бурдьё) — это не только история и социальность, встроенные в тело и язык человека, его унаследованный культурный капитал, но и генератор актов игры, в нашем случае — игры в советское общество.

Социальный габитус — питательная почва для складывания индивидуальных различий. Попадая в новые обстоятельства и меняя их, люди несут в себе как черты своей личной и семейной истории, так и истории тех слоев, страт и общества в целом, в которых они родились. *Габитус* — унаследованный капитал, который обуславливает стартовую позицию и возможность ставок в тех или иных социальных играх, а также способ, каким делаются эти ставки. Это встроенная в тело и язык структурирующая структура, инкорпорированный принцип игры. Это *искусство изобретения*, позволяющее производить бесконечное число *практик*, относительно непредсказуемых, но в то же самое время ограниченных в своем разнообразии. (Козлова, 2005: 73)

Эти разновидности габитуса являют собой предрасположенности к определенным формам мышления и поведения, которые находят свое воплощение в конкретных действиях отдельных индивидов. Однако они не предписывают актерам социальной драмы никаких конкретных форм осуществления, но лишь очерчивают перед ними определенное пространство возможностей для действия, задают игровое пространство. Иными словами, здесь снова выступает на первый план перспектива актера. «Люди объективно следуют правилам, однако они не есть продукты подчинения правилам. Кроме того, любая жизнеспособная система содержит область, в которой индивид свободен в своем выборе» (Козлова, 2005: 64). Речь идет о том, что система правил, которая используется в социальной жизни, предполагает индивидуальные интерпретации со стороны действующих актеров и тем самым открывает для них известные возможности для манипулирования системой в свою пользу. «Под этим углом зрения, — отмечала Козлова, — не так уж важно, в результате каких именно действий сложилась грамматика правил (или социокультурный тип). Речь идет о следовании правилу, когда действия носят регулярный характер и достаточно предсказуемы. Однако следование правилу не равно подчинению внешнему принуждению» (Козлова, 2005: 64–65).

Безусловно, правила действуют лишь тогда, когда они притязают на интересную значимость, то есть являются *социальными* и признаются людьми. Од-

впечатление пустого социального пространства (наподобие абсолютного пространства Ньютоновой механики), „отдельного“ от реальных индивидов» (Козлова, 2005: 66).

нако это вовсе не означает, что они должны быть всеобщими или обязательными для всех, или же составлять часть последовательного, лишённого всяких противоречий порядка. Более того, достижение успеха в жизненной игре требует не механического следования заданным правилам, и даже не далеко идущего сознательного расчёта, а, скорее, определенного «чувства игры», которое вырабатывается в ходе ее самой. Как справедливо отмечала по этому поводу Козлова,

для результатов социальной игры не так уж важно, играют ли истово и охотно, молчаливо, без особой охоты, как бы нехотя или «понарошку». Главное, «соглашаются», играют. Пока соблюдаются правила, общество живет. Пока играли в партийное или комсомольское собрание, жило советское общество. Сейчас, с исторической дистанции, это особенно ясно видно. Постепенно приходит понимание, что есть альтернативность истории, ибо социальные правила никогда не соблюдаются буквально. (Козлова, 2005: 63–64)

Не менее важным в контексте понимания советского общества как общей игры является и понятие молчаливого (додискурсивного) согласия. Оно позволяет Козловой поставить еще один важный вопрос — о *необходимость согласия и соучастия доминируемых* как важнейшей предпосылке воспроизводства советского общества. Как отмечает Козлова, жизнь советского общества в сталинскую эпоху было бы в высшей степени ошибочно представлять в качестве результата деятельности одного-единственного социального демиурга — тоталитарного советского государства-партии. Согласие, пусть и молчаливое, и участие простых людей в производстве и воспроизводстве если не порождающих принципов социальных практик, то, по крайней мере, самих этих практик, было неперенным условием воспроизводства советского общества и культуры в целом. «Невозможно рассматривать советское общество и культуру только как эманацию власти, как отношение, где есть один субъект и центр круга жизни — власть, а где все остальные люди — лишь объект властного воздействия. Осуществление власти невозможно без *согласия*, без соучастия тех, над кем властвуют» (Козлова, 2005: 361). Правда, здесь необходимо оговориться, что соотношение бинарных оппозиций добровольности/принудительности, желания/принуждения на разных этажах советского общества в разные эпохи его истории было разным/могло существенно отличаться. Такое молчаливое, или додискурсивное согласие есть важнейшая предпосылка самой возможности участия в игре как в советское общество в целом, так и в его отдельные разновидности.

Как отмечает Козлова,

всегда имеет место некое априорное молчаливое согласие относительно значения мира, которое лежит в основе мира людей как мира здравого смысла. Закон пребывает за пределами мира людей и встраивается в их язык и тело. Государство имеет способность и возможность налагать способ видения и соответствующие ценностно-оценочные структуры. В то же самое время понимаешь, что никакие правила не могут реализоваться, не будучи воспроиз-

ведены людьми — неважно, подтверждают ли они громко свою веру в правило, молчаливо подчиняются или даже выступают против. (Козлова, 2005: 361)

Благодаря такой постановке вопроса Козлова своими антропологическими исследованиями советского общества прокладывала путь для кристаллизации новой программы изучения советского общества, обращенной прежде всего к изучению его *социальной грамматики*, задававшей как общие правила игры в советское общество, так и в ее отдельные разновидности. Как показывает Козлова в своих исследованиях, живущие в советском обществе

люди, рожденные в разных социальных пространствах, по сути, следуют одним и тем же правилам игры — как кодифицированным, так и некодифицированным. История каждого уникальна, у кого-то совпадает с нормативным биографическим нарративом, у кого-то — нет. Одни играют охотно, другие не очень, а третьи, казалось бы, вообще не пытаются. Но общая игра, называемая советским обществом, как мы его знаем (и узнаем по приведенным рассказам), возникает как непреднамеренный результат. Еще раз повторим, использование понятия и метафоры игры позволяет объяснить, как на одном поле и по одним правилам начинают действовать участники, разительно друг на друга непохожие. (Козлова, 2005: 375)

Обретение советской идентичности как процесс

Вопрос о том, как воспроизводится (изобретается) общество, можно переформулировать и иначе: как *человек изобретает сам себя*, как он приобретает свою социальную идентичность¹⁰. По мнению Козловой, применительно к истории советского общества этот вопрос целесообразно ставить в процессуальных категориях, раскрывающих нюансы обретения индивидами советской социальной идентичности как *процесс*. Надо признать, что для такой постановки вопроса у нее были весьма веские основания.

Социальную идентичность человека, как индивидуальную, так и коллективную, было бы в высшей степени опрометчиво рассматривать как некий завершенный социальный конструкт или образование. Не только по отношению к молодежи, но и по отношению к взрослому человеку зачастую очень сложно установить, завершился ли процесс сложения его идентичности, и если да, то когда и как он подошел к своему финалу. Ведь и «взрослые никогда не бывают полностью и окончательно завершенными, сформировавшимися существами» (Элиас, 2001: 45). Особенно справедливо это в переломные эпохи, во времена революционных переворотов и общественных потрясений, когда не только молодым, но и взрослым, уже сложившимся людям зачастую даже помимо своей воли приходится меняться, отказываться от привычных установок сознания, структуры инстинктов и

10. Под *социальной идентичностью* в данном случае подразумевается «осознанный и принятый агентом смысл его позиции в социальном пространстве» (Козлова, 2005: 54).

форм поведения, что может быть достигнуто только за счет предельной самодисциплины и самоконтроля. Как справедливо замечает по этому поводу Н. Элиас, «действительной ясности в вопросе об отношении индивида и общества можно достичь лишь тогда, когда процесс постоянного становления индивидов включают в рамки самого общества, а процесс индивидуализации — в теорию общества. Историчность всякой индивидуальности, феномен созревания и взросления при объяснении того, что такое „общество“, имеют ключевое значение» (Элиас, 2001: 45).

Вне всякого сомнения, эти взгляды Н. Элиаса на взаимоотношения индивида и общества были необычайно близки Козловой. Именно поэтому в ее антропологических исследованиях ключевое место занимает изучение процесса складывания и обретения советской идентичности представителями различных социальных слоев и групп советского общества. Речь идет именно о процессе, то есть о рефлексивно-проективном усилии, растянутом на длительную жизненную перспективу¹¹. Особое значение при этом приобретают опыт и личные свидетельства первых поколений советских людей — тех, кто родился незадолго до и вскоре после революции 1917 года. «Исследовать идентичность как процесс, — писала Козлова, — значит показать, каким образом он развивается во временной протяженности, работает через язык и развитие социальных ролей, а также тесную связь между *частным* опытом самоидентичности и ее *публичным* выражением» (Козлова, 2005: 283).

Возникновение специфически современной идентичности как рефлексивно-проективного усилия по сознательному усвоению человеком смысла своего положения в социальном пространстве характерно для вхождения в цивилизацию модерна. Оно предполагает преобладание опосредованных форм опыта, важное место среди которых занимает письмо, и широкое распространение абстрактных посредников, организующих взаимодействие между людьми в широком диапазоне пространства и времени, освобожденном от тесной привязки к местному (локальному) контексту. Подобная постановка вопроса «делает возможным рассмотрение советской идентичности в контексте вхождения в модерн, что подразумевает превращение массы людей деревенских в городских» (Козлова, 2005: 55).

Правда, здесь стоит оговориться, что в центре антропологических исследований Козловой находилась вовсе не крестьянская масса, но другая, особая категория советских людей, тех, кого в годы первых пятилеток называли «выдви-

11. В основе такого подхода к личной идентичности «Я» как рефлексивно-проективному усилию по поддержанию связанного повествования о своей жизни в контексте жизни общества лежит представление о человеке как процессе становления социальным существом, составляющее основу теории идентичности и социальных изменений теоретической социологии Н. Элиаса. В своей работе «Что такое социология?» этот выдающийся социолог писал: «Несмотря на то, что на первый взгляд это идет вразрез с обыденными способами говорения и мышления, все равно более соответствует делу, когда говорят, что человек постоянно находится в движении; он не просто движется в рамках определенного процесса, он и сам есть этот процесс. И когда мы говорим о развитии, то имеем в виду имманентный порядок непрерывной последовательности, в котором всякий раз более поздний образ следует из более раннего, юность — из детства, взрослое состояние — из молодого без всякого перерыва. Человек есть процесс» (Elias, 2006: 155).

женцами» — молодых инженеров и управленцев, выходцев из «низов» советского общества, которые окончив в годы первой пятилетки вузы, стали основой новой советской, по преимуществу технической и административной, интеллигенции. (Ш. Фитцпатрик называет их «брежневским поколением», а Н. Н. Козлова — *делегатами* массы, впоследствии составившими основу советской номенклатуры и советского «среднего класса»). В отличие от бывших крестьян, пришедших в города и послуживших главным антропологическим материалом советского общества и ресурсной базой советской модернизации, претенденты на роль *делегатов* массы, представители будущей сталинской номенклатуры и советского среднего класса, имели более пестрое социальное происхождение — рабочее, местечковое, по случаю — мещанское. Конечно, среди них было немало выходцев из крестьян, да и как может быть иначе в крестьянской стране, но в целом по отношению к крестьянской массе они были *другими* и воспринимались и властью, и доминируемым слоями советского общества, да отчасти самими собой как *другие*. Другими были и практики их приобщения к советскому модерну. Эти «другие, культивирующие самоконтроль и самонормирование, попадали в поле воздействия легитимирующих Больших рассказов идеологии, в мир вербального письма» (Козлова, 2005: 479). Несмотря на то, что в отличие от крестьян они не были главными агентами *изобретения* советского общества, «роль в этом процессе тех, кто пришел из других социальных пространств, сложно переоценить. Советское общество, каким оно было, продукт общей игры разных агентов» (Козлова, 2005: 479).

Именно к членам этой новой социальной группы в первую очередь относится тезис Козловой о том, что в советском обществе сталинской эпохи «вербальное письмо становится не только принципом социальной иерархизации, но условием выделения из массы новой социальной группы (страты), советского среднего класса» (Козлова, 2005: 478). Письмо является образцом опосредованного опыта. По нему можно проследить как процесс конструирования социальной идентичности, так и базовые формы социальных связей. Козлова ссылается в данном случае на Э. Гидденса, который полагал что люди, личное «Я» которых представляет собой рефлексивный проект, в массовом порядке появляются именно в условиях цивилизации модерна. Процесс формирования личности находит свое выражение в выборе определенной социальной позиции и идентификации себя с ней, благодаря чему человек получал возможность создать связное повествование (нарратив) о своей жизни, разворачивающейся от прошлого через настоящее к будущему. При этом в основе целостности самоидентичности личности лежит связность ее автобиографического повествования вне зависимости от того, было выражено оно в дискурсивных категориях или нет. Реализация жизненного проекта происходит в контексте вариантов выбора, отфильтрованных абстрактными системами. В условиях сталинского модерна абстрактные системы были «представлены прежде всего идеологическим легитимирующим нарративом, который, кстати, задавал и канон „правильного“ жизненного пути» (Козлова, 2005: 279).

В условиях советского общества подобная «опосредованность нарратива дискурсивными (метанарративными) единицами гомологична представлению о возможности выбора из спектра разнообразных *способов жизни* или *жизненных стилей*, пусть даже этот спектр очень неширок» (Козлова, 2005: 56).

Невидимый, непосредственно не воспринимаемый порядок совместной жизни людей в обществе предлагает отдельному человеку только более или менее ограниченную шкалу жизненных шансов и способов поведения. Пространство выбора, которое остается при этом открытым для отдельного индивида, зависит как от социального происхождения человека и его социального опыта, так и от структуры общества и положения дел в том социальном объединении, в котором он живет и действует. «Индивиды принуждаются к выбору жизненного стиля из ряда возможностей. Жизненный стиль становится все более значимым в конституировании самоидентичности и повседневной активности. Так становится возможным рефлексивно организованное жизненное планирование» (Козлова, 2005: 56).

Тот репертуар жизненных шансов, который советское общество 1930-х годов могло предоставить вступающим в жизнь поколениям молодых людей, был относительно небогат. Им приходилось строить свою жизненный путь и осуществлять свое жизненное планирование в пределах того довольно скудного ассортимента жизненных форм и жизненных шансов, которым располагала советская цивилизация и культура сталинской эпохи.

Молодые люди, — пишет Козлова о «выдвиженцах» 1930-х годов, — планировали свою жизнь в рамках тех форм социальной организации, в которой они жили и которая составляла среду существования, неважно, идет ли речь о социальной организации или дискурсе. Так, они не подозревали, что может быть иное образование, нежели то, что дается в Коммунистической академии и тому подобных заведениях. (Козлова, 2005: 235)

Однако и в подобной ситуации ограниченного репертуара выбора нам, как справедливо напоминает Козлова, стоит иметь в виду то конститутивное для истории возникновения любого современного общества обстоятельство, что

узость границ выбора отнюдь не является особенностью лишь советского варианта вхождения в модерн. Модерн отнюдь не только открывает возможности эмансипации и самоактуализации, но и производит различие, исключение и маргинализацию. Тем не менее, представление о жизненных стилях относится не только к элите. Если и не всем, то многим приходится принимать решения. (Козлова, 2005: 56)

В любом случае, нет и не может быть общей формулы, которая применительно ко всем видам общества без исключения могла бы продемонстрировать, насколько велико в нем пространство индивидуального выбора и решения. Главное, однако,

здесь заключается в том, что «ни в одном виде общества подобные пространства выбора не отсутствуют вовсе» (Элиас, 2001: 82).

В своих антропологических исследованиях «советского человека» Козлова использует тексты дневников, автобиографических заметок и свидетельств для того, чтобы проследить процессы складывания этой новой советской идентичности в среде сталинских «выдвиженцев». По тексту дневника можно проследить историю складывания этой идентичности, по крайней мере, ее основные вехи. Применительно к сталинским «выдвиженцам» эпохи первых пятилеток поиск социальной идентичности «можно представить как процесс, аналогичный процессу овладения иностранным языком (в отличие от языка родного). Имеется в виду рефлексивный контроль и дистанцирование в процессе идентификации. Участие в новых риторических играх как элементе новых практик приводит к смене *габитуса*» (Козлова, 2005: 280).

Центральное место в этих новых поисках идентичности занимает освоение правил и навыков нормативного письма. В эпохи бурных социальных перемен огромное значение приобретает освоением доминируемым способом правильно писать на господствующем языке, благодаря чему «пишущий присваивает чужой язык и распоряжается им по-своему» (Козлова, 2005: 176). Речь здесь идет о парадоксах, вписанных в саму логику символического доминирования, на которые впервые обратил внимание П. Бурдьё. А именно, «сопротивление может лишать независимости, а подчинение может приносить освобождение. Таков парадокс доминируемых, выхода из которого нет» (Бурдьё, 1994: 230). Это замечание известного французского социолога целиком и полностью применимо к процессам обретения людьми советской идентичности в сталинскую эпоху. Освоение и присвоение *делегатами* массы господствующего языка советской идеологии — путь к освобождению и восхождению на социальный Олимп. Пишущий правильно — хозяин, пишущий неправильно — раб. Те молодые сталинские «выдвиженцы» из социальных «низов», которые хотели быть хозяевами новой жизни, с готовностью принимали языковые игры, с энтузиазмом осваивали новый советский идеологический язык, способствуя тем самым воспроизводству системы. Как метко замечает Козлова, в сталинском СССР язык «Краткого курса истории ВКП(б)» — то же, что в статусных обществах язык высших классов, или то же, что литературный язык для того, кто раньше говорил на диалекте (Козлова, 2005: 280). Однако одним воспроизводством системы дело здесь не ограничивалось — оно шло рука об руку с реализацией личных жизненно-практических стратегий «новых людей», этих делегатов массы, их желанием выжить, вписаться в новое общество, сделать в нем карьеру. «Умение играть в новые словесные игры, следовать правилам знаково-символического обмена, овладение техниками писания и чтения, достижение нормативной телесности составляли процесс обретения идентичности. Люди пользовались соответствующим набором культурных правил и языковых идиом, которые регулировали отбор, сочетание и осмысление элементов нового опыта» (Козлова, 2005: 283).

Парадоксы тоталитарного языка и прецедентные тексты советской культуры

В условиях цивилизации модерна огромное значение приобретает характер тех средств, которые используются людьми для конструирования своего личного «Я» как «рефлексивного проекта». Применительно к советскому обществу сталинской эпохи эти проблемы формулируется Козловой следующим образом: «Способны ли люди, жившие в сталинский период, к артикуляции своей частной идентичности за пределами ценностей данной политической системы?» (Козлова, 2005: 31). Нам представляется, что в итоге своих исследований «голосов» людей советского общества, накладывающихся на его идеологический макродискурс или большой нарратив о себе самом, Козлова приходит скорее к неутешительному выводу о том, что такой способностью люди, жившие в сталинский период, не обладали. Однако этот неутешительный вывод не должен заслонять от нас обратной стороны «медали», т. е. того обстоятельства, что в специфических исторических и социальных условиях советской цивилизации именно официальный нарратив и идеологический дискурс власти становился тем символическим ресурсом, используя который, человек мог конструировать и создавать свою собственную идентичность и субъектность. «Тот язык, который определяют как тоталитарный, — подчеркивала Козлова, — обладает потенциалом высвобождения и складывания субъектности» (Козлова, 2005: 474).

В этом заключается еще один парадокс советского общества, в котором официальный язык, нормативно-когнитивные карты восприятий и оценок, а также структуры повествований, заданные советским государством, его институтами и культурными посредниками, парадоксальным образом служили главным ресурсом для выработки простыми советскими людьми рефлексивного отношения к своей собственной жизни — этого, безусловно, одного из главных цивилизационных достижений социального и культурного модерна. Казалось бы, что может быть более далекого от интимных нюансов личного биографического опыта, нежели официальный язык и когнитивно-нормативные карты восприятия и оценки, однако в условиях советского общества именно они давали в руки советским людям средства, с помощью которых они могли осмыслить свою личную жизнь и идентичность и сформировать предпосылки для субъективно-рефлексивного к ним отношения.

Эпистолярное наследие простых советских людей, с которым работала Козлова, было бы в высшей степени опрометчиво рассматриваться как простую аккумуляцию и письменную фиксацию их личного жизненного опыта. При ближайшем рассмотрении личные истории советских актеров выглядят в высшей степени абстрактными и редуцированными к определенным моделям.

Личные модели восприятия и памяти социально обусловлены, это социальные конструкции. Эти конструкции «принуждают» индивида рассматривать

то или иное событие в определенном контексте. Входящие в модель понятия не произвольны, они отображают социальную значимость ситуаций. Биографическая ткань уникальна. Речь идет о разных людях, разных событиях и, несомненно, уникальных эпизодах. Однако они вспоминаются, понимаются, «прочитываются» единообразно, как бы через некоторую призму. Структура дискурса задает последовательность эпизодов, действий, событий и их последовательность. Она позволяет определять объекты и события как релевантные и нерелевантные. Жизнь складывается в историю. Мы постигаем действительность только через наличные модели. (Козлова, 2005: 123)

Такие абстрактные модели, по которым выстраивалась личная история советских людей, в советской культуре были представлены прежде всего *прецедентными текстами*. В условиях зрелого сталинского общества конца 1930-х — начала 1950-х годов главным прецедентным текстом был «Краткий курс истории ВКП(б)», первое издание которого вышло в 1938 году. Этот нормативный текст, сразу же положенный в основу системы политического просвещения и образования в СССР, задавал структуру видения и деления социального мира советского человека¹².

Ментальная модель, заданная этой книгой, — пишет Н. Н. Козлова, — до сих пор присутствует в системе социальных представлений. Он выступал одновременно в роли Писания и в функции ключевой точки на когнитивно-нормативной карте не одного советского поколения. Он воплощал концепцию истории как эсхатологию, телеологию и теорию линейного прогресса, оказывая мощное воздействие на типы личной идентичности в советском обществе. (Козлова, 2005: 124)

На равных с ней, хотя и несколько особняком, стоял второй тип прецедентных текстов советского общества 1930–1950-х годов — соцреалистический роман как аналог агиографий и апокрифов. В отличие от «Краткого курса истории ВКП(б)», который, по словам Н. Н. Козловой, «не терпел разночтений и практически не оставлял места для игры» «соцреалистические романы оставляли пространство для жизненной игры, ибо претендовали на воспроизводство повседневности» (Козлова, 2005: 125). Такие соцреалистические романы представляли собой аги-

12. О том значении, которые придавали советские правящие круги этой книге в качестве главного прецедентного текста советской культуры, свидетельствуют и те тиражи, которыми эта книга издавалась в СССР при жизни И. В. Сталина, которому приписывалось ее авторство. В постановлении ЦК ВКП(б), принятом после выхода в свет «Краткого курса» в 1938 г., говорилось, что эта книга представляет собой «энциклопедию основных знаний в области марксизма-ленинизма» (Постановление ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 г. «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском „Краткого курса истории ВКП(б)“» // Правда. 1938. 15 ноября). По случаю десятилетия выхода в свет «классического труда товарища И. В. Сталина» — книги «Краткий курс истории ВКП(б)», изданной 1 октября 1938 г., — газета «Культура и жизнь» (30 сентября 1948 г.) писала, что только в СССР книга вышла в количестве 34 млн. 219 тыс. экземпляров на 63 языках, а также что она была переведена «почти на все языки мира». Постановления об издании дополнительных тиражей «Краткого курса» неоднократно — в 1946 г., 1950 (дважды) и 1951 (дважды) годах — принимались Политбюро ЦК ВКП(б) и в послевоенные годы (Яковлев, 2005: 29).

ографии, исполненные в жанре образцовой биографии. Они снабжали простых советских людей символическими средствами и ресурсами, и, что немаловажно, нарративными клише и оборотами речи, с помощью которых можно было вести повествование о личной истории и идентичности.

Дореволюционное прошлое, с его ошибками и заблуждениями, представляло перед читателем соцреалистических романов в качестве этапа подготовки безупречного настоящего, в котором противоречия если и сохранились, то только «неантагонистические». Советский «читатель воспринимает биографии героев как „правильные“, ибо читатели сами в свое время конструировали собственную биографию. В этом смысле и в историческом метанарративе, и в соцреалистических романах присутствует „жизненная правда“. Во всяком случае, часть читателей могла бы сказать: да, это обо мне...» (Козлова, 2005: 129). В свою очередь, как отмечала Козлова, сопоставление соцреалистических произведений и тех способов, какими советские люди — авторы биографических заметок — строят нарративы о жизни и о себе, дает возможность ощутить, что чтение не есть пассивный акт. По словам Козловой, прецедентный текст советской культуры являет собой «резервуар форм, которым читатель придает значение. Он производит комбинации с фрагментами и формирует нечто неизвестное в организованном пространстве, создавая бесконечную плюральность значений. Канон не просто задавался сверху, он совместно производился читателями и писателями» (Козлова, 2005: 129–130).

Вообще следует отметить, что советская соцреалистическая литература 1930-х годов, рассчитанная на массового читателя, носила ярко выраженный назидательно-дидактический характер. Она была рассчитана на вполне определенную, прежде всего молодежную, целевую аудиторию и в те годы всегда находила своего верного и преданного читателя. Многие западные интеллектуалы-коммунисты, пожаловавшие в 1930-е годы в сталинский СССР в поисках новой «земли обетованной», отмечали поразительный эффект идентификации тогдашних советских людей с героями соцреалистических романов. Так, Лион Фейхтвангер в своей наделавшей в свое время немало шума книжке «Москва. 1937» помимо всего прочего делился своими впечатлениями о том, что «герои прочитанного романа становятся в Советском Союзе такими же живыми существами, как какое-нибудь лицо, участвующее в общественной жизни. Если писатель привлек к себе внимание советских граждан, то он пользуется у них такой же популярностью, какой в других странах пользуются только кинозвезды или боксеры, и люди открываются ему, как верующие католики своему духовному отцу» (Фейхтвангер, 1990: 195). При желании в этом свидетельстве маститого европейского писателя можно усмотреть подтверждение тезиса Козловой о «вербальном» коде советской культуры. Образцовые биографии советских людей, предлагаемые соцреалистической литературой, и в самом деле часто служили моделями конструирования личной идентичности для советских людей 1930–1940-х гг. Примечательно и то, что такие образцовые соцреалистические произведения биографического плана, как «Как закалялась сталь» Н. Островского и «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, написан-

ные еще в сталинскую эпоху, вплоть до конца 1980-х гг. — по сути дела, вплоть до завершения советского эксперимента и крушения Советского Союза — входили в канон школьного советского образования по отечественной литературе.

Прецедентные тексты советской культуры не ограничивались «Кратким курсом» и соцреалистическими романами. Третий тип прецедентных текстов — это речи и выступления советских вождей, и материалы очередных съездов ВКП(б) — КПСС. Здесь опять-таки на первом месте стояли тексты самого И. В. Сталина, собранные в два канонических сборника: «Вопросы ленинизма», выдержавший несколько изданий, и «О Великой Отечественной войне»¹³. Еще один тип прецедентных текстов советской культуры был представлен кинематографом, где наряду с большими вождями и вождями рангом поменьше в роли главных действующих лиц выступали простые советские люди в изображении любимых народом актеров и актрис, предоставлявшие в распоряжение массового советского зрителя визуализированные образы канона «простого советского человека». Эти же фильмы в качестве прецедентных текстов советской культуры учили советских людей отличать друзей от врагов, преданных партии советских граждан — от лукавых и лицемерных «попутчиков», сознательных противников из числа «бывших» или «социально отсталых» элементов — от сбившихся (или сбитых «врагами») с пути выходцев из рядов «трудового народа». Все эти бинарные классификации составляли неотъемлемый элемент идеологического дискурса власти в 1930-е гг. Не стоит забывать также о средствах массовой информации, прежде всего о газетах и радио, позднее (начиная с 1950-х гг.) — о телевидении, которые тоже не без успеха претендовали на роль ретрансляторов прецедентных текстов и коммуникаторов-посредников. Недаром популярный эпистолярный жанр доминируемых слоев советского общества — не только «письма вождям», но и «письма в газету» или в «редакцию газеты», рассчитанные на обратную реакцию адресата¹⁴. При этом важно помнить и о том, что на телевидении и на радио «многие тексты, как известно, являются результатом предварительной письменной подготовки» (Козлова, 2005: 299). То же самое касается и сценариев советского кинематографа.

Иными словами, в советском обществе язык власти и написанные на нем прецедентные тексты советской культуры выполнял важнейшую работу субъективации и индивидуализации, позволяя людям создавать свои личные истории и выстраивать свою личную идентичность, одновременно помещая ее в более широкий социальный контекст, что давало им возможность соотносить свою собственную жизнь или жизнь своей семьи с жизнью советского общества в целом. «Тексты „классиков“, газетная правда стоят в одном ряду и выполняют одну функцию. Это ключевой слой нового языка, которым можно было обговорить новую, неведомую и непонятную реальность, непонятное сделать понятным» (Козлова

13. В 1951 году, незадолго до смерти И. В. Сталина, было опубликовано 11-е, последнее прижизненное издание его «Вопросов ленинизма».

14. Жанру «письма вождям» в советскую эпоху посвящено несколько интересных исследований Е. В. Суровцевой. Среди них особо выделяются два: Суровцева, 2008, 2010.

2005: 198). При этом, как точно замечает Н. Н. Козлова, доминируемые слои советского общества «не были в состоянии подвергнуть этот язык сомнению, ибо по отношению к языку позиция отсутствует» (Козлова 2005: 199). По сути дела, ее не могло и быть, поскольку официальный советский нарратив, составлявший основу индивидуализации и субъективации советских людей, не содержал в себе ресурсов, позволявших выработать рефлексивное отношение к нему. «За пределы этого языка, — отмечает Козлова, — было очень трудно выйти. Даже тогда, когда люди вопрошали общество вне рамок школьных и прочих программ, общество отвечало им все на том же языке» (Козлова, 2005: 201).

Овладение новым языком выступает в советском обществе в качестве ставки в жизненной игре. От того, насколько успешно человеком овладевал новым идеологем, зачастую зависели не только его карьерные шансы, но и сама жизнь. Если же человек хотел не только выжить, но и «вписаться» в новое общество, соответствовать его требованиям, у него не было иного пути, кроме как овладеть языком власти, сделать его своим. Такое усвоение доминируемого господствующего языка парадоксальным образом приносило с собой освобождение и примирение с самим собой и с обществом. «Умение играть в новые словесные игры, следовать правилам знаково-символического обмена, овладение техниками письма и чтения и стремление вписаться в общество шли рядом. Если ты хотел не только „выжить“, но и вписаться, надо было овладеть языком власти» (Козлова, 2005: 201), — констатирует Козлова.

Как подчеркивает Козлова,

значимость этих языковых игр трудно преуменьшить. Конечно, посредством символических словесных игр реализовывался дискурс власти. Но именно в результате игры складывались риторические коды как общественные правила говорения, кодирующие формы повествования и речи. Создавался социальный (социоисторический) код как система правил высказывания об обществе и о самих себе, система именованья, почва для взаимопонимания между разобщенными индивидами. (Козлова 2005: 203)

Этим языком в советском обществе пользовались все, даже те, кто был «не согласен» или же вроде бы находился «вне игры». «В результате в обществе возникает система взаимопонимания, что вовсе не означало принятия „всеми“ идеологических догм. Советское общество называют обществом идей. Но скорее, оно было обществом слов и игры в слова» (Козлова, 2005: 204).

Что означает «играть в слова»? — спрашивает Козлова. По ее словам, «эту игру можно трактовать как приобщение к прецедентным текстам эпохи. Прецедентными, как известно, называют тексты, значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях и имеющие сверхличностный характер, то есть хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников. Обращение к этим текстам воспроизводится в дискурсивных практиках». К числу таких текстов обычно относят мифы и

предания, библейские тексты, притчи, анекдоты, сказки, тексты художественной литературы, которые можно считать ключевыми текстами эпохи. В этот же ряд, по мнению Козловой, следует включить и тексты больших идеологий. «Знание прецедентных текстов есть показатель не только принадлежности к данной эпохе и ее культуре, но культурной компетентности, тогда как их незнание, наоборот, есть предпосылка отверженности» (Козлова, 2005: 200). Через знание прецедентных текстов советской культуры люди приобщались не только к грамоте или официальной идеологии, но и получали «готовые ответы» на коренные вопросы своего жизненно-практического существования.

По мнению Козловой, советскую цивилизацию можно назвать цивилизацией слов в том смысле, что основной ее код имеет вербальный характер.

Социокультурная возможность построения советской системы как стабильного исторического образования, — отмечает она, — открылась с приходом коммуникативной стратегии письма как системы упорядоченных знаков. Тема строительства нового как тема модерна представляет проект писания на уровне общества в целом, стремящегося конституироваться в качестве чистого листа относительно прошлого, производить себя как свою собственную систему, продуцировать новую историю, переделывать ее в соответствии с моделью прогресса. Эту характеристику можно отнести ко всем обществам, входящим в модерн. (Козлова, 2005: 482)

Спецификой советского модерна сталинской эпохи было то, что ядро советской культуры базируется на проговаривании текстов. Как подчеркивает Козлова, не только производство идеологических текстов и литература, но и музыка, живопись, архитектура лишь во вторую очередь ориентировались на создании особых художественных миров, главным же все же был «пересказ» того, что следовало воспринять с помощью органов чувств. Несмотря на то, что в создании «большой массы» эпохи сталинизма огромную роль сыграли иные средства коммуникации — кино, радио, зрелища, совокупное воздействие которых было во многих отношениях сильнее, чем воздействие печатного слова, «именно печатное слово эксплицитно ставилось в этом обществе превыше всего, быть может, в силу явно просветительской ориентации власти» (Козлова, 2005: 482).

Понимание сталинизма как воплощения просвещенческой утопии является одной из отличительных черт интерпретации истории советского общества, предложенной Козловой.

История СССР, — писала она, — вновь должна стать частью европейской истории хотя бы потому, что тот же сталинизм есть яркое выражение просвещенческой утопии. Это попытка средствами государства рационально упорядочить общество, одновременно преодолевая острые различия, которые возникли в процессе индустриализации российского общества. Она коренилась в традиции социально ориентированного, прежде всего городского общества, которая сделала Просвещение возможным. (Козлова, 2005: 21)

Впрочем, стоит оговориться, что понимание сталинизма как воплощенной просвещенской утопии или просвещения большевиков как «провинциального просвещения „третьей волны“» раскрывает перед нами только одну сторону проблемы советской цивилизации как «цивилизации слов». Другая, не менее важная сторона проблемы связана с тем, что в советском обществе сталинской эпохи конечной социальной инстанцией, гарантировавшей силу и действенность идеологического слова, служили внеречевые практики организованного государственного насилия, воплощенные в собирательной метафоре «машина террора». Как верно замечает Козлова,

обольщаться всесилием «слов» в советском обществе вряд ли следует, да и невозможно. Сила слова гарантировалась не только и не столько идеологией и авторитетом вождей, сколько совокупностью внеречевых практик, которую современные исследователи обозначают метафорой «машины террора». Как известно, в эти машины попадали и успешные игроки в слова. Впрочем, такова история человечества. (Козлова, 2005: 483)

Как только мы втягиваемся в орбиту институционализированного насилия, на котором держался советский модернизационный проект, мы оказываемся в мире, где советский модерн как цивилизация слов и игры в слова утрачивает свою мнимую самодостаточность, но, наоборот, настоятельно требует для своего воспроизводства когда эпизодического, а когда, — особенно в кризисные или переходные моменты, — систематического использования организованного насилия. Упоминание о значении организованного, или институционального насилия, в кризисные моменты буквально «вбивавшего» или «вписывавшего» новые системы классификации и оценок в мышление и телесность «советских людей», подводит нас к вопросу о главных институциональных измерениях советского модерна, который также нашел свое отражение в исследованиях Козловой.

Социальные классификации и роль идеологического языка

Трудно переоценить роль идеологического языка в социальном конструировании принципов организации, видения и деления социальной реальности советского общества. Э. Гидденс выделяет несколько базовых институциональных измерений модерна, особое место среди которых занимают знаковые символические системы, использование которых позволяет организовать взаимодействие между социальными актерами на большом диапазоне пространства и времени, вынося в то же самое время за скобки необходимость их личного знакомства и непосредственных контактов друг с другом (Гидденс, 2010: 22–26, 32–39). Для западного модерна наиболее ярким примером символических знаковых систем служат деньги. Однако деньги — не единственный символ модерна. Огромное значение имеют также средства политической (идеологической) легитимации, Великие или Большие рассказы, как называет их Ж.-Ф. Лиотар (Лиотар, 1998). Еще одно значимое измере-

ние модерна составляет развитый аппарат надзора и централизованный контроль государства над средствами насилия. «Деньги вряд ли можно счесть символом советского модерна, однако второе и третьей институциональные измерения явно присутствуют, компенсируя слабость первого» (Козлова, 2005: 479). То, какие измерения преобладают в том или ином обществе, зависит от истории и устройства самого этого общества, от условий, в которых оно возникло и от характера установившихся в нем преобладающих типов социальной связи. Что касается советского общества, то в нем «язык идеологии имел большее значение в установлении общественной связи между людьми, чем деньги. Еще большее место занимала деятельность централизованных систем насилия» (Козлова, 2007: 477). Выше мы отмечали то немаловажное обстоятельство, что в советском обществе сталинской эпохи именно эти два институциональные измерения образовывали в сочетании друг с другом главную несущую конструкцию, составлявшую организационную матрицу советского модерна.

Специфической отличительной чертой советского общества является то, что в нем «роль идеологического дискурса в установлении порядка мира и самой социальной связи занимает центральное место» (Козлова, 2005: 273). Подобно всем символическим знаковым системам, системы идеологического языка воссоздают реальность, служат моделью видения вещей и мира. Они реорганизуют мир в терминах действий, а действие реорганизуют в терминах мира. По словам Козловой,

идеологический язык *переописывает* мир, как, впрочем, и обычный. Он предлагает и внушает системы классификации, которыми пользуются как привилегированные, так и непривилегированные. Приобретенные способы классификации мира кажутся «естественными», в том и сила классификации. Например, практически все пользовались классификацией *наш человек/ не наш человек*. Но родилась эта классификация в поле доминирующих. Партия-государство как сверхсубъект власти классифицирует людей на нужных и ненужных. (Козлова, 2005: 272)

Идеологический язык играл определяющую роль в социальной конструкции принципов видения, организации и классификации социальной реальности советского общества. Этот момент необходимо принимать во внимание во всех исследованиях истории советского общества, истории не только объективированной, но прежде всего инкорпорированной. Как справедливо замечала Козлова, важнейшая концептуальная и методологическая проблема изучения «советского» связана с тем, что исследователи

часто не задумываются о социальной генеалогии тех классификаций, которые полагают объективными свойствами реальности, тем самым становясь на место трансцендентального субъекта, не замечая исторической и социальной обусловленности когнитивных норм и категорий познания. Теоретические идеализации легко онтологизируются, то есть принимаются за реальность. Именно об этом пишет П. Бурдьё. В дифференцированных обществах

основой когнитивных структур выступает государство. Государство имеет возможность и способность налагать *nomos*, разделяемый «всеми», принципы видения и деления, соответствующие когнитивные и ценностно-оценивающие структуры. Государство, следовательно, выступает основанием молчаливого дорефлексивного согласия относительно значения мира, которое лежит в основе опыта мира как мира здравого смысла. (Козлова, 2005: 26–27)

В особенности это справедливо относительно советского идеократического государства, когнитивные структуры, классификации и деления которого по сию пору продолжают выступать в качестве основы и нормы восприятия и оценки советского общества в историко-социальных исследованиях, будь то знаком плюс, будь то со знаком минус. Не помогают в данном случае и дескриптивно-истолковывающие подходы типа тех, что приняты в этнометодологии и феноменологической социологии, поскольку они предполагают нерелексивное принятие за норму повседневной социальной жизни в советском обществе, в особенности, скажем так, в период «бури и натиска» 1920–1930-х гг. того, что являлось скорее кардинальным отклонением от нормы размеренной и упорядоченной социальной жизни¹⁵. По словам Козловой, ни этнометодологи, ни феноменологи

не поставили вопроса о социальной конструкции самих принципов организации социальной реальности, которую они стремились объяснить. Не обратились также к вопросу о вкладе государства в конструирование принципов конституирования. А ведь именно государство собирает, обрабатывает и перераспределяет информацию и осуществляет теоретическую унификацию. Занимая выгодную позицию Целого, государство берет на себя ответственность за все операции *тотализации* (особенно благодаря проведению переписей, налаживанию статистики) и *объективизации*, через картографию (презентация пространства сверху) или, более просто, через письмо как инструмент аккумуляции знания (архивы, например), а также *кодификации* как рода когнитивной унификации, подразумевающей централизацию и монополизацию в руках чиновников и литераторов. Государство осуществляет унификацию культурного рынка, унифицируя коды (языковые и юридические), гомогенизируя все формы коммуникации, включая бюрократическую (через формы, официальные извещения). Так, государство «выплавляет» ментальные структуры и налагает формы мышления, которые для цивилизованного ума выступают аналогом того, что М. Мосс и Э. Дюркгейм описывают как первобытные классификации. (Козлова, 2005: 27)

Для советского человека государство было вездесущим и играло центральную роль в его жизни. В советском обществе привычные формы классификации мира — это государственные формы. Государство отвечало за все формы класси-

15. Как верно отмечает Ш. Фитцпатрик, жизнь простых людей в Советской России 1930-х гг. «как в их собственном понимании, так и в нашем, не была нормальной: для живущих в чрезвычайное время нормальное существование становилось роскошью. Коренные сдвиги и тяготы 1930-х гг. уничтожили нормальный ход вещей, превратили его в нечто такое, к чему советские граждане могли только неустанно, но, как правило, безуспешно стремиться» (Фитцпатрик, 2001: 7).

фикации — социальные (рабочие, крестьяне, интеллигенты, «бывшие»), гражданские (полноправные и неполноправные граждане, среди которых две самые большие категории — это колхозные крестьяне, лишённые паспортов и «лишенцы» (бывшие чиновники, торговцы, священнослужители, зажиточные крестьяне), лишённые как гражданских прав, так и их символического выражения — паспортов, национальные (титульные и нетитульные нации, русские и «националы», народы «развитые» и «отсталые»), культурные — люди «культурные» и «некультурные» и т. д. Оно организовывало повседневную жизнь советских людей и нормировало их жизненные практики. С помощью официальных делопроизводственных документов советской эпохи

появляется возможность проследить генезис структур и классификаций, понять, как этого и многих других Иванов Ивановичей категоризировали. Как делали *исчислимыми* (Ф. Ницше) и стимулировали к действиям определённого рода. Именно обращение к разнообразным справкам и личным документам позволяет выйти на вопрос о социальном конструировании самих принципов конструирования социальной реальности, которые агенты применяют к социальному порядку. Позиция, занимаемая социальным агентом в социальном пространстве, управляет репрезентациями этого пространства. Мы начинаем понимать, как наш Иван Иванович обрел свою «позицию письма» или принцип видения (*точку зрения*), через какие именно структурные решетки ему надо было для этого *просочиться* (или его *продавали*). (Козлова, 2005: 140)

По этой причине, как показывает Козлова, одна из своеобразных черт советского (сталинского) модерна заключается в том, что, вопреки широко распространённым представлениям, применительно к нему противопоставление официального и «народно-низового», казенной «Истины» с большой буквы и народной «правды жизни» имеет весьма ограниченное применение. Более того, вопрос можно поставить ещё более резко: является ли все то, что, по мнению исследователя или эксперта, говорит «народ», исконной «народной» правдой? В этом стоит усомниться, поскольку есть весьма основательные поводы для предположения, что большая часть из того, что «народ» говорит о себе и своей жизни, внушено ему многочисленными культурными посредниками, окружающими его в современном обществе — учителями, священниками, писателями-«деревенщиками», партийными и профсоюзными пропагандистами, средствами массовой информации и т. д. Зачастую очень трудно отделить представления о «народе», возникшие в самой толще народной жизни, от представлений о «народе», внушенных и переданных ему культурными посредниками в качестве его истинного «образа» и его истинных «мнений» о самом себе. Это справедливо и по отношению к советскому обществу. Анализируя дневники и воспоминания простых «советских людей», Козлова отмечает, что, как правило, их схемы восприятия, классификации и оценки мира совпадают с официальными или оказываются очень близки им. Официальный

нарратив образует здесь своего рода канву, на которую накладывается рассказ о событиях и действиях, составляющих индивидуальную или семейную историю того или иного актера. Иными словами, само представление о противостоянии официальной и народной культур, языка власти, идеологического метадискурса и личного нарратива (повествования) требует глубокого переосмысления, поскольку в советском обществе с его вездесущей ролью государства как регулятора отношений повседневной жизни и производителя норм и смыслов большая часть того, что принято считать низовой народной культурой, оказывается смоделированной или внушенной самим государством, его институтами и не в последнюю очередь — его бюрократическими и культурными авторитетами.

Иными словами, применительно к «советским людям», в особенности сформировавшимся или жившим в сталинскую эпоху, сложно, если вообще возможно поставить вопрос о народной «правде жизни» в противоположность официальному идеологическому нарративу, по той простой причине, что когнитивно-нормативная карта восприятий советского человека формировалась под преобладающим влиянием советского государства и его культурных посредников — учителей, преподавателей, пропагандистов, средств массовой информации и т. д.¹⁶ Изучение дневников, воспоминаний и биографических заметок простых советских людей дало Н. Н. Козловой возможность выдвинуть теоретически многообещающую гипотезу о том, что присущие им когнитивные карты восприятия и оценки, а также структуры повествования о жизни не были дистанцированы от советского общества, но, напротив, воспринимались их носителями как естественная данность. В силу этого данные когнитивно-нормативные модели были практически лишены критической дистанции по отношению к советскому обществу и легитимирующему его языку самоописаний. «Логика официальной номинации и индивидуально-го языка агента в данном случае совпадают» (Козлова, 2005: 142), — отмечает Козлова. Действующие лица превращаются здесь в агентов легитимного социального порядка, все усилия которых уходят на его поддержание и воспроизводство. Для значимых новаций не остается не сил, ни желаний, ни соответствующих ресурсов; отсюда — своеобразный социально-психологический консерватизм доминируемых слов советского общества, продиктованный неспособностью инициировать «изменение традиции», продиктованной сверху и превратившейся в основу социальной игры.

В советском обществе сталинской эпохи через участие в определенных языковых играх, причем вовсе не обязательно связанных с *официальными формами использования* официального языка (подчеркнем этот момент особо), происходит воспроизводство социального порядка и официальных идеологических форм его легитимации. Языковые игры — это не только игра в слова, они образуют определенные *формы жизни*, задающие социальный контекст и социальную размерность человеческой жизни. Они входят в плоть и кровь простых советских людей, осо-

16. Постановка вопроса о «назначении „народа“» как ставке в символической борьбе интеллектуалов является заслугой Пьера Бурдьё (Бурдьё, 1994: 222–230).

бенно тех из них, кто лишь начинал делать карьеру и являлся «свежим» человеком (еще одно необычайно удачное выражение Козловой) не только в советской элите, но и «свежим» горожанином с недавним крестьянским или «местечковым» прошлым. Будучи записанными на их теле, инкорпорированными в него, эти дискурсивные и нарративные формы советского новояза становятся своего рода текстурой новой советской идентичности, обретаемой миллионами людей, стремящихся к лучшей жизни. Через письмо как форму субъективации они движутся к деятельности, к принятию определенных форм жизни в качестве само собою разумеющихся. Такие официальные и неофициальные формы использования официального идеологического дискурса как источника формирования социальной идентичности и субъективности, равно как и их непреднамеренные последствия, составляют одну из примечательных особенностей советской цивилизации, заслуга обращения внимания на которую, безусловно, принадлежит Козловой.

Советский модерн, или Иная современность

Каковы же те выводы общего характера, к которым приходит Козлова в результате своих социально-антропологических исследований советского общества? Прежде всего, она категорически утверждает, что 70 лет советской истории вовсе нельзя считать ни «черной дырой», ни аномалией в социально-историческом развитии, ни разрывом с современностью¹⁷. Совсем наоборот, подчеркивает она, «в соответствии с антропологическими критериями можно сделать вывод, что в модерн мы вошли. Темы современности звучат внятно» (Козлова, 2005: 476). Говоря о «темах современности», Козлова имеет широкое присутствие в опыте советских людей таких нормативно-когнитивных тем современности (П. Бергер), как Абстракция, Будущность, Индивидуация, Освобождение и Секуляризация (Berger, 1977: 70–80). «Эти темы как бы пронизывают человеческую жизнь во всех ее телесно-духовных жизненно-практических проявлениях, причем их исторические реализации не только приносят блага, но и порождают трагические дилеммы» (Козлова, 2005: 476). Речь идет не только о способности советских людей оперировать практи-

17. По поводу такого обличительного отношения к советскому прошлому Козлова в свое время совершенно справедливо писала, что он очень часто основан на сознательном (или бессознательном) забвении пишущими подобные строки своей собственной жизненной и социальной траектории, а нередко — и своей фамильной истории, и обычно представляет собой не что иное, как ставку в символической борьбе, которая, несмотря на то, что по сути дела она является уловкой («уж мы то знаем, что это было и какой ценой всё это оплачено»), тем не менее не перестает быть ставкой в подобной борьбе, связанной, как правило, с сознательной «реконверсией» своего жизненного опыта с тем, чтобы занять более выигрышное — по отношению к реальным и воображаемым оппонентам — положение в поле интеллектуальной игры, изменить властный «баланс сил» в свою пользу. По меткому замечанию Козловой, «не первый раз приходится убеждаться: „Рабовладельцы“... ГУЛАГ... лесоповал... „тройка“... „вся страна на костях“...» (Кулиса НГ, № 2, 1997) есть разменная карта в символической борьбе. Цель этой борьбы — изменение балансов власти, объективированных в физическом пространстве и символически означенных. Речь идет о соперничестве разных частей доминирующего класса, которые имеют как общую историю, так и общее социальное пространство» (Козлова, 2005: 456).

ческими абстракциями, или же осмыслять свои индивидуальные достижения и свое место в обществе с помощью языковых кодов, заданных абстрактными инстанциями власти, но и о более тонких материях, напрямую касающихся личной индивидуальности и субъектности человека. Если не у всех, то у многих появляется представление о своей жизни как о личной биографии¹⁸. Сама жизнь индивида выстраивается и осмыляется в терминах карьеры, понимания того, кем он был (рабочим, крестьянином, детдомовцем и т. д.) и кем ему довелось стать (ответственным работником, полярным летчиком, стахановцем или стахановкой, инженером-орденоносцем, военным, известным ученым и т. д.). Жизненный цикл личности складывается из последовательно проходимых этапов, внешним коррелятом которого становится календарь, в котором обязательно находят отражение отголоски внешних событий: родился в год смерти Сталина, закурил в тот год, когда пошел в армию и т. д. Безусловно, «представление о „Я“ как о рефлексивном проекте возникает далеко не у всех. Не каждый есть субъект. Однако человек, который предпринял усилие письма, произвел субъективное действие» (Козлова, 2005: 485). В любом случае, заключает Козлова, новый биографический способ идентификации складывается у большой массы людей, и это есть один из важнейших симптомов вхождения в современность.

Индивидуация, появление самостоятельных и рефлексивных социальных актеров — одна из главных, можно сказать, сквозных, тем модерна. Она вовсе не ограничивается рыночно-капиталистическими обществами западного типа. Главное, что необходимо для запуска и успешного осуществления процесса индивидуации и субъективации — это наличие абстрактных символических знаковых систем, с помощью которых социальные актеры могли бы конструировать свою личную и коллективную идентичность.

Как следствие отделения человека от коллективных общностей традиционного типа возникает Индивидуация, самым тесным образом связанная с абстракцией. Индивид способен воспринять себя как «отдельную личность» — сложную и уникальную, с собственной неповторимой судьбой — именно вследствие возникновения абстрактных социальных мегаструктур, которые сами по себе вряд ли могут обеспечить потребность в личном участии, в обоюдной теплоте, которую испытывает каждый человек. В случае советского общества в качестве такой системы выступает марксистско-ленинская идеология. (Козлова, 2005: 477)

Важнейшей особенностью цивилизации модерна на начальных фазах ее становления является также то, что, будучи направленной на демонтаж традиционных или досовременных социальных форм и на замену их современными индустриальными формами, она одновременно создает новые социальные формы, которые являются основой для формирования новой идентичности.

18. «Сам факт появления тех биографических нарративов, на которых построена основная часть работы, — пишет Козлова в заключительной части своего исследования „Советский человек“, — связан с непрерывностью самотождественного „Я“, которое постоянно присутствует в повествовании. Автобиография составляет ядро самоидентичности в условиях современной социальной жизни» (Козлова, 2005: 485).

стриальными формами, ее успех, — пусть и не в критической степени, — зависит от способности использовать в своих целях человеческий капитал, сложившийся в традиционном досовременном обществе, его антропологические, моральные и культурные ресурсы. Это касается не только западной¹⁹, но и восточной (Япония, Китай, страны Юго-Восточной Азии) и советской (сталинской) цивилизации модерна. Это — и готовность к добросовестному труду, и что немало важно — к отложенному потреблению, озабоченность честью фирмы и желание внести посильный вклад в успех своего трудового коллектива, по сути дела, тот самый пресловутый «командный дух», о котором так много писали и говорили на Западе в 1950–1960-е годы, но который прекрасно умели без излишней шумихи использовать и советские «ответственные работники», и китайские коммунисты (достаточно вспомнить известный лозунг времен «большого скачка» — «Десять лет напряженного труда — десять тысяч лет счастья»)²⁰, и капитаны японской индустрии и бизнеса. Отличительной чертой советского (сталинского) модерна является то, что в поощрении такого рода жизненно-практических мотиваций и поведенческих установок огромную роль играли не только традиционные моральные установки сельского мира, но и наложенные на них абстрактные идеологические системы легитимации, оперирующие императивом самопожертвования и коллективной взаимопомощи ради абстракции светлого Будущего. Умение пользоваться практическими абстракциями и строить свою жизнь с оглядкой на них также относится к числу базовых характеристик человека цивилизации модерна. Советский модерн с его «экономикой жертвы» и культивированием аскезы ради светлого будущего вполне органично вписывается в этот ряд.

Социальные исследователи проблем рациональности отмечают, — писала Козлова, — что условием и фундаментом индустриализации является человек, способный не просто к дисциплине и организованности самим по себе, но к рациональному поведению, основанному на дисциплине. Для рационального поведения важно — как результат — не потребление «здесь и

19. О значении традиционного человеческого капитала в его моральной, социальной и культурной формах для процессов модернизации старых европейских обществ кратко, но в высшей степени внятно пишет Э. Хобсбаум в своем известном труде «Эпоха крайностей: 1914–1991», причем известный английский историк-марксист именно с исчерпанием этого человеческого ресурсного капитала связывает важнейшие кризисные тенденции в развитии западного мира последних 50 лет. «Капитализм, — пишет английский историк в предисловии к своей работе, — являлся долговременной и непрерывно революционизирующейся силой. По логике вещей он должен был закончиться с разрушением тех частей докапиталистического прошлого, которые считал удобными и очень важными для своего развития. Он должен был закончиться после того, как был срублен по крайней мере один сук из тех, на которые он опирался. Однако этот процесс идет уже с середины двадцатого столетия. Под влиянием небывалого экономического подъема «золотой эпохи» и последующих лет, вызвавших самые кардинальные социальные и культурные изменения в обществе со времен каменного века, этот сук начал трещать и ломаться. В конце двадцатого века впервые появилась возможность увидеть, каким может стать мир, в котором прошлое, включая прошлое, перешедшее в настоящее, утратило свою роль» (Хобсбаум, 2004: 26).

20. Классическим примером рассмотрения данного круга проблем на примере коммунистического Китая может служить исследование Эндрю Уолдера: Walder, 1986.

теперь», а отсрочка вознаграждения с целью накопления и инвестиций. Советская культура также диктовала «экономике жертвы» и аскетизм. Вот она, наша аскеза, об отсутствии которой скорбят исследователи провеберовской ориентации! Потребление отложено до «светлого коммунистического будущего». (Козлова, 2005: 481)

Правда, оговаривается Козлова, «накапливал... прежде всего Левиафан государства» (Козлова, 2005: 481).

Крайне примечательна та суммарная характеристика, которую Козлова дает советской современности — «модерн без гражданского общества» (Козлова, 2005: 487). Понимание современности как многомерного социального и культурного явления, рождающегося в качестве особой социально-экономической и культурно-религиозной констелляции в странах Западной Европы в Новое время, но охватывающего затем весь мир, позволяет отказаться от представлений о современности как о некоем фиксированном составе определенных социально-типологических, культурных и антропологических характеристик. В данном случае размышления Козловой, контекстуально привязанные к переосмыслению опыта советского общества имеют, на наш взгляд, более широкий подтекст, связанный с дискуссией о «множественной современности» или о «множестве современностей» (*multiple modernities*), вопрос о которой широко дебатировался в социальных и гуманитарных науках в 1990-е годы²¹. В этот период проблема современности и ее состава как предмета социальной теории все чаще стала рассматриваться под новым углом зрения, что во многом было обусловлено как переосмыслением опыта социалистических экспериментов в XX веке, так и вступлением во второй половине этого же века на путь интенсивной модернизации целого ряда ведущих стран Азии, Африки и Латинской Америки. Это заставило многих специалистов социальных наук задаться вопросом о том, насколько правомерно продолжать рассуждать о существовании одной-единственной западной современности, призванной выполнять роль нормативного образца социального развития для всех стран и народов мира. В результате в социальных науках в 1990-е годы проблема современности стала рассматриваться через призму вопроса о множественности моделей современного общества и, соответственно, о наличии множественности путей к современности и множества способов быть современными²².

21. В качестве наиболее показательных примеров подобного рода дискуссий можно указать, в частности, на такие работы, как: Touraine, 1988; Taylor, 1995; Eisenstadt, 2000. В настоящее эти дебаты о «множестве современностей» перекочевали на почву историографических споров об общем и особенном в истории Российской империи/СССР/России. Из последних публикаций на эту тему отметим обзорную работу Майкла Дэвида-Фокса, в которой подводится итог дискуссиям 2000-х годов в зарубежной англоязычной историографии советского прошлого и намечаются новые перспективы исследований: David-Fox, 2015: 21–47. Я выражаю свою признательность Евгению Блинову за то, что он обратил мое внимание на эту статью.

22. Полемически заостряя вопрос о «множестве современностей», английский политический теоретик Джон Грей писал в начале «нулевых» годов, что «существует много способов быть современными. Усвоение науки и использование новых технологий современными обществами не сопровождается принятием ими одних и тех же ценностей. Идея о том, что современные общества в общем и целом

Эти новые веяния в западной социальной теории 1990-х — начала 2000-х годов нашли свой отзвук и подтверждение и в социально-антропологических исследованиях советского общества, которыми занималась Козлова.

Коль скоро модерн уже не видится более равным капитализму, а капитализм — протестантизму, — писала она, — то вполне можно помыслить себе модерн без гражданского общества. Недаром сегодня социальные теоретики во все большей степени осознают, сколь узки те социально-теоретические рамки, в которых существует гражданское общество, человек экономический и человек политический. Во всяком случае, чем глубже и разностороннее будет понимание того, что уже произошло, тем лучше можно понять, что с нами происходит. (Козлова, 2005: 487)

Таким образом, на основе результатов, полученных Козловой в рамках ее проекта исследования «советского человека», складываются предпосылки для построения *новой теоретической рамки*, позволяющей говорить о советском обществе как об особом типе общества модерна, а о советской модернизации — как об особом пути модернизации, непреднамеренным результатом которого стало появление нестандартной (по сравнению с западным образцом или образцами) модели современного общества — «модерна без гражданского общества».

Вместо заключения

Пришла пора подвести итоги. Как мы видели, в центре исследовательского проекта Н. Н. Козловой, ориентированного на изучение «советского человека», стоит понимание советского общества как особого типа цивилизации модерна и непреднамеренного социального изобретения. Главный вопрос, на который она стремилась найти ответ в рамках своего исследовательского проекта, — это вопрос о том, как и чем держалось советское общество и почему в конечном итоге оно перестало существовать. «Любое социальное изменение происходит тогда, — писала Козлова, — когда действие перестает ориентироваться на представление о дей-

являются одинаковыми по всему миру, которую продолжают защищать фундаменталисты Просвещения, не находит себе подтверждения в истории. Подобно многим надеждам, завещанных нам Просвещением, она отбрасывает от себя призрачную тень монотеизма» (Gray, 2000: 24). Ему вторит ведущий социальный теоретик современности Ч. Тейлор. По его словам, «если определять современность на уровне институциональных изменений, таких, как распространение современного бюрократического государства, рыночной экономики, науки и техники, то легко питать иллюзии насчет того, что современность — это единый процесс, который обречен происходить везде в одних и тех же формах, и вести наш мир к конвергенции и единообразию». Напротив, как подчеркивает Ч. Тейлор, сегодня «мы должны говорить о „многообразных современностях“, то есть о различных путях и способах возникновения и бытования институциональных форм, которые являются совершенно необходимыми для современности» (Taylor, 2004: 195). Достоинство подхода Тейлора к анализу культурных противоречий современности заключается в том, что институциональному подходу к исследованию современности, который послужил теоретической основой для разнообразных теорий модернизации, он противопоставляет культурно-цивилизационный подход, основанный на изучении социального воображаемого (social imaginary) как современного Запада, так и досовременных обществ (Taylor, 1995).

ственности данного социального порядка. Любой порядок кристаллизуется, когда возникает и постоянно воспроизводится вера в такую действенность. Своими действиями актеры социальной драмы воспроизводят и изменяют сами условия действия. Свойства социальной системы лишь в ограниченной степени зависят от сознания и воли индивидов. Однако направленность социальных процессов не может не быть вызвана повседневными действиями, повседневными решениями множества рядовых социальных агентов, их активностью. Иначе общество попросту не могло бы существовать» (Козлова, 2005: 21–22). В рамках модели советского общества как непреднамеренного социального изобретения классические социально-теоретические подходы (в частности, теория социального порядка М. Вебера) вступают в сложный теоретический симбиоз с постклассическими социальными теориями Н. Элиаса, М. Фуко, М. де Серто и П. Бурдьё. На кону в данном случае стоит поиск адекватных мыслительных моделей и общей теоретической рамки понимания взаимоотношений между индивидом и обществом. Все эти конфигурации социально-теоретического знания в их сочетании друг с другом работают на «переосмысление советского общества как цивилизации, как *социального изобретения*» (Козлова, 2005: 475). Неотъемлемой составляющей такого переосмысления советского общества становится переосмысление представлений о *выживании*. Суть его заключается в том, что «выживание» в советском обществе, прежде всего сталинской эпохи, перестает пониматься как исключительно существование «на элементарном уровне». Вместо него происходит переход к пониманию выживания как воспроизводства — и социальной системы в целом, и гомологичных ей социальных и человеческих типов. Наше теоретическое мышление сможет полностью овладеть социальным опытом советского прошлого только в том случае, если оно осуществит этот переход от одного круга представлений о выживании к другому.

Характеристика советского общества как социального изобретения вовсе не подразумевает, что это общество, его институты, социальные установления, ритуалы и практики изобретены каким-то конкретным человеком или отдельными группами людей. Речь идет о том, что в процессе совместной жизни людей благодаря взаимодействиям между ними возникает функциональная сеть взаимозависимых индивидов, которая движется в определенном направлении и обладает своими собственными закономерностями, которые — в качестве специфических закономерностей отношений между отдельными людьми — никто конкретно не определяет. Это фундаментальное сочленение взаимозависимых функций, структура и схема которого придает человеческому объединению его специфический характер, не есть творение отдельных индивидов. В этом смысле советское общество как социальное изобретение — это побочный продукт, не имеющий автора и являющийся непреднамеренным результатом функционального переплетения отношений и взаимодействий между отдельными индивидами.

Как уже было отмечено выше, понятие социального изобретения тесно связано с понятием и метафорой «игры». Обращение к понятию и метафоре «игры» дает

возможность понять советское общество как общую игру по определенным правилам, в которую играли люди разного социального происхождения, обладавшие разными стартовыми ресурсами, т. е. разными объемами и формами капитала. Использование понятия и метафоры игры позволяет исследователю объяснить, как в одном игровом пространстве и по одним правилам начинают действовать люди, разительно друг на друга непохожие. Важнейшей особенностью игры в советское общество, по Козловой, было то, что исходно эта игра не имела готовых правил: правила изобретались на ходу игроками, причем то, какие правила получали права гражданства в игре, зависело от подвижного баланса или балансов властных отношений, складывавшихся между различными участниками игры в ее процессе. Такая теоретическая рамка видения советского общества позволяет перейти от его рассмотрения через призму модели системы тоталитарного господства к его рассмотрению через призму модели социальной грамматики, очерчивающей общее игровое пространства и задающей правила игры в советское общество. Эти правила были разными на разных этапах его истории и для разных категорий игроков. Теоретическая концептуализация этих правил только начинается, и она составляет совершенно особую задачу. Более того, напрашивается предположение, что подобные правила эксплицитно формулируются лишь *post factum*, когда игра уже завершена, и притом не самим игроками, а социальным исследователем, изучающим эти былые игры в определенное общество с позиций сегодняшнего дня. Иными словами, «существовавшую систему правил игры в советском обществе мы начинаем описывать достаточно внятно только сейчас, когда игра уже закончилась» (Козлова, 2005: 71).

Использование понятия «игра» для осмысления истории советского общества влечет за собой еще и переосмысление характера взаимодействия между её участниками. Оно связано с отказом от представления о рационально действующем субъекте и требует его замены на понятие «актора» или «актера», которое, подобно понятию «игра», ориентировано на объяснение социальной деятельности людей, не отличающейся целерациональностью. В рамках такого типа «плотного описания» (К. Гирц) социальной реальности не остается места для понятия человеческого «Я», независимого от занимаемых им конкретных социальных позиций. То же самое касается и использования понятия «функция», которое при анализе функциональных сплетений отношений и взаимодействий между индивидами целесообразно использовать не в субстантивном качестве (функция для общества), а только в реляционном, в качестве атрибута отношений между людьми.

Советскую цивилизацию Козлова определяет как цивилизацию слов или игры слова на том основании, что ее основной цивилизационный код имеет вербальный характер. Она называет его «комплексом „Искры“» в память о нелегальной партийной газете большевиков. Комплекс «Искры» диктуется разделяемой как элитой, так и массой советского общества беззаветной верой в безграничную силу печатного слова. Игру в слова в советском обществе можно трактовать как приобщение к прецедентным текстам эпохи и их воспроизводство в дискурсивных

практиках. Для советского человека сталинской эпохи такие прецедентные тексты — это прежде всего тексты марксистско-ленинской идеологии и официальной «соцреалистической» литературы. Если их знание служит критерием культурной компетенции, то их незнание есть предпосылка отверженности и исключения из общества, по крайней мере из его привилегированных слоев.

Согласно Козловой, в советском обществе сталинской эпохи вербальное письмо становится не только принципом организации социальной иерархии, но и условием выделения из массы нового социального слоя — *советского среднего класса*. Письмо, будучи образцом опосредованного опыта, позволяет проследить процессы как становления и конструирования социальной идентичности советских людей, так и установление базовых социальных связей. Определяющую роль в этих поисках новой социальной идентичности играет освоение правил и навыков нормативного идеологического письма. Участие выходцев из «низов» советского общества в новых языковых риторических играх как элемент новых практик ведет к смене их *габитуса* и обретению нового социального положения в обществе. При этом в противоположность широко распространенным представлениям, Козлова доказывает, что тот язык, который многие исследователи советского общества определяют как «тоталитарный», обладал потенциалом высвобождения и складывания новой субъектности. Первостепенное место, которое печатное слово занимало в советской культуре, Козлова связывает с просветительской ориентацией советской власти.

Просветительская политика большевиков, — писала Козлова, — ставила целью преобразование общества на основе приобщения масс к письму, чтению, печати. Однако технология письма и печати в принципе элитарна, она не может приобщить всех». В этом Козлова усматривает одно из коренных противоречий советской культуры с ее установкой на всеобщее просвещение. Недаром, замечает она, «успешно овладевшие практикой письма составляли отнюдь не *маргинализованную массу*, но советский средний класс. (Козлова, 2005: 482–483)

В социальном конструировании принципов организации советского общества, а также начал видения, деления и классификации присущей ему социальной реальности огромную роль играл идеологический язык. Цивилизация модерна немислима без абстрактных систем, организующих взаимодействие между людьми на больших диапазонах пространства и времени. Отличительной чертой советского общества сталинской эпохи является то, что в нем идеологический легитимирующий дискурс в виде марксистско-ленинской идеологии и централизованный аппарат государственного насилия имели преобладающее значение в установлении социального порядка и социальных связей между людьми. Идеологический язык не только переописывает мир, реорганизуя его в терминах действия, но и внушает определенные классификации и формы восприятия и оценки, которые

имеют хождение как в привилегированных, так и в непривилегированных слоях советского общества.

Правда, говоря о роли идеологического языка в производстве и воспроизводстве советского общества, не стоит забывать и о том, что его на первый взгляд безраздельная гегемония в обществе подкреплялась деятельностью государственного аппарата насилия, той самой «машины террора», которая в периоды отсутствия доклического согласия в совместной жизни «советских людей» силой вбивала в их сознание и тело формы мышления и классификации «нового мира», перемалывая при этом в своих жерновах как тех, кто действительно был «не согласен», так и тех, кто искренне играл в игру под названием «советское общество». Некоторым из тех, кто попал в эти жернова, посчастливилось выжить, однако зачастую ценой такого счастливого искупления становилось превращение героя в человека-призрака, «битого жизнью» — еще одно неподражаемое выражение родом из сталинской эпохи, — со встроенной «языковой машинкой» внутри, позволявшей ее обладателю безошибочно точно реагировать на импульсы и сигналы, исходящие от властных инстанций.

В рамках советского модерна основой нормативно-когнитивных структур повседневности выступает государство-партия. «Государство имеет способность и возможность налагать и внедрять универсальным способом, в пределах заданной территории, закон, принцип видения и деления, соответствующие когнитивные структуры и структуры оценки» (Козлова, 2001: 222). Иными словами, нормативно-когнитивная карта восприятий и оценки советского человека сталинской эпохи формировалась под преобладающим влиянием советского государства-партии и его идеологических и культурных институтов и посредников. Обычные формы классификации в советском обществе — это государственные формы. Они воспринимаются советскими людьми как естественная данность. Государство здесь выступает основанием молчаливого дорефлексивного согласия относительно смыслового значения мира, которое составляет основу повседневного опыта мира как мира здравого смысла. В этом теоретическом поле складываются предпосылки для исследования режимов функционирования символической власти в рамках советского общества, в особенности тех ее аспектов, которые сопряжены с превращением символической власти во власть конститутивную, т. е. во власть создавать новую социальную реальность при помощи слов, используемых для обозначения или описания индивидов, групп или институтов.

Наконец, — *the last but not the least*, — мы никогда не поймем, почему спор о советском модерне принял сегодня столь острый характер, если при его обсуждении останемся исключительно на теоретической почве. По вопросу советского прошлого и в академических кругах, и в российском обществе в целом в последние десятилетия всегда шла ожесточенная символическая борьба, ставки в которой были необычайно высоки. Споры по поводу советского наследия не утихают и сегодня, сохраняя при этом когда ярко выраженную, а когда — завуалированную идеологическую окраску. Хотя эти споры не имеют прямого отношения к теоретическому

осмыслению и освоению советского прошлого, они, тем не менее, представляют собой ставки особого значения в символической борьбе различных фракций внутри доминирующего класса современной России. На кону в этой символической борьбе стоит изменение властного баланса сил. Хотя на первый взгляд тяжба идет о советском прошлом, настоящей ставкой здесь является российское будущее. Поэтому без учета значения и масштаба этой символической борьбы характеристика современных дебатов по поводу истории советского общества была бы неполной.

Такова лишь небольшая часть того круга проблем и вопросов, с которыми сталкивается сегодня социально-научное исследование «советского прошлого», в изучение которого, по нашему глубокому убеждению, открытия и новации, оформившиеся в рамках проекта исследования «советского человека» Н. Н. Козловой, способны внести свой достойный вклад. Еще раз оговоримся, что в данном случае речь идет именно об общей теоретической рамке, то есть об определенном видении истории советского общества, концептуальные и эвристические достоинства и недостатки которой заслуживают дальнейшего обсуждения. Представляется, что для выработки адекватного взгляда на историю советского общества внимательное чтение работ Н. Н. Козловой может и сегодня дать немало ценных указаний и теоретических ориентаций не только нынешним, но и будущим исследователям советского «прошлого».

Литература

- Баберовски Й.* (2007). Красный террор: история сталинизма / Пер. с нем. А. Г. Гаджикурбанова. М.: РОССПЭН.
- Баберовски Й.* (2014). Выжженная земля: сталинское царство насилия / Пер. с нем. Л. Ю. Пантиной. М.: РОССПЭН.
- Бурдые П.* (1994). Назначение «народа» // *Бурдые П.* Начала / Пер. с франц. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos. С. 222–230.
- Вебер М.* (1990). Основные социологические понятия / Пер. с нем. М. И. Левиной // *Вебер М.* Избранные произведения. М.: Прогресс. С. 602–643.
- Гидденс Э.* (2010). Последствия современности / Пер. с англ. Г. К. Ольховикова и Д. А. Кибальчича под ред. Т. А. Дмитриева. М.: Праксис.
- Козлова Н. Н.* (2005). «Советские люди»: сцены из истории. М.: Европа.
- Козлова Н. Н.* (2007). Социальная философия // *Губин В. Д., Сидорина Т. Ю.* (ред.). Философия. М.: Гардарики. С. 455–482.
- Лиотар Ж.-Ф.* (1998). Состояние постмодерна / Пер. с франц. Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя.
- Суровцева Е. В.* (2008). Жанр «письма вождю» в тоталитарную эпоху (1920-е — 1950-е гг.). М.: АИРО-XXI.
- Суровцева Е. В.* (2010). Жанр «письма вождю» в советскую эпоху (1950-е — 1980-е гг.). М.: АИРО-XXI.

- Фейхтвангер Л.* (1990). Москва. 1937 // Два взгляда из-за рубежа. М.: Политиздат. С. 164–259.
- Фитцпатрик Ш.* (2001). Повседневный сталинизм: социальная история Советской России в 30-е годы: город / Пер. с англ. Л. Ю. Пантиной. М.: РОССПЭН.
- Хобсбаум Э.* (2004). Эпоха крайностей: короткий двадцатый век (1914–1991) / Пер. с англ. Е. М. Нарышкиной и А. В. Никольской. М.: Независимая Газета.
- Элиас Н.* (2001). Общество индивидов / Пер. с нем. А. А. Антоновского, А. И. Круглова, А. В. Иванченко. М.: Праксис.
- Юрчак А.* (2016). Это было навсегда, пока не кончилось: последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение.
- Яковлев А. Н.* (ред.). (2005). Сталин и космополитизм. 1945–1953: Документы Агитпропа ЦК. М.: МФД, Материк.
- Arendt H.* (1951). *The Origins of Totalitarianism*. New York: Schocken Books.
- Aron R.* (1965). *Démocratie et Totalitarisme*. Paris: Gallimard.
- Berger P. L.* (1977). *Toward a Critique of Modernity* // *Berger P. L. Facing Up to Modernity: Excursions in Society, Politics and Religion*. New York: Basic Books. P. 70–80.
- David-Fox M.* (2015). *Multiple Modernities vs. Neo-Traditionalism: On Ongoing Debates in Russian and Soviet History* // *David-Fox M. Crossing Borders: Modernity, Ideology, and Culture in Russia and the Soviet Union*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. P. 21–47.
- Eisenstadt S. N.* (2000). *Multiple Modernities* // *Daedalus*. Vol. 129. № 1. P. 1–29.
- Elias N.* (2006). *Was ist Soziologie?* Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Fainsod M.* (1958). *Smolensk under Soviet Rule*. Cambridge: Harvard University Press.
- Fitzpatrick S.* (1979). *Education and Social Mobility in Soviet Union, 1921–1934*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fitzpatrick S.* (1982). *The Russian Revolution, 1917–1932*. Oxford: Oxford University Press.
- Fitzpatrick S.* (1992). *The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Fitzpatrick S.* (2008). *The Russian Revolution*. Oxford: Oxford University Press.
- Friedrich C. J., Breziński Z. K.* (1956). *Totalitarian Dictatorship and Autocracy*. Cambridge: Harvard University Press.
- Gayer M., Fitzpatrick S.* (eds.). (2009). *Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gray J.* (2000). *Two Faces of Liberalism*. New York: New Press.
- Inkeles A., Bauer R.* (1959). *The Soviet Citizen: Daily Life in a Totalitarian Society*. Cambridge: Harvard University Press.
- Kotkin S.* (1995). *The Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization*. Berkeley, London: University of California Press.
- Loewenstein K.* (1957). *Political Power and the Governmental Process*. Chicago: Chicago University Press.
- Radcliff-Brown A. R.* (1948). *Natural Science of Society*. Glencoe: The Free Press.

- Taylor C.* (1995). Two Theories of Modernity // Hastings Center Report. Vol. 25. № 2. P. 24–33.
- Taylor C.* (2004). Modern Social Imaginaries. Durham: Duke University Press.
- Touraine A.* (1988). Modernity and Cultural Specificities // International Social Science Journal. № 118. P. 443–457.
- Walder A. G.* (1986). Communist Neo-Traditionalism: Work and Authority in Chinese Industry. Berkeley: University of California Press.

Rewriting the Soviet Past: On the Research Program of Natalya Kozlova's "Study of the Soviet Man"

Timofey A. Dmitriev

Associate Professor, Faculty of Humanities, National Research University High School of Economics

Address: Myasnitskaya str. 20, 101000 Moscow, Russian Federation

E-mail: tdmitriev@hse.ru

The article attempts to outline new theoretical approaches to the study of the Soviet past, based on the cultural-anthropological research program of "the Soviet man" as proposed by N. N. Kozlova. Our assumption is that, in the implementation of her research program, Kozlova was trying to solve a double problem: on the one hand, to overcome the ideological framework posed by the concept of totalitarianism as the basic model of understanding Soviet society, and on the other, to understand Soviet society as an unintended social invention. In the framework of the model of Soviet society as an unintended social invention, classical social-theoretical views and conceptions enter into a complex theoretical alliance with the postclassical social theories of Norbert Elias, Michel Foucault, Michel de Certeau, and Pierre Bourdieu. The purpose of this strategy of research is to find adequate intellectual models and a basic theoretical framework for understanding the relationship between the individual and society. The qualification of the Soviet society as a social invention implies that a functional interdependent network of individuals arises in the course of common life of the individuals from the interactions between them. This network moves in a certain direction and has its own regularities, which, as specific patterns of relations between individuals, is not defined exactly by any one individual. The role of the basic model for the understanding of such a functional network of interdependent individuals does not play the model of the system, but the model of the common game and the social grammar, which is at the core of this game. Special attention is paid to the assessment of the heuristic potential of Kozlova's hypothesis of Soviet civilization as a special type of modern society, and its importance for the studies of Soviet society and culture.

Keywords: Soviet studies, Soviet society, homo soveticus, social identity, N. Kozlova, cultural-anthropological research

References

- Arendt H. (1951) *The Origins of Totalitarianism*, New York: Schocken Books.
- Aron R. (1965) *Démocratie et Totalitarisme*, Paris: Gallimard.
- Baberowski J. (2007) *Krasnyj terror: istorija stalinizma* [The Red Terror: A History of Stalinism], Moscow: ROSSPEN.

- Baberowski J. (2014) *Vyzhzhennaja zemlja: stalinskoe carstvo nasilija* [The Scorched Earth: The Stalinist Realm of Violence], Moscow: ROSSPEN.
- Berger P. L. (1977). *Toward a Critique of Modernity. Facing Up to Modernity: Excursions in Society, Politics and Religion*, New York: Basic Books, pp. 70–80.
- Bourdieu P. (1994) *Nachala* [Beginnings], Moscow: Socio-Logos.
- David-Fox M. (2015) *Crossing Borders: Modernity, Ideology, and Culture in Russia and the Soviet Union*, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Eisenstadt S. N. (2000) Multiple Modernities. *Daedalus*, vol. 129, no 1, pp. 1–29.
- Elias N. (2001) *Obshchestvo individov* [The Society of Individuals], Moscow: Praxis.
- Elias N. (2006) *Was ist Soziologie?*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Fainsod M. (1958) *Smolensk under Soviet Rule*, Cambridge: Harvard University Press.
- Feuchtwanger L. (1990) *Moskva. 1937* [Moscow. 1937]. *Dva vzgljada iz-za rubezha* [Two Views from Abroad], Moscow: Politizdat, pp. 164–259.
- Fitzpatrick S. (1979) *Education and Social Mobility in Soviet Union, 1921–1934*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Fitzpatrick S. (1982) *The Russian Revolution, 1917–1932*, Oxford: Oxford University Press.
- Fitzpatrick S. (1992) *The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia*, Ithaca: Cornell University Press.
- Fitzpatrick S. (2001) *Povsednevnyj stalinizm: social'naja istorija Sovetskoj Rossii v 30-e gody: gorod* [Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s], Moscow: ROSSPEN.
- Fitzpatrick S. (2008) *The Russian Revolution*, Oxford: Oxford University Press.
- Friedrich C. J., Brezinski Z. K. (1956) *Totalitarian Dictatorship and Autocracy*, Cambridge: Harvard University Press.
- Gayer M., Fitzpatrick S. (eds.) (2009) *Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Giddens A. (2010) *Posledstvija sovremennosti* [The Consequences of Modernity], Moscow: Praxis.
- Gray J. (2000) *Two Faces of Liberalism*, New York: New Press.
- Hobsbawm E. (2004) *Jepoha krajnostej: rorotkij dvadcatyj vek (1914–1991)* [The Age of Extremes: 1914–1991], Moscow: Nezavisimaja gazeta.
- Inkeles A., Bauer R. (1959) *The Soviet Citizen: Daily Life in a Totalitarian Society*, Cambridge: Harvard University Press.
- Kotkin S. (1995) *The Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Kozlova N. (2005) *Sovetskie ljudi: sceny iz istorii* [The Soviet People: Scenes from History], Moscow: Evropa.
- Kozlova N. (2007) *Social'naja filosofija* [Social Philosophy]. *Filosofija: Uchebnik* [Philosophy: A Textbook] (eds. V. Gubin, T. Sidorina), Moscow: Gardariki, pp. 455–482.
- Loewenstein K. (1957) *Political Power and the Governmental Process*, Chicago: Chicago University Press.
- Lyotard J.-F. (1998) *Sostojanie postmoderna* [The Postmodern Condition], Saint Petersburg: Aleteija.
- Radcliff-Brown A. R. (1948) *Natural Science of Society*, Glencoe: The Free Press.
- Surovtseva E. (2008) *Zhanr "pis'ma vozhdju" v totalitarnuju jepohu (1920–1950 gody)* [The Genre of "Letters to the Leader" in the Totalitarian Era (1920–1950s)], Moscow: AIRO—XXI.
- Surovtseva E. (2010) *Zhanr "pis'ma vozhdju" v sovetskiju jepohu (1950–1980 gody)* [The Genre of "Letters to the Leader" in the Soviet Era (1950–1980s)], Moscow: AIRO—XXI.
- Taylor C. (1995) Two Theories of Modernity. *Hastings Center Report*, vol. 25, no 2, pp. 24–33.
- Taylor C. (2004) *Modern Social Imaginaries*, Durham: Duke University Press.
- Touraine A. (1988) Modernity and Cultural Specificities. *International Social Science Journal*, no. 118, pp. 443–457.
- Walder A. G. (1986) *Communist Neo-Traditionalism: Work and Authority in Chinese Industry*, Berkeley: University of California Press.
- Weber M. (1990) *Izbrannye proizvedenija* [Selected Works], Moscow: Progress.

- Yakovlev A. (ed.) (2005) *Stalin i kosmopolitizm. 1945–1953: dokumenty Agitpropa CK* [Stalin and Cosmopolitanism, 1945–1953: Documents of the Agitprop of the Central Committee], Moscow: MFD, Materik.
- Yurchak A. (2016) *Yetu bylo navsegda, пока не кончилось': poslednee sovetskoe pokolenie* [Everything Was Forever, Until: The Last Soviet Generation], Moscow: New Literary Observer.

Нарратив и теория в исследованиях советского: значение исследований Н. Н. Козловой для современной политической теории*

Максим Фетисов

Кандидат философских наук, координатор Центра социальной теории
и политической антропологии им. Н. Н. Козловой
философского факультета Российского государственного гуманитарного университета
Адрес: Миусская площадь, д. 6, ГСП-3, Москва, Российская Федерация 125993
E-mail: msfetisov@gmail.com

Понятие «тоталитаризм» в качестве базовой объяснительной модели советского общества начало терять свою значимость практически сразу после появления. Несмотря на это, оно оказалось успешным как инструмент идеологической борьбы, превратившись в важную часть большого нарратива, не только доминирующего в медиа и журналистике, но и по сей день значительно влияющего на социальные и гуманитарные науки, которые пытаются «работать» с советским, как само собой разумеющаяся предпосылка. По сути дела, речь идет о некотором идеологическом «замке», блокирующем попытки нормальной научной дискуссии. В противоположность этому работа Н. Н. Козловой стала фактически первой работой с советским не как отклонением от цивилизационной нормы, а как предметом интерпретации, раскрывающим еще одну версию Современности. Ее анализ показывал повседневное формирование советского варианта современного общества глазами рядовых участников советской модернизации. Этот подход открыл новое пространство исследовательской работы, описывающей советское общество не как единый монолит, скрепленный идеологией и репрессивным аппаратом, а как открытую динамичную сеть различных социальных практик и постоянно сменяющихся балансов сил. Такое радикальное плюралистическое видение советского общества не только ставит под вопрос сложившиеся представления и устоявшиеся классификации, но и, вероятно, содержит в себе возможные последствия для политической теории Современности в ее нормативных и критических аспектах.

Ключевые слова: тоталитаризм, нарратив, автобиография, советское, архив, власть, субъективность

Тема данной статьи связана для меня с личными воспоминаниями: Наталия Никитична хотела, чтобы проблема взаимоотношений теории и нарратива стала темой моей диссертации — вероятно, это было важно для той работы, которую делала она. Самостоятельных широких теоретических обобщений она не любила, и поэтому дополнительная исследовательская «подпорка» пришлась бы весьма кстати. Мне же в тот момент это было не до конца понятно, поскольку меня тогда больше интересовали картинки, рисуемые социальной теорией широкими мазками. Да и

© Фетисов М. С., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-1-227-246

* В основе статьи лежит сообщение, сделанное 30 марта 2016 года, на конференции «По ту сторону тоталитаризма: программа исследований «советского человека» Н. Н. Козловой», посвященной памяти Наталии Козловой.

шифру специальности это соответствовало куда больше, так что тема диссертации приняла несколько иной вид. Боюсь, что в этом тексте не удастся избежать как мемориального пафоса «возвращения долга» учителю, так и попытки возвращения к когда-то начатому, но все еще незавершенному. При этом возвращение к «незавершенному» в полном смысле слова не представляется возможным, так как то, что было не завершено тогда, успело наряду со многим другим основательно измениться за прошедшие полтора десятка лет.

Содержательно статья состоит из двух сюжетов, без очевидной смысловой связи между ними, однако — и это принципиальный момент текста — именно работа профессора Козловой позволяет перекинуть мостик от одного к другому, увязав вместе два набора проблем. Первый касается разбора актуальных сегодня модусов повествования о советском: каким образом этот опыт подвергается «нарративизации» (Уайт, 2001: 8) не только в текстах историков или социальных ученых, но и, что не менее важно, в публицистике, медиа, публичных лекциях и в других популярных форматах? Как исторически, из каких теоретических building blocks сложились эти нарративные массивы? Какие нарративные стратегии складываются на их основе? Какие идеологические рамки общественного восприятия советского в результате возникают? Этот разбор, который лучше осуществить на конкретных примерах, очень важен для прояснения того места, которое занимает работа, проделанная Козловой, из каких базовых предпосылок она исходила и от чего отталкивалась, начиная свой, без всякого сомнения, амбициозный и радикальный исследовательский проект. Они были актуальны тогда и поэтому важны для понимания ее работы в исторической перспективе. Сейчас эти предпосылки могут показаться серьезному исследователю уже несущественными, но, несмотря на то что модус их существования также претерпевал изменения в течение прошедшего времени, это совсем не означает, что они утратили свою силу. От них необходимо отталкиваться как от фона, на котором основополагающие черты исследовательского проекта профессора Козловой по переосмыслению советского модерна могут проступить наиболее рельефно. В нашем понимании речь идет о радикальном плюралистическом видении устройства советского общества, которое не только ставит под вопрос сложившиеся представления и устоявшиеся классификации, но и, вероятно, содержит в себе более глубокие следствия для политической теории Современности как в ее нормативном, так и критическом измерении. И здесь мы переходим ко второму концептуальному блоку, который имеет дело с теоретическими обобщениями и выводами, вытекающими из исследовательского проекта Козловой. Если можно сказать, несколько забегаая вперед, что советский проект был одной из версий большого проекта Модерна, а не «тупиковой ветвью цивилизации», как нас в этом пытаются убедить различные производители академических норм уже на протяжении двух десятков с лишним лет, то какие последствия несет его внезапный уход для всего проекта в целом? В каких теоретических рамках теперь нужно мыслить не отдельные страны, уже привычно называемые «постсоветскими», а весь мир, вдруг ставший «постсоветским»? Ведь

оказалось, что так называемые революции 1989–1991 годов не породили никакого нормативного содержания. Что делать с этой, как определил ее Ален Бадью, «непонятной катастрофой» (Badiou, 1998)¹? Переход от очень тщательных и предметных исследований Козловой к подобным вопросам выглядит со стороны, конечно, произволом: Наталия Никитична с осторожностью и подозрением относилась к таким широким обобщениям, и будь она с нами, у нее наверняка нашлось бы что возразить. В свое оправдание можно сказать, что выбранная формулировка темы статьи дает нам в этом смысле определенный карт-бланш: вряд ли в социальной теории можно найти понятие более широкое и в то же время более расплывчатое и неопределенное, чем «тоталитаризм». Выход за пределы навязываемых этим понятием мыслительных рамок — наша прямая задача.

Если мы начнем разбирать композицию и по сей день доминирующих нарративов о советском, то первое, с чем доведется столкнуться, будет слово «Тоталитаризм» с большой буквы «Т» и производные от него гипотезы «всеобщего подавления», «принудительной массовизации», «тотального двоемыслия» и тому подобные мыслительные сущности, список можно продолжать долго. Действительно, концепция тоталитаризма сыграла (и продолжает играть) важную роль в определении базовых рамок восприятия советского опыта². Здесь нет необходимости вдаваться подробно в историю ее появления, достаточно лишь отметить, что «тоталитаризм» в качестве базового понятия, призванного объяснить советское общество, начал терять свою значимость уже практически сразу после введения в теоретический оборот. Ханна Арендт во введении 1966 года к своей, ставшей уже классической, работе, впервые опубликованной в 1951 году, говорит, что «Советский Союз уже нельзя считать тоталитарным государством в строгом смысле этого термина» и поэтому призывает «использовать слово „тоталитарный“ осторожно и благоразумно»³ (Арендт, 1996: 7–28). Нельзя сказать, чтобы этот призыв был особо услышан: термин сделал успешную карьеру, перекочевав из политической теории сначала в смежные прикладные дисциплины (уже в сильно упрощенном исполнении Фридриха и Бжезинского [Friedrich, Brzezinski, 1956]), оттуда в сферу принятия политических решений, а затем в журнализм и медиа, где успешно функционирует и по сей день в качестве идеологического ярлыка, а не теоретического понятия⁴. Если попытаться применить к «тоталитаризму» предложение в свое время Рейнхартом Козеллеком (Козеллек, 2014: 27–33) четырехчастную

1. Вариант русского перевода, озаглавленный «Тайная катастрофа», см.: Бадью, 2005.

2. Это, конечно, совсем не отменяет факта существования (например, в медиа или в популярной исторической литературе) большого числа «искупительных», романтических нарративов о советском, столь же идеологизированных, но, как правило, менее влиятельных. Они требуют отдельного анализа за рамками темы данной статьи.

3. Сравните эту осторожность с обобщением отечественного исследователя Л. Д. Гудкова: «Даже по осторожным прикидкам, сегодня в мире более половины всех государственно-политических систем можно считать тоталитарными» (Гудков, 2004: 374).

4. В качестве одного из недавних многочисленных характерных примеров такой нарративизации см.: Грозовский, 2016.

схему исторической траектории теоретического понятия, то налицо будут все ее составляющие: темпорализация, идеологизация, политизация и демократизация. Темпорализация будет выражаться в однозначном маркировании «тоталитаризма» как исторического регресса, темпоральной патологии и отклонения от некоего «правильного» пути развития; про идеологизацию и политизацию было сказано очень много ранее, стоит лишь добавить, что первые три исторических превращения сыграли злую шутку с теорией модернизации и ее прикладными изводами в виде многочисленных советологических штудий. Если последние оказались не в состоянии ни предсказать, ни объяснить внезапный коллапс советской системы, впад после него в своеобразное теоретическое оцепенение, то теория модернизации остановилась в развитии, когда одна из региональных моделей Современности, пускай самая на данный момент успешная, по сути дела, осталась в одиночестве, превратившись в нормативный канон для общественных наук и критерий оценки для всех прочих версий Модерна⁵. На этом, собственно, с теоретическим понятием тоталитаризма можно было бы распрощаться, сделав его достоянием истории общественных наук, но еще остается последний, четвертый элемент схемы Козеллека — демократизация. Здесь у «тоталитаризма» (уже в кавычках) началась новая жизнь в роли главного отрицательного персонажа большой нарративной конструкции, очень влиятельной в средах, обычно далеких от серьезного теоретического знания, но весьма значимых для формирования популярного восприятия и осмысления советского опыта. Тут он воспринимается как безусловная данность, как не подлежащая сомнению пресуппозиция⁶. Речь идет прежде всего о массмедиа, публицистике, научно-популярной литературе, где очень часто при разговоре о советском «тоталитаризме» одновременно выполняет роль стигмы (когда надо произвести соответствующую атрибуцию), либо идеологического «замка», Denkverbot, в определении Славоя Жижека (Žižek, 2001), используемого для того, чтобы блокировать любые попытки содержательной дискуссии и одновременно задать жесткие рамки повествования как о советском прошлом, так и о постсоветском настоящем. Более того, очень часто можно наблюдать феномен обратной инфильтрации уже, казалось бы, отыгранного, мертвого теоретического понятия в содержательный язык научных дискуссий. Это происходит, когда нарратив «тоталитаризм vs демократия» проникает, подобно вирусу, из медиа в поле

5. Блестящий разбор злоключений «тоталитаризма» в контексте теорий модернизации и в связи с советологией см.: Капустин, 1998.

6. Как тем не менее совершенно справедливо описывает эту ситуацию Л. Д. Гудков: «Именно работоспособность понятия привела позднее к использованию его в политической риторике уже как метафоры репрессивных режимов вообще (или даже в качестве клише для фиксации тенденций к усилению репрессивности в обществе). Переходя в другие социальные и культурные среды, понятие тоталитаризма утратило свою теоретическую эвидентность, но зато приобрело массу факультативных значений, учитывающих и отношение к этим режимам, и последствия их для развития демократии, и отношение к тем, кто использует его в социально-политической конкуренции. Тоталитаризм стал собирательным семантическим комплексом, ужасающим образом состоянием общества, от которого отталкиваются или дистанцируются при проведении актуальной демократической политики, саморефлексии и пр.» (Гудков, 2004: 375).

социальных и гуманитарных наук, пытающихся исследовать советское, имплицитно их описанным ранее коллегами «эффектом неконтролируемой экспансии метафоры» (Константиновский, Вахштайн, Куракин, 2012: 38). Таким образом, из анализа очень опасных тенденций развития, присущих Современности как таковой, из попытки поставить «диагноз нашего времени», как ее собственно исходно замышляла Ханна Арендт, теория тоталитаризма стала универсальной квазитероретической отмычкой, призванной в двух словах объяснить, почему «мы» не такие, как «они, превратившись в целую нарративную стратегию, задающую не только границы популярного, обыденного восприятия советского опыта, но даже и границы его дальнейшего возможного теоретического осмысления»⁷.

Классическим примером такого слияния социальных наук с остропублицистическим пафосом порой до состояния полной неразличимости служит исследовательский проект «Советский простой человек» группы ученых под руководством Ю. Левады. Изначально (и методологически корректно) задуманный Левадой «как идеально типическая конструкция, представляющая сложный набор взаимосвязанных характеристик» (Гудков, 2007: 22), в работах его последователей «советский человек» со временем превращается в «антропологический тип», соответствующий реалиям «распадающейся или меняющейся институциональной системы тоталитарного общества-государства» (Гудков, 2009: 14) и наделенный определенными отличительными признаками: массовидный, усредненный, приспособленный, ограниченный и в то же время иерархический, хронически недвольный, неуверенный в себе, разочарованный, завистливый, фрустрированный, двоемыслящий и т. п. (Гудков, 2009: 15–16). Изначально «крах советской системы» связывался «с невозможностью воспроизводства этого „человека“», «однако в 2000-х гг. вместе с начавшейся сменой «поколения перестройки» резко усилились консервативные и ностальгические настроения, задавшие рамки рекомпозиции авторитарного режима, и стало очевидным, что воспроизводство советской системы продолжается» (Гудков, 2009: 17). Таково краткое содержание сюжета о «простом советском человеке»; подробности можно выяснить в многочисленных текстах самого Левады, его учеников и последователей, это отдельная большая тема⁸. Нас же интересует общая дискурсивная рамка этого проекта, которая содержится в концентрированном виде основы той нарративной стратегии, которая

7. Описание похожей ситуации применительно к советскому, а также к любым попыткам вообразить альтернативу существующему порядку, сложившейся в американских исследованиях и в медиа, см.: Dean, 2012: 32–38.

8. В подтверждение необычайной живучести нарративного конструкта о «советском человеке» см. обзор В. А. Сомова «Советский человек как социокультурный тип в научном дискурсе». Помимо прочего, обзор выявляет чрезмерную перегруженность темы идеологическими инвестициями, поэтому автор в итоге вынужден заключить: «Должно пройти время для того, чтобы всестороннее изучение советского общества перестало представлять какую-либо опасность для современности» (Сомов, 2012: 122). По этому же поводу см.: Сандомирская, 2012: «...как говорила Козлова, „тем, кто хочет заниматься историей современности, надо иметь крепкие нервы“».

по сей день продолжает детерминировать популярное восприятие советского⁹ и от которых приходилось отталкиваться Н. Н. Козловой, начиная собственный исследовательский проект¹⁰. К этим основам относятся прежде всего основанная на структурном функционализме теория модернизации с обобщенным «воображаемым Западом»¹¹ в качестве идеального образца «нормального общества» и связанная к ней теория тоталитаризма (со всеми своими классическими морфологическими признаками), призванная объяснить «ненормальную уникальность» и в то же время «вторичность» общества советского¹². Все это сочетается с убеждением в невиданной исключительности советского (а затем и постсоветского) случая даже на фоне прочих тоталитарных и авторитарных режимов и вытекающей отсюда уверенностью в практически полной неприменимости концептуального аппарата западной политической теории¹³ к «стране родимых осин» (Гудков, 2006: 34)¹⁴, перемежаясь с моральными инвективами в «адрес российского населения в целом», которое продолжает оставаться «(пост)советским» и «цинично» не дает свершиться транзиту от «тоталитаризма к демократии». Исследовательская работа «школы Левады» представляет собой, пожалуй, самый простой и классический пример того, как натурализация и «метафоризация» собственных теоретических

9. Характерные свежие образцы медийных проявлений такой детерминации см.: Грозовский, 2016; Архангельский, 2016, в сфере книгоиздания — работы Н. Б. Лебиной.

10. Поразительная живучесть и сила нарратива о «человеке советском» неожиданным образом отразилась на посмертных публикациях Наталии Никитичны: издатель ее *opus magnum*, Г. О. Павловский, руководствуясь, видимо, маркетинговыми соображениями, произвольно поменял оригинальное название книги «Сцены из истории изобретения советского общества» на «Советские люди». В результате из названия исчез очень важный социально-конструктивистский аспект «изобретения», представляющий общество именно как процесс постоянного (вос)производства, в том числе на уровне повседневных взаимодействий (Козлова, 2005).

11. «За уверенность в праве на интеллектуальную и моральную оценку может стоять вера в превосходство современной западной цивилизации, которая видится пиком во временной и пространственной иерархии социальных форм. Запад — страна чудес, где исполняются самые заветные мечты бывшего советского человека. Это один из ключевых элементов российского социального воображаемого» (Козлова, 2005: 16). Подробный анализ функций «Запада» в топологии советского политического воображаемого см.: Юрчак, 2016.

12. Как пишет Гудков: «Любой из вариантов тоталитаризма представлял собой реакцию отсталых обществ, оказывающихся в положении «догоняющих», на первичные и успешные процессы модернизации, происходившие в странах Запада» (Гудков, 2009: 9).

13. «Арсенал западных социальных наук обнаружил свою ограниченную пригодность и дескриптивную неадекватность. Буквальное и механическое применение этого понятийного аппарата в качестве логических шаблонов для интерпретации отечественного материала (социологического, культурного, исторического) или его использование в качестве теоретических аналогий оказалось совершенно недопустимым... Язык западной социологии был разработан для изучения *принципиально иных* институциональных систем, действовавших по иным правилам, нежели *мобилизационное и милитаризованное советское общество-государство* и многое сохранившая от него постсоветская Россия. В особенности это заключение справедливо для всего, что относится к „нормальному“, рутинному режиму функционирования общества...» (Гудков, 2004: 5–6; выделено мной. — М. Ф.).

14. «Заемствуемый концептуальный и теоретический язык — вещь небезобидная. Он создает эффект имитации собственной деятельности под „большую и настоящую науку“, стерилизуя собственные потенции работы и необходимость вдумываться в то, что же, собственно, представляет собой страна родимых осин» (цит. по Вахштайн, 2011: 70).

предпосылок приводят к превращению теоретических понятий в нарративные конструкции, задающие уже куда более широкие идеологические рамки популярного осмысления и восприятия советского опыта¹⁵.

Существуют и более современные случаи подобной «обратной инфильтрации» нарратива в теоретическое поле. К таковым, например, относятся попытки выстроить теорию вокруг трансцендирующих реальный исторический опыт макропонятий. Ярким примером такого макропонятия (зачастую неотличимого от метафоры) может послужить широко обсуждавшийся в последнее время термин «внутренняя колонизация», в данном случае вопрос о корректности заимствования западных теорий не возникает: очевидно, что источником вдохновения тут служат *postcolonial studies*. Проблема употребления концепта «внутренней колонизации» только одна: его адептам представляется, что он исчерпывающе описывает базовые механизмы российской истории и может объяснить практически все¹⁶. Вокруг пар «колонизация/деколонизация», «колониальный/постколониальный» строится нарративная стратегия, в которой советская история предстает простым продолжением прежней имперской политики¹⁷. Одним словом, перед нами сдобренный «дефицитом демократических институтов» старый добрый «русский деспотизм» (хорошо знакомый по сочинениям исторических публицистов вроде Р. Пайпса), просто под новой вывеской, да еще и оснащенный современными технологиями массовой мобилизации¹⁸. К схожим нарративным стратегиям относятся также появившиеся в последнее время попытки разработать нормативную теорию коллективной памяти, которая, с одной стороны, стремится дезавуировать существующие «искупительные нарративы» о советском прошлом, а с другой — навязать свои правила повествования о нем через выработку коллективных норм поминовения и скорби¹⁹. Вопрос о потенциальном субъекте подобной политики памяти либо старательно обходится, либо его производство вмещается в обязанность уже нынешнему, «постсоветскому», государству, при этом, в чем будет состоять его (государства) польза от вмешательства в эту *de facto* холодную гражданскую войну на одной из ее сторон, также не сообщается. На самом деле речь идет об еще одной, предпринимаемой в рамках символической борьбы

15. Заслуживающий внимания разбор места и роли «школы Левады» в отечественной социологии см.: Габович, 2008. В значительно более острой и полемической тональности см.: Вахштайн, 2012.

16. См. Эткинд, 2013; полемику см.: Эткинд, Уффельманн, Кукулин, 2012.

17. См., например, утверждение «Советское руководство продолжило внутреннюю колонизацию под антиколониальными лозунгами» (Эткинд, Уффельманн, Кукулин, 2013: 47).

18. См., например, замечание В.С. Малахова: «Наконец, гипотеза внутренней колонизации меня смущает еще и потому, что она приглашает мыслить историю России под знаком континуума. В такой перспективе большевистский эксперимент есть не более чем очередной извив колониалистской линии. Так сказать, от Петра и Екатерины к Ленину и Сталину. Мало того: коль скоро постсоветский период авторы считают возможным рассматривать как «постколониальный», Путин начинает казаться замыкающей фигурой в этом искусственном пантеоне. В результате вместо анализа реальных людей в конкретных исторических обстоятельствах мы начинаем повсюду усматривать действие транстисторической культурной матрицы (Малахов, 2013).

19. См., например: Эткинд, 2016.

«производителей норм», попытке унификации коллективной памяти, которая, как показала в своих исследованиях Козлова, далеко не так однородна и не поддается запихиванию в прокрустово ложе нарративов, берущих на себя обязательство предписывать правила повествования о прошлом.

Разберем еще более тонкий пример подобной «токсичности» нарратива «тоталитаризм/демократия»: в 2009 году, в сотом номере «Нового литературного обозрения», в программной статье «Новая антропология культуры», И. Д. Прохорова, начав с «актуализации главного травматического вопроса, вытесняемого ныне как из культурной памяти, так и из официальной историографии, — об истоках и трагических последствиях российской радикальной модели тоталитаризма», указывает на необходимость сконцентрировать внимание на малоизученной специфике эволюции общества внутри тоталитарных систем, в итоге подтачивающей и разрушающей эту жесткую институционально-сословную решетку» (Прохорова, 2009). Решение этой исследовательской задачи она видит в необходимости «антропологического поворота» в гуманитарных науках, подразумевающего отказ от «больших нарративов» и понятийного эссенциализма в пользу обращения к «истории людей» (Прохорова, 2009). Данный поворот призван, по мысли автора, вывести в том числе исследования советского из дурной бесконечности дискуссий об «особом пути» и драмах вечной «абортивной модернизации»²⁰. То есть речь, по сути дела, идет о том, чтобы нормализовать наконец научное говорение о советском, проблематизировав его в общемировом контексте различных теорий Модерна как одну из региональных версий Современности. Как совершенно справедливо замечает автор, «настало время более решительно, чем прежде, ввести предмет исследования в международный контекст и попытаться найти новую оптику сравнительного изучения различных локальных историй» (Прохорова, 2009). Принципиальные моменты этой оптики: признание множественного, плюралистического характера Модерна и отказ от эссенциалистских понятийных дихотомий вроде «тоталитарные/демократические», «развитые/развивающиеся» и т. п. На замену предлагаются заимствованные у Поппера «более гибкие категории „открытости/закрытости“ социальных структур» (Прохорова, 2009)²¹, лучше, по мнению автора, схватывающие динамику и трансформационный потенциал современных обществ, которым свойственно двигаться «как в направлении открытости, так и в направлении закрытости под влиянием различных исторических обстоятельств» (Прохорова, 2009). Правда, причины, по которым общества должны двигаться в какую-либо из означенных сторон, никак не обозначаются, а сама дихотомия «открытое/закрытое» объявляется эндогенной травмой всех современных обществ без каких-либо гипотез относительно ее этиологии. Движение от «закрытости» к «открытости» просто постулируется как обязательное, при этом «открытость» трактуется как старое доброе непротиворечивое сочетание инсти-

20. Характерное название одной из книг Л. Д. Гудкова (Гудков, 2011).

21. Не будет лишним напомнить о частоте употребления Поппером термина «тоталитаризм» и его производных в работе, из которой было произведено заимствование этих «более гибких категорий».

туциональных кластеров, хорошо нам знакомое по различным версиям теории модернизации (Прохорова, 2009). В то же время каждый случай закрытости является особым²². Таким образом, абсолютно верные исходные посылы несводимого к «эссенциалистским понятийным дихотомиям» имманентного анализа советской версии Современности трансформируются под воздействием нарратива «тоталитаризм/демократия» в еще одно историософское и натуралистическое повествование о Модерне как о перманентной борьбе «открытого» с «закрытым».

Все три примера объединяет отношение к советскому как к абсолютно исключительному случаю в мировой истории, настолько сильному отступлению от некоей воображаемой нормы, от «большака цивилизации», как писали публицисты времен перестройки, что 1) для его объяснения практически неприменим известный нам инструментарий социальных наук (правда, для теорий тоталитаризма и модернизации сделано исключение), а выработка «своих» понятий мешает длящегося институциональное и антропологическое наследие «тоталитарного прошлого»²³; 2) это «перманентное чрезвычайное положение» объяснимо неким непрерывно функционирующим механизмом отношения власти к подданным и территориям, меняются лишь вывески и технологии, а его сущность остается неизменной (впрочем, столь мощная способность данной концепции объяснить решительно все — от ресурсной зависимости государственных расходов и ГУЛАГа до влияния российской оккупации Кенигсберга на философию Канта — вынуждает усомниться в ее общей теоретической релевантности²⁴; 3) все-таки, наверное, стоит обратить внимание на «международный контекст» и спуститься на уровень локальных историй Модерна, но в этом случае отношения нормы и девиаций становятся совсем уж подвижными и начинают угрожать порядку самого «нормализаторского дискурса». Иначе говоря, пусть будет «новая оптика сравнительного изучения различных локальных историй», но о том, как должно выглядеть «нормальное», «открытое», общество забывать все же не стоит.

Так изначальная установка на объяснение через «инаковость», через исключительный, не поддающийся описанию ни в рамках нормы, ни в рамках критики характер советского объединяет и довольно замшелые теоретические конструкции, и новые концепции в рамках общей нарративной стратегии, устанавливающей определенные идеологические рамки проблематизации советского. Рамки эти устроены так, что дискуссии между «особым путем» и «драмой никак не случаю-

22. Например, автор статьи критикует Ю. Хабермаса, неправоммерно, по ее мнению, сблизившему в своих исследованиях структурные проблемы советской и западной версий Модерна, тогда как это «альтернативные модели». Видимо, Хабермас слишком буквально воспринял призыв автора «вести предмет исследования в международный контекст» (Прохорова, 2009).

23. «При последовательном применении такого принципа российская самобытность становится едва поддающимся фальсификации символом веры. И действительно, почти каждое указание на сопоставимость России с другими странами по тем или иным конкретным параметрам отмечается со ссылкой на несущественность такого сравнения для целого. Такая позиция неизбежно сопряжена с идеализацией „Запада“ как царства „нормы“, выступающего эталоном для России» (Габович, 2008: 57).

24. Подробный, хотя и несколько полемичный разбор сюжета с Кантом и внутренней колонизацией см.: Круглов, 2013.

щейся вестернизации» (как вариант вдруг ставшее популярным сейчас вопрошание, «возвращаемся ли мы назад в СССР?») не прекращаются. Так возникает капкан дурной бесконечности отражающих друг друга антагонистических позиций, не предполагающий никакого выхода за установленные границы.

Выбраться из этого нарративного капкана можно только при радикальной смелости исследовательской оптики и действительном отказе от широких внутренне недифференцированных понятий, отчуждающих многообразие социального опыта. Новизна подхода Наталии Никитичны состояла как раз в том, что «советское» рассматривалось ею не как стигма, девиация от некой «цивилизационной нормы» и т. п.²⁵, а как «нормальный» предмет интерпретации, раскрывающий советский проект как еще одну версию Современности, вполне поддающуюся описанию выработанными ею же теоретическими инструментами²⁶.

Можно выделить основные измерения исследовательского проекта Н. Н. Козловой, позволяющие воспринимать его как некое единое целое, от «Наивного письма» до «Сцен из истории изобретения советского общества»:

1) Этическое: «борьба за угнетенное прошлое» (Беньямин, 2000: 235) должна исходить из того, что никто не может обладать монополией на рациональность, а поэтому «мы не должны сегодня по привычке говорить *за* других или от их имени» (Козлова, 2001), это радикально-демократическое видение общества, проект возвращения «*истории молчащих*» (Козлова, Сандомирская, 1996: 7). Отсюда регулярно практикуемый Козловой глубоко феноменологический по своей сути жест²⁷: сознательное пренебрежение «законодательной» функцией интеллектуала (отсюда, видимо, идут любовь к эзопову языку, недосказанностям, нежелание переходить к широким теоретическим обобщениям), автозапрет на такое привыч-

25. «Первая половина 90-х была периодом символических игр и символической борьбы по поводу *совка*. *Совок* виделся отклонением тем, кто писал в газетах и вещал с экрана телевизора, ¼ интеллигентам (интеллектуалам)-производителям норм. Употреблявший это имя, казалось, подтверждал: уж я-то — не *совок*. В имени *совок* сосредоточивалось неудовольствие именно этой группы людей, что не способствовало спокойному поиску новых теоретических идеализаций. Сегодня хорошо видно, что стигматизация больших масс людей была ставкой в символической борьбе интеллектуалов и не имела отношения к проблеме теоретического объяснения того, что происходило в советском обществе» (Козлова, 2005: 60).

26. «Стремясь понять „свое“, исследователь российской практики испытывает настоятельную потребность в новых теоретических подходах. Часто отечественный материал не вмещается в прокрустово ложе „чужих“ понятий, сложившихся в другой культурно-исторической реальности. Однако не существует иного способа определения границ применимости теории или метода, нежели распространение их на новую предметную область» (Козлова, Смирнова, 1995: 12). Эта «теоретическая смелость» сразу резко выделяет подход Козловой на фоне упомянутых выше непрекращающихся заклиний о «стране родимых осин».

27. О близости некоторых подходов феноменологической социологии исследовательскому проекту Н. Н. Козловой см.: Смирнова, 2016: 15–16. Однако Козлова не ограничивается только лишь анализом конечных областей значения и движется значительно дальше, показывая формирование огромного социального и политического проекта из перспективы «bottom-up» («снизу-вверх»), как могли бы охарактеризовать ее Эдвард Томпсон и другие исследователи истории английского рабочего класса. Именно поэтому проект Козловой — это еще и *политическая антропология* советского.

ное для отечественного интеллектуального нормализаторства²⁸. Доминирующему в теории и в медиа колониальному взгляду «о себе как о дикарях» (Козлова, 2005: 15) надо противопоставить новую исследовательскую практику: *переписывание* собственного опыта участника и продолжателя советской истории на языке современной социальной теории (Козлова, 2005: 17).

2) Эпистемологическое: работа Наталии Козловой показывает повседневное конституирование советского варианта Современности не с точки зрения государства или его интеллектуалов, занятых производством норм повествования о себе и окружающей действительности, а глазами рядовых агентов советской модернизации. Такая оптика позволяет выйти за рамки стандартных оппозиций, используемых в описаниях советского общества (свобода—подавление, правда—ложь, искренность—цинизм и т. п.). Речь идет о радикальной имманентной исследовательской позиции²⁹, которую сама Наталия Никитична иронично называла позицией «подопытного наблюдателя» (Козлова, 2005: 9–22). Каким образом этот «подопытный наблюдатель» может получить доступ к историческому опыту? Каким образом можно его объективировать, пребывая «внутри» истории? Модерн — не только эпоха массовых обществ, движений, массовой культуры, но и время массовых биографий. Благодаря взрывному росту доступности чтения и письма у огромного числа людей впервые появилась возможность сказать о себе «Я» и поведать (себе и другим) историю этого «Я». Идентичность перестала быть наследством, определяемым местом в социальной иерархии, а стала продуктом массового производства и одновременно индивидуального изобретения. Количество произведенных таким образом историй, объем этого советского архива³⁰, вряд ли поддается исчислению. Так «большие нарративы» Просвещения, обещавшие неумолимость прогресса, привели к появлению огромного числа нарративов малых, отразивших рождение и становление новых форм социальной жизни³¹. Эти повествования, рассказанные «щепками истории», есть такая же важная часть советского наследия, как и сохраняющаяся еще вера в возможность общественно-го устройства на разумных началах. У Наталии Никитичны в одной из ее статей есть замечательная фраза: «Мы — наследники сложного архива, а не абстрактные представители Разума или Истории, народа (масс) или элиты» (Козлова, 2001). По-

28. Подробный разбор проблемы «производителей нормы» на примере дальнейшей истории рецепции исследований «наивного письма» см.: Сандомирская, 2012.

29. «Не следует ли стремиться писать тексты, учитывая собственную включенность в процесс, т. е. в ту историю, которую сам изучаешь? Твой взгляд $\frac{3}{4}$ взгляд *участника*... В этом случае имеет место акт *признания*: кто ты такой и откуда говоришь $\frac{3}{4}$ из какой точки на пересечении множества силовых линий советской и российской истории» (Козлова, 2005: 18).

30. «Архив $\frac{3}{4}$ учреждение и хранилище памяти, материализовавшейся в горах документов $\frac{3}{4}$ официальных и неофициальных. С одной стороны $\frac{3}{4}$ статистические отчеты, государственные решения партийные постановления, распоряжения и справки, бесконечные справки, протоколы партсобраний, газетные и журнальные статьи. С другой $\frac{3}{4}$ письма, дневники, воспоминания» (Козлова, 2005: 11).

31. «Теоретическая рефлексия подвергается испытанию конкретными практиками. Тыходишь в поле проблем вклада индивидов в изобретение истории, одновременно пытаешься показать, каким образом история общества вписана в их язык и тело» (Козлова, 2005: 28).

этому нам, как наследникам архива, доступ к предмету исследования открывается через обращение к документам эпохи, к малым нарративным формам, мемуарам и дневникам, фактически документирующим опыт советской современности на «молекулярном» уровне. Увидеть этот молекулярный уровень должна помочь новая теоретическая оптика: обращение к повседневности позволяет понять, что реальность множественна, что те, кого принято называть «массой», также обладают собственной «агентностью», способностью к действию, пусть она и не делает их субъектами в классическом смысле слова, но и не лишает их права на полноценное участие (Козлова, 2005: 61). Общество в такой перспективе — это не столько предмет *договора*, сколько продукт *согласия* в результате *принятия правил игры* (Козлова, 2005: 66–67). Власть в этом случае — не столько собственность сверхсубъекта партийной диктатуры, сколько набор отношений, зачастую весьма опосредованных, а значит, не только инструмент доминирования, но и ресурс доминируемых, которые далеко не всегда безвластны³². Господствующий дискурс — это не только «жесткое сцепление деспотического письма» или язык «массового распространения вины», но и средство социализации, семантический ресурс, откуда берутся материалы для строительства индивидуальных биографий и формирования идентичностей³³. Можно сказать, что малые нарративы, составляющие этот самый «сложный архив», сами находятся в отношениях *субверсии* по отношению к доминирующим дискурсивным модусам репрезентации советского, так как рисуемый ими «снизу» образ советского общества существенно не совпадает с картинами политической концепции тоталитаризма.

3) Онтологическое: исследовательский проект Н. Н. Козловой открывает новое пространство теоретической работы, позволяющей увидеть советское общество не как единую монолитную конструкцию, скрепленную идеологией и репрессивным аппаратом, а как открытую динамичную сеть практик и постоянно смещающихся балансов сил, внутренних различий, меняющихся идентичностей. Неустрашимый зазор между политически обусловленными нарративными структурами, лежащими в основе общепринятых историко-теоретических описаний советского общества и «малыми нарративами» непосредственных участников советской модернизации, раскрывает имманентный план производства социальной жизни, нередуцируемый ни к каким недифференцированным понятиям вроде тоталитаризма или внутренней колонизации³⁴. «Общество производится людьми и не может

32. «Тогда субъект, который кажется обладающим полнотой власти, действует не так уж преднамеренно, а действия тех, кто находится явно в подчиненном положении, также сказываются на результатах игры. Тогда получается, что нет абсолютно безвластных. Важно отметить, что в игре участвуют все» (Козлова, 2005: 67).

33. «...тот язык, который определяется в рамках определенной точки зрения как тоталитарный, обладает потенциалом высвобождения и складывания субъектности. Проблема, каким образом, видится значительно более сложной, чем она вырисовывается из концепций тоталитарного языка, и требует активного переосмысления» (Козлова, 2005: 474–475).

34. «Первое ошеломляющее впечатление — многоголосие, несводимое к общему знаменателю. Очень скоро возникло ощущение противоречия. Документы сопротивлялись всякой интерпретации, как бы показывая, что каждая из них заведомо неполна... Советские люди вовсе не смотрелись ку-

продолжать существование без осмысленных человеческих действий» (Козлова, 2005: 28). Применение акторного анализа релятивизирует представления об отношениях социального субъекта и структуры общества, обнаруживает *возможности действия, вообще не требующие никакой субъектной определенности*³⁵. Социальная ткань, таким образом, может состоять из совершенно разных уровней или степеней субъектности, от нулевой, как в случае Е. Г. Киселевой, до значительно более «развитых» акторов, например Л. М. Де Морей. Таким образом, в обществе бок о бок, одновременно, сосуществуют и представители практически «естественного состояния» (Киселева) и вполне сформированные носители современной идентичности (Л. М. Де Морей), и все они так или иначе играют на воспроизводство правил общего жизненного горизонта. Это вовсе не отменяет того факта, что советский модерн являл собой впечатляющую фабрику по производству субъективности, однако совсем не в том смысле, о котором нам толкуют теории тоталитаризма: это была игра в конструирование общества, в том числе и «снизу-вверх», результаты этой игры неизменно превосходили сумму ее исходных составляющих, это был открытый процесс с принципиально неизвестным результатом, очень метко названный Козловой *непреднамеренным социальным изобретением* (Козлова, 2005: 72). Внезапный, никем не предвиденный финал этой игры — тому подтверждение³⁶.

Таким образом, Н. Н. Козловой удалось заложить основы весьма амбициозного исследования *политической антропологии* советского Модерна, поставившей под вопрос конвенциональные рамки восприятия и способы повествования. При этом не стоит забывать, что подобное открытие новой исследовательской оптики не могло не отразиться на самом теоретическом инструментарии, использованном при ее создании: здесь речь уже идет о том, чтобы выйти за непосредственные границы исследовательских задач Наталии Никитичны и попытаться поставить некоторые вопросы перед политической теорией Современности.

клами на веревочках структуры. Не было однозначного впечатления, что их *формирует* сверхсубъект-власть... Работа в архиве заставляла меня подвергать сомнению общепринятые концепции... Погружаясь в мир человеческих документов, ты уже не в состоянии воспринимать советский мир как органическое целое, как недифференцированное и непротиворечивое единство. На глазах разрушается образ единого общества-казармы. Язык концепций тоталитаризма „не совпадает“ с тем, как этот мир обговаривался людьми» (Козлова, 2001).

35. «Термин „актор“, с одной стороны, релятивизирует представление о субъекте, а с другой — оставляет широкий простор многообразию форм и степеней субъектности. Склонности и способности к деятельности могут мобилизоваться и развиваться, а значит, перед нами открытый процесс без фиксированных границ. Попросту говоря, человек может быть или не быть субъектом, но в любом случае он — актер, деятель. Обращение к проблематике человека массы как актора есть обращение к анализу „иного“, но не столько нового, сколько ранее не замечаемого... Понятно, что этот, казалось бы собственно методологический, поворот сопровождается утратой иллюзий. Он позволяет ощутить: те слова, которые интеллектуалы произносили „за народ“, за „массу“, суть лишь выражение их собственного дискурса...» (Козлова, Смирнова, 1995: 17). По поводу возможности действия без субъекта см.: Козлова, Сандомирская, 1996: 52–58.

36. «Это история о том, как было *изобретено* советское общество и как оно рухнуло *в три дня...*» (Козлова, 2005: 9).

Первый вопрос — это вопрос о понимании власти. Мы видим, что расхожее представление об отношениях господства и подчинения в СССР как об эманации репрессивного доминирования из единого центра либо не работает, либо как минимум является очень неполным, необходимо принять во внимание, что власть — это не постоянная величина на протяжении всей истории советского общества. Обращение к архиву подтверждает это: перед нами набор постоянных ускользающих, смещений, вновь возникающих демаркаций и постоянно меняющихся балансов³⁷. После Мишеля Фуко в таком вопросе самом по себе вряд ли содержится принципиальная новизна, несмотря на то что применение реляционного анализа позволяет увидеть некоторые важные аспекты функционирования советской дисциплины. Однако сюда примыкает очень важный аспект (Фуко, который акцентировал внимание на аппаратах производства дисциплины, не успев уделить ему достаточно внимания) — это «потребление», если использовать терминологию Мишеля Де Серто, дисциплинуемыми налагаемых на них дисциплинарных практик (De Certeau, 1988: xiv–xv). Речь идет о многочисленных «тактиках слабых», техниках сопротивления, применяемых доминируемыми, меняющих отношения власти «снизу», «изнутри». Этот момент незапланированных последствий социального действия, как мы успели увидеть выше, очень занимал Н. Козлову.

Поэтому здесь возникает *второй вопрос*: если власть — это в первую очередь отношение, а не только сила или тем более субстанция, которой обладают, то не выходит ли так, что в некоторых аспектах сопротивление первично? Что оно есть необходимое условие отправления власти, которая, следовательно, невозможна без некоторой минимальной степени свободы тех, кем она собирается управлять? Этот вопрос опять возвращает нас к Фуко, но, видимо, эту проблему уже сформулировал Спиноза в начале XVII главы «Богословско-политического трактата»: «Никто не будет в состоянии когда-либо перенести на другого свою мощь, а следовательно, и свое право так, чтобы перестать быть человеком; и никогда не будет существовать какая-либо такая верховная власть, которая могла бы выполнить все так, как она хочет» (Спиноза, 2015: 183). Именно сопротивление доминируемых, зачастую незаметное, оказывается тем самым мотором формирования субъектности, который движет историческими трансформациями.

Третий вопрос, вытекающий из второго, — это проблема формирования (производства субъекта), подразумевающая рассмотрение взаимоотношений субъекта с языком доминирующей идеологии. Здесь, из анализа документов, мы видим, что «идеологические аппараты государства» (Althusser, 1971) не только действуют «сверху-вниз», индоктринируя потенциального субъекта, но также являются резервуаром значений, своего рода семантическим контейнером, который домини-

37. «Чтение „человеческих документов“ позволяет ощутить, что власть — не то, чем владеет та или иная социальная группа или человек и что отсутствует у другой группы. Власть — это отношение, которое является компонентом всех других отношений, в том числе отношений коммуникации, речь идет о балансах власти. Это битва, в том числе битва за взгляд на мир, результатом которой является установление социальных отношений» (Козлова, Сандомирская, 1996: 51).

руемые используют как ресурс конструирования идентичности, социализации, как ставку в игре за приращение социального капитала, попутно производя те самые «непреднамеренные социальные изобретения», меняющие в конечном итоге историю.

Отсюда *четвертый вопрос*: какие свойства этого субъекта, этого самого главного «непреднамеренного социального изобретения» советского Модерна, видимо, совершенно не запланированные советской властью, привели к столь неожиданному его коллапсу? Или же нужно вести речь об условиях, которые сделали возможным этот крах советского проекта? Вероятно, нужно обратить внимание на открытие Н. Козловой имманентного плана (вос)производства советского общества, приводящее нас, в свою очередь, к вопросу о *биополитике* в СССР: каким образом позднесоветский *диспозитив* (совокупность когнитивных, дискурсивных, аффективных телесных, урбанистических практик и механизмов, отвечающих за формирование субъектности) столкнулся с задачами, которые уже не поддавались решению традиционными методами социалистической дисциплинарной модернизации, сформированными в предшествующую индустриальную эпоху (Hardt, Negri, 2009: 270)?

Отсюда следует *пятый вопрос*: что все это значит для той версии Современности, которая исторически оказалась (пока) более устойчивой? Символическая взаимная идентификация СССР и Запада (Dean, 2012: 27) была столь велика, что заполнить образовавшуюся пустоту до сих пор проблематично. Здесь нельзя не вспомнить меткое замечание одного американского историка и политического теоретика, что «исторический эксперимент социализма был настолько тесно укоренен в традиции западной современности, что его поражение не могло не поставить под вопрос и весь западный нарратив» (Buck-Morss, 2000: xii). Вероятно, настало время не только описать как «норму» советскую версию Модерна³⁸, но и задать вопрос о том, какие последствия несет его внезапный уход с исторической сцены для идентичности нынешних западных обществ и для современной политической теории как базовой рамки их самоописания и рефлексии, одним словом, для той современности, которую привыкли считать эталоном и образцом. Это вопросы, которые ждут своих исследователей.

Литература

Арендт Х. (1996). Введение // Арендт Х. Истоки тоталитаризма / Пер. с англ. И. В. Борисовой, Ю. А. Кимелева, А. Д. Ковалева, Ю. Б. Мишкенене, Л. А. Седова под ред. М. С. Ковалевой и Д. М. Носова. М.: ЦентрКом. С. 7–28.

38. «А вообще-то, в конце концов, история СССР вновь должна стать частью европейской истории хотя бы потому, что тот же сталинизм есть яркое выражение просвещенческой утопии. Это попытка средствами государства рационально упорядочить общество, одновременно преодолевая острые различия, которые возникли в процессе индустриализации российского общества. Она коренилась в традиции социально ориентированного, городского прежде всего, общества, которая сделала Просвещение возможным» (Козлова, 2005: 21).

- Архангельский А. (2016). Дырка от этики. Что не так с российской системой ценностей. URL: <http://carnegie.ru/publications/?fa=63999> (дата доступа: 02.08.2016).
- Бадью А. (2005). Тайная катастрофа: конец государственной истины / Пер. с фр. Т. В. Анисимовой // Социология под вопросом: социальные науки в постструктуралистской перспективе. М.: Институт экспериментальной социологии, Праксис. С. 269–299.
- Беньямин В. (2000). О понимании истории // Беньямин В. Озарения / Пер. с нем. Н. М. Берновской. М.: Мартис. С. 228–236.
- Вахштайн В. С. (2011). Постсоветская социология: конец первого акта // Социология: теория, методы, маркетинг. № 2 С. 59–77.
- Вахштайн В. С. (2012). Абортивная социология (Рецензия на книгу: Лев Гудков, Абортивная модернизация [М.: РОССПЭН, 2011]) // Социология власти. № 4-5. С. 274–279.
- Габович М. (2008). К дискуссии о теоретическом наследии Юрия Левады // Вестник общественного мнения. № 4. С. 50–61.
- Грозовский Б. (2016). Изобретенная традиция СССР. URL: <http://www.inliberty.ru/blog/2336-Izobretennaya-tradiciya-SSSR> (дата доступа: 02.08.2016).
- Гудков Л. Д. (2004). «Тоталитаризм» как теоретическая рамка: попытки ревизии спорного понятия // Гудков Л. Д. Негативная идентичность: статьи 1997–2002 годов. М.: Новое литературное обозрение. С. 362–446.
- Гудков Л. Д. (2006). О ценностных основаниях и внутренних ориентирах социальных наук // Пути России: проблемы социального познания. М.: МВШСЭН. С. 26–38.
- Гудков Л. Д. (2007). «Советский человек» в социологии Юрия Левады // Общественные науки и современность. № 6. С. 16–30.
- Гудков Л. Д. (2009). Условия воспроизводства «советского человека» // Вестник общественного мнения. № 2. С. 8–37.
- Гудков Л. Д. (2011). Абортивная модернизация. М.: РОССПЭН.
- Константиновский Д. Л., Вахштайн В. С., Куракин Д. Ю. (2012). К анализу дотеретических оснований социологии образования: экспликация базовых метафор // Вопросы образования. № 4. С. 22–39.
- Капустин Б. Г. (1998). Россия и Современность: критика западной советологии // Капустин Б. Г. Современность как предмет политической теории. М.: РОССПЭН. С. 195–267.
- Козеллек Р. (2014). Введение // Словарь основных исторических понятий: Избранные статьи в 2-х т. Т. 1 / Пер. с нем. К. Левинсон; сост. Ю. Зарецкий, К. Левинсон, И. Ширле; научн. ред. перевода Ю. Арнаутова. М.: Новое литературное обозрение. С. 23–44.
- Козлова Н. Н. (2001). Советский архив: чтение и переписывание // Индекс/Досье на цензуру. № 14. URL: <http://index.org.ru/journal/14/kozlova1401.html> (дата доступа: 02.08.2016).
- Козлова Н. Н. (2005). Советские люди: сцены из истории. М.: Европа.

- Козлова Н. Н., Сандомирская И. И. (1996). «Я так хочу назвать кино». «Наивное письмо»: опыт лингвосоциологического чтения. М.: Гнозис, Русское феноменологическое общество.
- Козлова Н. Н., Смирнова Н. М. (1995). Кризис классических методологий и современная познавательная ситуация // Социологические исследования. № 11. С. 12–22.
- Круглов А. Н. (2013). Кант и «внутренняя колонизация России» (Рецензия на книгу: А. М. Эткин, Внутренняя колонизация: имперский опыт России) // Кантовский сборник. Вып. 4. С. 87–99.
- Малахов В. С. (2013). Бритые и бородатые // Отечественные записки. № 5. URL: <http://www.strana-oz.ru/2013/5/briyte-i-borodatye> (дата доступа: 02.08.2016).
- Прохорова И. Д. (2009). Новая антропология культуры. Вступление на правах манифеста // Новое литературное обозрение. № 100. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/zai.html> (дата доступа: 02.08.2016).
- Сандомирская И. И. (2012). «Наивное письмо» пятнадцать лет спустя, или На смерть соавтора // Неприкосновенный запас. № 82. URL: <http://www.nlobooks.ru/node/2075> (дата доступа: 02.08.2016).
- Смирнова Н. М. (2016). От исследования массового сознания к методу биографического нарратива: опыт реконструкции творческой биографии и исследовательской программы Н. Н. Козловой. // Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование». № 2. С. 9–17.
- Сомов В. А. (2012). Советский человек как социокультурный тип в научном дискурсе // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. № 6. С. 117–122.
- Спиноза Б. (2015). Богословско-политический трактат / Пер. с лат. М. М. Лопаткина, С. М. Роговина, Б. В. Чредина. М.: Академический проект.
- Уайт Х. (2001). Метаистория: историческое воображение в Европе XIX века / Пер. с англ. под ред. Е. Г. Трубиной и В. В. Харитоновой. Екатеринбург: Изд-во Урал ун-та.
- Эткинд А. М. (2013). Внутренняя колонизация: имперский опыт России / Авториз. пер. с англ. В. Макарова. М.: Новое литературное обозрение.
- Эткинд А. М. (2016). Кривое горе: память о непогребенных / Авториз. пер. с англ. В. Макарова. М.: Новое литературное обозрение.
- Эткинд А. М., Уффельманн Д., Кукулин И. В. (ред.) (2012). Там, внутри: практики внутренней колонизации в культурной истории России. М.: Новое литературное обозрение.
- Эткинд А. М., Уффельманн Д., Кукулин И. В. (2013). Внутренняя колонизация России между практикой и воображением // Политическая концептология. № 2. С. 31–56.
- Юрчак А. В. (2016). Воображаемый Запад: пространства вневходимости позднего социализма // Юрчак А. В. Это было навсегда, пока не кончилось: последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение. С. 311–403.

- Althusser L.* (1971). Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards an Investigation) // *Althusser L. Lenin and Philosophy and Other Essays*. New York: Monthly Review Press. P. 127–186.
- Badiou A.* (1998). D'un désastre obscur: sur la fin de la vérité d'État. Paris: Aube.
- Buck-Morss S.* (2000). Dreamworld and Catastrophe: The Passing of Mass Utopia in East and West. Cambridge: MIT Press.
- De Certeau M.* (1988). The Practice of Everyday Life. Los Angeles: University of California Press
- Dean J.* (2012). The Communist Horizon. London: Verso.
- Friedrich Carl J., Brzezinski Zb.* (1956). Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Cambridge: Harvard University Press.
- Hardt M., Negri A.* (2009). Commonwealth. Cambridge: Belknap Press.
- Žižek S.* (2001). Did Somebody Say Totalitarianism? Five Interventions in the (Mis) Use of a Notion. London: Verso.

Theory and Narrative in Soviet Studies: The Relevance of Natalya Kozlova's Thought for the Political Theory of Modernity

Maxim Fetisov

Candidate of Sciences, Kozlova Center for Social Theory and Political Anthropology, Department of Philosophy, Russian State University for the Humanities
Address: Miusskaya sq., 6, GSP-3, Moscow, Russian Federation 125993
E-mail: msfetisov@gmail.com

This article is intended to present and reconstruct the original theoretical vision of the Soviet society elaborated by the Russian social theorist, philosopher, and political anthropologist Natalya Kozlova (1946–2002). In contrast to common media and theoretical wisdom tagging Soviet society as “totalitarian,” Kozlova proposed a vivid theoretical picture consisting of diverse everyday practices and social techniques comprising the Soviet version of modernity. This picture is based on the thorough sociological and anthropological analysis of different autobiographical narratives and diaries of everyday life as written by ordinary actors of Soviet modernization. The theoretical analysis of the Soviet modernity presented in this “bottom-up” perspective radically puts the theoretical relevance of any unifying and undifferentiated dominant political and ideological concepts and narratives that depict its history as the one of endless repression leaving no room for the actions of individual actors to be brought into question. The article analyses the detrimental influence of widespread media and theoretical narratives based on such ideologically informed concepts as “totalitarianism,” “internal colonization,” or “open society” on the theoretical conceptualization of the Soviet experience. It argues that the mainstream, uncritical usage of these stigmatizing narratives in the Russian media and in social science impedes new ways of thinking about the Soviet experience. Following the theoretical insights revealed by the research project of Natalya Kozlova, the paper explores the topics of agency, power, and the production of subjectivity while proposing the invention of ways for a more sophisticated comprehension of Soviet society within a wider context of the political theory of modernity.

Keywords: totalitarianism, narrative, autobiography, Soviet, archive, power, subjectivity

References

- Althusser L. (1971) Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards an Investigation). *Lenin and Philosophy and Other Essays*, New York: Monthly Review Press, pp. 127–186.
- Badiou A. (1998) *D'un désastre obscur: sur la fin de la vérité d'État*, Paris: Aube.
- Buck-Morss S. (2000) *Dreamworld and Catastrophe: The Passing of Mass Utopia in East and West*, Cambridge: MIT Press.
- Dean J. (2012) *The Communist Horizon*, London: Verso.
- De Certeau M. (1988) *The Practice of Everyday Life*, Los Angeles: University of California Press
- Friedrich Carl J., Brzezinski Zb. (1956) *Totalitarian Dictatorship and Autocracy*, Cambridge: Harvard University Press.
- Hardt M., Negri A. (2009) *Commonwealth*, Cambridge: Belknap Press.
- Žižek S. (2001) *Did Somebody Say Totalitarianism? Five Interventions in the (Mis) Use of a Notion*, London: Verso.
- Arendt H. (1996) Vvedenie [Introduction of 1966]. *Istoki totalitarizma* [Origins of Totalitarianism], Moscow: CentrKom, pp. 7–28.
- Arhangel'sky A. (2016) Dyrka ot jetiki. Chto ne tak s rossijskoj sistemoj cennostej [Hole instead of Ethics. What's Wrong with the Russian System of Values]. Available at: <http://carnegie.ru/publications/?fa=63999> (accessed 2 August 2016).
- Badiou A. (2005) Tajnaja katastrofa: konec gosudarstvennoj istiny [Of an Obscure Disaster: The End of The Truth of State]. *Sociologija pod voprosom: social'nye nauki v poststrukturalistskoj perspective* [Sociology Under Question: Social Science from Poststructuralist Point of View], Moscow: Praxis, pp. 269–299.
- Benjamin W. (2000) O ponimanii istorii [Theses on the Philosophy of History]. *Ozarenija* [Illuminations], Moscow: Martis, pp. 228–236.
- Etkind A. (2013) *Vnutrennjaja kolonizacija: imperskij opyt Rossii* [Internal Colonization: Russia's Imperial Experience], Moscow: New Literary Observer.
- Etkind A. (2016) *Krivoje gore: pamjat' o nepogrebennyh* [Warped Mourning: Stories of the Undead in the Land of the Unburied], Moscow: New Literary Observer.
- Etkind A., Uffelman D., Kukulin I. (eds.) (2012) *Tam, vnutri: praktiki vnutrennej kolonizacii v kul'turnoj istorii Rossii* [There inside: Practices of Internal Colonization in the History of Russian Culture], Moscow: New Literary Observer.
- Etkind A., Uffelman D., Kukulin I. (2013) Vnutrennja kolonizacija Rossii: mezhdru praktikoj i voobrazheniem [Internal Colonization of Russia: Between Practice and Imagination]. *Political Conceptology*, no. 2, pp. 31–56.
- Gabovich M. (2008) K diskussii o teoreticheskom nasledii Jurija Levady [To the Discussion on Theoretical Legacy of Yuri Levada]. *Russian Public Opinion Herald*, no 4, pp. 50–61.
- Grozovsky B. (2016) Izobretennaja tradicija SSSR [Invented tradition of USSR]. Available at: <http://www.inliberty.ru/blog/2336-izobretennaya-tradicija-SSSR> (accessed 2 August 2016)
- Gudkov L. (2004) "Totalitarizm" kak teoreticheskaja ramka: popytki revizii spornogo ponjatija [Totalitarianism as a Theoretical Framework: An Attempt to Revise the Controversial Concept]. *Negativnaja identichnost': stat'i 1997–2002 godov* [Negative Identity: Writings of 1997–2002], Moscow: New Literary Observer, pp. 362–446.
- Gudkov L. (2006) O cennostnyh osnovanijah i vnutrennih orientirah social'nyh nauk [On Value Basics and Internal Orientations of Social Science]. *Puti Rossii: problemy social'nogo poznanija* [The Paths of Russia: Problems of Social Knowledge], Moscow: Moscow School of Social and Economic Sciences, pp. 26–38.
- Gudkov L. (2007) "Sovetskij chelovek" v sociologii Jurija Levady [The "Soviet Man" in Yuri Levada's Sociology]. *Social Science and Modernity*, no. 6, pp. 16–30.
- Gudkov L. (2009) Uslovija vosproduzhdstva "sovetskogo cheloveka" [The Conditions of the Reproduction of the "Soviet Man"]. *Russian Public Opinion Herald*, no. 2, pp. 8–37.
- Gudkov L. (2011) *Abortivnaja modernizacija* [Abortive Modernization], Moscow: ROSSPEN.

- Kapustin B. (1998) Rossiya i sovremennost': kritika zapadnoj sovetologii [Russia and Modernity: the Critique of Western Sovietology]. *Sovremennost' kak predmet politicheskoy teorii* [Modernity as an Object of Political Theory], Moscow: ROSSPEN, pp. 195–267.
- Konstantinovsky D., Vakhshstain V., Kurakin D. (2012) K analizu doteoreticheskikh osnovanij sociologii obrazovanija: jeksplikacija bazovykh metafor [Analyzing Pre-Theoretical Foundations in Sociology of Education: Explication of Basic Metaphors]. *Educational Studies*, no 4, pp. 22–39.
- Kozellek R. (2014) Vvedenie [Introduction]. *Slovar' osnovnykh istoricheskikh ponjatij: Izbrannye stat'i. T. 1* [Dictionary of Basic Historical Concepts: Selected Articles, Vol. 1], Moscow: New Literary Observer, pp. 23–44.
- Kozlova N. (2001) Sovetskij arhiv: chtenie i perepisyvanie [A Soviet Archive: Reading and Rewriting]. *Index on Censorship*, no. 14. Available at: <http://index.org.ru/journal/14/kozlova14o1.html> (accessed 2 August 2016).
- Kozlova N. (2005) *Sovetskie ljudi: sceny iz istorii* [Soviet People: Scenes from the History], Moscow: Evropa.
- Kozlova N., Sandomirskaya I. (1996) "Ja tak hochu nazvat kino". "Naivnoe pismo": Opyt lingvo-sociologicheskogo chtenija ["I'd like to call a movie like this". "Naive Writings": An Attempt of Linguistic and Sociological Reading], Moscow: Gnozis, Russian Society of Phenomenology.
- Kozlova N., Smirnova N. (1995) Krizis klassicheskikh metodologij i sovremennaja poznavatel'naja situacija [The Crisis of Classical Methods and the Situation in Contemporary Knowledge]. *Sociological Studies*, no 11, pp. 12–22.
- Kruglov A. (2013) Kant i "vnutrennjaja kolonizacija Rossii" (Recenzija na knigu: A. M. Etkind, Vnutrennjaja kolonizacija: imperskij opyt Rossii) [Kant and "Internal Colonization of Russia" (Review of Alexander Etkind's "Internal Colonization")]. *Kantovskij Sbornik*, vol. 4, pp. 87–99.
- Malakhov V. (2013) Britye i borodatye [Shaved and Bearded]. *Otechestvennye zapiski*, no 5. Available at: <http://www.strana-oz.ru/2013/5/bryte-i-borodatye> (accessed 2 August 2016).
- Prokhorova I. (2009) Novaja antropologija kul'tury: vstuplenie na pravah manifesta [Towards the new Anthropology of Culture: Introduction and Manifest]. *New Literary Observer*, no. 6. Available at: <http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/za1.html> (accessed 2 August 2016).
- Sandomirskaya I. (2012) "Naivnoe pis'mo" pjatnadcat' let spustja, ili Na smert' soavtora ["Naive Writings" Fifteen Years After; or, On the Death of Co-Author]. *NZ: Debates on Politics and Culture*, no 2. Available at: <http://www.nlobooks.ru/node/2075> (accessed 2 August 2016).
- Smirnova N. (2016) Ot issledovanija massovogo soznaniya k metodu biograficheskogo narrativa: opyt rekonstrukcii tvorcheskoj biografii i issledovatel'skoj programmy N. N. Kozlovoj [From the Study of Mass Consciousness to the Method of Biographical Narrative: An Attempt of the Reconstruction of N. Kozlova's Work Biography and Research Program]. *RSUH Bulletin, Series: Psychology, Pedagogics, Education*, no 2, pp. 9–17.
- Somov V. (2012) Sovetskij chelovek kak sociokul'turnyj tip v nauchnom diskurse [Soviet Man as Social and Cultural Type in Modern Scholarly Discourse]. *Lobachevsky University of Nizhni Novgorod Bulletin*, no. 6, pp. 117–122.
- Spinoza B. (2015) *Bogoslovsko-politicheskij traktat* [Theological-Political Treatise], Moscow: Academic Project.
- Vakhshstain V. (2011) Post-sovetskaja sociologija: konec pervogo akta [Post-Soviet Sociology: The End of the First Stage]. *Sociology: Theory, Methods, Marketing*, no 2, pp. 59–77.
- Vakhshstain V. (2012) Abortivnaja sociologija (Recenzija na knigu: Lev Gudkov, Abortivnaja modernizacija [Abortive Sociology (Review of Lev Gudkov's "Abortive Modernization")]. *Sociology of Power*, no 4–5, pp. 274–279.
- White H. (2001) *Metaistorija: istoricheskoe voobrazhenie v Evrope XIX veka* [Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe], Ekaterinburg: Ural University Press.
- Yurchak A. (2016) Voobrazhaemyj Zapad: prostranstva vnenahodimosti pozdnego socializma [Imaginary West: The Elsewhere of Late Socialism]. *Yeto bylo navsegda, poka ne konchilos'. Poslednee sovetskoe pokolenie* [Everything Was Forever, Until: The Last Soviet Generation], Moscow: New Literary Observer, pp. 311–403.

«Лингвистическая катастрофа» социолога, интересующегося текстовым анализом*

Ирина Троцук

Доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник
 Центра фундаментальной социологии
 Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
 Доцент кафедры социологии Российского университета дружбы народов
 Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
 E-mail: irina.trotsuk@yandex.ru

Первоначально статья задумывалась как рецензия на книгу А. И. Рейтблата «Писать попереки: статьи по биографии, социологии и истории литературы», но превратилась в краткий обзор или даже попытку «классификации» литературы, необходимой для прочтения социологу, занимающемуся текстовым анализом. Подобная вынужденная метаморфоза авторского замысла объясняется рядом причин: во-первых, «методологической травмированностью» современных социологов, которые вынуждены постоянно пояснять основания своей эмпирической работы и концептуализаций в ситуации нынешней экальтивированной мультидисциплинарности социологии; во-вторых, усугублением этой проблемы в текстовом анализе, поскольку он характеризуется отсутствием конвенциональных решений даже на уровне номинаций аналитических подходов, не говоря уже о правилах и процедурах «классической» научной методологии; в-третьих, необходимостью минимальной компетенции в смежных с социологией дисциплинах, влияние которых на текстовый анализ должно четко осознаваться с точки зрения своих причин, последствий и пределов. Автор предлагает социологам опираться на следующие типы работ, посвященных разным лингвистическим аспектам социальной жизни (эти группы работ составляют основу «несоциологической» грамотности в сфере текстового анализа): 1) практические рекомендации по реализации лингвистического анализа, которые важны для корректного проведения контент-аналитических исследований; 2) публицистические оценки роли языка в социальной жизни и трансформаций современного русского языка/дискурса во всем многообразии его повседневного бытования; 3) философски нагруженные работы, посвященные не столько дискурсивному конструированию реальности, сколько фундаментальной роли языка в конституировании и разрушении разных сфер социальности; 4) исследования социального бытования текстов, с натяжкой способные вписаться в понятие социологии литературы, но не исчерпываемые ею.

Ключевые слова: текстовый анализ в социологии, лингвистический анализ, социальная роль языка, дискурсивное конструирование реальности, социальное бытование текстов, междисциплинарность, типы несоциологических работ по «проблеме текста»

© Троцук И. В., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-1-247-269

* В данной научной работе использованы результаты проекта ««Спонтанность и длительность в социальной жизни: от эпизодов коммуникации к структурам порядка», выполняемого в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2017 году.

Человек нормального склада ума склонен пренебрежительно относиться к занятиям лингвистикой, пребывая в убеждении, что нет ничего более бесполезного. Столь малая полезность, которую он усматривает в этих занятиях, связана исключительно с возможностями их применения.

Эдвард Сепир, 1924

В 2006 году с легкой руки Г. Г. Татаровой в российский социологический дискурс вошло понятие «методологическая травма»¹ — «обозначение ситуации растерянности исследователей перед обилием социологических теорий, методологий, методов в процессе принятия решений о выборе средств познавательной деятельности», причем ситуации, которая редко артикулируется, что дает основания считать данную травму латентной (Татарова, 2006: 3). Диагностировать таковую у индивидов предлагается по ряду «индикаторов» — понятийный релятивизм, жонглирование понятиями, методологический «анархизм» и пр., а у групп и социологического сообщества в целом — по ряду «симптомов», среди которых «фракционность» сообщества вследствие атомизации социологии как науки, несоизмеримость разных социологических теорий, отрыв концептуальных моделей от эмпирических интерпретаций, массовые дискуссии о качественной и количественной методологиях, эпистемологическая дилемма выбора исследовательской позиции в конкретных практиках, «маркетингованность» и «поллстеризованность» социологического сообщества и т. д. (Там же: 4).

Вероятно, наиболее очевидное для любого социолога последствие подобной методологической травмированности — ощущение, что «социолог не успевает за социологией», а наиболее «травмированными», видимо, следует считать исследователей, работающих с текстовыми данными, потому что им по определению приходится успевать не только за социологией (хотя и одна эта частная задача, исходя из определения методологической травмы, оказывается непосильной), но и за смежными дисциплинами, сфокусированными на текстовом измерении социальной жизни, в частности за историей и философией, и прежде всего за лингвистикой (и отчасти литературоведением), потому что эти дисциплины существенно раньше социологии разработали методологические подходы и методические решения для текстового анализа.

Выход из сложившейся ситуации (определенное преодоление травмированности) может быть и очень простым, и очень сложным. Первый путь, по сути, предлагает Т. ван Дейк (ван Дейк, 2014: 17), утверждающий, что раз многие фундаментальные понятия социальных наук сложны и неясны, а дать однозначные конвенциональные определения таким словам, как «текст» и «дискурс», практически невозможно, то следует отказаться от терминологических изысканий и дебатов и просто четко обозначать то «измерение», которое будет подвергнуто исследова-

1. Данное понятие введено по аналогии с понятием «культурная травма» у П. Штомпки (Штомпка, 2005: 477).

нию (например, типичные формы властного доминирования в текстах/речи/семиотических практиках, которые resultируют в типичных формах социального неравенства и несправедливости во взаимоотношениях групп/организаций), формулируя максимально четкие и частные цели аналитического поиска. Фактически по этому пути идут большинство исследователей, работающих с разными форматами текстового анализа и пребывающих в плену иллюзии, что в социологии методики работы с неформализованными данными имеют статус, вполне эквивалентный опросным технологиям, и не вызывают сомнений в своей «социологичности». Однако текстовые данные занимают в нашей науке весьма маргинальную позицию в том смысле, что как самостоятельный (а не вспомогательный к формализованным данным, полученным благодаря соответствующим опросным методикам) источник информации фигурируют в публикациях довольно редко вследствие ограниченных возможностей стандартизации принципов их интерпретации и скромных перспектив экспликации выводов. Вернее даже так: «внутри» опросного метода, если исследователь решил потратить массу времени и сил на обработку результатов применения открытых вопросов, неоконченных предложений и пр. (конечно, при условии, что гиперсознательные респонденты произвели достаточно «текстов» для анализа), его работа не вызовет особых нареканий, но как отдельная, независимая и самостоятельная методическая стратегия — несомненно.

Даже без отсылок к часто упоминаемому сегодня постмодернистскому «статусу» науки и расколотому состоянию социологического сообщества можно отметить, что за исключением вполне конвенционального метода работы с текстовыми данными — контент-анализа все иные варианты интерпретации объемной текстовой информации (нарративный, дискурсивный, лингвистический и прочие версии текстового анализа) имеют крайне различающиеся трактовки в статьях по результатам эмпирических исследований и редко содержат развернутые описания своего методического аппарата, особенно если авторы научной, публицистической или даже учебно-методической литературы выбирают тот или иной аналитический подход как концептуальный «фрейм».

Безусловно, в значительной степени тому есть «объективные» причины. Одна из основных — бесконечная многозначность базового для нынешнего социально-гуманитарного знания понятия «текст» (см., напр.: Белянин, 1999: 65), т. е. речь идет о неопределенности и размытости объекта изучения (предметом интереса применительно к нему может быть практически все что угодно). В принципе достаточно противоречивые и бесчисленные трактовки текста можно свести в три базовые группы (Чернявская, 2010: 12): высший уровень в языковой системе, включающий в себя такие «единицы», как слово, словосочетание, предложение (т. е. текст рассматривается с позиций грамматики, внутритекстовых связей и средств их реализации); результат использования языковой системы в речи (т. е. текст как «язык в действии»); и единица общения, отражающая цели участников коммуникации и обладающая относительной смысловой завершенностью. Впрочем, можно обойтись и без содержательных «детализаций», признать недостаточность интралинг-

вистического подхода к определению текста (Залевская, 2005: 342) и подчеркнуть, что социальное бытование неизбежно наделяет любой (по содержательным и формальным характеристикам) текст такими свойствами, как информативность, адресность, интертекстуальность, когезия и когерентность (Рождественская, 2010: 88) (семантическая и прагматическая связность). Они и придают завершенность последовательности языковых или неязыковых знаков, значение которой зависит от конвенциональных правил (кодов) их подбора, сочетания и интерпретации (декодирования) (Чернявская, 2010: 14).

Собственно отсутствие сегодня неких общепринятых критериев выделения видов/типов текстов объясняется как раз тем, что внутритекстовые характеристики (текстограмматические и семантические) перестали считаться (и быть) достаточными — стали учитываться и экстралингвистические аспекты — иллокутивные (тексты могут быть декларативными, апеллятивными и оценочными), пропозициональные (например, рецензия может быть научной, публицистической, шуточной или издевательской), коммуникативные (устный или письменный текст, монологический или диалогический и т. д.). Все это породило известную «проблему текста» как признание невозможности (и нежелательности) однозначной трактовки смысла текста в силу его сложной, многоплановой, многоуровневой и при этом нефиксированной природы: денотации было отказано в праве выступать основной моделью интерпретации — данный статус обрела коннотация как совокупность всех социокультурно и ситуативно обусловленных смысловых оттенков, которые и определяют логику порождения и восприятия текстов даже в рамках прежде считавшегося достаточно (но не совсем) невинным с точки зрения «языковых игр» научного дискурса.

В результате в рамках текстового анализа именно в социологии (поскольку менее эмпирически ориентированные дисциплины, не озабоченные проблемами репрезентативности и экспликации данных, часто вообще игнорируют методические вопросы) исследователи нередко реализуют биографический, нарративный или дискурсивный анализ, как бы оставляя за скобками лингвистическое «измерение» объекта своего изучения. В качестве имплицитного обоснования выступает акцент на особенностях «текстов» и специфических контекстах их бытования, тогда как лингвистические их характеристики остаются за скобками, как и традиционные социологические требования репрезентативности, валидности, надежности и пр., и мало кто из исследователей убежден, что раз «дискурсу необходимы основные понятия, для того чтобы выразить, о чем идет речь, то анализ понятий требует обладания как лингвистическим, так и нелингвистическим контекстом...» (Бёдекер, 2010: 64). Все это приводит к тому, что в социологии оказываются разорваны два предметных поля — исследования биографий, нарративов и дискурсов с обращением к самым разным концептуальным моделям, с одной стороны, и узко направленные эмпирические исследования с использованием контент-анализа — с другой, даже если представители обоих «полей» признают, что лингвистическое измерение позволяет понять закономерности сочетания предложений

и способы макроструктурной семантической интерпретации коммуникативных текстов в разных «моделях ситуации» и «наборов личностных знаний». Во втором предметном поле потенциал лингвистического анализа используется существенно чаще, например, подсчитывается частота встречаемости конкретных (видов) слов и словосочетаний, чтобы «определить функционалы, которые могли бы помочь в классификации текстов в соответствии с тем или иным признаком (автор, жанр, эпоха)... не вторгаясь собственно в область литературы, т. е. не анализируя синтаксис, литературные приемы, схемы взаимодействий персонажей и т. д.» (Орлов, Осминин, 2012: 27); тогда как в первом предметном поле этот потенциал чаще просто признается, например, когда дискурс определяется как «последовательность паттернов, конституированных через контекст намерений, которые проявляются на лингвистической поверхности как последовательность лингвистических действий» (Тичер и др., 2009: 242).

Более сложный вариант «излечения» от «методологической травмированности» социолога в рамках текстового анализа требует существенно больших усилий по изучению огромного и разнородного массива литературы, посвященной лингвистическим проблемам (за исключением, видимо, историографических тематик (Кондрашов, 2004; Кюглер, 2005; Макаров, 2003) и сложнейших математизированных психолингвистических экспериментов (Залевская, 2005), хотя и здесь есть множество полезных для социолога «сюжетов»). Пытаться структурировать данную библиографическую «кучу» (в сорокинской терминологии) — задача бессмысленная и нереализуемая, поэтому попробуем выделить здесь несколько полезных для социологического изучения типов «текстов». Во-первых, наиболее полезны с методической точки зрения для проведения контент-аналитического исследования практические рекомендации по реализации разных версий лингвистического анализа. Безусловно, здесь не будет статей, посвященных проблемам замены «аутентичных» повествований респондентов их транскрибированными и отредактированными версиями или же форматам презентации «текстов» информантов — в крайне фрагментарном и отретушированном виде преимущественно в иллюстративных целях, в практически «оригинальном» виде, почти без стилистической и логической редактур, с небольшими комментариями (Козлова, Сандомирская, 1996: 10), или же полностью «фигуриализированных» (Gilgun, 2004) — все это сугубо социологические проблемы. В эту группу работ также не следует включать концептуальных обоснований того, что слова имеют «собственный смысл, а этот смысл отсылает к определенным реальностям и объектам... причем абсолютно безразлично, идеологическая или эмпирическая природа у этих реальностей и объектов... семантика покровительствует именно определенным способам организации идей и опыта» (Козеллек, 2010: 22, 28).

Речь идет о работах, в которых предлагаются разные решения (назвать их методическими не всегда представляется возможным) для практической реализации лингвистического анализа применительно к конкретному «высказыванию» или совокупности текстов. Так, может подсчитываться встречаемость букв (состав-

ляются ранжированные по частоте использования в художественной литературе списки букв алфавита) и их словосочетаний в печатном тексте; выделяться и сопоставляться с точки зрения своих прагматических задач уровни текста (образно-языковой — инвенции, структурно-композиционный — диспозиции и идейно-тематический — элокуции) (Шевченко, 2003); применяться разные «техники чтения»: стилистическое экспериментирование — различные аранжировки текста, оценка отступлений от языковых правил, индивидуальной многозначности, наращивания смысловых элементов, или стилистические сопоставления — обнаружение сходств и различий в языковом (внешнем) оформлении текстов однотипного (внутреннего) содержания (Купина, 1980: 16–32); оценка качественного своеобразия текста через подсчет прилагательных, наречий, глаголов, местоимений, существительных и их конкретных видов (Мартынов, 2001); определение регистра — коммуникативного типа речи, формирующегося в зависимости от пространственно-временной позиции говорящего/пишущего и его отношения к сообщаемому по частотности соответствующих «индикаторов» (Золотова, Онипенко, Сидорова, 1998: 28–29); оценка информативности (содержательно-фактуальной, содержательно-концептуальной и содержательно-подтекстовой) и модальности (объективной и субъективной) текста для идентификации авторского замысла (Гальперин, 2009; Шевченко, 2003) и т. д. (более подробно см.: Троцук, 2014). Иными словами, в данной группе работ обозначено, как именно можно подвергнуть «анализируемый текст расчленению, своеобразной вивисекции, квантификации на те лингвистические единицы речи, которые служат в тексте индикатором определенных явлений действительности, идей, моделей поведения и т. п.» (Федотова, 2001: 31).

За исключением данной, вполне понятной по своим содержательным акцентам группы работ, выделить остальные даже в достаточно узком социологически релевантном круге (около)лингвистических работ крайне сложно — приходится заниматься практически сизифовым трудом по систематизации оснований, подходов и принципов работы с неформализованными данными в эмпирическом исследовании. Проблема в том, что оставшийся после вычленения первого типа работ круг источников, которыми социолог в принципе может (и даже должен) пользоваться в сфере текстового анализа, все еще предельно широк и крайне мозаичен и представить некий кратко-обобщающий его обзор вряд ли возможно², поэтому ниже будут обозначены лишь определенные лингвистические «кейсы», которые могут оказаться в руках социолога.

2. Следует признать, что справиться с этой задачей автору рецензии не удалось и в рамках собственного диссертационного исследования, библиография которого насчитывала 669 источников, но все равно вызвала критические замечания оппонентов своей неполнотой в связи с отсутствием в ней как конкретных персонажей, так и особых исследовательских направлений в рамках методологии анализа текстовых данных. Тем не менее будем исходить из того, что в библиографии докторской диссертации представлены (почти) все (почти) обязательные для прочтения социологом работы по текстовому анализу в широком междисциплинарном контексте его бытования поле.

Итак (к сожалению, хотя это затрудняет восприятие повествования, но иначе не получается), во-первых, это работы, посвященные вполне публицистической оценке роли языка в социальной жизни в целом и трансформациям современного русского языка/дискурса в данной функции во всем многообразии его повседневного бытования. В качестве примера работ, характеризующих социолингвистические проблемы современности, можно назвать книгу В. Плуногяна «Почему языки такие разные» (Плуногян, 2016), в которой рассмотрено необыкновенное разнообразие человеческих языков, их различия (в разных странах, в формате диалектов или жаргонов), взаимное влияние (исторически и географически обусловленное, в виде диглосии, билингвизма и пр.) и удивительный антропоморфизм — похожесть на людей с точки зрения своего жизненного цикла (языки тоже рождаются, умирают, вступают в родственные отношения и образуют «семьи»).

Другой пример — книга Г. Дойчера «Сквозь зеркало языка: почему на других языках мир выглядит иначе» (Дойчер, 2016), посвященная оценке обоснованности попыток «философов всех стран и направлений становиться в очередь, чтобы заявить, что каждый язык отражает качества народа, который на нем говорит» (Дойчер, 2016: 9). Констатируя общую проблему «этого впечатляющего интернационального единодушия — оно рушится сразу же, как только мыслители переходят от общих принципов к размышлению о конкретных свойствах тех или иных языков и о том, что эти лингвистические свойства могут рассказать о качествах конкретных народов» (Дойчер, 2016: 10), автор на конкретных примерах заблуждений — что английский язык превосходит французский по ряду признаков, включая логику, что языки американских индейцев диктуют «монистический взгляд» на Вселенную и пр. — показывает, что доминирующая среди современных лингвистов точка зрения, что «язык есть прежде всего инстинкт... основы языка закодированы в наших генах и одинаковы для всего человечества... все языки в своей основе объединены одной и той же универсальной грамматикой, общими подразумеваемыми понятиями, одинаковой степенью системной сложности», не вполне верна, поскольку «культурные различия отражаются в языках очень глубоко, а растущий массив научных исследований убедительно показывает, что наш родной язык может влиять на то, как мы думаем и воспринимаем мир... Культура может оставлять более глубокие отметины там, где мы не опознаем их как таковые, где ее традиции столь неизгладимо врезались во впечатлительные юные умы, что мы выросли, принимая их за нечто совершенно иное» (Дойчер, 2016: 14–15). Речь идет о культуре в предельно широком смысле — как совокупности знаний, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и прочих способностей и привычек человека, усвоенных им как членом определенного общества, прежде всего через язык.

Язык для Дойчера — «культурная условность, которая не притворяется ничем иным, кроме культурной условности. Языки земного шара чрезвычайно разнообразны, и все знают, что конкретный язык, который осваивает ребенок, это лишь случайность, зависящая от той культуры, в которой его угораздило родиться...

Наиболее очевидная разница между языками в том, что они выбирают разные имена, или ярлыки, для понятий» (Дойчер, 2016: 18–19). Впрочем, случайность языковых ярлыков не абсолютна — «любой язык делит мир на категории, объединяющие объекты, сходные в действительности — или хотя бы в нашем восприятии действительности» (Дойчер, 2016: 21). И набеги культуры не ограничиваются сферой абстрактных понятий (таких как доверие, справедливость, разум, дух и пр.) — в области языка нашествие культуры безгранично даже в сфере простейших понятий, маркирующих части тела, пространственное размещение и цвета.

В обосновании своего восприятия роли языка в социальном конструировании реальности (если перевести задачу книги на социологический «язык») автор рассказывает об «аферистах» от науки на примере Б. Уорфа (его афера для автора состоит в порождении иллюзии, что «язык — это место заключения для мыслей, что он ограничивает способность своих носителей логически рассуждать и препятствует им в понимании идей, которые в ходу у носителей других языков» (Дойчер, 2016: 191)) и приводит примеры недавних открытий «бесстрашных исследователей», которые применяли строго научные методы и показали удивительное влияние специфических черт родного языка на мышление. Причем их данные «не принесли победы ни одной из сторон — ни хищным культуралистам, ни педантичным нативистам», поскольку «культура пользуется ограниченной свободой... в известных пределах, поставленных природой» (Дойчер, 2016: 117), например, применительно к маркированию конкретных цветов и пространства (географически или эгоцентрически) «директивы природы могут быть дополнены или даже поправлены выбором культуры» (Дойчер, 2016: 118), т. е. культурные условности маскируются под природные универсалии (влияние пространственных координат на модели запоминания и ориентирования, грамматического рода — на ассоциации, цветовых обозначений — на чувствительность к различиям цветов).

Группу работ, посвященных трансформациям современного русского языка/дискурса, составляют вполне многочисленные сегодня научно-популярные тексты, авторы которых фиксируют социокультурные изменения российского общества через определенные языковые маркеры и/или колебания прежде устойчивых языковых норм. В качестве примера можно привести неоднократно переиздававшуюся книгу М. Кронгауза «Русский язык на грани нервного срыва» (Кронгауз, 2008) или работу Г. Гусейнова «Нулевые на кончике языка: краткий путеводитель по русскому дискурсу» (Гусейнов, 2012). Кронгауз в увлекательной форме, характерной для его многочисленных интервью и публичных выступлений, пытается урезонить две «радикальные» группы, выступая в качестве «собеседника, понимающего суть проблем и способного к их рациональному анализу, а не только к эмоциональным оценкам»: с одной стороны, тех, кто панически возвещает закат (порчу, гибель) русского языка (вследствие снижения его общего «интеллектуального уровня» или засилья западных клише, прежде всего американизмов); с другой стороны, тех, кто безмятежно уверен, что с русским языком вообще ничего не

происходит. Отповедь первым слышна в пассажижах о понятии «менеджер» (весьма важном и частотном для социологии в управленческой сфере):

Если подумать, слово «менеджер» совершенно уникально, и ничем заменить его нельзя. В новых словарях оно толкуется как «нанимаемый руководитель предприятия». Но это не так (в этом значении, скорее, скажут «топ-менеджер»), и по существу слово «менеджер» означает почти любую наемную профессию... Русскому языку понадобилось заимствовать такое абстрактно-пустоватое слово, потому что за этим словом скрывается не столько профессия, сколько образ жизни, целая культура, которую можно назвать корпоративной, или «культурой белых воротничков». Менеджер — это стабильная работа, стабильная зарплата, стабильные привычки, наконец, просто стабильная жизнь... Стать менеджером означает чего-то добиться в жизни, завоевать свое место под солнцем... Это действительно чем-то похоже на инженера в советское время... (Кронгауз, 2008: 45)

Покой второй группы автор тревожит на том же самом примере: «Но русский язык не был бы русским, если бы не сумел сыронизировать над собой и... не породил слово-близнец — „менеджер“... Различие заключается в ироническом отношении к соответствующей культуре, статусу и привычкам, и к себе, менеджеру, в том числе. И понятно, что никто не захочет зваться „менеджером торгового зала“» (Кронгауз, 2008: 46). В целом автор спокойно относится к заимствованиям, но только в том случае, если они становятся «слегка адаптированными, как бы обрусевшими... встраиваются в систему русского языка с помощью родной грамматики» (Кронгауз, 2008: 41) и используются в меру.

Кронгауз с интересом препарирует и сегодняшний интернет-сленг (частью которого является знаменитый «язык падонков»). Отмечая, что специфических для интернета слов и выражений немного (около сотни) и потому ничего особенного в данном сленге как бы нет, он все же подчеркивает, что на него следует обращать пристальное внимание в силу ряда причин (Кронгауз, 2008: 89): его необычайной популярности и потому невероятно сильно эмоционально окрашенного его восприятия (от восторга до ненависти), социально-дифференцирующего характера (проводит границы между «своими»/членами интернет-сообщества и «чужими»), чрезмерно агрессивной экспансии далеко за пределы интернета (разговорная речь, сообщения средств массовой информации и пр.) и игрового характера (состоит исключительно из игровых моделей, похожих на «постоянное подмигивание»). В распространении, даже выплеске интернет-сленга за пределы виртуальной среды Кронгауз видит неизбежность одновременно позитивного (все неправильные, необычные написания выразительны и потому активно используются) и негативно-го характера («по мере привыкания к ним... они станут совершенно обычными, нейтральными написаниями, но правила орфографии при этом мы потеряем безвозвратно» [Кронгауз, 2008: 90]).

(Научно)публицистический характер работ Кронгауза не лишает их выверенной научной дистанцированности — автору чужды идеологические отступления и страсть к критике социально-экономических и политических реалий нынешней российской действительности. Подобная ангажированность — фирменный стиль текстов Г. Гусейнова, где обращение к лингвистическому «измерению» социальной жизни, наоборот, выглядит как удобный автору концептуальный фрейм для высказывания собственных и, как правило, критических суждений о российской — и не только — действительности. Поэтому спектр тематик в книге Гусейнова более «политизирован»: затрагивает исторически не нейтральные периоды (например, 1920–1930-е годы, когда «суровая правда жизни побивала все ухищрения даже самых талантливых шутников» [Гусейнов, 2012: 15]), непреходящие публицистические сюжеты (скажем, о роли в истории «маленького человека»), в том числе социолингвистические (сержант российской полиции «умеет распознавать до десяти различных акцентов — помимо трех южнокавказских — армянского, грузинского и азербайджанского, различает среднеазиатские, молдавский, литовский, эстонский» [Гусейнов, 2012: 19]) и о политкорректности (как «постоянном отыскивании более правильных на данный момент слов взамен менее правильных», особенно в случае конфликтов между политкорректностью и политическими обстоятельствами), а также предлагает зарисовки о нашей жизни в мире текстов, ставшие возможными вследствие «лингвистического» и прочих «поворотов» («как многие догадываются, некоторые страны преследуют Джулиана Ассанжа вовсе не за его дела, а за его слова» [Гусейнов, 2012: 43]). Впрочем, в книге встречаются излишне жесткие и несправедливые в своей категоричности и общности оценки (например, о «людях в России» [Гусейнов, 2012: 69]).

Объединяет работы Кронгауза и Гусейнова как показательные «кейсы» полезной для социолога несоциологической литературы черта, которая, по крайней мере пока, считается недопустимой для социологических текстов: полное пренебрежение проблемой репрезентативности/типичности. Авторы делают выводы на основе отдельных ярких иллюстраций, которые фиксируют некие изменения в обществе, но отнюдь не позволяют судить об их типичности, распространенности, симптоматичности в каких бы то ни было масштабах (городских районов, типов поселений, социальных групп и пр.). Это ни в коей мере не отменяет важности и нужности подобных работ для социологического чтения (в замечательном сборнике статей ван Дейка (ван Дейк, 2014) ситуация с обоснованием примеров не лучше) — просто следует предупредить социологически травмированного читателя о неправомерности предъявления авторам соответствующих претензий относительно экспликации выводов по результатам социолингвистических наблюдений и зарисовок, пусть даже они и стремятся зафиксировать «то существенное, что изменилось в массовом отношении к языку» (с. 7) в хронологической и поколенческой перспективах. Кстати, никакими статистическими выкладками не подкрепленные обобщения встречаются и в социологических статьях, когда по одному небольшому биографическому нарративу исследователь делает выводы о

специфике гендерных, профессиональных, семейных, классовых и прочих отношений (см., напр.: Franzosi, 1998).

Второй тип лингвистических текстов, с которыми может столкнуться заинтересованный социологический читатель, — это неожиданно избыточно философски нагруженные работы, которые не предупреждают о таковых своих особенностях в названии или аннотации (впрочем, здесь возможны и погрешности индивидуального восприятия). Речь не идет о философствовании о языке в том смысле, в каком о нем упоминает, скажем, Кронгауз: «После перестройки мы пережили минимум три словесные волны: бандитскую, профессиональную и гламурную, а в действительности прожили три важнейших одноименных периода... можно просто произнести те самые слова, и за ними встанет целая эпоха — это философия языка» (Кронгауз, 2008: 14). Имеется в виду иной тип работ, который социологу покажется, видимо, странным³, что не следует считать критическим выпадом против содержания или аннотированной адресности книги М. Аркадьева «Лингвистическая катастрофа» (Аркадьев, 2013), предназначенной «всем, кто интересуется проблемами человеческого существования, культуры, философии, религии, языкознания и истории» (список интересов столь же впечатляющий, сколь и неспецифицированный).

Книга начинается с «Краткого ненаучного предисловия», что, впрочем, не дезориентирует читателя — претензии автора носят сугубо научный характер, несмотря на внешнюю (маскировочную) публицистичность текста, где нет глав или параграфов — только «темы», «вариации» и «маргиналии». Автор демонстрирует поразительную эрудированность, чтобы показать катастрофичность человеческого существования, зафиксированную с помощью языка и в нем самом, посредством научного и наукообразного дискурса (в тексте масса неологизмов, по крайней мере, для социолога) и столь внушительного «поминальника» имен из самых разных дисциплинарных полей (философия, лингвистика, математика, история, психоанализ и т. д.), что, читая книгу, невольно осознаешь собственную интеллектуальную неполноценность, наблюдая такую эрудицию и способность буквально жонглировать именами, цитатами и ссылками, «ведя непрерывную беседу со всеми, так или иначе доступными философскими и теологическими текстами» (Аркадьев, 2013: 13). Для автора «лингвистическая катастрофа — это разрывная структура человеческой... экзистенции. Нам не грозит катастрофа извне — мы и есть катастрофа... сам человек, вид, мыслящий о мысли... и потому с самого начала погруженный в топологию и логику рекурсивного разрыва» (Аркадьев, 2013: 14). Данное определение фиксирует пафос книги, не характерный для нынешнего социально-гуманитарного дискурса: «Хотя твои старания заранее обречены, надо

3. Право использовать столь нехарактерное для научного дискурса определение — «странная» — дает сам автор, в первой фразе книги «предлагающий вниманию читателя нечто, как принято считать, скоропортящееся, а именно концепцию, претендующую на истинность... в тексте, насколько это возможно, научном... с экзистенциальной интонацией... и философствующей направленностью» (Аркадьев, 2013: 11).

пытаться понять все... построить „теорию всего“ (с полным пониманием недостижимости задачи)» (Аркадьев, 2013: 14–15).

Основная тема книги — суть и проявления лингвистической катастрофы — задается провокационным вопросом «как возможны одновременно Акрополь и Освенцим?» (извечным вопрошанием о сосуществовании гениальности и злодейства). Тезисно суммировать рассуждения автора, снабженные огромным количеством «цитаций» и аллюзий вряд ли возможно, но речь идет о том, что человек фундаментально диссонансен, поскольку стремится к непрерывности (бессмертности), но путь его конечен (катастрофичен), и он пытается как-то компенсировать этот фундаментальный разрыв и собственную бездомность в мире посредством техники, искусств, ремесел и прочих искусственных элементов среды, что ему не удастся, поскольку даже самые устойчивые социально-космологические образы постоянно рушит лингвистическая катастрофа, «внутренняя трещина, растущая из повседневной человеческой речи» (Аркадьев, 2013: 58), порожденная «лингвистической травмой» (разрывом между субъектом и его партнером по коммуникации, между субъектом и объектом его высказывания, между универсальным коммуникативным пространством языка и тем гипотетическим миром, который данное пространство пытается «высказать»). «Мы вовлекаемся окружающими нас людьми в радостную игровую и одновременно разрывную коммуникативную деятельность и тем самым оказываемся „обречены“ на язык, на сознание смерти, на сначала незаметную, затем все более и более ощущаемую нами трещину — лингвистическую катастрофу, как и на последующее стремление от нее избавиться» (Аркадьев, 2013: 63–64). Так, культура для автора — совокупность «техник борьбы с разрывом, с историчностью, открытостью, деструктивностью языковой деятельности, способов склеек, сшивания изначально разорванной для человека „ткани бытия“» (Аркадьев, 2013: 98).

Основное содержание книги составляют авторские размышления о шести вариациях обозначенной темы — «лингвистической катастрофы».

1) Всю человеческую историю и культуру, все социальные структуры, мифы, ритуалы, формы религии, искусства, философии и науки автор считает результатом лингвистического разрыва и осознания/интериоризации смерти и одновременно попыткой его преодоления/склеивания: «человеческая экзистенция стремительно бьется, как челнок, между двумя экстремальными точками» (Аркадьев, 2013: 110) — возвращение в первичное состояние (наркотический, анестезирующий инструментарий мифологической, ритуальной и — в целом — культурной традиции) и выход в гипотетическую сверхсознательную сферу (трансцендирующий инструментарий философской традиции).

2) Затем автор рассматривает эксцессы человеческой истории, выраженные тоталитарными режимами, мировыми войнами, холокостом и ГУЛАГом, и утверждает необходимость балансировать на краю пропасти лингвистической катастрофы посредством соблюдения правил цивилизованного общежития в сверхсложной социальной системе демократического типа (Аркадьев, 2013: 169). Автор

не переходит на уровень «приземленного» лингвистического анализа (скажем, исследуя вербальные техники конструирования образа врага), но констатирует то же самое на более высоком уровне абстракции: «специфический человеческий опыт как таковой и его структура существуют только благодаря языку и тому разрыву/разрывам, которые он перманентно осуществляет» (Аркадьев, 2013: 184).

3) Далее автор отмечает проблему «забывания», почему мы пользуемся теми или иными «научными» понятиями (автоматически, по привычке), хотя, как правило, прекрасно отдаем отчет в «неточности гуманитарных наук»: «рождение института школы отмечает появление в культуре специального социального механизма для активизации и трансляции рефлексивности через систему логических понятий; ...институт всеобщего образования делает этот механизм тотальным и именно поэтому автоматизируя его, создает иллюзию его естественности» (Аркадьев, 2013: 204).

4) Весьма неожиданно для читателя автор переходит к критике феноменологического проекта за «игнорирование предположения, что сознание как таковое, а не его деформация уже может расцениваться... как некая первичная деформация» (Аркадьев, 2013: 226), и философии в целом — за «удручающее невнимание» к ключевым лингвистическим текстам и проблемам, хотя именно «лингвистика имеет дело с парадоксальной самореферентной структурой языка, удерживая и подчеркивая как раз те особенности языка, которые являются определяющими при разговоре о сознании» (Аркадьев, 2013: 235) (например, «способность говорящего к перевертышам, палиндромам и другим фонематическим комбинациям является важным свидетельством речевого здоровья» [Аркадьев, 2013: 250]).

5) Далее автор ставит «радикальный вопрос об автобиографии» в такой терминологии, как «пауза», «танатос», «сознание», «дуальность», «свобода» и «чистое мышление», и признается, что его «мыслительные конструкции носят совершенно непозволительный характер очередного тотального проекта, так как он пытается предложить некий „универсальный код“ для интерпретации всех возможных текстов и экзистенциальных „ситуаций“, исходя из предположения, что они существуют и могут быть поняты» (Аркадьев, 2013: 291), в итоге с читателем его связывает общее чувство недоумения от собственного текста.

6) И, наконец, автор, по сути, обозначает философское «измерение» языковых проблем как базовое для лингвистической проблематики, потому что именно философия — ресурс «демифологизации, освобождения мышления от „идолов“, лежанок и костылей, т. е. непроясненных посылок и постулатов, или... „мифов“» (Аркадьев, 2013: 331). Апеллируя к лингвистической катастрофе, философия проявляет фундаментальную бездомность человека, «деавтоматизирует язык, препятствуя мифу стать руководством к действию — к теоретически или как угодно иначе оправданному насилию» (Аркадьев, 2013: 340), и при желании социолог может обнаружить здесь переход на эмпирический уровень лингвистического анализа социальной агрессии.

Безусловно, книга Аркадьева очень сложна для восприятия, требует от читателя неплохой ориентировки в истории развития лингвистических (и не только) учений в широком междисциплинарном контексте, поэтому вряд ли ее можно рекомендовать студентам-социологам, но обязательно — исследователям, которые рассматривают лингвистический анализ не только как набор удобных технических приемов «препарирования» некоторых текстовых массивов. Книга, несомненно, расширяет интеллектуальный диапазон заинтересованного читателя, в том числе показывая, как можно компоновать научный текст не по лекалам научной традиции: например, помимо классических «маркеров» научного дискурса (внушительный отсылочный и библиографический аппарат, глоссарий, примечания, которые можно читать как вполне самостоятельный текст), здесь есть «маргиналии» (особые контексты рассмотрения основной темы — эсхатологический, еретический, имморальный, эпистолярный, искусствоведческий, темпорологический, антифашистский и диалогический), неологизмы (по крайней мере, на взгляд читателя-социолога — «интериоризация смерти», «прафашизм» и пр.), очень спорные, но безапелляционно поданные суждения (скажем, что невербальность — это «мифологизация, понятие-маска, шифр, который прикрывает, камуфлирует бессознательно/сознательно стремление к „возвращению“ в доязыковое сознание», что овладение родным языком и есть момент осознания смерти (Аркадьев, 2013: 99), что марксизм в России вытеснил тысячелетнюю христианскую культуру (Аркадьев, 2013: 163), что холокост европейских евреев во Второй мировой войне — «пример... реставрации практик архаического каннибализма и человеческих жертвоприношений» (Аркадьев, 2013: 491) и т. д.) и эпитафии ко всем структурным разделам — «сознание убивает жизнь... само сознание — болезнь» (Ф. М. Достоевский), «стремление всех людей писать и говорить об этике или религии было стремлением вырваться за границы языка» (Л. Витгенштейн), и даже Ю. Мисима, видящий «одинаковый смысл в понятиях „созидание“ и „разрушение“ в истории».

Пример третьего типа работ, способного заинтересовать широкий круг читателей, но важного для любого исследователя социального бытования текстов, — книга А. И. Рейтблата «Писать поперек: статьи по биографике, социологии и истории литературы» (Рейтблат, 2014). Аннотация позиционирует данную работу как сборник статей (разных по жанрам, темам, периодам и годам написания), «посвященных таким малоизученным вопросам, как соотношение биографии и „жизни“, мотивы биографа, смысловые структуры биографического нарратива, социальные функции современного литературоведческого комментария и дарственного инскрипта на книгах» (Рейтблат, 2014: 4). За исключением последних двух пунктов остальные вопросы вряд ли кто из социологов маркировал бы как малоизученные, но в этом и состоит одна из проблем текстового анализа в социологии — слишком междисциплинарное поле заимствований в сфере категориального аппарата, методологических подходов и методических приемов заставляет сталкиваться то с менее, то с более разработанными вопросами в смежных предметных полях.

Как и любой сборник, объединяющий статьи, написанные за длительный промежуток времени, данная книга разнотематическая, поэтому социологу, занимающемуся текстовым анализом, вероятно, будут интересны не все представленные в ней материалы (или интересны в разной степени), однако важна сама интенция автора: «мыслить и действовать нетривиально, стремиться искать новые пути и новые подходы... специфический взгляд на литературу, существенно отличавшийся от литературоведческого... „взгляд снизу“, не нормативный, а дескриптивный, учитывающий многообразие читательских практик и интерпретаций читаемого» (это вполне этнографический подход к изучению «племени читателей»), «социологическое видение литературы — как специфического социального института, основывающегося на сложном взаимодействии ролей внутри него (автор, читатель, издатель, книготорговец, критик, педагог и т. д.) и находящегося в постоянном взаимодействии с другими социальными институтами (государство, экономика, мораль, религия и т. д.)» (явно институциональный подход к текстам с акцентом на микроуровне ролевых взаимодействий), и «биографиписание о смысловой структуре и механизмах „сборки биографии“» (очевидно биографический метод) (Рейтблат, 2014: 57). В этом смысле книга одновременно и «просвещенческая» (по персоналиям русской литературы с социологических позиций, по аналитическим подходам к изучению многообразия писательских практик, форм литературной коммуникации, читательской рецепции и пр.), и образцовая — как прекрасный пример обращения «к таким предметным сферам и проблемам, которые не изучаются или почти не изучаются, поскольку не вписываются в рамки существующих дисциплин либо табуированы в силу устоявшихся идеологических и эстетических иерархий и предпочтений» (Рейтблат, 2014: 6) (это описание очень подходит для характеристики сферы текстового анализа в социологической науке).

Книга состоит из трех разделов, наименее социологичным из которых, видимо, является третий — «История литературы», тогда как в первых двух — «Социология литературы» и «Биографика и биографии» — встречаются более социологически «нагруженные» статьи или отдельные параграфы. Тем не менее и от статей в третьем разделе невозможно оторваться, например, от статьи о «Пьесах-сказках в русском театре второй половины XIX — начала XX века», развенчивающей странный социальный миф, что в дореволюционный период пьес-сказок в репертуаре театра не было, хотя уже в конце XIX века авторы и публика стали отходить от натуралистической и бытовой проблемной драматургии, обратившись к сфере мистики и символизму: к 1909 году «пьеса-сказка стала полноправным драматургическим жанром, и тем самым была подготовлена почва для расцвета жанра пьесы-сказки в советский период» (Рейтблат, 2014: 380). Помимо занимательных тематических акцентов (Пушкин-гимнаст, фельетонист в роли мемуариста и пр.), в третьем разделе встречаются наблюдения, которые бы прекрасно смотрелись в любой социологической работе, скажем, что «выстраивание мифологической реплики на реальном материале — процесс непростой: необходимо так „упаковать“ факты, чтобы итоговой конструкции поверила публика... существенно

деформировать информацию о реальном положении дел, „забыв“ одни факты и существенно трансформировав сведения о других» (Рейтблат, 2014: 324) (это суть любой биографической реконструкции, презентующей рассказчика с позиций «здесь-и-сейчас»).

В первом разделе сборника автор рассматривает русскую литературу как социальный институт преимущественно в историографическом ключе обретения ею необходимых для данного статуса атрибутов (функции, в частности, «поддержания культурной идентичности общества на основе тиражируемой письменной записи» (Рейтблат, 2014: 13), взаимодействующие социальные роли — писателя, читателя, издателя, критика, литературоведа, педагога и др.), в результате сегодня «литература как институт, политически и экономически независимый от государства, существует в России, правда... социальная значимость ее уменьшилась — сейчас намного большее значение имеют (в выполнении, по сути дела, тех же функций) кино и особенно телевидение, а их государство контролирует почти полностью» (Рейтблат, 2014: 32).

Также автор характеризует прошлое и настоящее «языческого русского мифа» об исключительности России как мифологему, которая, «пусть существенно ограниченная в своей значимости и социальной действенности, продолжает существовать и сегодня, правда, теперь влияет на жизненное поведение в гораздо меньшей степени, будучи ограничена научными и практическими знаниями, отсутствием соответствующих социальных ритуалов и т. д.» (Рейтблат, 2014: 33); исследует политические взгляды и журналистскую деятельность Ф. В. Булгарина и А. С. Пушкина, не вполне оправданно отказывая слухам и «народной молве» в праве претендовать на статус форм общественного мнения (поскольку, в отличие от западной роли реального социально-политического института, российское общественное мнение для него квазифеномен, имитируемый государством в периодике), но справедливо отмечая условность терминов «консерватор» и «либерал», а также производных от них, уже в первой половине XIX века; реконструирует образ еврея в русской драматургии второй половины XIX века, исходя из убеждения, что «литература отражает не „жизнь“, „реальность“ и т. п., а мир человеческих ценностей, представлений, стереотипов... поэтому при сравнении литературы и „действительности“ нужно учитывать наличие большого числа „преломляющих призм“» (Рейтблат, 2014: 79–80); оценивает социальное воображение в советской научной фантастике 1920-х годов, вернее, формы желаемого общественного устройства в прозе полутора революционных десятилетий; обозначает предметное поле социология инскрипта (авторской дарственной надписи на книге) — его поэтику, этикет, социокультурные функции и т. д. по материалам инскриптов литераторов второй половины XIX — начала XX века; и, наконец, оценивает роль комментария в эпоху интернета — с позиций соотношения запросов и ожиданий комментатора и читателя комментариев как обобщенных социальных ролей в развитой литературной системе с дифференцированным набором ролей.

Второй раздел сборника статей призван прикрыть симптоматичные для отечественного литературоведения лакуны, которые для широкой читательской аудитории таковыми вряд ли являются, а потому «просвещенческий» с исследовательских и общечеловеческих позиций пафос книги считывается очень явно, особенно в метких авторских типологизациях в названиях («славяновед и примиритель славян», «подколотный эстет с мягкой душой и твердыми правилами», «ученик Достоевского», «биографируемый и его биограф» и др.) и содержании статей (например, «подобное самоощущение толкало к пьянству... постоянно болеющий и постоянно пьющий» [Рейтблат, 2014: 231]). В этом разделе автор характеризует ряд периодов в истории российского общества, причем и посредством цитат их ярких представителей и наблюдателей, из которых, например, в первой четверти XIX века сложился «распространенный тип ученых-„народоведов“» (Рейтблат, 2014: 264). Говоря о работах Ю. А. Айхенвальда, видного литературного критика первой четверти XX века, автор дает им характеристику, которую, если убрать сугубо литературоведческую компетентность, хотелось бы получить любому социологу, использующему биографический метод: «Благодаря хорошему вкусу, глубокому знанию литературы и художественной чуткости Айхенвальд, как правило, давал тонкую и проникновенную интерпретацию разбираемого автора, особенно если он был ему „по душе“» (Рейтблат, 2014: 240).

Не менее точно Рейтблат фиксирует и проблемы биографического анализа на примере журналиста и писателя Ф. В. Булгарина:

Биографией Булгарина читатель не располагал, был только образ Булгарина в сознании публики, точнее, два образа — один (основывающийся преимущественно на публикациях Булгарина (мемуары, обширные воспоминания о себе он опубликовал при жизни... как самоотчет и самозащиту) и его знакомых; по сути — самообраз) — у широкой читательской массы, другой — у очень узкого слоя столичных литераторов... и близких к ним лиц... При попытке писать биографию Булгарина биографы из массы сведений и трактовок выбирали те, которые соответствовали избранному ими образу. (Рейтблат, 2014: 219–221)

Автор прекрасно суммировал и ключевые черты биографического метода (в духе работ Голофаства [1995, 1997]):

Биография — это сложная словесная конструкции, это отображение, а не отражение жизни человека... Жизнь изображается не как хаотичный набор не связанных между собой поступков, обстоятельств и т. д., а как осмысленное целое. При этом биография носит диахронный, а не синхронный характер, в ней есть движение во времени и изменение... биограф должен исходить из конкретных данных о жизни биографируемого... биограф исходит из идеологических, моральных и эстетических норм, существующих в данном обществе... (Рейтблат, 2014: 211–212)

Часть информации о жизни

возникает самопроизвольно (делопроизводственные документы, создаваемые в различных учреждениях), часть специально порождает биографируемый и его знакомые, часть инициирует сам биограф (опрашивая знакомых и т. д.). Это еще не биографические факты, фактами они становятся, когда включаются в биографическую конструкцию, становятся ее элементами, вступают во взаимосвязи. (Рейтблат, 2014: 211–212)

Второй раздел содержит массу методологических размышлений и рекомендаций автора относительно биографического метода. В качестве ключевой тенденции в его развитии он называет сближение с повседневностью, что «выражается в растущем числе публикуемых биографий, в биографировании самых разных, в том числе и не считавшихся ранее престижными и достойными запечатления социальных сфер, в отражении в биографиях „частной жизни“, эротической стороны и т. п., в показе негативных сторон». Однако все это не дает оснований говорить о расцвете жанра биографии по причине нынешнего «обезличивания и унификации людей»: биографы, «усвоив элитаристскую, недемократическую установку, не обладают необходимым инструментарием... чтобы понять „простого“ (а на деле — очень сложного) человека, осмыслить его жизнь. А ведь каждый человек уникален и имеет „право на биографию“. Найдет ли он своего биографа — это другой вопрос» (Рейтблат, 2014: 187). Личность биографа важна, потому что «повествование, чтобы быть биографией, должно представлять собой не простой свод фактов, не прямое отражение жизни человека, а осмысленную нарративную конструкцию... „текстуальную представленность на языке данной культуры феномена личностной индивидуальности“... „формулу“ жизни человека, представляющую ее как имеющую смысл, как некое движение, переход из одного состояния в другое» (Рейтблат, 2014: 179). Только так биография реализует две свои важнейшие функции — позволяет читателю ощутить, что (его) «индивидуальная жизнь имеет смысл и смысл этот социальный, в связи личности с обществом» (Рейтблат, 2014: 203); кроме того, «массовое сознание обычно осмысляет историю не в рамках генерализованных понятий, закономерностей и тенденций, а через личностные и семейные модели» (Рейтблат, 2014: 194).

Автор разводит биографию и автобиографию, с чем согласны далеко не все социологи: в биографии на первый план выносятся социально значимое, нормы и ценности общества, посредством отбора из массы фактов в нарратив только тех, что нужны для построения соответствующей смысловой конструкции; в автобиографии же «возникает сложная система зеркал, учитывающая подход общества к биографии, но все же автобиография отличается от биографии, написанной другим человеком» (невольно вспоминается «Биографическая иллюзия» П. Бурдые, 2002). Объединяет два вида биографического нарратива то, что в каждом сосуществуют несколько аспектов (Рейтблат, 2014: 203–207): биологический (физиологические состояния) и социальный (публичная сфера — работа, творчество,

политическая и общественная деятельность) и частная сфера — быт, личные привязанности, семейная жизнь, сексуальные практики, психические болезни, самые рутинные действия, прочие локально и или универсально табуированные темы, которые до их пор нередко презентуются крайне редуцированно по модели традиционного советского некролога: «Товарищ Нестеренко не имел личной биографии и личных потребностей» (Рейтблат, 2014: 198).

Несомненно, представленный читателю объемный, но фрагментарно-иллюстративный обзор важных для социолога, специализирующегося на текстовом анализе, (социо)лингвистических сюжетов и типов работ, не претендует на законченность или «статус» обязательного руководства к действию. По аналогии с должностными инструкциями, которые сегодня все мы подписываем при поступлении на работу, кто-то может внимательно отнестись к данному тексту как своеобразному предупреждению о том, с какими сложностями можно столкнуться, пытаясь реализовать правила научного метода, работая на стыке социологического и лингвистического «измерений» реальности; а кто-то, наоборот, может пойти по простому пути, целенаправленно игнорируя лингвистические нюансы работы с текстовым «измерением» социальности, как поступают многие исследователи роли дискурса в детерминации и поддержании социальных практик (столь же отстраненно многие подмахивают должностные инструкции — почти не читая, как неизбежную формальность). Оба пути — сложный и простой — в сфере текстового анализа в социологии неплохо срабатывают, так что, видимо, эта предметная область в нашей дисциплине, в отличие от опросных технологий, все еще предоставляет исследователю максимальную свободу выбора как практических действий, так и степени собственной «методологической травмированности» — с минимальными последствиями в виде профессиональной критики со стороны коллег.

Литература

- Аркадьев М. (2013). Лингвистическая катастрофа. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха.
- Бёдекер Х. Э. (2010). Отражение исторической семантики в исторической культурологии / Пер. с нем. В. Дубиной // История понятий, история дискурса, история менталитета. М.: Новое литературное обозрение. С. 5–17.
- Белянин В. П. (1999). Введение в психолингвистику. М.: ЧеРо.
- Бурдые П. (2002). Биографическая иллюзия / Пер. с франц. Е. Ю. Мещеркиной // ИНТЕР. № 1. С. 75–83.
- ван Дейк Т. А. (2014). Дискурс и власть: репрезентация доминирования в языке и коммуникации / Пер. с англ. Е. А. Кожемякина, Е. В. Переверзева, А. М. Аматова. М.: УРСС.
- Гальперин И. Р. (2009). Текст как объект лингвистического исследования / Отв. ред. Г. В. Степанов. М.: КомКнига.

- Голофаст В. Б.* (1995). Многообразие биографических повествований // Социологический журнал. № 1. С. 71–88.
- Голофаст В. Б.* (1997). Три слоя биографического повествования // Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ: Материалы международного семинара / Под ред. В. Воронкова, Е. Здравомысловой. СПб.: ЦНСИ.
- Гусейнов Г.* (2012). Нулевые на кончике языка: краткий путеводитель по русскому дискурсу. М.: Дело.
- Дойчер Г.* (2016). Сквозь зеркало языка: почему на других языках мир выглядит иначе / Пер. с англ. Н. Ю. Жуковой. М.: АСТ.
- Залевская А. А.* (2005). Слово. Текст: Избранные труды. М.: Гнозис.
- Золотова Г. А., Ониненко Н. К., Сидорова М. Н.* (1998). Коммуникативная грамматика русского языка. М.: Изд-во МГУ.
- Козеллек Р.* (2010). К вопросу о темпоральных структурах в историческом развитии понятий / Пер. с нем. В. Дубиной // История понятий, история дискурса, история менталитета. М.: Новое литературное обозрение. С. 21–33.
- Козлова Н. Н., Сандомирская И. И.* (1996). «Я так хочу назвать кино». «Наивное письмо»: опыт лингвосociологического чтения. М.: Гнозис.
- Кондрашов Н. А.* (2004). История лингвистических учений. М.: УРСС.
- Кронгауз М.* (2008). Русский язык на грани нервного срыва. М.: Знак, Языки славянских культур.
- Купина Н. А.* (1980). Лингвистический анализ художественного текста. М.: Просвещение.
- Кюглер П.* (2005). Алхимия дискурса: образ, звук и психическое / Пер. с англ. В. В. Зеленского и З. А. Кривулиной. М.: Когито-Центр.
- Макаров М. Р.* (2003). Основы теории дискурса. М.: Гнозис.
- Мартынов В. В.* (2001). Основы семантического кодирования: опыт представления и преобразования знаний. Минск: ЕГУ.
- Орлов Ю. Н., Осминин К. П.* (2012). Методы статистического анализа литературных текстов. М.: УРСС.
- Плунгян В.* (2016). Почему языки такие разные. М.: АСТ-Пресс Книга.
- Рейтблат А. И.* (2014). Писать поперек: статьи по биографике, социологии и истории литературы. М.: Новое литературное обозрение.
- Рождественская Е. Ю.* (2010). Нарративная идентичность в автобиографическом интервью // Социология: 4М. № 30. С. 5–26.
- Татарова Г. Г.* (2006). Методологическая травма социолога: к вопросу интеграции знания // Социологические исследования. № 9. С. 3–12.
- Тичер С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е.* (2009). Методы анализа текста и дискурса / Пер. с англ. А. А. Киселевой. Харьков: Гуманитарный центр.
- Троцук И. В.* (2014). Текстовый анализ в социологии: проблемы и обещания разных типов «чтения» слабоструктурированных данных. М.: Изд-во РУДН.
- Федотова Л. Н.* (2001). Анализ содержания: социологический метод изучения средств массовой коммуникации. М.: ИС РАН.

- Чернявская В. Е. (2010). Интерпретация научного текста. М.: УРСС.
- Шевченко Н. В. (2003). Основы лингвистики текста. М.: Приор-издат.
- Штомпка П. (2005). Социология. Анализ современного общества / Пер. с польск. С. М. Червонной. М.: Логос.
- Franzosi R. (1998). Narrative Analysis — or Why (and How) Sociologists Should Be Interested in Narrative // *Annual Review of Sociology*. Vol. 24. P. 517–554.
- Gilgun J. F. (2004). Fictionalizing Life Stories: Yukee the Wine Thief // *Qualitative Inquiry*. Vol. 10. № 5. P. 691–705.

“Linguistic Catastrophe” of the Sociologist Focused on Textual Analysis

Irina Trotsuk

DSc (Sociology), Centre for Fundamental Sociology, National Research University Higher School of Economics
Associate Professor, Sociology Chair, Peoples' Friendship University of Russia
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: irina.trotsuk@yandex.ru

The article was originally intended as a review of A. I. Reytblat's book *Writing Across: Articles on Biographics, Sociology and History of Literature*. However, the text turned into a brief overview and even an attempt to “classify” the works which every sociologist focused on textual analysis should read. Such a change of the author's intention was determined by three factors. The first is the “methodological trauma” of sociologists who constantly clarify the grounds of their empirical work and conceptualizations under the nowadays-exalted interdisciplinarity of sociology. The second factor is the aggravation of this problem in the field of textual analysis which lacks conventional nominations of analytical approaches, not to mention rules and procedures of the “classical” scientific methodology. The third factor responsible for the change in the author's intention is the need for some minimum competence in the disciplines that influence textual analysis in sociology and, thus, their impact has to be evaluated in terms of their causes, consequences, and limits. The author identifies four types of non-sociological works on different linguistic aspects of social life that can form such a competence: (1) practical guidelines for the linguistic analysis essential for correct content analytical studies; (2) publicist estimates of the role of language in social life and of the transformations of the current Russian language/discourse; (3) philosophical works devoted not as much to the discursive construction of social reality as to the fundamental role of language in its constitution and destruction, and; (4) works on the social life of texts that can conditionally fit into the notion of the “sociology of literature”.

Keywords: textual analysis in sociology, linguistic analysis, the social role of language, discursive construction of reality, social life of texts, interdisciplinarity, non-sociological types of works on “the problem of text”

References

- Arkadiev M. (2013) *Lingvisticheskaja katastrofa* [Linguistic Catastrophe], Saint Petersburg: Ivan Limbakh Press.
- Boedeker H. E. (2010) *Otrazhenie istoricheskoy semantiki v istoricheskoy kul'turologii* [Reflection of the Historical Semantics in the Historical Cultural Studies]. *Istorija ponjatij, istorija diskursa*,

- istorija mentaliteta [History of Concepts, History of Discourse, History of Mentality] (ed. H. E. Boedeker), Moscow: New Literary Observer, pp. 5–17.
- Belianin V. (1999) *Vvedenie v psiholingvistiku* [Introduction to Psycholinguistics], Moscow: CheRo.
- Bourdieu P. (2002) Biograficheskaia illuzija [Biographical illusion]. *INTER*, no 1, pp. 75–83.
- Chernyavskaya V. (2010) *Interpretacija nauchnogo teksta* [Interpretation of the Scientific Text], Moscow: URSS.
- Deutscher G. (2016) *Skvoz' zerkalo jazyka: pochemu na drugih jazykah mir vygljadit inache* [Through the Language Glass: Why the World Looks Different in Other Languages], Moscow: AST.
- Fedotova L. (2001) *Analiz sodержanija: sociologicheskij metod izuchenija sredstv massovoj kommunikacii* [Analysis of the Content: A Sociological Method to Study Mass Communication], Moscow: Institute of Sociology RAN.
- Franzosi R. (1998) Narrative Analysis — or Why (and How) Sociologists Should Be Interested in Narrative. *Annual Review of Sociology*, vol. 24, pp. 517–554.
- Gilgun J. F. (2004) Fictionalizing Life Stories: Yukee the Wine Thief. *Qualitative Inquiry*, vol. 10, no 5, pp. 691–705.
- Galperin I. (2009) *Tekst kak ob'ekt lingvisticheskogo issledovanija* [Text as an Object of Linguistic Study], Moscow: KonKniga.
- Golofast V. (1995) Mnogoobrazie biograficheskikh povestvovanij [Diversity of biographical narratives]. *Journal of Sociology*, no 1, pp. 71–88.
- Golofast V. (1997) Tri sloja biograficheskogo povestvovanija [Three Layers of the Biographical Narrative]. *Biograficheskij metod v izuchenii postsocialisticheskikh obshhestv* [Biographical Method in the Study of Post-Socialist Societies] (eds. V. Voronkov, E. Zdravomyslova), Saint Petersburg: CISR.
- Guseynov G. (2012) *Nulevye na konchike jazyka: kratkij putevoditel' po russkomu diskursu* [2000s on the Tip of the Tongue: A Brief Guide to the Russian Discourse], Moscow: Delo.
- Kozelleck R. (2010) K voprosu o temporal'nyh strukturah v istoricheskom razvitii ponjatij [On the Temporal Structures in the Historical Study of Notions]. *Istorija ponjatij, istorija diskursa, istorija mentaliteta* [History of Concepts, History of Discourse, History of Mentality] (ed. H. E. Boedeker), Moscow: New Literary Observer, pp. 21–33.
- Kozlova N., Sandomirskaya I. (1996) "Naivnoe pis'mo": opyt lin-gvosociologicheskogo chtenija ["Naïve Writing": A Case of Linguistic-Sociological Reading], Moscow: Gnozis.
- Kondrashov N. (2004) *Istorija lingvisticheskikh uchenij* [History of Linguistic Theories], Moscow: URSS.
- Krongauz M. (2008) *Russkij jazyk na grani nervnogo sryva* [Russian Language on the Verge of a Nervous Breakdown], Moscow: Znak, Jazyki slavjanskih kul'tur.
- Kupina N. (1980) *Lingvisticheskij analiz hudozhestvennogo teksta* [Linguistic Analysis of the Literary Text], Moscow: Prosveschenie.
- Kugler P. (2005) *Alhimija diskursa: obraz, zvuk i psihicheskoe* [The Alchemy of Discourse: Image, Sound, and Psyche], Moscow: Kogito-Center.
- Makarov M. (2003) *Osnovy teorii diskursa* [Basics of Discourse Theory], Moscow: Gnozis.
- Martynov V.V. (2001) *Osnovy semanticheskogo kodirovanija: opyt predstavlenija i preobrazovanija znanij* [Basics of Semantic Coding: A Case of Presentation and Transformation of Knowledge]. Minsk: EHU.
- Orlov Y., Osminin K. (2012) *Metody statisticheskogo analiza literaturnyh tekstov* [Methods of Statistical Analysis of Literary Texts], Moscow: URSS.
- Plungyan V. (2016) *Pochemu jazyki takie raznye* [Why Languages Are So Different], Moscow: AST-Press kniga.
- Reytblat A. (2014) *Pisat' poperek: stat'i po biografike, sociologii i istorii literatury* [Writing Across: Articles on Biographics, Sociology, and History of Literature], Moscow: New Literary Observer.
- Rozhdestvenskaya E. (2010) Narrativnaja identichnost' v avtobiograficheskom interv'ju [Narrative Identity in the Autobiographical Interview]. *Sociologija*: 4M, no 30, pp. 5–26.
- Shevchenko N. (2003) *Osnovy lingvistiki teksta* [Basics of Text Linguistics], Moscow: Prior-izdat.
- Sztompka P. (2005) *Sociologija: analiz sovremennogo obshhestva* [Sociology: Analysis of the Contemporary Society], Moscow: Logos.

- Tatarova G. (2006) Metodologičeskaja travma sociologa: k voprosu integracii znanija [Methodological Trauma of the Sociologist: On the Integration of Knowledge]. *Sociological Studies*, no 9, pp. 3–12.
- Titscher S., Meyer M., Wodak R., Vetter E. (2009) *Metody analiza teksta i diskursa* [Methods of Text and Discourse Analysis], Kharkov: Humanitarian Center.
- Trotsuk I. (2014) *Tekstovij analiz v sociologii: problemy i obeshhanija raznyh tipov "čtenija" slabostruktirovannyh dannyh* [Textual Analysis in Sociology: Challenges and Promises of Different Types of "Reading" of Non-Structured Data], Moscow: RUDN.
- Van Dijk T. A. (2014) *Diskurs i vlast': reprezentacija dominirovanija v jazyke i komunikacii* [Discourse and Power: Representation of Dominance in Language and Communication], Moscow: URSS.
- Zalevskaja A. (2005) *Slovo. Tekst: Izbrannye trudy* [Word. Text: Selected Works], Moscow: Gnozis.
- Zolotova G., Onipenko N., Sidorova M. (1998) *Kommunikativnaja grammatika russkogo jazyka* [Communicative Grammar of Russian Language], Moscow: MSU.

Sociological Debate on Inequalities in Russia and Beyond*

Alexandrina Vanke

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Department of Sociology,
State Academic University for the Humanities

Research Fellow, Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences

Address: Krzhizhanovskogo str., 24/35, bld. 5, Moscow, Russian Federation 117259

E-mail: alexandrina.vanke@gmail.com

The review considers the 5th All-Russian Sociological Congress held at the Ural Federal University in Yekaterinburg in October, 2016. The event, entitled “Sociology and Society: Social Inequality and Social Justice,” attracted more than 1000 delegates from Russia and abroad. The Congress took place against a background of increasing social inequality in Russia, following the economic crisis of 2015. The program included 17 sessions, 37 panels, and 35 round tables which covered burning topics such as the unequal distribution of resources in Russian regions, the reduction of social welfare, the low living standards of vulnerable social groups, the growth of ethnic tension, and others. One of the plenary talks was given by the president of the International Sociological Association, Margaret Abraham, who spoke on the humanistic mission of Sociology, and called to coalesce in the struggle against social injustice in the world. The discussions at the Congress have shown that sociologists in Russia follow the global trends in examining urgent social problems, as well as in reflecting methodological issues, e.g., the application of new approaches in inequality studies. The debate on the restriction of academic freedoms in Russia at the closing plenary session made it obvious that the solution to this problem can be found in professional solidarity and is the responsibility of everyone who belongs to the sociological community.

Keywords: social inequality, precariat, social justice, social problems, sociological community, Sociology, Russian Sociology, International Sociology

The 5th All-Russian Sociological Congress “Sociology and Society: Social Inequality and Social Justice,” held on October 19–21 2016 in Yekaterinburg, was attended by more than 1000 delegates, not only from Russia but also from Belarus, Brazil, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, the Ukraine, the USA, and other countries. The Congress was organized by the Russian Society of Sociologists, the Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences (IS RAS), and the Ural Federal University (UrFU). Despite the public attention to the event reflecting the current state of Sociology in Russia, the opinions about the event were different to some extent. To be substantive, I will cite some Facebook posts

© Ваньке А. В., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-1-270-277

* The conference review is prepared as a part of the project «Intergenerational Social Mobility from 20th to 21st Century: Four Generations of Russian History», supported by the Russian Science Foundation (Grant № 14-28-00217).

Обзор конференции подготовлен в рамках проекта «Межпоколенная социальная мобильность от XX века к XXI: четыре поколения российской истории», поддержанного Российским научным фондом (грант № 14-28-00217).

with diverging views. Some colleagues who disregarded the Congress expressed their attitude in the following way: “[the answer to the question, if you were at the Congress] *Of course not, I prefer visiting cemeteries than public gatherings of the living dead*” (Ivan Nizgoraev, 21.10.2016). The positive impressions of the event were articulated by some sociologists who did come to Yekaterinburg: *“Trips to conferences are always pleasing, with new contacts, information, even new projects. The Sociological Congress was not an exception. I made acquaintances with new colleagues in the session on childhood with great pleasure. There was an amazingly friendly... and comfortable atmosphere. Thanks for the constructive and fruitful dialogue...”* (Olga Savinskaya, 25.10.2016). The third view considering the strengths and weaknesses of the Congress represents a differentiated approach to the event: *“Scientific events range between two extremes: a collaboration of like-minded people where organizers insure against irrelevant and weak papers, or an absolute hodge-podge where anyone who has paid the conference fee is accepted... Both extremes are questionable. But what’s undoubtedly true is that the sessions should be prepared... The sessions on the Internet and Longitudinal studies, which drifted towards a ‘collaboration’ according to the given scale, were well-prepared meetings”* (Natalia Ve[selkova], 22.10.2016). But what was the Congress really like? I will try to answer this question in the review.

For me, it was the first time that I took part in the All-Russian Sociological Congress. Despite the criticism of some colleagues regarding the lack of organization and even professional backwardness, this participation gave me a fruitful experience for many reasons. The program of the Congress included 17 sessions, 37 panels, and 35 round tables covering such topics as social inequality in urban/regional development, social policy, social welfare, civil society, social movements, migration, health, ethnic tension, class structure, social mobility, and many others. Of course, it is impossible to outline all the themes which were discussed during the three days; however, some of them are presented in the more than 1300 papers of the proceedings of the Congress.

The opening ceremony of the Congress took place in the amazing hall of the main UrFU building decorated with columns in the neoclassical style and molded portraits of Karl Marx and Vladimir Lenin. The opening plenary session included greetings from local officials, the presidents and representatives of professional associations, as well as the organizers. I will briefly describe the most memorable moments. In her plenary speech, Margaret Abraham, the current president of the International Sociological Association, drew attention to the necessity of the critical examination of social inequalities affecting all spheres of social life. She stressed that Sociology should be open, going beyond academia and shaping dialogues between various communities. She noted that “Sociologists are really important. We can contribute to the debate on social problems,” and called for an active participation in changing social reality through addressing social problems and improving people’s lives. Harold Zborovsky, a vice-president of the Russian Society of Sociologists and a professor at UrFU, focused on regional inequalities in higher education in light of the increasing social and economic uncertainty in Russia. Basing on his recent research, Zborovsky suggested replacing an existing linear model of higher education with an authoritarian management by a non-linear one, which is connected to the

development of interactions between local communities and horizontal ties between universities in Russian regions (read more in: Zborovsky, 2016). His argument about building strong professional networks and the self-organization of university communities sounds reasonable, especially in the context of the unequal distribution of resources and increasing pressure upon sociologists in Russia. At the same time, this thesis resonates with Abraham's call to coalesce in the struggle against global inequalities. In contrast, Mikhail Gorshkov, a director of IS RAS, gave another opinion in pointing out that sociologists should examine reality, but not change it. However, he welcomed Abraham's invitation for international cooperation, and announced that Russia was ready to host the ISA World Congress of Sociology.

Burning issues including the reduction of social welfare, the low living standards of the elderly, restricted rural mobility, class inequality, and ethnic tension were among the main topics of the "Problems of Russian Society: A View of Young Scholars" session, organized by the Young Scholar Council of IS RAS. The session brought apprentice sociologists together from different cities such as Yekaterinburg, Magnitogorsk, Moscow, and Novosibirsk, and aimed to enhance the professional level of participants through discussion. It means that the organizers of this session not only accepted high-quality papers, but also invited motivated young scholars whose applications were not as strong. The exchange of professional experiences revealed the problem of inequalities inside the Russian sociological community. The differentiation of papers in labeling them as "strong" and "weak" can be explained by an unequal distribution of economic, cultural, intellectual, and other resources. It is not a secret that the leading sociological research centers are mostly concentrated in large Russian cities.

A lack of organization and the complicated structure of the UrFU building made it difficult to understand where and when a session, a panel, or a round table one was interested in would be held. However, a flexible program opened up an opportunity for self-organization and restructuring the event during its processing. A democratic atmosphere allowed us to hold an unplanned joint session of the Young Scholar Council of the IS RAS and the Young Working Group "Sociology in Public Space and Trust in Society", initially designed by Elena Zdravomyslova. At this joint session, we and our colleagues gave a workshop to UrFU students, explaining how to identify social problems, how to redefine them in sociological terms, and how to find the ways of addressing these problems. We asked the participants to split into three teams with each team accompanied by two researchers, and to formulate the relevant social problems from the perspective of Public Sociology. While presenting the teamwork results, students spoke about the unreasonable public administration in Russia, the difficulties in finding jobs for youth in Russian regions, and the urban transport challenges in Yekaterinburg. The outcome of such an improvisation was described well by one of the moderators: *"For the participants of our workshop it is not a problem now to formulate a social problem, to elaborate a research methodology, to look at things through the lens of Sociology..."* (Pavel Sushko, 19.10.2016).

Other events which I attended within the Congress were dedicated to the exploration of social structure and social mobility, as well as to the methodology of quantitative

and qualitative research. The panel on “Transformations of Social Structure and Social Inequality,” chaired by Zinaida Golenkova, is remembered for the paper by Roman Anisimov, and the subsequent discussion on the precariat as a new social group in Russian society. The term ‘precariat’ was introduced for the first time by the economist Guy Standing in 2011, and means “the new social class” distinguished by an unstable position and vulnerable employment (Standing, 2011). However, since then, a dispute over this term continues. Two views regarding the precariat were put forward by the panel. Some participants opined that the precariat contained only those people who relied on the support of the state as manifested by social welfare and benefits, while others argued that it also included those whose income might be relatively high. Sociologists did not agree on the meaning of this term. What was clear, though, is that this discussion drew attention to the differentiated nature of the precariat, and showed the necessity of further examination. Other speakers of the panel explored various topics in their presentations, ranging from the transformation of the Mongolian social structure (Damdin Badaraev) to gender inequality in Russia (Elena Kranzeeva).

Three panels on sociological research methods were held in parallel. These were “Methodological and Methodical Aspects of Using Qualitative Sociological Data,” moderated by Oleg Bozhkov and Boris Doktorov, “Modeling of Social Phenomena,” chaired by Yuliana Tolstova, and “Mass Surveys: Methodical Problems, New Directions and Enhancement of the Approach,” which was organized by Mikhail Kosolapov and Galina Tatarova. Unfortunately, it was impossible to attend them all, so I had to choose one. The panel on mass surveys drew my attention, as far as it addressed the issues of new methodologies. For instance, one of the contributors of this panel, Olga Savinskaya, spoke about the mixed-methods research strategy. She described the stages of the development of this “third” methodology, supposing the combination of quantitative and qualitative approaches (Savinskaya, 2016: 8467). Despite the term “mixed methods” becoming an integral part of the international sociological discourse, it still sounds awkward when we try to find the equivalent in the Russian language. In the course of the subsequent discussion, sociologists raised the questions regarding the incompatible logics of the methods to be mixed. Like the previous paper, the presentation by Mikhail Kosolapov was dedicated to the combination of research designs in mass surveys, especially in longitudinal studies. This paper attracted much interest from the audience because the presenter explained which specific research designs could meet the analytical goals of various types of longitudinal survey in detail. In his concluding remarks, Kosolapov suggested applying “hybrid designs” (or mix-mode methodologies) allowing for the enhancement of the procedure of longitudinal study and the quality of the data obtained. Other speakers considered such questions as an application of projective techniques (Zhanna Puzanova), and a heuristic potential for the examination of subjective well-being (Galina Tatarova, Anna Kuchenkova).

The issues of longitudinal studies also were a key topic for Round Table 26, “Longitudinal Quantitative and Qualitative Research on Social Inequality: The Processual Approach,” which was brilliantly moderated by Lara Petrova. In her talk, Olga Tereschenko,

the first contributor, beautifully explained the differences between methodological approaches to the measurement of social inequality, and distinguished the two schools of longitudinal studies. She argued that the American school focused mainly on the examination of social mobility and professional prestige, while the British school centered on the exploration of health records and medical notes. Additionally, Tereschenko highlighted three types of quantitative data, those of a) cross-sectional, b) panel, and c) event history data. The last type provides a basis for an event history analysis to be conducted in longitudinal studies (Tereschenko, Koroleva, 2016: 10433). The next speaker from the Public Opinion Foundation (FOM)¹, Maria Ozerova, shared her methodical experience of realizing a longitudinal study on social differentiation in education. She stated that the researchers from FOM's project were faced with the respondents' retention in the 4th wave because of their relocation. Such a problem leads to a restructuring of the general sample and needs a combination of research methods such as telephone and online surveys, which helps to increase the accessibility to respondents and minimize the effects from sample deformation (Ozerova, 2016: 10411).

Tatiana Bogomolova gave an unplanned talk on panel data as a basis for the longitudinal study of economic mobility, which was understood as a change in individual's income in time. The speaker distinguished three types of surveys: a) a retrospective cross-sectional survey, b) a repeated survey with independent samples, and c) a longitudinal survey. In addition, she identified the problem of the "consistent" sample depletion in economic mobility studies. The last speaker, Vera Kharchenko, dedicated her presentation to the analytical reflection on the usage of the Russian Longitudinal Monitoring Survey (RLMS) realized by the Higher School of Economics (HSE) and ZAO Demoskop, together with the University of North Carolina and the IS RAS. The presenter put forward several assumptions about a), a narrow group of Russian authors making publications based on RLMS, b), the affiliation of these authors with the one institution, and c), a lack of methodical reflection on how to use the RLMS data base. Thus, in her talk Kharchenko problematized the access to longitudinal data: while the RLMS is formally open, in fact, it remains a "private" data base. A friendly professional atmosphere made a productive discussion possible. As Lara Petrova then wrote on Facebook, *"It was very interesting to listen to and to discuss! Among the ideas, which we have 'cultivated,' were the problems of activity in usage of longitudinal data and data quality, an interviewer effect, a few methodical publications on longitudinal studies, a marketing rhetoric in longitudinal studies... unequal chances to remain in a longitudinal sample, a social differentiation of panel retention, a 'privacy' of the longitudinal data base as a monopoly over knowledge/data..."* (Lara Petrova, 21.10.2016).

I partook in Panel 27, "Social Mobility: Objective and Subjective Aspects," chaired by Victoria Semenova and Mikhail Chernysh, and which was the last panel of the Congress. It was organized by the research team of the project "Intergenerational Social Mobility From the 20th to 21st Century: Four Generations of Russian History." The speakers pre-

1. A Russian market research company based in Moscow.

sented the results of their research inspired by the longitudinal project “Paths of a Generation” (1983–1993), by Mikk Titma. However, the new complex study on social mobility had its specific research design supposing a combination of quantitative and qualitative methods. I will outline the most interesting points presented by the panel. In his speech, Mikhail Chernysh explained that social mobility in contemporary Russian society occurred mostly between generations, while the level of intragenerational mobility became relatively low. In addition, he drew attention to the problem of social reproduction, meaning that the younger generations had fewer chances for social mobility compared to their parents’ generation. Similarly, in her paper, Yulia Epikhina noted that inequality in the Russian educational system has increased in recent years. Her quantitative analysis showed a slowdown of educational mobility which can be explained by the decline of structural mobility. Anna Strelnikova continued the reflection on social mobility through the lens of educational trajectories. Her analysis of both biographical interviews and survey data allowed to formulate a question about “status inconsistency.” Unlike Western countries, the level of formal education in Russia does not correlate with the level of knowledge. This means that respondents with the same educational status might belong in different social classes, and have distinct life-styles (read more in: Semenova, Chernysh, Vanke, 2017: 184). Finally, Victoria Semenova considered theoretical approaches to subjective social mobility, and outlined the perspectives of the application of these approaches in empirical research. She suggested understanding subjective social mobility as an individual’s perception of his/her social position, and showed how to build a typology of professional careers applying the basic principles of grounded theory in detail.

In summary, the Congress has shown that sociologists in Russia follow global trends in examining urgent social problems, as well as reflecting on methodological issues such as the application of new approaches in inequality studies. The discussions have also demonstrated that the fight between the supporters of quantitative and qualitative approaches is over. The sociological debate has brought the need of reflection on the application of mixed, hybrid, and combined methodologies in the study of local and global inequalities, as well as inequalities inside the field of Sociology, into sharp focus. At the closing plenary session, Margaret Abraham once again called sociologists to action against social injustice, and raised the problem of the increasing pressure on Sociology in Russia. She announced that the International Sociological Association expressed its support for the pollster Levada Center, which was recently included on the list of “foreign agents,” literally meaning “unwelcomed” non-commercial organizations, by the Russian Ministry of Justice. Continuing on this theme, Elena Zdravomyslova pointed out that more than seven sociological centers in Russia have been currently recognized as “foreign agents.” Besides Levada, the list includes such reliable professional organizations as the Center for Independent Sociological Research in St. Petersburg, the Samara Center for Gender Studies, and others. Zdravomyslova’s call to speak publicly about academic freedom resonated with Zborovsky’s warning at the opening of the Congress “not to shoot at sociologists,” because sociologists can really help society. It is obvious that the solution to the

problem of the restriction of academic freedoms can be found in professional solidarity and is the responsibility of everyone who belongs to the sociological community.

References

- Ozerova M. (2016) Longitudinal survey as a source of data on social differentiation in education: the methodological experience of the Institute of Public Opinion Foundation. *Sociologija i obshhestvo: social'noe neravenstvo i social'naja spravedlivost': Materialy V Vserossijskogo sociologicheskogo kongressa (Ekaterinburg, 19–21 oktjabrja 2016 goda)* [Sociology and Society: Social Inequality and Social Justice: The Proceedings of the 5th All-Russian Sociological Congress (Ekaterinburg, October 19–21 2016)] (ed. V. Mansurov), Moscow: Russian Society of Sociologists, pp. 10411–10421.
- Savinskaya O. (2016) Strategii smeshivaniya metodov (Mixed Methods Research): obzor sovremennykh diskussij o formirovanii "metodologicheskogo dvizhenija" [Mixed Methods Research: The Review of Current Discussions on the Third Methodological Movement]. *Sociologija i obshhestvo: social'noe neravenstvo i social'naja spravedlivost': Materialy V Vserossijskogo sociologicheskogo kongressa (Ekaterinburg, 19–21 oktjabrja 2016 goda)* [Sociology and Society: Social Inequality and Social Justice: The Proceedings of the 5th All-Russian Sociological Congress (Ekaterinburg, October 19–21 2016)] (ed. V. Mansurov), Moscow: Russian Society of Sociologists, pp. 8467–8475.
- Standing G. (2011) *The Precariat: The New Dangerous Class*, London: Bloomsbury Academic.
- Tereschenko O., Koroleva I. (2016) Issledovaniya social'nogo neravenstva: processual'nyj podhod [Social Inequality Research: Process Approach]. *Sociologija i obshhestvo: social'noe neravenstvo i social'naja spravedlivost': Materialy V Vserossijskogo sociologicheskogo kongressa (Ekaterinburg, 19–21 oktjabrja 2016 goda)* [Sociology and Society: Social Inequality and Social Justice: The Proceedings of the 5th All-Russian Sociological Congress (Ekaterinburg, October 19–21 2016)] (ed. V. Mansurov), Moscow: Russian Society of Sociologists, pp. 10427–10436.
- Semenova V., Chernysh M., Vanke A. (eds.) (2017) *Social'naja mobil'nost' v Rossii: pokolencheskij aspekt* [Social Mobility in Russia: Generational Aspect], Moscow: Institute of Sociology RAS.
- Zborovskiy G. (ed.) (2016) *Nelinejnaya model' rossijskogo vysshego obrazovaniya v makro-regione: teoreticheskaja koncepcija i prakticheskie vozmozhnosti* [Non-linear Model of Russian Higher Education in the Macro-Region: Theoretical Approach and Practical Perspectives], Ekaterinburg: Gumanitarnyj universitet.

Социологическая дискуссия о неравенстве в России и за ее пределами

Александрина Ваньке

Кандидат социологических наук, доцент социологического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, научный сотрудник Института социологии Российской академии наук
Адрес: ул. Кржижановского, д. 24/35, к. 5. Москва, Российская Федерация 117259
E-mail: alexandrina.vanke@gmail.com

Обзор посвящен V Всероссийскому социологическому конгрессу, состоявшемуся в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге в октябре 2016 г. Мероприятие под названием «Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость» привлекло более 1000 участников из России и зарубежных стран. Конгресс проходил на фоне усиления неравенства в России, ставшего результатом экономического кризиса 2015 г. Программа состояла из 17 сессий, 37 секций и 35 круглых столов, в ходе которых рассматривались такие острые темы, как неравное распределение ресурсов в российских регионах, уменьшение социальной поддержки, низкий уровень жизни незащищенных социальных групп, рост этнического напряжения и другие. Один из пленарных докладов был сделан президентом Международной социологической ассоциации, Маргарет Абрахам, которая говорила о гуманистической миссии социологии и призвала слушателей объединяться в борьбе против социальной несправедливости в мире. Дискуссии на Конгрессе показали, что социологи в России следуют за глобальными трендами в том, что касается изучения острых социальных проблем, а также — рефлексии относительно методологических вопросов, например, применения новых подходов в исследованиях неравенства. Дебаты о сужении академических свобод в России на заключительном пленарном заседании отчетливо дали понять, что решением данной проблемы может стать профессиональная солидарность и ответственность каждого, кто чувствует свою принадлежность к социологическому сообществу.

Ключевые слова: социальное неравенство, социальная справедливость, социальные проблемы, социологическое сообщество, социология, российская социология, международная социология

Поправка на мобильность: как трудовая и дачная миграция влияет на расселение россиян?

НЕФЕДОВА Т. Г., АВЕРКИЕВА К. В., МАХРОВА А. Г. (РЕД.). МЕЖДУ ДОМОМ И... ДОМОМ: ВОЗВРАТНАЯ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ РОССИИ. М.: НОВЫЙ ХРОНОГРАФ, 2016. 504 с. ISBN 978-594881-367-7

Анатолий Бреславский

Кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела истории, этнологии и социологии
Института монголоведения, буддологии и тибетологии
Сибирского отделения Российской академии наук
Адрес: ул. Сахьяновой, д. 6, г. Улан-Удэ, Российская Федерация 670047
E-mail: anabresos@mail.ru

Те, кто занимается изучением внутренних миграций населения в современной России, знают, как сложно дать точные оценки масштабов этих процессов внутри регионов, между регионами, внутри страны. Можно определиться с трендами, направлениями, участниками этих миграций, барьерами, с которыми сталкиваются мигранты, и ресурсами, которые они используют для успешного переезда. Но дать точные оценки масштабов этого явления бывает крайне сложно. И вот мы встречаем книгу, авторы которой уже на одной из первых страниц отмечают, что она помогает понять, сколько же людей в России реально живут в разных местах в разные часы суток, дни недели, сезоны года. Для исследователя этот тезис звучит очень интригующе. Коллективная монография восьми сотрудников Института географии РАН посвящена пространственной (географической) мобильности населения России. В ней подробно анализируются два вида возвратной мобильности: трудовые и сезонные дачные миграции россиян, а также формируемые ими системы расселения (сельско-городские континуумы). Авторы рассматривают предпосылки, направления, масштабы этих миграций, определяют их региональные различия. Исследование касается всей России, но особое внимание уделяется ее центральному и северо-западным областям. Книга обобщает многолетние разработки авторов и обеспечивает комфортное погружение в достаточно обширную междисциплинарную тему. А серия геоинформационных систем в виде карт-схем, наглядно демонстрирующих региональные различия, каналы и зоны миграции, системы расселения, выделяет издание на фоне других индивидуальных и коллективных публикаций социологов и демографов в этой предметной области.

Ключевые слова: мобильность, возвратная пространственная мобильность, трудовая миграция, дачи, отходничество

Авторы книги — К. В. Аверкиева, Е. В. Антонов, П. Л. Кириллов, А. Г. Махрова, А. А. Медведев, А. С. Неретин, Т. Г. Нефедова и А. И. Трейвиш — исключительно географы, и это также привлекает внимание, поскольку именно «география все

больше претендует на место главной социальной науки» (Филиппов, 2009: 4). Этот тезис хорошо подтверждают своими исследованиями ведущие российские географы, работающие в области гуманитарной (например, Д. Н. Замятин) и социально-экономической географии (например, Н. В. Зубаревич), которые подчас опережают своих отечественных коллег в постановке общих проблем, их концептуальном осмыслении, разработке методики исследований и пр. Оттого и рецензируемая работа вызывает интерес. В общем, книгу хочется начать читать, уже бегло просмотрев аннотацию и сведения об авторах. Признаюсь, 504 страницы текста не дались легко. Внимательное прочтение, осмысление опубликованных в книге карт-схем, фокус авторов на макрооптике с ее цифрами и расчетами без особых лирических отступлений на микроуровень, где формируется «живая ткань жизни», — все это потребует от читателя собранности и искреннего интереса к теме.

Работа нацелена на изучение двух видов временной возвратной мобильности населения внутри России — трудовой и сезонной дачной миграции. Первая включает в себя маятниковые миграции и отходничество с недельным и более длительным циклом, а вторая — сезонные выезды горожан на свои дачные участки в пределах и за пределами городов. Авторы рассматривают «эволюцию таких миграций, методы их изучения, основные векторы и масштабы перемещения, специфику дальних и ближних мест работы или дачной жизни» (с. 4). Свою задачу они видят «в анализе выталкивающих и притягивающих факторов трудовой миграции, взаимосвязи между главными городами и агломерациями с одной стороны, а с другой — небольшими городами и сельской местностью» (с. 12). В основе книги лежат экспедиционные исследования 2014–2016 годов в Московской, Ленинградской, Тульской, Владимирской, Тверской, Псковской, Новгородской, Костромской, Вологодской, Курской и Тамбовской областях. На юге страны был обследован Ставропольский край, а на востоке — Республика Бурятия. К слову, жителем Бурятии является автор этого обзора. Авторы указывают, что экспедиционные обследования проходили и в Забайкальской области (с. 15), однако далее в книге Забайкальская область и ее столица — Чита нигде не упоминались. Видимо, авторы приберегли материал для других изданий.

Итак, в фокусе внимания авторов — временные возвратные миграции... или все же пространственная мобильность? Сами авторы во Введении, указывая на споры о соотношении терминов «миграция» и «мобильность», избегают какой-либо основательной, а главное — инструментальной рефлексии на этот счет, ограничившись «небольшим опросом коллег» (с. 7). Введение, к сожалению, не подсказывает нам, в какую методологическую колею встраивается работа, какие подходы и традиции в изучении пространственной мобильности она развивает. Отдельные статьи авторов (Нефедова, Покровский, Трейвиш, 2015) последних лет о связи отходничества, дачной миграции с процессами урбанизации и дезурбанизации становятся хорошей подсказкой, однако они, что называется, не «пришиты» к рецензируемой книге.

Во Введении в итоге дается краткое общее определение «мобильности населения», которое, как представляется, так и не проясняет, концептуальное различие между «мобильностью» и «миграцией». Уже на стр. 9, приводя свою классификацию пространственной мобильности населения, авторы подразделяют ее на безвозвратную и возвратную, внутреннюю и внешнюю, отточную и приточную и т. д., что говорит о ней как о миграции или как минимум о процессе, а не о состоянии, как отмечают авторы на стр. 7. Такая неопределенность в терминах сразу же вызывает дополнительные вопросы здесь и далее. Поскольку книга сфокусирована именно на двух видах возвратной миграции (маятниковых и дачных), возможно, именно «миграцию населения» необходимо было поставить во главу угла, избегав тем самым терминологических споров, неопределенности в самих понятиях.

Несмотря на шероховатости с определениями, основное намерение авторов и замысел книги, конечно, понятны. Обратимся к ее содержанию. Работа включает в себя три части. В первой, под названием «Урбанизация, мобильность и сельско-городской континуум», дается общий контекст исследований возвратной мобильности населения. Вторая часть «В город за работой» посвящена трудовой миграции россиян. Третья часть — феномену российских дач.

В главе 1.1 Т. Г. Нефедова и А. И. Трейвиш кратко характеризуют «миграционный и поселенческий фон, на котором циркулируют возвратные потоки мигрантов» (с. 21) в России, указывая, почему одни поселения с начала 1990-х годов привлекали мигрантов, а другие, наоборот, выталкивали их за свои границы. Развивая тезис о том, что демографический обмен городов, поселков, сел зависит от урбанизации и дезурбанизации, авторы знакомят нас с достоинствами и недостатками крупных, малых городов и сел, показывают, как распределялись потоки миграции на постоянное место жительства по территории России, вполне обоснованно отмечая их связь с возвратной миграцией (с. 27). В предложенных в главе диаграммах прослеживается динамика миграционного баланса городов 10 макрорегионов России. Эти данные именно в обобщенном виде хорошо иллюстрируют известную вариативность миграционной привлекательности разных регионов нашей страны при так называемом «западном дрейфе» миграции (Мкртчян, 2004). Остается лишь сожалеть, что данные, использованные в диаграммах, ограничиваются 2010 годом, в то время как за последние 5–6 лет численность трудовых мигрантов существенно изменилась, о чем говорится в главе 2.4 (с. 129).

Важным с макропозиции представляется тезис авторов о том, что два феномена, которые их интересуют в книге (отходничество и дачи), по своим масштабам, «по всей видимости, выделяют Россию на мировом фоне и в значительной мере определяют ее социально-пространственную специфику» (с. 38). В отношении дач я бы даже конкретизировал этот тезис словами одного из авторов главы в опубликованной им ранее, в 2014 году статье: «Наше „дачеведение“ до сих пор неадекватно масштабам дачевладения в стране, которая может считаться рекордсменом в мире по числу этого вида второго жилья» (Трейвиш, 2014: 24). Отмечу, что дачи в России — не только значимый сегмент (второго) жилья, но и ресурс для развора-

чивающейся субурбанизации — выезда горожан из городских центров и освоения ими загородной периферии, в том числе сельских и ранее неосвоенных территорий вблизи городов.

Следующая глава 1.2. «Сельско-городской континуум и пространственная мобильность населения», написанная А. И. Трейвишем, продолжает задавать общий контекст исследования. Автор обращается к категории «сельско-городских континуумов» (СГК), а точнее — к географическим схемам СГК. Сами эти континуумы понимаются им как синоним расселения (с. 41), как «сельско-городские поля», формируемые мигрантами между городами и их менее урбанизированным окружением (с. 13). Надо сказать, этот концепт не особо популярен в России, помимо отдельных представителей социологии расселения (Пациорковский, 2010), он мало кем востребован и по разным причинам. Одна из них — различия между городом и деревней в современном мире и в нашей стране становятся все более многомерными и неочевидными. Бывает не так-то просто выстроить шкалу между «чисто» деревенскими и городскими территориями, отобрать «верные» критерии и собрать точную и качественную статистику. Надо учитывать к тому же, что многие окологородские (пригородные) территории в России, активно развивающиеся в последние два десятилетия, приобретают «смешанный», «смазанный» облик, воплощая в себе черты как городской, так и сельской жизни. Эти территории, которые оказались в состоянии перехода, называют по-разному, например *regi-urban fringe* (Simon, 2008). И они также усложняют процесс моделирования сельско-городских континуумов.

А. И. Трейвиш демонстрирует несколько географических схем СГК, представляющих пригородно-периферийные зоны в регионах Европейской России, а также типы СГК во всех российских регионах. Карты-схемы, основанные на математических расчетах интегративных показателей, и вообще создание геоинформационных систем (ГИС) на основе подобных расчетов — это то, что действительно хочется видеть у географов в подобного рода исследованиях. В книге таких ГИС достаточно много, а в главе, в частности на стр. 50, опубликована схема, иллюстрирующая типы СГК на территории всей России. Она построена, по словам авторов, на основе сводного показателя — интегрального коэффициента урбанизированности, который рассчитывался по группам данных (размеры и плотность городских и сельских поселений, наличие надгородских форм и пр.). Схема хорошо иллюстрирует зоны расселения, эти самые СГК, дает общее представление в целом по стране. Жаль, однако, что авторы указали лишь наименования показателей, которые использовались в расчетах, а сами данные и расчеты, свои комментарии и уточнения, коррекции и допущения по конкретным регионам в этой схеме не опубликовали в книге (а они наверняка были). Эта информация о проделанной ими работе, очевидно, была бы востребована целевой аудиторией книги. Это было бы полезно еще и для того, чтобы читатель самостоятельно мог найти ответы на вопросы, которые возникают при знакомстве с этой и другими схемами (по конкретным регионам). Вопрос не столько в верификации, сколько в том, чтобы таки-

ми схемами и расчетами могли со ссылкой пользоваться не только авторы книги. Каждое очертание СГК на этой карте-схеме, уверен, было сделано с приложением значительных усилий, поскольку это многофакторное явление. Отсюда еще и интерес к «кухне».

Идея СГК, включающих мегаполисы, крупные и малые города, деревни и т. д., напрямую связана с миграцией населения, движение которого и обозначает границы того или иного СГК, его «пространственно-временную пульсацию» (с. 56). В итоге для авторов именно этот концепт стал рабочим, позволяя обозначить на карте возвратной мобильности россиян зоны, направления, центры притяжения и масштабы трудовой и дачной миграции, а также очаги продолжающейся урбанизации/дезурбанизации. Хотя ни во второй, ни в третьей части книги сам термин «сельско-городской континуум» уже практически не используется, за исключением упоминаний на стр. 70, 374, 378, 383, 438; заключенная в нем идея присутствует во всех исследованиях, составляющих книгу.

Вторая часть монографии («В город за работой») представляет итоги многолетней исследовательской работы коллектива в области трудовой миграции, в том числе маятниковой. Глава 2.1 повествует об эволюции отходничества от дореволюционных к советским и современным формам. Глава емкая и содержательная, она показывает, кто, как и зачем отправлялся из сел в города на заработки, как отходничество влияло на города, как государство влияло на отходничество. Один из ключевых ее тезисов звучит так: «Главное отличие современного отходничества состоит в том, что оно затрагивает не только сельское население, как в начале XX в., но охватывает широкий пласт населения малых, средних и даже некоторых больших городов» (с. 75), что стало следствием повсеместного обвала экономики в стране. Характерным оказалось и расширение зон отхода трудовых мигрантов (с. 266).

Читая эту главу, нельзя не заметить, что советский период в истории российского отходничества существенно «провисает» во внимании со стороны исследователей по отношению к дореволюционному и современному (ориентируюсь на количество работ, которые приводит в своем историческом обзоре Н. Г. Нефедова, говоря о дореволюционном, советском и постсоветском периодах). Притом что отходничество в советский период «не исчезло и не свелось к официальным организованным формам» (с. 74), исследователей еще ожидает серьезная работа в этом поле. Далеко не все ясно и с современным отходничеством, которым занимаются сегодня, помимо авторов книги, и другие известные своими разработками коллективы (например: Плюснин, Позаненко, Жидкевич, 2015; Флоринская и др., 2015).

В изучении потоков внутренней трудовой миграции в современной России и отходников в частности давно существуют вполне определенные проблемы. Они связываются обычно с качеством и точностью официальной статистики у нас в стране, с многообразием регионов, с несовершенством исследовательских методик. Вполне понятны слова Н. Г. Нефедовой о том, что «определение числа современных отходников и тем более реальная география и типология отходничества

требуют сочетания анализа разнообразной официальной статистической информации с детальным обследованием отдельных городов и сельских поселений» (с. 77). И если статистическую информацию можно получить дистанционно (даже из регионов), то вот детальное обследование отдельных территорий для уточнения и понимания статистических данных сложно представить без погружения в исследовательское поле (экспедиций). Это серьезное ограничение и для построения обширных (общероссийских), достоверных карт-схем сельско-городских континуумов, о которых ведут речь авторы.

В главе 2.2 от отходников повествование переходит к социально-экономическим предпосылкам трудовой миграции населения современной России. Опираясь на данные регулярного статистического мониторинга, свои полевые исследования, авторы относят к этим предпосылкам: усиление экономического кризиса в небольших городах и увеличение потребности в занятых в крупных центрах и агломерациях; кризис, закрытие многих сельскохозяйственных предприятий и деградацию социально-экономической среды в периферийных районах сельской местности; переход от «трудодефицитной» модели экономики с большим количеством занятых к «трудоизбыточной»; различия в уровне зарплат в крупных городах, их пригородах и в глубинке; неготовность населения к малому бизнесу как альтернативе крупным предприятиям в кризисных районах. Отходничество действительно стало одной из ведущих альтернатив трудоустройства и жизнеустройства в целом для нескольких миллионов россиян в последние 15—20 лет, его относительная стихийность оказалась продиктована рынком труда, но не только им, а также социально-бытовой необустроенностью мест исхода, отсутствием в них широких возможностей для профессионального роста, для отдыха. Социально-экономическая поляризация регионов усиливается, крупные центры растут, а мелкие — убывают. При этом точных данных об этом мы не имеем.

Решению проблемы бедности и некачественности российской статистики в области возвратных миграций давно служат инициативные социологические исследования, которые с разной степенью успешности эту задачу решают. Авторы рецензируемой книги представляют нам еще один метод — изучение потоков пассажирского транспорта. Этому посвящена глава 2.3. «Транспорт как предпосылка и индикатор возвратной мобильности населения». Автор главы — А. С. Неретин критично оценивает познавательные возможности данного метода, подспудно выявляя его слабые стороны и ограничения. Все указанное им — справедливо и понятно. Он делает вывод: «Большинство мигрантов совершает поездки на тех видах транспорта, где оценить пассажиропотоки максимально сложно, — это личный автомобильный, пригородный автобусный и пригородный железнодорожный. Без активной позиции самих перевозчиков по необходимости качественного учета перевезенных пассажиров будет невозможно решить проблему оценки пассажиропотоков мигрантов» (с. 107). И вновь мы сталкиваемся с трудноразрешимой проблемой, как и в случае с некачественной официальной статистикой, о чем говорили выше. Как же трудно оставаться оптимистом в этом предметном поле! Но

инструментальные возможности в понимании потенциала возвратной миграции этот метод все же предоставляет. Анализируя сами транспортные сети, соединяющие населенные пункты Центральной России (их развитость, комфортность и удобство для пассажиров, стоимость проезда и пр.), автор показывает, как они влияют на ареалы возвратной миграции, на частоту и доступность передвижений, в том числе и для отходников.

В следующей главе 2.4 К. В. Аверкиева и Е. В. Антонов продолжают раскрывать методические сложности изучения современных возвратных трудовых миграций: оценивают качество и применимость основных источников статистической информации, характеризуют возможные стратегии в организации методики полевого исследования на региональном и локальном уровнях. Многообразие методов сбора информации на локальном уровне (поквартирный обход, опросы, анкетирование, экспертные интервью, балансовые методы, похозяйственные книги, мониторинги, паспорта поселений) не всегда является гарантом успешности исследований, о чем говорят и сами авторы, отмечая, что «результаты (исследований) сильно зависят от квалификации и заинтересованности глав сельских поселений и сотрудников их администраций, а также от квалификации исследователей» (с. 138).

В области методики исследования книгу отличает честный подход к читателю: авторы постоянно делают оговорки, поправки относительно своих расчетов, источниковой базы, методов исследования, указывая, что одни из расчетов ближе к реальности, а другие — более грубые, приблизительные. Эти оговорки будут понятны специалистам, а для начинающих разбираться в этом предметном поле — станут важным ресурсом в его освоении. С важных оговорок начинается и глава 2.5, дающая широкое представление о векторах трудовых миграций в современной России. Вновь мы видим карты-схемы региональных различий, которые так интересуют географов и за которыми, очевидно, стоит кропотливая работа авторского коллектива и конкретно автора главы — Т. Г. Нефедовой. Ее основные тезисы подтверждают уже сложившиеся в России тенденции: притяжение населения к Москве (более подробно в главе 2.8) и Санкт-Петербургу, региональные проблемы миграционного дисбаланса, непривлекательность сельской местности для миграций на постоянное место жительства и для отходников, общая привлекательность столичных городов и крупных городов в целом, наличие различий в географических векторах движения иностранных и внутренних мигрантов.

С помощью карт и расчетов данных Всероссийской переписи населения 2010 года по муниципальным районам и городам в главе 2.6 Е. В. Антонов расширяет и углубляет многообразную картину российской внутрирегиональной и межрегиональной трудовой мобильности, которую он оценивает через долю занятого населения, работающего за пределами своего населенного пункта (с. 175). Карты-схемы, иллюстрирующие масштабы этих миграций в России на муниципальном уровне, дают ответ и на вопрос о том, как позиция того или иного муниципального образования влияет на маятниковые трудовые миграции в окружающем его регионе. Работа с картами сразу же рождает разного рода рабочие гипотезы как в

целом по стране, так и в отдельных регионах. Получился действительно важный визуальный источник для понимания сущностных черт и особенностей внутренней миграции в России. За это читатели, я думаю, будут благодарны авторам. Социологам и демографам остается сокрушаться лишь об одном — данные переписи 2010 года с каждым годом становятся все более историческим, а не актуальным социологическим источником.

Продолжая свой анализ, Е. В. Антонов уже в следующей главе обращается к данным по трудовой мобильности в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Если о европейской части России к этому моменту авторы уже высказывались достаточно часто, опираясь в том числе на свои собственные обследования, то восточных регионов страны в ходе знакомства с материалами главы ощутимо не хватало. Пусть эта глава и не является большой по объему (13 страниц), она становится важным компонентом всей книги, претендующей на понимание феномена возвратной миграции по России в целом. Привлекая данные Всероссийской переписи населения 2010 и другие источники, автор отмечает, что в городах и селах Урала, Сибири и Дальнего Востока трудовая мобильность населения существенно ниже, чем в европейской части РФ в силу более разреженной сети городов при слабой транспортной инфраструктуре. Это объясняет и то, почему трудовые миграции в основном сконцентрированы вокруг крупных городских агломераций, а от потери населения страдают в основном села и малые города.

Необходимой с точки зрения понимания выталкивающих причин трудовой миграции стала глава 2.9, в которой К. В. Аверкиева сравнивает рынки труда в сельской местности Нечерноземья и Черноземья. Она показывает, что, несмотря на довольно широкий набор вариантов занятости для сельских жителей, количество рабочих мест здесь постоянно сокращается. Это происходит в связи с модернизацией одних производств и угасанием других. Оптимизация государственных учреждений сокращает количество бюджетных мест, что подталкивает сельчан к маятниковой миграции и отходничеству. Тему развивает в заключительной главе второй части книги Т. Г. Нефедова, показывая причины распространения отходничества в относительно благополучных районах Ставропольского края.

Перейдем к третьей части книги. Она полностью посвящена дачам и дачникам. Ее содержательная целостность позволила бы ей стать отдельной книгой, но и как компонент рецензируемого издания она выглядит органично. В первой главе А. И. Трейвиш сразу же дает следующий ответ на вопрос о том, кто такие дачники в понимании авторов: «городской владелец и (или) пользователь загородной, временно (например, сезонно) посещаемой недвижимости (дома, участка), используемой не только как жилье и не только (не столько) для извлечения дохода» (с. 283). Далее рассматриваются основные причины-ценности, по которым люди заводят дачи, — «философия» дачной жизни. Ощущается, что поэтика и романтика дачной жизни, о которых пишет автор, близки и ему самому.

Любопытна небольшая статистика «дачеведения» по регионам мира и международный историографический анализ «дачеведения» в главе, особенно в связи

с тем, что по феномену отходничества такого рода работу авторы не проводили. Основной вывод: публикаций о дачах за рубежом — «не густо», а у нас их количество «до сих пор неадекватно масштабам дачевладения» (с. 292–293). «Гигантское количество дач» России слабо учитывается в официальной статистике, и это действительно серьезное ограничение для оценки и понимания роли дач в развитии современных городских и сельских территорий России (рынка второго жилья, перспектив субурбанизации). А ведь, допустим, городские дачи в последние два десятилетия стали значимым и повсеместным ресурсом и каналом субурбанизации (переезда горожан в пригороды) и продолжающейся урбанизации в большинстве крупных городов России. С одной стороны, сами горожане-владельцы городских и пригородных дачных участков стали массово переобустраивать их под круглогодичное проживание, выезжая за пределы центральных городских кварталов, а с другой — сельские мигранты, которые по общероссийской тенденции стягивались в города, увидели в городских дачах возможность обрести относительно недорогой участок и жилье, пусть и не в городском центре, но вблизи него. Сущность и функции дач в результате их переобустройства под круглогодичное, а не только сезонное проживание серьезно меняются. Ведь в тот момент, когда дача становится главным домом, в котором его хозяева проживают большую часть года, она перестает быть дачей (вторым жильем).

Подступая к этим вопросам, авторы дают общий экскурс в историю российских дач, их прототипов, представляют типологию российских дач (глава 3.2, Т. Г. Нефедова). Речь идет о классических деревянных двухэтажных дачах, домах в садоводческих товариществах (садах), сельских домах, унаследованных или купленных горожанами в деревне (иногда в малом городе), и особняках (коттеджах) (с. 306). Здесь же мы узнаем о количестве домов в садоводческих товариществах в разные десятилетия после 1950-х годов, однако автор, к сожалению, не указывает источники своих данных (с. 306–307). При этом по «классическим» дачам и сельским домам, коттеджам, используемым в качестве второго жилья, авторы не дают количественных оценок, не располагая статистикой.

Т. Г. Нефедова подразделяет дачи по мере удаленности от города на пригородные (ближние), среднеудаленные и дальние, подспудно раскрывая их содержательные черты и различия. Как у жителя г. Улан-Удэ (столица Бурятии), города с населением более 400 тыс. человек, на территории которого расположены пара десятков садовых товариществ, возникших во второй половине XX века, у меня сразу возник вопрос: а есть ли место в этой типологии собственно городским дачам, расположенным в границах российских городов? Ведь как минимум с 1980-х годов садово-огороднические товарищества активно появляются во многих российских городах. Знакомство с текстом последующих глав подсказало, что этот сегмент авторы объединяют с сегментом ближних дач. По крайней мере, четкого разграничения я не обнаружил. В то же время эти сегменты могут серьезно различаться как по социальному и имущественному составу их хозяев, так и по функциональным характеристикам. Возможно, типология требует уточнения?

Тут же возникло еще одно замечание. Во Введении, в краткой характеристике содержания главы 3.2, говорится, что она посвящена «эволюции российских дач, разнообразию их типов от лачуг до вилл, от ближайших к городу до удаленных на сотни километров» (с. 16), однако в тексте речь идет в основном о дачах у Москвы и Санкт-Петербурга. Понятно, что два этих города — далеко не вся Россия. Вряд ли автор распространяет итоги своих исследований и личных наблюдений в дачных поселках центра и северо-запада Европейской России на всю страну, но регионального разнообразия главе явно не хватает, учитывая многоукладность российских городов в разных частях страны. Даже определяя, например, «средне-удаленные дачи», Нефедова отмечает, что они «находятся на расстоянии 250–300 км от Москвы» (с. 312). То же происходит с оставшимися двумя типами (ближними и дальними дачами). Но почему Москва становится «нулевым километром» в определении российских дач, не ясно.

Тезис о том, что «дальние дачи расположены в 300–700 км от города (Москва) и принадлежат чаще всего жителям крупнейших центров, прежде всего Москвы и С.-Петербурга» (с. 315), кажется удивительным. Неужели от Москвы до самой границы с Республикой Беларусь на запад и до уральских регионов на восток дачи принадлежат чаще всего жителям столицы и Санкт-Петербурга? А как же местные жители? Ведь здесь немало крупных городов — преимущественно областных центров. Если речь идет только о полноценных домах в сельских поселениях и «классических» дачах, то вопрос снимается, но так ли это в случае с садоводческими товариществами? Или они в этом случае не рассматриваются как дачи?

Мой личный интерес к процессам субурбанизации и пригородного роста в современной России заставил с особенным вниманием отнестись еще к одному тезису главы, данному в ее заключении. Н. Г. Нефедова отмечает: «...у нас дачная традиция так и не сменилась характерным для Запада переездом горожан в пригороды или удаленные районы на постоянное место жительства, т. е. процессами субурбанизации и дезурбанизации» (с. 317). Об этом говорится и в главе 3.4: «...несмотря на формирование коттеджных субурбий, наиболее важным и распространенным элементом в системе сезонного расселения по-прежнему остаются традиционные дачные и садово-огородные поселки» (с. 361). Что касается среднеудаленных и дальних дач, этот тезис кажется понятным и справедливым: вмешиваются транспортные проблемы, отсутствие инфраструктуры и пр. Но разве переезд жителей центральных областей крупных отечественных городов, той же Москвы и Санкт-Петербурга, в ближайшие пригороды (коттеджные поселки, таунхаусы — глава 3.4) не приобрел сегодня такого масштаба, чтобы говорить о процессах субурбанизации хотя бы применительно к ним более смело? Как недавно отметил К. В. Григоричев, изучающий пригороды Иркутска, «вопреки распространенному представлению о столичных мегаполисах как о едва ли не единственных зонах развития субурбанизации в России, процесс формирования новых пригородов довольно интенсивно протекает и на периферии, однако этот процесс остается „не

схваченным“ статистическими описаниями и протекает вне поля зрения властных структур» (Григоричев, 2016: 17).

Рост частной малоэтажной жилой застройки на периферии крупных городов России усилиями самих горожан (коттеджные поселки, усадебное строительство, переобустройство городских и пригородных дач под круглогодичное проживание) в последние 10–15 лет приобретает все большие масштабы, порой несмотря на экономический кризис (при наличии существенных региональных различий). О расцвете у нас в стране «постсоциалистической пригородной революции» (Stanilov, Sukora, 2014), возможно, говорить рано, но ее ощутимые симптомы, по крайней мере в городах-миллионниках, по-моему, уже налицо.

От определений и типологий дач авторы переходят к источникам их изучения на общероссийском уровне (глава 3.3). Несмотря на то что глава названа «Методы изучения дач и результаты их применения», в ней речь идет именно об основных источниках и содержащихся в них данных, а не о методах. Ставшую уже привычной проблему отсутствия регулярной статистики авторы предлагают решать за счет периодических выборных опросов, проводимых российскими социологическими и статистическими службами, разовых массовых обследований (например, с/х перепись 2006 г.), а также космических снимков. Далее ими приводятся данные опросов ВЦИОМа и Росстата о доле россиян, имеющих дачи, и о том, каким образом эти дачи обустроены. Исходя из своего определения, авторы записывают в дачники владельцев «земельного участка» без построек и хозяев «жилья загородного типа, пригодного для проживания зимой», в то время как в анкете ВЦИОМа они отделяются от собственно «дачных домов, пригодных для сезонного проживания» (ВЦИОМ, 2014). В анкете ВЦИОМа эти собственники называются «владельцами загородной недвижимости», а не дачниками, что верно, ведь далеко не всех владельцев земельных участков и коттеджей можно назвать «дачниками». В первом случае они могут вообще не появляться на своем участке, а во втором — жить там круглый год, обладая еще и квартирой в городе (что противоречит определению «дачников», на которое опираются авторы, с. 283).

Анализируя данные сельскохозяйственной переписи России 2006 года, авторы отмечают, что в «середине 2000-х гг. в России в составе всех (некоммерческих дачно-садовых. — А. Б.) объединений преобладали садовые товарищества (92 %), которые превышали число огородных и дачных объединений более чем на порядок (соответственно, 7 и 1 %)» (с. 323). Повторимся, «классических» дач оказалось всего 1 %. Интересно, что «дачные объединения больше характерны для пригородов крупных городов. Более чем в половине регионов РФ они вообще отсутствуют» (с. 325). Данные с/х переписи и исследования Фонда общественного мнения позволяют авторам также рассмотреть функции современных дач (рекреационная, аграрная и пр.) и то, как они меняются в разных регионах.

В качестве дополнительного источника по оценке реального размещения дач разных типов авторы привлекают спутниковые снимки, дешифровка которых позволяет им уточнить данные сельскохозяйственной переписи, а также построить

карту размещения садовых товариществ и коттеджных поселков вне населенных пунктов в центре и на северо-западе Европейской России (см. также главы 3.4 и 3.5). Итоги работы выглядят впечатляюще, учитывая, какой кропотливый труд стоит за ней.

Космоснимки территорий — действительно значимый инструмент фиксации реального расселения населения и застройки территорий. Фактическая застройка, например, быстро растущих пригородов крупных российских городов часто опережает ежегодные данные по численности фактического населения в новых кварталах. Новые микрорайоны могут появляться здесь регулярно, а регистрируют недвижимость и самих себя жители этих территорий далеко не сразу. Космоснимки решают задачу оперативного понимания и оценки текущих изменений. А отдельные программы, например GoogleEarthPro, позволяют к тому же сравнить спутниковые изображения территорий разных лет, начиная в основном с 2006 года (используем шкалу времени). Это дает возможность оценить масштабы, направления, характер застройки и ряд других показателей.

Глава 3.6, как и глава 2.7 второй части книги, на время отрывает нас от Центральной России, где авторы проводили большую часть своих исследований, и обращает внимание на Юг и Восток России. Но поскольку она опирается лишь на результаты исследований авторов в Ставропольском крае и «беглые наблюдения» (с. 383) в Республике Бурятия, сразу возникает вопрос, зачем необходимо было экстраполировать выводы этих обследований на весь Юг и Восток России, на что указывает название главы — «Пригороды на Юге и Востоке страны: урбанизация или дезурбанизация?». По Востоку России, даже если под ним понимать только Восточную Сибирь и Дальний Восток, такое обобщение, очевидно, не следовало совершать. Улан-Удэ, Кызыл, Горноалтайск серьезно отличаются от Иркутска (Григоричев, 2013), Красноярска, Новосибирска, Владивостока и т. д. Специфичная система расселения, разница в региональных доходах, климате и пр. — все это делает многообразным поле городских и пригородных исследований на Востоке страны. Случай Улан-Удэ и Бурятии, который авторы рассматривают в главе, опираясь на материалы моей монографии (Бреславский, 2014), — далеко не показательный, на что я указывал в этой монографии и других публикациях (Бреславский, 2016). Уверен, авторы это хорошо понимают. Название же главы вводит читателя в заблуждение, как это бывало и ранее, когда авторы вроде как должны говорить о дачах России в целом, а говорят только о дачах в центре и на северо-западе Европейской России. Возможно, в случае со Ставропольским краем и Бурятией следовало бы ограничиться отдельными сравнительными отступлениями в рамках других глав, тем более что текст главы о «Пригородах на Юге и Востоке страны» составляет всего 10 страниц, из которых лишь первые 6 опираются на исследования самих авторов.

Итак, что же происходит с дачами в Ставропольском крае и Бурятии? Что касается Ставропольского края, то: «На окраинах Ставрополя, городов Кавминвод и вокруг них формируются своеобразные зоны тройного назначения, в которых

сочетаются процессы сезонной и всесезонной дезурбанизации жителей городов, урбанизации сельских жителей края и оседание внешних для края мигрантов» (с. 380). В Улан-Удэ же мы фиксируем преимущественно продолжающуюся урбанизацию за счет местных, республиканских сельских мигрантов, которые сформировали вокруг города своеобразную «деревенскую агломерацию», состоящую из сел и деревень, а также десятков новых малоэтажных, в основном деревянных ДНТ, в которых семьи живут круглогодично. Советские летние дачи, а также дачи, возникшие на территории города и сразу за его границами в 1990-е годы, активно переобустраиваются под круглогодичное проживание как самими горожанами, так и сельскими мигрантами, которые видят в этом доступную и привлекательную возможность иметь жилье вблизи городского рынка труда (см. более подробно: Бреславский, 2014). К сказанному авторами об Улан-Удэ я хотел бы добавить лишь одно уточнение. На стр. 381 они бегло указывают, что в Улан-Удэ пригородные «дома легко принять за дачи, хотя настораживает скудная зелень и хаотичная застройка при обилии изгородей, заборов, присущих здешним степным селениям. Разве что мало юрт, коими, говорят, изобилует пригород столицы соседней Монголии». Чтобы не вводить читателей в заблуждение, отмечу, что жители Улан-Удэ и его пригородов не живут в юртах вообще, единичные юрты и юртообразные деревянные здания используются для туристических целей: как киоски или в качестве придорожных кафе. Основное жилье в пригородах — одно-двухэтажные деревянные дома. А в столице соседней Монголии — Улан-Баторе юрточные кварталы и правда занимают сегодня более 60 % застроенной территории города (Breslavsky, 2016; Бреславский 2017).

Далее авторы вновь переходят к дальним дачам в европейской части России. На примере Костромской области ими показаны этапы и особенности дачного освоения российской глубинки жителями столичных городов. Отмечается, что «в периферийных районах остаются лишь „дальние дачи“, т. к. слабая инфраструктурная обеспеченность отталкивает потенциальных переселенцев. Здесь сильны сезонные колебания населения» (с. 402), и село благодаря дачниками «оживает» лишь летом.

В главе 3.8, продолжая рассматривать дальние дачи, авторы показывают и другие случаи, когда горожане полностью переезжают в сельскую местность. Среди них нередко бывают люди трудоспособного возраста и молодежь (с. 407). Правда, эти потоки сегодня незначительны, но они поддерживают жизнь в отдельных селах, местную экономику, уберегая эти территории от окончательного опустынивания. Обратную миграцию горожан недавно оценили другие российские исследователи, данные которых свидетельствуют о ее высоком потенциале. «Однако реализация этого потенциала зависит от того, какие ресурсы государство готово выделить на развитие сельских территорий. Проблема „обезлюдивания“ села имеет решение, но не в духе кампании по искусственному заселению села горожанами, а в рамках активной аграрной политики и кардинального изменения условий жизни в сельской местности» (Звягинцев, Неуважаева, 2015: 102). Эта проблема

хорошо понятна жителям восточных регионов нашей страны, где плотность населения и поселений существенно ниже, чем в Европейской России. Несколько по-другому обстоит дело с курортными дачами, которые попадают в фокус внимания авторов в заключительной главе книги. Благодаря тому, что они сдаются в аренду туристам более чем на 2–3 месяца в году, они играют важную роль в территориальном развитии поселения и поддержке мелкого бизнеса населения в туристско-рекреационной сфере.

Третья часть книги, посвященная дачам, несмотря на отдельные мои замечания, касающиеся в основном формы и подачи материала, а не содержания, решает много задач. Авторы раскрывают многообразие дачной жизни в европейской части России, показывают основные источники-города, генерирующие потребность в дачах, выделяют особенности отдельных типов дач, а также проясняют роль дач в развитии сельских территорий. За всем этим стоит длительная экспедиционная работа, работа со статистическими и социологическими источниками. Такой многосторонней, последовательной и содержательной работы по изучению дач в России, помимо авторов книги, не проводит никто. Думаю, многие читатели, в их числе и я, будут благодарны авторам за такой труд.

* * *

Знакомство с монографией завершено, и хочется отметить следующее. Содержательное построение и отчасти хрестоматийный характер книги обеспечивают комфортное погружение в достаточно обширную тему — пространственную мобильность населения, с фокусом на возвратные трудовые и дачные миграции. Для исследователей, которые лишь знакомятся с этим предметным полем либо занимаются изучением отдельных региональных проблем, издание станет замечательным источником для понимания общероссийских тенденций, предпосылок, векторов, масштабов, внутренних трудовых и дачных миграций. Со многими положениями книги можно было познакомиться и ранее, по основным публикациям ее авторов, и важно в связи с этим, что все они были объединены под одной обложкой.

Издание отличает внятное, самокритичное, честное отношение авторов к методике исследования. Известные проблемы с качеством официальных источников в области расселения населения, внутренних миграций не подавляют оптимизм исследовательского коллектива, который предлагает альтернативные методы изучения трудовых и дачных миграций на региональном и локальном уровне. Их использование с необходимыми оговорками позволяет им создать целые системы данных, которые вносят важные уточнения в наше понимание картины изучаемых явлений в современной России и в отдельных ее регионах. Очевидно трудоемкие расчеты позволили авторам создать целую серию геоинформационных систем в виде карт-схем, наглядно демонстрирующих региональные различия, каналы и зоны миграции, расселения и пр. Мы знаем и другие, в том числе коллективные, исследования в области внутренней миграции в современной России (их можно

пересчитать по пальцам), но только в этой работе данный компонент, по-моему, столь широко воплощен в жизнь. И неспроста — ведь в составе коллектива географы.

Читателю важно знать, что в книге, особенно во второй ее части (о трудовых миграциях), доминирует количественная макрооптика исследования (на уровне макрорегионов), хотя авторы и «разбавляют» ее локальными контекстами (опять же в основном количественными данными), что позволяет им внести отдельные уточнения в изучаемые ими процессы, разобраться в «природе» интересующих их явлений, но только в их количественном преломлении. За количественными данными, иллюстрирующими изменения в системах расселения, крайне редко и в незначительном по содержанию объеме проявляются личные, биографические истории, материалы интервью, наблюдений авторов за повседневной жизнью российских локальных сообществ и отдельных мигрантов, отходников, дачников. Всего этого ощутимо не хватало.

Думаю, авторам удалось создать панораму общероссийских процессов, когда они говорили о трудовых миграциях (помогли общероссийские данные и их проработка в ГИС-системах), хотя они практически и не привлекали исследования региональных авторов. Но вот в третьей части книги (о дачах) авторы все же ввели в заблуждение читателей, ожидающих увидеть общероссийскую картину этого вида пространственной мобильности населения. Речь же в основном шла о дачах в центре и на северо-западе Европейской России, в то время как Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный округа в общем-то остались без серьезного внимания. Работы в этом предметном поле, конечно, еще очень много. Особенно это касается региональных экспедиционных обследований, без которых бывает сложно уловить все многообразие интересующих нас процессов.

Получилось ли у авторов помочь нам понять, сколько же людей реально живут в разных местах страны в разные часы суток, дни недели, сезоны года, о чем они заявили в аннотации к книге? Думаю, да. Конечно, точных данных они не предоставили (это было бы в нынешних условиях научной фантастикой), но они сформировали пакет инструментов и общий подход к пониманию процессов расселения россиян с поправкой на трудовую и дачную мобильность. В этом и заключается, по-моему, основное значение данной книги.

Литература

- Бреславский А. С.* (2014). Незапланированные пригороды: сельско-городская миграция и рост Улан-Удэ в постсоветский период. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН.
- Бреславский А. С.* (2016). Какой может быть российская субурбанизация? // Мир России. № 1. С. 79–102.
- Бреславский А. С.* (2017). Улан-Батор и «пригородная революция» // Азия и Африка сегодня. № 1. С. 53–56.

- ВЦИОМ (2014). Русская дача: милый дом без удобств, газа и подъездных путей. URL: <http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114861> (дата доступа: 28.01.2017).
- Григоричев К. В. (2013). В тени большого города: социальное пространство пригорода. Иркутск: Отгиск.
- Григоричев К. В. (2016). Многообразиие пригорода: субурбанизация в Сибирском регионе (случай Иркутска) // Городские исследования и практики. № 2. С. 7–23.
- Звягинцев В. И., Неуважаева М. А. (2015). Переселенцы из города в сельскую местность: феномен «обратной миграции» в современной России // Мир России. Т. 24. № 1. С. 101–135.
- Мкртчян Н. В. (2004). «Западный дрейф» внутрirosсийской миграции // Отечественные записки. № 4. С. 94–104.
- Нефедова Т. Г., Покровский Н. Е., Трейвиш А. И. (2015). Урбанизация, дезурбанизация и сельско-городские сообщества в условиях роста горизонтальной мобильности населения // Социологические исследования. № 12. С. 60–69.
- Пацюрковский В. В. (2010). Сельско-городская Россия. М.: ИСЭПН РАН.
- Плюснин Ю. М., Позаненко А. А., Жидкевич Н. Н. (2015). Отходничество как новый фактор общественной жизни // Мир России. Т. 24. № 1. С. 35–71.
- Трейвиш А. И. (2014). «Дачеведение» как наука о втором доме на Западе и в России // Известия РАН. Серия «География». № 4. С. 22–32.
- Филиппов А. Ф. (2009). Прикладная социология пространства // Социологическое обозрение. Т. 8. № 3. С. 3–15.
- Флоринская Ю. Ф., Мкртчян Н. В., Малева Т. М., Кириллова М. К. Миграция и рынок труда. М.: Дело.
- Breslavsky A. (2016). The Suburbs of Ulan-Ude and the Ger Settlements of Ulaanbaatar: A Comparison of Post-socialist Cities // Inner Asia. Vol. 18. № 2. P. 196–222.
- Simon D. (2008). Urban Environments: Issues on the Peri-urban Fringe // Annual Review of Environment and Resources. № 33. P. 167–185.
- Stanilov K., Sykora L. (2014). The Challenge of Postsocialist Suburbanization // Stanilov K., Sykora L. (eds.) Confronting Suburbanization: Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe. Oxford: Wiley-Blackwell. P. 1–32.

Correction for Mobility: How Do Labor and Dacha's Migrations Influence the Settlement of Russians?

Anatoliy Breslavsky

Research Fellow, Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies, Siberian Branch of the Russian Academy of Science

Address: Sakhyanovoi Str., 6, Ulan-Ude, Russian Federation 670047

E-mail: anabres05@mail.ru

Those who study in-migrations of the populations in modern Russia know how difficult it is to give accurate assessments of the scale of these processes within regions, between regions, and within the country. It is possible to define the trends, directions, the participants of these migrations, the obstacles which the migrants face, and the resources which they use for successful relocation. As for the scale of this phenomenon, it is extremely difficult to give accurate estimates. We have discovered a book whose authors immediately notice that it helps to understand how many people in Russia actually live in different places at different times of the day, the days of the week, and the seasons. For researchers, this thesis sounds very intriguing. The monograph of six scientific fellows of the Institute of Geography RAS is dedicated to the spatial (geographic) mobility of the population. Two types of return mobility, labour migration and seasonal migration of Russians to dachas, as well as the settlement systems formed by them (the rural-urban continuum), are analyzed in detail. The authors examine the background, directions, and scales of these migrations in determining regional differences. The study concerns the entirety of Russia, though the authors pay particular attention to its central and north-western regions. The monograph summarizes the longstanding elaborations of the authors, and provides a comfortable immersion into a quite extensive interdisciplinary subject. The series of geo-information systems in the form of schematic maps clearly demonstrating regional differences, sources and zones of migration and settlement systems raise the level of excellence of the monograph among other individual and collective studies of sociologists and demographers in this subject field.

Keywords: spatial mobility, labor migration, dacha, seasonal work

References

- Breslavsky A. (2014) *Nezaplanirovannye prigorody: sel'sko-gorodskaya migratsiya i rost Ulan-Ude v postsovetskii period* [Unplanned Suburbs: Rural-Urban Migration and the Growth of Ulan-Ude in the Post-soviet Period], Ulan-Ude: BSC SB RAS.
- Breslavsky A. (2016) *Kakoj mozhet byt' rossijskaya suburbanizatsiya* [Possible Modes of Suburbanization in Russia]. *Mir Rossii*, vol. 25, no 1, pp. 79–102.
- Breslavsky A. (2016) The Suburbs of Ulan-Ude and the Ger Settlements of Ulaanbaatar: A Comparison of Post-socialist Cities. *Inner Asia*, vol. 18, no 2, pp. 196–222.
- Breslavsky A. (2017) Ulan-Bator i "prigorodnaya revolyuciya" [Ulaanbaatar and the "Postsocialist Suburban Revolution"]. *Asia and Africa Today*, no 1, pp. 53–56.
- Filippov A. (2009) *Prikladnaja sociologija prostrastva* [The Applied Sociology of Space]. *Russian Sociological Review*, vol. 8, no 3, pp. 3–15.
- Florinskaya Y., Mkrtychyan N., Maleva T., Kirillova M. *Migratsiya i rynek truda* [Migration and the Labor Market], Moscow: Delo.
- Grigoriev K. (2013) *V teni bol'shogo goroda: sotsial'noe prostranstvo prigoroda* [In the Shadow of Big City: The Social Space of Suburbs], Irkutsk: Ottisk.
- Grigoriev K. (2016) *Mnogoobrazie prigoroda: suburbanizatsiya v sibirskom regione (sluchaj-Irkutsk)* [Diversity of the Suburb: Suburbanization in Siberian Region (the Case of Irkutsk)]. *Urban Studies and Practices*, no 2, pp. 7–23.
- Mkrtychyan N. (2004) "Zapadnyj drej" vnutrirossijskoj migratsii ["Westward drift" of Internal Migration in Russia]. *Otechestvennye zapiski*, no 4, pp. 94–104.
- Nefedova T., Pokrovsky N., Treivish A. (2015) *Urbanizatsiya, dezurbanizatsiya i sel'sko-gorodskie soobshchestva v usloviyah rosta gorizonta'noj mobil'nosti naseleniya* [Urbanization, Desurbanization and Rural-Urban Communities in the Face of Growing Horizontal Mobility]. *Sociological Studies*, no 12, pp. 60–69.
- Patsiorkovsky V. (2010) *Sel'sko-gorodskaya Rossiya* [Rural-Urban Russia], Moscow: ISESP RAS.
- Plusnin J., Pozanenko A., Zhidkevich N. (2015) *Othodnichestvo kak novyj faktor obshchestvennoj zhizni* [Seasonal Work (Otkhodnichestvo) as a New Social Phenomenon in Modern Russia]. *Mir Rossii*, vol. 24, no 1, pp. 35–71.
- Simon D. (2008) Urban Environments: Issues on the Peri-urban Fringe. *Annual Review of Environment and Resources*, no 33, pp. 167–185.

- Stanilov K., Sykora L. (2014). The Challenge of Postsocialist Suburbanization. *Confronting Suburbanization: Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe* (eds. K. Stanilov, L. Sykora), Oxford: Wiley-Blackwell, pp. 1–32.
- Treyvish A. (2014) "Dachevedenie" kak nauka o vtorom dome na Zapade i v Rossii [Studies of Second Residence in the West and in Russia]. *Russian Academy of Sciences Bulletin, Geography Series*, no 4, pp. 22–32.
- WCJOM (2014) Russkaya dacha: milyj dom bez udobstv, gaza i podezdnyh putej [Russian Dacha: Cute House without Amenities, Gas and Driveways]. Available at: <http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114861> (accessed: 28 January 2017).
- Zvyagintsev V., Neuvazhaeva M. (2015) Pereselency iz goroda v selskuyu mestnost': fenomen obratnoj migracii v sovremennoj Rossii [Migration from Urban to Rural Areas: the Phenomenon of "Counter-urbanisation" in Modern Russia]. *Mir Rossii*, vol. 24, no 1, pp. 101–135.

Новый человек: Николай Чернышевский в зеркале русского европеизма*

КАНТОР В. К. «СРУБЛЕННОЕ ДРЕВО ЖИЗНИ»: СУДЬБА НИКОЛАЯ ЧЕРНЫШЕВСКОГО. М.; СПБ.: ЦЕНТР ГУМАНИТАРНЫХ ИНИЦИАТИВ, 2016. 528 с. ISBN 978-9-98712-661-5

Ольга Жукова

Доктор философских наук, профессор Школы философии факультета гуманитарных наук
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Адрес: ул. Старая Басманная, 21/4, Москва, Российская Федерация 105066

E-mail: logoscultura@yandex.ru

Предметом обсуждения статьи является книга о Н. Г. Чернышевском, написанная историком русской философии В. К. Кантором. Творческая биография писателя отражает трансформации интеллектуальной и политической культуры, произошедшие с русским обществом во второй половине XIX века. Блестящий полемист, он обладал духом социального активизма. Трагическая судьба не позволила мыслителю в полной мере осуществить важные творческие замыслы. В. К. Кантор создает новую интеллектуальную биографию Чернышевского в противовес советской версии, унаследовавшей от Ленина однозначный взгляд на Чернышевского как на революционного демократа. Обращаясь к историографии вопроса, я анализирую основные идеи книги. В статье ставятся два вопроса: можно ли наследие Чернышевского «очистить» от революционного мифа и идеологических интерпретаций? И насколько справедливо определять его как сторонника постепенных реформ и христианского мыслителя? Вступая в диалог с Кантором, я показываю дискурсивную борьбу вокруг наследия Чернышевского, которая возникла среди русских философов и писателей, представляющих направление русского европеизма и христианского либерализма в интеллектуальной культуре России. Автор демонстрирует литературные и философские источники для изучения наследия Чернышевского в периоде между тремя русскими революциями и эмиграцией. Статья представляет собой критический обзор ключевого инструментария исторических и философских интерпретаций работ Чернышевского в российском интеллектуальном контексте XX века. Выявить подлинную интенцию мысли русского интеллектуала и одновременно дать новую интерпретацию идейного наследия Николая Чернышевского в контексте русской философской культуры сегодня представляется крайне важным. На современном этапе эта работа отвечает актуальной задаче изучения текстов русской общественной и религиозной мысли в проблемном поле историко-философских исследований.

Ключевые слова: миф, христианская идеология, революция, русский европеизм, религиозная философия

© Жукова О. А., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-1-296-313

* Исследование финансировалось в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».

Апология или деконструкция мифа?

В конце 2016 года вышла в свет книга В. К. Кантора о Н. Г. Чернышевском, которая сразу привлекла внимание российского сообщества философов и историков литературы. Задуманная как биография для популярной серии «Жизнь замечательных людей», книга в методологическом и содержательном плане сохранила жанровые черты биографического описания, но переросла первоначальный замысел. В. К. Кантор, известный отечественный философ и писатель, чьи работы по истории русской мысли уже признаны классическими, подверг интеллектуальную биографию Чернышевского процедуре реинтерпретации, заново создавая образ публициста и писателя, культового персонажа недавней советской культурно-политической истории.

Можно ожидать, что книга В. К. Кантора о судьбе Николая Чернышевского вызовет серьезную дискуссию. Автор ставит себе непростую задачу *защиты* героя, чье имя неразрывно связано с историей русской революции. Несмотря на то что Владимир Кантор, начавший профессиональный путь в науке с анализа эстетических идей Чернышевского, постоянно возвращался к этой фигуре, книга, на наш взгляд, является *вызовом* для самого исследователя. Ведь центральной темой историософских построений В. К. Кантора является Российская империя, «противостоящая российскому хаосу» (Кантор, 2008). Довольно трудно исторически и философски реабилитировать автора самого известного русского идеологического романа «Что делать?», который в своих «рассказах о новых людях», по сути, противостоит социальному порядку Империи. Так это и воспринималось современниками. «Новые люди» Чернышевского типологически — социально и духовно — представляли альтернативу экономическому, политическому и культурному укладу Российской империи, олицетворяемой русской монархией.

Главный тезис автора: Чернышевский стал мифом, который одна из сторон — власть — воспроизвела как фобию, как преследующий ее страх революционного заговора, другая — радикалы — использовала для усиления моральной силы и авторитета, склоняя к себе равнодушное и думающее общество в борьбе с политической реакционностью царизма. Кантор ставит цель увидеть Чернышевского «в его подлинности, расколдовав фантом, который подарила ему злая судьба» (с. 4), следуя моральной максиме, что человек, «не получивший защиты при жизни, имеет право хотя бы на посмертный и по возможности непредвзятый анализ сделанного им» (с. 9).

Исследователь вновь поднимает из архива уголовно-политическое дело Чернышевского. Какие дополнительные аргументы можно найти в оправдание Чернышевского, доказывающие его полную непричастность к революционным поползновениям в России? Как к драме Чернышевского отнеслась интеллектуальная элита, либерально мыслящие русские европейцы, если подлог в деле был очевиден? Понятно, что согласиться с абсурдными обвинениями в руководстве тайного заговора большинство образованного класса России не могло, о чем свидетельствует

в своих воспоминаниях В. С. Соловьев, разбирая по пунктам ложные обвинения в адрес писателя (Соловьев, 1991: 373–383). В деле Чернышевского Соловьев интересовала именно нравственная сторона вопроса. Такую же позицию Соловьев занял в свое время и по вопросу наказания убийц Царя-Освободителя, взывая к высоте христианского чувства и всепрощению. Примечательно, что на страницах «Вестника Европы», отдавая долг памяти и уважения Чернышевскому, Соловьев считал необходимым защитить его и как автора диссертации «Эстетическое отношение искусства к действительности», вступив тем самым в полемику с приверженцами теории «искусства для искусства». Именно великого русского европейца и религиозного философа В. С. Соловьева, охарактеризовавшего работу молодого Чернышевского как «первый шаг к положительной эстетике», вместе с Н. А. Бердяевым, В. Г. Короленко, В. В. Розановым, берет в свои союзники В. К. Кантор, выступая на стороне защиты (с. 9, 488–494). Апеллируя к высказанной выдающимися деятелями русской культуры оценке жизни и творчества писателя, он начинает новую борьбу за наследство Николая Чернышевского. Кантор видит в нем не радикала, а евангельского «нового человека», просветителя и христианского мыслителя эпохи великих реформ, заявившего о пути преобразований России, но трагически изъятый из этого процесса.

Что же произошло? На этот вопрос и отвечает В. Кантор. Он разворачивает систему аргументации на основе всестороннего анализа событий жизни Чернышевского, эпистолярного и художественно-публицистического корпуса сочинений и текстов, пытаясь убедить читателя в том, что «самое дикое и глупое в этом было, что именно Чернышевский решительно выступал против радикализации общественной жизни» (с. 7). Фигура Чернышевского, по мысли автора, быстро превратилась в общественном сознании в некий миф. Закукливание своего имени в оболочку мифа посредством создания слухов и сплетен осознавал и сам Чернышевский, что отражено в его письме (приобщенному к «делу») к князю А. А. Суворову. На это обстоятельство, как важнейшее для раскрытия основной идеи книги, указывает В. Кантор: «Чернышевский описывает, что его жизнь стала предметом мифотворчества, он это знает и понимает» (с. 290). Общество отреагировало справедливым возмущением и негодованием. Но и эта поддержка общественного мнения сыграла с Чернышевским злую шутку. Автор книги расследует ситуацию с романом, сочиненным в период сидения в Петропавловской крепости, и выносит приговор общественному сознанию: «Власти нарвались на мифологическое сознание общества, сами при этом создав миф о Чернышевском-революционере. Никто не ожидал, что безвинный арест превратит мыслителя в революционера-страдальца, а каждое его слово будет читаться именно в этой программе, предложенной самим правительством» (с. 341).

Деконструируя сложившийся идеологический стереотип, В. Кантор предпринимает попытку снять хрестоматийный глянец с фигуры мыслителя и писателя, привлекая внимание к автору, который перестал быть интересным как для читающих поклонников русской литературы, так и для историков русской мысли. В чем

причина забвения Чернышевского, то ли уважительного, то ли пренебрежительного молчания, его окружающего? Читая книгу, можно понять, что главный мотив исследования, предпринятого В. К. Кантором, — снятие негласного табу с наследия Чернышевского.

Можно констатировать, что по поводу автора «Что делать?» после деконструкции коммунистической идеологии сложился молчаливый консенсус о роли и месте писателя в интеллектуальном пространстве России. Как знаковая фигура революционной истории Чернышевский оказался более не нужен. Ведь он был объявлен большевистской властью лидером революционных демократов и почитался в Стране Советов как подвижник и мученик революции, пострадавший от царского режима. Коммунизм утратил свою мифологическую целостность, а его светские святые — идеологические герои победившего социализма — свою сакральность. Главный роман Чернышевского «Что делать?», потеряв ценность как идеологическое произведение, значительно поблек в художественном отношении, переместившись на периферию идейного пространства. Казалось бы, подобная «фигура умолчания» — теперь уже вечный спутник посмертной судьбы писателя, некогда «перепавшего» вождя русского пролетариата Ленина и крепкой ленинской рукой привлеченного в свой стан для интеллектуальной и моральной легитимации революции в России.

Грядет столетие русского переворота, столь катастрофически сказавшегося на судьбе России. Для большей части российского общества процесс осмысления отечественной истории все еще травматичен, но понимание того, что большевизм как теория и практика социальной революции ни политической, ни духовной реанимации не подлежит, есть базовая посылка. Как бы ни относиться к битве за историю, сведенной к спору о ритуальном жесте в виде выноса тела Ленина из мавзолея, к борьбе за символический капитал коммунизма — его идеологическое наследие в виде «мифа о революции» и ее культурных героях действительно должно быть расколдовано. Исходя из данной логики, интеллектуальную историю необходимо прочесть заново.

В случае с Чернышевским эта задача значительно осложняется. Редактор «Современника» был объявлен «властителем дум» радикально настроенной молодежи и помещен в синодик революционно-освободительного движения, представляя, по определению Ленина, вторую после дворянского этапа эпоху разночинной интеллигенции, подготовившей последний и решающий этап пролетарской революции. Как известно, ставшая канонической интерпретация русской истории, в основе которой — классовый подход к пониманию субъекта истории и ее движущих сил, была изложена вождем русской революции в юбилейной статье 1912 года «Памяти Герцена», написанной к 100-летию со дня рождения выдающегося русского интеллектуала. Знаменитая крылатая фраза Ленина, что «декабристы разбудили Герцена, Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями „Народной воли“», — все еще памятна всем выпускникам со-

ветской школы (Ленин, 1968: 261). Герцен, как и Чернышевский, были присвоены революционными идеологами. Особую ценность для идейных марксистов и радикалов всех мастей в их наследии представляла трагедийно-драматическая история отношений Герцена и Чернышевского с русской монархией — оппозиционно-эмигрантская линия дворянина Герцена и ссыльно-каторжная линия Чернышевского. Последний был осужден за действия, «причиненные мыслью», состав преступления которых был неочевиден до такой степени, что власти пришлось прибегнуть к откровенному навету. В идеологической вивисекции русской истории Герцен и Чернышевский стали воплощением материалистического мировоззрения, что позволяло использовать их авторитет для борьбы с освящавшей сакральный авторитет трона церковью. Но к вопросу о религиозных убеждениях Чернышевского мы еще вернемся — он является одним из краеугольных моментов книги.

Принимая во внимание новую российскую ситуацию с ярко выраженной борьбой политических дискурсов, можно утверждать, что сверхзадача новой книги В. К. Кантора состоит в пересмотре наследия Н. Г. Чернышевского — в первую очередь в ревизии историко-философской идеологической схемы, прочно сколоченной марксистско-ленинской традицией, в которую включена и история общественной мысли России. Причем это не просто идея настройки новой оптики, но и поиск интеллектуальной перспективы для проекта русской мысли, centered на историсофской проблематике России. Основная авторская идея — идея актуализации классики, и, обращаясь к жизни и творчеству Чернышевского, Кантор последовательно продолжает осуществлять свою программу, сформулированную еще в книге «Русская классика, или Бытие России», о высших «бытийных смыслах» классической культуры (Кантор, 2005: 4). Его книга о Чернышевском отвечает генерализующей задаче диалогического *усвоения и переоткрытия* бытийных смыслов русской культуры. Собственно, для этого он и включается в борьбу за наследство Чернышевского, проделывая работу по деидеологизации наследия и пересмотру историко-философских клише, подпадающих под идеологическую рамку прошлых интерпретаций.

Возникает устойчивое впечатление, что через реинтерпретацию наследия Чернышевского Кантор пробивается к созданию нового канона истории, о необходимости которого высказывался во многих своих текстах. Эту программу создания нового канона культурной истории и философского его комментирования Кантор в полной мере разворачивает и в книге о Чернышевском. Социальную и духовную историю России, как нам представляется, он хочет написать от лица представителей идейного течения русского европеизма, к которому принадлежат лучшие умы России от Пушкина и Станкевича до Бердяева и Степуна. В ней нет места утопизму и революционаризму, как нет места и косному традиционализму и политической реакционности — в ней есть социальный прогрессизм и культурная работа. Можно ли соотнести Чернышевского с христианско-либеральной традицией русского европеизма? Кантор делает попытку выстроить подобную перспективу, где возникает новый образ Чернышевского как христианского мыслителя, рефор-

матора-постепеновца, не социалиста и материалиста, зараженного радикализмом, а просветителя и практического культурного деятеля, противостоящего двум типам русских хаосов — «революции и реакции» (Струве). Это горизонт, к которому автор книги стремится, старясь убедить нас в справедливости своего видения Чернышевского. Кантор предъявляет читателю исследование событий его жизни — свидетельства в виде дневников, писем героя и воспоминаний современников о нем, вписывая Чернышевского в контекст русской общественной мысли — в сложившиеся традиции толкования этого значимого персонажа отечественной культуры, отчего работа приобретает синтетические черты жанра *философского романа*. Историко-философский метод реконструкции, применяемый при создании интеллектуальной биографии Чернышевского, переводит текст из литературно-повествовательного плана в область философской рефлексии и реконструкции социального и духовного контекста эпохи. В авторской селекции фактов и артефактов фигура Чернышевского предстает ключевой для новой версии истории, обозначающей развилку русской мысли, за которой просматривается проблема выбора пути на конкретном историческом этапе развития России.

«Новые люди» или «духи революции»?

Итак, жанр книги — интеллектуальная биография. В истории русской литературы есть знаменитый и необычный по замыслу прецедент написания биографии Чернышевского как вставного произведения внутри художественного текста, связанного с биографической линией творчества героя повествования, писателя Годунова-Чердынцева, в образе которого угадываются черты Владимира Набокова, автора романа «Дар», опубликованного в эмиграции в 1937–1938 годах. О романе Владимир Кантор упоминает только в самом начале для того, чтобы дистанцироваться от ироника и эстета Набокова, который «принизил мученика» в своем романе (с. 7). Но *так ли далеко расходитя с Набоковым в своем прочтении Чернышевского автор книги?* Ведь за опытом самопознания русской истории Годунова-Чердынцева сквозь призму судьбы Чернышевского прочитывается горький опыт саморефлексии русской эмиграции, ее идейно-политического и духовно-культурного крыла, к которому по рождению и ментально принадлежат автор «Дара» и его герой Годунов-Чердынцев. Именно к авторитету философов-эмигрантов — С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева и Ф. А. Степуна — Кантор прибегает, чтобы реабилитировать героя своего философского романа и освободить его образ из революционно-мифологических пелен.

Проведем некоторые параллели между двумя книгами о Чернышевском — Набокова и Кантора. Мотивы написания биографии духовного лидера народнической и революционно-демократической интеллигенции указаны Набоковым в эпатажном ироническом ответе героя, Федора Константиновича, — «упражнение в стрельбе» (Набоков, 1990: 177). В романе Набокова «светлая эпоха шестидесятых» видится как альтернатива сегодняшнему дню, «страшному времени», «когда у нас

попрана личность и удушена мысль» (Набоков, 1990: 177). Такую позицию в поддержку идеи написать биографию Н. Г. Чернышевского высказывает Александр Яковлевич Чернышевский. От лица этого персонажа передается важная мысль, отвечающая умонастроению многих русских интеллектуалов, их оценки шестидесятих годов.

В этой эпохе есть нечто святое, нечто вечное. Утилитаризм, отрицание искусства и прочее — все это лишь случайная оболочка, под которой нельзя не разглядеть основных черт: уважения ко всему роду человеческому, культура свободы, идеи равенства, равноправности. Это была эпоха великой эмансипации, крестьян — от помещиков, гражданина — от государства, женщины — от семейной кабалы. И не забудьте, что не только тогда родились лучшие заветы русского освободительного движения, — жажда знания, непреклонность духа, жертвенный героизм, — но еще именно в ту эпоху, так или иначе питаясь ею, развивались такие великаны, как Тургенев, Некрасов, Толстой, Достоевский. Уж я не говорю про то, что сам Николай Гаврилович был человек громадного, всестороннего ума, громадной творческой воли, и что ужасные мучения, которые он переносил ради идеи, ради человечества, ради России, с лихвой искупают некоторую черствость и прямолинейность его критических взглядов. Мало того, я утверждаю, что критик он был превосходный, — вдумчивый, честный, смелый... Нет, нет, это прекрасно, — непременно напишите!

— восклицает Александр Яковлевич (Набоков, 1990: 178).

Вчитываясь в «доски судьбы» Николая Гавриловича, Годунов-Чердынцев (а за ним и Набоков) открывает для себя идейный субстрат русской интеллектуальной среды, которая духовно и социально породила и народников, и радикалов-террористов, и профессиональных революционеров, приведших Россию и его семью к исторической катастрофе и к нынешнему состоянию вынужденной эмиграции:

Он старался разобраться в мутной мешанине тогдашних философских идей, и ему казалось, что в самой переключке имен, в их карикатурной созвучности, выразался какой-то грех перед мыслью, какая-то насмешка над ней, какая-то ошибка этой эпохи, когда бредили, кто — Кантом, кто — Контом, кто — Гегелем, кто — Шлегелем. А с другой стороны, он понемножку начал понимать, что такие люди, как Чернышевский, при всех их смешных и страшных промахах, были, как ни верти, действительными героями в своей борьбе с государственным порядком вещей, еще более тлетворным и пошлым, чем их литературно-критические домыслы, и что либералы или славянофилы, рисковавшие меньшим, стоили тем самым меньше этих железных забияк. (Набоков, 1990: 183)

Заново переоценивая «дидактическую эпоху» 60–80-х, когда «люди лънули к наставнику, вот-вот готовому стать вождем» (Набоков, 1990: 209), Годунов-Чердынцев отдает дань памяти и уважения нравственному подвигу Чернышевского, его роли в освободительном движении, к которому был причастен и отец Набо-

кова, один из виднейших кадетов, погибший в эмиграции от рук фанатичных монархистов. Признание героя Набокова явно *созвучно общей идее книги* Кантора: возможно, без наставничества умеренного в своих политических взглядах Чернышевского, отлученного от России в период, когда она имела свой исторический шанс на мирное реформирование и модернизацию социального порядка, общественное сопротивление косности русского абсолютизма все отчетливее приобретало радикально-революционный оттенок. Эта мысль — сожаление о «загубленном древе жизни» (образ, который Кантор намеренно заимствует у В. В. Розанова, встраиваясь в русскую культурфилософскую традицию) как о *неиспользованном шансе* рефреном звучит у автора книги, вступая в резонанс с выводами Годунова-Чердынцева:

Он живо чувствовал некий государственный обман в действиях Царя-Освободителя, которому вся эта история с дарованием свобод очень скоро надоела; царская скука и была главным оттенком реакции. После манифеста, стреляли в народ на станции Бездна, — и эпиграмматическую жилку в Федоре Константиновиче щекотал безвкусный соблазн, дальнейшую судьбу прavitельственной России рассматривать как перегон между станциями Бездна и Дно. (Набоков, 1990: 183)

На непосредственное участие Александра II в «гражданском убийстве» Чернышевского, мотивированном и личным страхом, и личной неприязнью монарха по отношению к человеку, имевшему собственное мнение и смелость отстаивать свою невиновность, *как если бы самодержец и его подданный были равны в своем праве личного достоинства*, со всей значительностью этого эпизода указывает Кантор: «Поразительное дело, но более всего любой автократический режим не приемлет независимость духа и мысли. Кажется, единственный из русских литераторов того времени в письме к русскому царю он подписался не „Ваш верноподданный“, а „Ваш подданный“. Разница громадная» (с. 494).

И все же мыслители и художники слова, пережившие три русских революции, насильно разлученные со своей горячо любимой родиной, сполна испившие чашу исторического гнева и духовной горечи, признавая высоту нравственного облика Чернышевского, весьма критичны к его наследию. Они практически единогласно считают его источником импульса, приведшего к полевению русского общества, к его радикализации и «омарковлению», видя в нем идейного предтечу разрушения религиозных основ русской жизни и понижения уровня культуры. И здесь есть *самый сложный пункт для аргументов в защиту* Чернышевского, поскольку такие представители русской общественной и религиозной мысли, как Н. А. Бердяев, В. В. Зеньковский, Н. О. Лосский, П. Б. Струве, С. Л. Франк, *метафизически не опознают* в нем носителя свободного и православного духа.

В то же время анархо-коммунизм, возникший в лоне революционного народничества, в лице своего мощного теоретика П. А. Кропоткина напрямую выводит генеалогию «новых людей» — революционных делателей — из публицистики

и романа Чернышевского. Сравнивая тургеневского Базарова и «новых людей» Чернышевского, Кропоткин свидетельствует, что тургеневский нигилист Базаров не мог удовлетворить жаждущую конкретного дела молодежь: «Нигилизм с его декларацией прав личности и отрицанием лицемерия был только переходным моментом к появлению „новых людей“, не менее ценивших индивидуальную свободу, но живших вместе с тем для великого дела. В нигилистах Чернышевского, выведенных в несравненно менее художественном романе „Что делать?“, мы уже видели лучшие портреты самих себя» (Кропоткин, 1991: 407). Кропоткин подчеркивает воспитательное значение публицистики Чернышевского, говоря о том, что «он проповедовал в прикровенной форме, но вполне понятно для читателей — фурьеризм, изображая в привлекательном виде коммунистические ассоциации производителей. Он также изобразил в своей повести типы действительных „нигилистов“, наглядно указав, таким образом, их различие от тургеневского Базарова» (Кропоткин, 1991: 443). Кропоткин подтверждает, что «ни одна из повестей Тургенева, никакое произведение Толстого или какого-либо другого писателя не имели такого широкого и глубокого влияния на русскую молодежь, как эта повесть Чернышевского. Она сделалась своего рода знаменем для русской молодежи, и идеи, проповедуемые в ней, не потеряли значения и влияния вплоть до настоящего времени» (Кропоткин, 1991: 443).

Сложность расколдовывания художественно-философского наследия Чернышевского с точки зрения его культурно-политической и религиозной идентичности связана еще и с тем, что продемонстрированная им в жестоких поворотах судьбы модель поведения имеет сходство с аскетическими формами подвижничества христианских святых. Неслучайно Чернышевский был причислен победившими большевиками к сонму революционных мучеников. Это свойство морального стоицизма и аскетизма Чернышевского было отмечено либеральными мыслителями. В. К. Кантор отсылает читателя к веховской статье С. Н. Булгакова «Героизм и подвижничество», используя в качестве аргумента защиты и указывая на признание Булгаковым за Чернышевским высокого морального духа (с. 490–491), восходящего «к духовным навыкам, воспитанным Церковью» (Булгаков, 1993: 307). Это так. Но главная мысль Булгакова иная. Пафос статьи заключается в том, что аскетизм и подвижничество русской интеллигенции как внешние формы, своего рода псевдорелигиозность, растождествляются автором с подлинной религиозностью. По мнению Булгакова, Чернышевский как «вождь русской интеллигенции» стоит в начале этого процесса разрыва с христианством, сохраняя еще моральные черты религиозной культуры, что не обнаруживает себя в его «исторических детях и внуках» (Булгаков, 1993: 307). Кантор делает ссылку на Н. А. Бердяева, который говорит о нравственных качествах Чернышевского, называя его одним «из лучших русских людей», «близким к святости» (с. 492). Но здесь же, в «Русской идее», характеризуя революцию как культурную катастрофу, Бердяев напрямую связывает русский революционаризм с идейным наследием Чернышевского. Он заявляет, что «деятели русской революции жили идеями Чернышевско-

го, Плеханова, материалистической и утилитаристской философией, отсталой тенденциозной литературой, они не интересовались Достоевским, Л. Толстым, В. Соловьевым, не знали новых движений западной культуры. Поэтому революция у нас была кризисом и утеснением духовной культуры» (Зись, 1994: 279). Можно возразить, что Бердяев оценивает не мировоззрение и творчество Чернышевского, а просто констатирует факт, что неверное восприятие идей писателя, их радикализация позволила притянуть его в стан революционеров. Однако свою мысль Бердяев проясняет в других работах. Так, в статье «Русский духовный ренессанс начала XX в. и журнал „Путь“» он пишет о трагедии культуры, разрушенной революцией, возводя атеистический пафос революции к идейной программе Чернышевского: «В революции произошел срыв русской культуры, перерыв культурной традиции, которого не произошло, например, во французской революции. Произошло низвержение культурного слоя. Н. Чернышевский победил Вл. Соловьева. Вся сложная религиозная проблематика начала XX века исчезла за элементарными реакциями против преследования Церкви и христиан» (Бердяев, 1994: 317). В «Мутных ликах» Бердяев определенно формулирует, что «революция произошла от духа Чернышевского, а не от духа Вл. Соловьева», противопоставляя их именно метафизически (Бердяев, 1994: 454). И еще раз возвращается к этому важнейшему для него тезису в итоговой книге «Самопознание»: «Трагично для русской судьбы было то, что в революции, готовившейся в течение целого столетия, восторжествовали элементарные идеи русской интеллигенции» (Бердяев, 1991: 165). Отец революционной интеллигенции — Чернышевский. Бердяев резюмирует: «Русская революция идеологически стала под знак нигилистического просвещения, материализма, утилитаризма, атеизма. „Чернышевский“ совсем заслонил „Вл. Соловьева“» (Бердяев, 1991: 165). Очевидно, что автор «Философии свободного духа» не по духовным, не по социальным основаниям не готов признать в Чернышевском христианского мыслителя и мирного постепеновца.

Примечательно, что П. Б. Струве, блестящий аналитик русской общественной мысли, проделавший, как и Бердяев, путь от марксизма к идеализму, в работе «К характеристике нашего философского развития», вошедшей в сборник 1902 года «Проблемы идеализма», причисляет Чернышевского к материалистическому направлению русской мысли, выявляя влияние позитивистских мировоззренческих установок критика и писателя на развитие русского марксизма, отмечая при этом догматичность и элементарность его философских построений.

Главное (и огромное) значение Чернышевского, — подчеркивает Струве, — для его времени коренилось в том, что он был материалист и социалист, выливший свое теоретическое и практическое миросозерцание в столь соблазнительно ясные и решительные формулы, как никто ни до, ни после него... Роль Чернышевского аналогична роли г. Михайловского. Он был философом своего поколения, но не научным деятелем; он написал несколько блестящих публицистических статей, но не был публицистом. Русский социологический субъективизм есть хотя и примыкающая к Контю, но в значительной

мере оригинальная попытка удовлетворить метафизическую потребность в пределах позитивизма. В этой попытке ценен философский замысел, или, пожалуй, точнее, плодотворное философское недоумение, в ней сказавшееся. П. Л. Лавров и Н. К. Михайловский, думается нам, никогда не были такими «властителями дум» своего поколения, как Н. Г. Чернышевский, но в качестве философов и ученых они значительно выше своего более влиятельного предшественника, сила влияния которого определялась тем, что составляло слабость его философствования и научных опытов. Я имею в виду догматический склад ума и элементарность самой точки зрения Чернышевского. (Струве, 1997: 187)

И уже в знаковой статье «Интеллигенция и революция» из сборника «Вехи», говоря о восприятии «русскими передовыми умами западноевропейского атеистического социализма» как духовно-идейного источника, заложившего основы мирозерцания русской интеллигенции, Струве возводит Чернышевского к полеевшим Белинскому и Бакунину, видя в нем продолжателя этой традиции. Он проводит типологическое разграничение, говоря о Чернышевском как о *совсем ином типе* русского интеллектуала-интеллигента. Но для Струве он не несет в себе черты высокой духовной культуры:

Достаточно сопоставить Новикова, Радищева и Чаадаева с Бакуниным и Чернышевским для того, чтобы понять, какая идейная пропасть отделяет светочей русского образованного класса от светочей русской интеллигенции. Новиков, Радищев, Чаадаев — это воистину Богом упоенные люди, тогда как атеизм в глубочайшем философском смысле есть подлинная духовная стихия, которою живут и Бакунин в его окончательной роли, и Чернышевский с начала и до конца его деятельности. Разница между Новиковым, Радищевым и Чаадаевым, с одной стороны, и Бакуниным и Чернышевским, с другой стороны, не есть просто «историческое» различие. Это не звенья одного и того же ряда, это два по существу непримиримые духовные течения, которые на всякой стадии развития должны вести борьбу,

— настаивает Струве (Струве, 1997: 194). Вывод Струве известен. Самоосуждение русской интеллигенции, ее безрелигиозности и антигосударственной идеологии — один из центральных пунктов либерально-консервативной программы автора «Великой России»: «В безрелигиозном отщепенстве от государства русской интеллигенции — ключ к пониманию пережитой и переживаемой нами революции» (Струве, 1997: 194–195).

Собственно, это и была та самая болезнь безрелигиозной веры русской интеллигенции, ищущей Царства Божьего на земле, или, по меткому выражению Струве, «удовлетворения метафизической потребности в пределах позитивизма». Духовный феномен русской революции определяется своеобразной перверсией религиозного сознания, аскетичного и догматичного, что было диагностировано Струве в «Вехах» и охарактеризовано как материалистический дух революции, «дух Чернышевского», Бердяевым в его ключевых историсофских работах. Ре-

волюция стала фактом исповедничества русской интеллигенции, при этом градус болезненного «политицизма» общества, склонного оценивать все явления художественного и духовного порядка с точки зрения их идейной прогрессивности в эсхатологическом горизонте чаемой революции, только нарастал, о чем говорит и С. Л. Франк в «Крушении кумиров»: «Сомнения в величии, умственной силе и духовной правде идей Белинского, Добролюбова, Чернышевского представлялось хулой на духа святого» (Франк, 2000: 152). Желал того Чернышевский или нет, его «новых людей» практически все общественные силы отождествили не с реформаторами и буржуазными предпринимателями, а с вестниками царства социальной свободы — с революционерами. Для власти и революционных демократов Чернышевский был проповедником эры справедливости и свободы с противоположными знаками — отрицательным для самодержавия и положительным для социалистов и марксистов. Для сторонников либерально-христианских взглядов Чернышевский, уже в период осмысления революции 1905 года, стал *символом* идейно заряженной русской интеллигенции, склонной к социальному радикализму и неверию.

Дух веры в торжество идеалов справедливости и общественного блага, почти религиозный по своей нравственно-психологической природе, легко приобретал черты морального ригоризма и догматизма. Тем более что в качестве идеала бралась все та же религиозная заповедь любви к человеку, воспринятая от христианской традиции и трактованная в духе идеалов высшей социальной справедливости и коммунитарности — новой революционно-эсхатологической общины. Эта очень тонкая подмена в *неразличении духов* привела к опасной форме превращенного религиозного сознания, к подмене страдания во имя Христа и практики духовной аскезы как пути личного спасения и обожения на страдания во имя светлого будущего, где средств для достижения социальных целей революции уже не выбирали. Об этом перевертыше религиозного сознания высказался в «Истоках и смысле русского коммунизма» Николай Бердяев. Личностно-психологической изнанкой веры в слово и убежденности в своей правоте нередко становилась категоричность суждений и нетерпимость к иному мнению.

Догматичность и безапелляционность в какой-то момент стали поведенческой чертой Чернышевского. Это изменение отметил В. С. Соловьев, приводя воспоминания своего отца, выдающегося историка либеральных взглядов С. М. Соловьева: «Я помнил, — говорил отец, — замечательно умного и толкового собеседника, скромного и любезного, — и вдруг непогрешимый оракул, которого можно только почтительно слушать. Совсем другой человек сделался — узнать было нельзя» (Соловьев, 1991: 377). Искренне настроенный в поддержку Чернышевского, В. С. Соловьев добавлял, что отец пытался понять и до какой-то степени оправдать подобную перемену в писателе: «Впрочем, и слова отца, помню, были сказаны не столько в упрек Чернышевскому, сколько в обличение незрелости, несерьезности и холопского духа в русском обществе» (Соловьев, 1991: 377). Видимо, этот стиль общения, а также невнимание к другой правде в свое время оттолкнули и либе-

рального Ивана Тургенева, и Льва Толстого, находившего в Чернышевском сильного критика. Н. О. Лосский в «Истории русской философии» приводит эпитет Тургенева в адрес Чернышевского и его соратника по «Современнику» Добролюбова. Речь шла о нигилизме и нигилистах: «И. С. Тургенев, который придумал это название, сказал однажды Чернышевскому в беседе о его движении: „Вы, Николай Гаврилович, просто змея, а Добролюбов — очковая“» (Лосский, 2011: 80).

Бравировал Чернышевский или иронизировал, когда выговаривал в письме к К. Т. Солдатенкову от 26 декабря 1888: «Я мягок, деликатен, уступчив, пока мне нравится забавляться этим... Я ломаю каждого, кому вздумаю память ребра: я медведь. Я ломал людей, ломавших все и всех... Герцена (...он вертелся передо мной, как школьник)... Некрасова, который был много крепче Герцена» (Чернышевский, т. 15: 790). Но факт остается фактом. Толстой, совсем не отличавшийся гибкостью суждений в общении с собеседниками, записывает в дневнике 1910 года от 1 июня: «Читал Чернышевского. Очень поучительна его развязность грубых осуждений людей, думающих не так, как он» (Толстой, 1985: 384). Читал Толстой статью Н. С. Русанова «Чернышевский в Сибири. По неизданным письмам и семейному архиву», опубликованную в четвертом и пятом номерах журнала «Русское богатство» за 1910 год. Интерес и внимание великого писателя к критику, который когда-то обозначил крылатой фразой толстовский психологический реализм, назвав его «диалектикой души», не ослабевал до конца жизни.

Во многом моральный ригоризм и догматическая риторика «новых людей», «детей и внуков» Чернышевского, прикрывавшая антицерковность и атеизм, не позволила русским религиозным философам увидеть в Чернышевском верующего человека и христианского мыслителя. Но можно ли Николая Чернышевского, знавшего текст Евангелия практически наизусть, обвинить в материализме и атеизме? Что вычитывает блестящий выпускник семинарии у Фейербаха, французских социал-утопистов и позитивистов в духе Конта? Владимир Кантор, отвечая на этот вопрос, становится оппонентом русских интеллектуалов — представителей либерального крыла и религиозных философов. В главе «Университетские годы. *Repetitum mobile* и размышления о „бесконечном усовершенствовании христианства“» автор книги предлагает читателю аргументы, позволяющие сделать вывод: пройдя интеллектуальный искус Фейербахом, Чернышевский не расстался с религиозными воззрениями, разве что более критично стал относиться к церкви. Находит ли этот тезис подтверждение у русского религиозного мыслителя и православного священника о. Василия Зеньковского?

Для Зеньковского Чернышевский представляет новую генерацию русских людей, которые верят в науку почти религиозно, с романтической страстностью и утопической безоглядностью. Это явление, маскирующееся под материализмом и реализмом, Зеньковский определяет «секулярной религиозностью» (Зеньковский, 1991: 132). Чернышевский неоднократно говорил о себе как о мыслителе, который последовательно держится «научной точки зрения». Теория «разумного эгоизма», разрабатываемая Чернышевским, по словам Зеньковского, это этика утилита-

ризма, базирующаяся на принципе «научного обоснования морали». Как пишет Зеньковский, в центральной философской работе «Антропологический принцип в философии» Чернышевский «горделиво заявляет, что „метод анализа нравственных понятий в духе естественных наук... дает нравственным понятиям основание самое непоколебимое“» (Зеньковский, 1991: 136–137). Но собственно критического анализа философских начал антропологии историк русской мысли в ней не обнаруживает. Он отмечает, что вся философская проблематика отпадает, а автор демонстрирует скудость материалистического взгляда на природу человека, самоуверенно выдавая «свои построения за бесспорный „итог современной науки“», с характерным для некритического мышления «бесцеремонным отношением к инакомыслящим» (Зеньковский, 1991: 133). Антропологическая проблематика «представляется Чернышевскому как подчинение в познании всего принципам, господствующим в сфере физико-химических процессов» (Зеньковский, 1991: 135). Очевидно, что подобный биологизм и наивный реализм в рассуждениях Чернышевского противоположны христианской антропологии.

Тем не менее связь с христианской этикой присутствует в рассуждениях Чернышевского. И этот факт Зеньковский выделяет как идеальный порыв морально-го сознания, имеющего смысл и ценность в самом себе, а не в естественных проявлениях человеческого существа, злое и доброе начало в котором зависит, как настаивает Чернышевский, от обстоятельств: «при известных обстоятельствах человек становится добр, при других — зол» (Зеньковский, 1991: 138). Пафос свободы и веру в права личности против всякого социального угнетения Зеньковский называет отличительной и, быть может, самой сильной стороной личности Чернышевского, что позволяет говорить о мировоззренческой принадлежности писателя не только материализму, позитивизму и утилитаризму, но и идеализму. Специфический синтез ценностей и методов науки, социалистических идей и христианской морали в философско-антропологической и этической программе Чернышевского строится, как отмечает Зеньковский, на «замещении религиозного мировоззрения» в рамках секуляризма с попыткой сохранить «все ценности, открывшиеся миру в христианстве» (Зеньковский, 1991: 142). Как можно понять Зеньковского, идейная программа, возникающая при соединении практически несоединимого, ведет к внутренней драме — к самодискредитации философского дарования. «Упрямые», «безапелляционные», «нетерпимые», «докторальные», «пренебрежительные» — так характеризует Зеньковский стиль философской критики Чернышевского, говоря о его высказываниях, ниспровергающих авторитеты, зараженных социальным утопизмом и политическим радикализмом. С сожалением Зеньковский заключает, что взгляды Чернышевского малы для его ума и не соответствуют его дарованию, но по факту становятся основанием русского позитивизма и материализма (Зеньковский, 1991: 142).

Для В. В. Зеньковского Н. Г. Чернышевский идейно остался выразителем «русского радикализма» — лидером нового поколения, его духовным вождем (Зеньковский, 1991: 127). В спорах об оценке наследия Чернышевского стоит отметить и

другое мнение, существовавшее среди эмигрантов — историков русской культуры. Так, духовный источник русской революции Е. В. Аничков возводил к Герцену, противопоставляя его Чернышевскому.

Все главные лозунги русского революционного движения до самой «Народной воли» провозглашены Герценом. Настоящим вдохновителем революционеров еще во времена «нечаевщины» станет его друг Бакунин. Но Герцен не только позвал основывать тайные типографии, от него же исходит и «Земля и Воля», и «хождение в народ»... Провозглашенные им лозунги живы, и ими трепещут и мнутся, во имя их идут на Голгофу революционного дела новые поколения...

— писал Аничков в работе «Две струи русской общественной мысли. Герцен и Чернышевский в 1862 г.» (Аничков, 1930: 234–235).

Однако приходится признать, что историко-философская характеристика, данная Зеньковским, была разделяема большинством мыслителей русского Серебряного века, не увидевших в Чернышевском христианского философа.

В диалоге с автором и героем: Чернышевский глазами русского европейца

Мало кому из наших современников могла прийти мысль, что Николай Гаврилович Чернышевский — это «непрочитанный», «неопознанный» персонаж русской интеллектуальной истории. Но Владимир Кантор показывает читателям хрестоматийного автора в совершенно ином ключе — как христианского социалиста и реформатора-преобразователя, ученого и писателя с прогрессистским мировоззрением. Что дает право на подобную интерпретацию? Какую мысль хочет донести до нас Владимир Кантор? Чернышевский — жертва. Вину за загубленную жизнь автор книги возлагает на реакционную бюрократию и напуганного ею Царя-Освободителя. Именно ее пугливыми стараниями, антиправовыми и антиморальными действиями царской власти по злоумышленной дискредитации Чернышевского был создан миф о писателе как о революционере, опасном «карбонарии». Вину за тиражирование и культивирование этого мифа Кантор возлагает на революционных демократов и марксистов во главе с Лениным, создавшим советский канон толкования идейного наследия Чернышевского. Автор пытается показать Чернышевского как христианского мыслителя и здесь избирает *линию защиты по нравственным основаниям* его дела, солидаризируясь с оценкой трагедии Чернышевского, данной В. С. Соловьевым, В. В. Розановым и Ф. А. Степуном. В то же время внутри этой традиции русского европеизма существует круг не менее авторитетных мнений, высказанных И. С. Тургеневым, Н. А. Бердяевым, В. В. Зеньковским, Н. О. Лосским, П. Б. Струве, С. Л. Франком, касаемых духовно-философских оснований творчества Чернышевского и выявляющих расхождения его установок с религиозной метафизикой и либерально-христианскими ценностями.

Искренен и убедителен автор книги в глубочайшем сочувствии к жизни талантливому человеку, принявшего на свою долю огромные испытания и страдания, мужественно им скрывааемые под маской иронии и деятельного активизма мысли. Мысли, не находящей реального применения и часто выглядящей поэтому как утопическое нагромождение научных и литературных планов. Эта главная христианско-апологетическая интенция работы блестяще реализована В. К. Кантором. Перед нами книга, содержащая тревожный вопрос о том, почему люди, рожденные в России с умом, душой и талантом, оказываются ненужными своему Отечеству, почему они не становятся подлинно новыми евангельскими делателями, собирающими мирную жатву труда и творчества. Увы, тяжелая закономерность постоянно воспроизводится в русской истории в судьбе одаренных людей, могущих и желающих быть полезными своими знаниями и делами нации и культуре.

Как ни странно, книга «Срубленное дерево жизни», вроде бы противостоящая набоковской версии биографии Чернышевского, в основной посылке исследования близка мысли автора «Дара». Критическая работа по переосмыслению наследия оказалась крайне значимой для Набокова, как и для всей русской эмиграции. Ведь в опусе Годунова-Чердынцева о Чернышевском — этом идейном кумире русской интеллигенции, сокрушенном для интеллектуалов-эмигрантов жестокой правдой революции — он выразил трагический, напряженный вопрос образованного класса о причинах и конкретной ответственности исторических деятелей за произошедшее с русским обществом и государством. Эта задача переосмысления остается важной и для автора новой работы о Чернышевском. С точки зрения предъявляемого В. К. Кантором образа писателя и мыслителя книга остается в зоне риска. Извлечь «нового человека» Чернышевского из-под обломков двух империй — Российской и советской — довольно трудно. Необходимо высоко оценить исследовательскую честность Владимира Кантора, его обращение к самым неудобным вопросам русской истории, что позволяет снять печать молчания с известных, но «вынесенных за скобки» имен русских мыслителей. Можно с уверенностью сказать, что российский философ «перезапускает» чрезвычайно важный и актуальный разговор о судьбах русской мысли и наследии Николая Чернышевского *по существу проблемы* — духовной и идейной идентичности автора, сформулировавшего полтора века назад основной русский вопрос «что делать?», который адресован теперь уже «новым людям» современной России.

Литература

- Аничков Е. В. (1930). Две струи русской общественной мысли. Герцен и Чернышевский в 1862 г. // Записки русского научного института в Белграде. Вып. I. Белград.
- Бердяев Н. А. (1991). Самопознание (опыт философской автобиографии). М.: Книга.

- Бердяев Н. А.* (1994). *Философия творчества, культуры и искусства*. Т. 2. М.: Искусство.
- Булгаков С. Н.* (1993). *Сочинения*. Т. 2. М.: Наука.
- Зеньковский В. В.* (1991). *История русской философии*. Т. 1. Ч. 2. Ленинград: Эго.
- Зись А. Я.* (ред.). (1994). *Русская идея в кругу писателей и мыслителей русского зарубежья*. Т. 2. М.: Искусство.
- Кантор В. К.* (2005). *Русская классика, или Бытие России*. М.: РОССПЭН, 2005.
- Кантор В. К.* (2008). Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса. К проблеме имперского сознания в России. М.: РОССПЭН.
- Кантор В. К.* (2016). «Срубленное древо жизни»: судьба Николая Чернышевского. М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив.
- Кропоткин П. А.* (1991). *Этика: избранные труды*. М.: Политиздат.
- Ленин В. И.* (1968). *Полное собрание сочинений*. Т. 21. М.: Издательство политической литературы.
- Лосский Н. О.* (2011). *История русской философии*. М.: Академический проект, Трикста.
- Набоков В. В.* (1990). *Собрание сочинений*. Т. 3. М.: Правда.
- Соловьев В. С.* (1991). *Философия искусства и литературная критика*. М.: Искусство.
- Струве П. Б.* (1997). *Patriotica: политика, культура, религия, социализм*. М.: Республика.
- Толстой Л. Н.* (1985). *Собрание сочинений*. Т. 22. М.: Художественная литература.
- Франк С. Л.* (2000). *Сочинения*. Мн.: Харвест; М.: АСТ.
- Чернышевский Н. Г.* (1953) *Полное собрание сочинений*. Т. 15. М.: Государственное издательство художественной литературы.

New Person: Nikolay Chernyshevsky in the Mirror of Russian Europeanism

Olga Zhukova

DSc in Philosophy, Professor, School of Philosophy, Faculty of Humanities, National Research University Higher School of Economics.

Address: Staraya Basmannaya, 21/4, Moscow, Russian Federation 105066

E-mail: logoscultura@yandex.ru

This article represents a genre of philosophical criticism that can be defined as a reflection of the book on N. G. Chernyshevsky written by V. K. Kantor, a historian of Russian philosophy. Kantor creates a new intellectual biography of Chernyshevsky as opposed to the Soviet version, inherited from Lenin, of Chernyshevsky as a revolutionary Democrat. Chernyshevsky's biography reflects the transformation of intellectual and political culture that took place in Russian society in the second half of the 19th century. I attempt to analyze the main ideas of the book through addressing the

historiography of the subject in this critical article. The two main questions posed are whether a writer's legacy can be "cleared" from the revolutionary myth and ideological interpretations, and is it fair to define him as a supporter of gradual reform and as a Christian thinker? The article also introduces the reader to the historical-philosophical tradition of research on Chernyshevsky. It also demonstrates the literary and philosophical sources for the study of Chernyshevsky's work in the periods between three Russian revolutions and emigration. This essay presents a critical overview of the key instruments of historical and philosophical Chernyshevsky studies in the Russian intellectual context of the 20th century. Identifying the actual intention of the thoughts of Chernyshevsky is extremely important today. This paper responds to the relevance of studying the texts of Russian social and religious thought in the present stage of the problematic field of the history of philosophy.

Keywords: myth, Christian ideology, revolution, Russian Europeanism, religious philosophy

References

- Anichkov E. (1930) Dve strui russskoj obshhestvennoj mysli: Gercen i Chernyshevskij v 1862 g. [Two Jets of Russian Social Thought: Herzen and Chernyshevsky in 1862]. *Zapiski russkogo nauchnogo instituta v Belgrade. T. 1* [Proceedings of the Russian Scientific Institute in Belgrade, Vol. 1], Belgrade.
- Berdyayev N. (1991) *Samopoznanie (opyt filosofskoj avtobiografii)* [Self-Knowledge: An Attempt of Philosophical Autobiography], Moscow: Book.
- Berdyayev N. (1994) *Filosofija tvorcestva, kul'tury i iskusstva. T. 2* [A Philosophy of Creativity, Culture, and Art, Vol. 2], Moscow: Iskusstvo.
- Bulgakov S. (1993) *Sochinenija. T. 2* [Works, Vol. 2], Moscow: Nauka.
- Chernyshevsky N. (1953) *Polnoe sobranie sochinenij. T. 15* [Complete Works, Vol. 15], Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo hudozhestvennoj literatury. T. 15.
- Frank S. (2000) *Sochinenija* [Works], Minsk: Harvest, Moscow: AST.
- Kantor V. (2005) *Russkaja klassika, ili Bytie Rossii* [Russian Classics; or, The Being of Russia], Moscow: ROSSPEN.
- Kantor V. (2008) *Sankt-Peterburg: Rossijskaja imperija protiv rossijskogo haosa. K probleme imperskogo soznaniya v Rossii* [Saint Petersburg: Russian Empire against Russian Chaos. Toward the Problem of Imperial Consciousness in Russia], Moscow: ROSSPEN.
- Kantor V. (2016) *"Srublennoe drevo zhizni": sud'ba Nikolaja Chernyshevskogo* ["Cut Down the Tree of Life": The Fate of Nikolai Chernyshevsky], Moscow, Saint Petersburg: Center for Humanitarian Initiatives.
- Kropotkin P. (1991) *Jetika: izbrannye trudy* [Ethics: Selected Works], Moscow: Politizdat.
- Lenin V. (1968) *Polnoe sobranie sochinenij. T. 21* [Complete Works, Vol. 21], Moscow: Gospolitizdat.
- Lossky N. (2011) *Istorija russskoj filosofii* [History of Russian Philosophy], Moscow: Academic Project, Triksa.
- Nabokov V. (1990) *Sobranie sochinenij. T. 3* [Works, Vol. 3], Moscow: Pravda.
- Soloviev V. (1991) *Filosofija iskusstva i literaturnaja kritika* [Philosophy of Art and Literary Criticism], Moscow: Iskusstvo.
- Struve P. (1997) *Patriotica: politika, kul'tura, religija, socializm* [Patriotica: Politics, Culture, Religion, Socialism], Moscow: Respublika.
- Tolstoy L. (1985) *Sobranie sochinenij. T. 22* [Works, Vol. 22], Moscow: Khudozhestvennaja literatura.
- Zenkovsky V. (1991) *Istorija russskoj filosofii. T. II. Ch. 2* [History of Russian Philosophy, Vol. II, Part 1], Leningrad: Ego.
- Zis A. (ed.) (1994) *Russkaja ideja v krugu pisatelej i myslitelej russskogo zarubezh'ja. T. 2* [Russian Idea in the Circle of the Writers and Thinkers of Russian Diaspora, Vol. 2], Moscow: Iskusstvo.

Призрак цезаризма и четвертое измерение демократии

ROSANVALLON P. (2015). LE BON GOUVERNEMENT. PARIS: SEUIL. 416 P. (LES LIVRES DU NOUVEAU MONDE).
ISBN 978-2-02-122422-1

Евгений Блинов

Ассоциированный сотрудник ERRAPHIS, Университет Тулузы 2

Адрес: Pavillon de la Recherche, Bureau RE 205, 5,

allées Antonio Machado F-31058, Toulouse cedex 9, France

E-mail: moderator1979@hotmail.com

«Наши политические режимы называют себя демократическими, но нами не управляют демократическим путем. Сегодня именно это вопиющее несоответствие разочаровывает и приводит в смятение» (р. 9) — Пьер Розанваллон начинает свою новую книгу с указания на главную болевую точку современных демократий. Демократию до сих пор рассматривали исключительно как политический режим, настало время проанализировать ее как особый способ организации правления (*gouvernement*), который подразумевает переосмысление роли исполнительной власти¹ <правительства>. И проблема современных демократических режимов, по мнению одного из наиболее авторитетных политических мыслителей Франции, состоит не только и не столько в том, что они плохо функционируют как режимы народного суверенитета, т. е. не выражают волю избирателей, а в том, что они плохо управляют. Политическая жизнь не ограничивается созданием институтов

1. Перевод французского названия книги «Bon gouvernement» (BG) на русский достаточно проблематичен с учетом полисемичности французского «gouvernement». Это одновременно отсылка к европейской традиции трактатов «О правлении» (ср., например, устоявшийся русский перевод политических трактатов Локка) и рассуждение о функциях исполнительной власти, т. е. о правительстве в смысле кабинета министров (и невозможность буквального применения принципа разделения властей к французской модели, которую описывает Розанваллон). Поэтому в контексте аллюзии на «зерцала принцев» и «трактаты о правлении» его можно переводить как «Достойное (подобающее) правление», а в контексте дебатов «долгого XIX века» о разделении властей как «хорошее правительство». Дополнительную сложность вносит введенный Фуко технический термин «gouvernementalité» (см.: Foucault M. [2004]. La naissance de la biopolitique: cours au Collège de France, 1978–1979. Paris, Gallimard; рус. пер.: Фуко М. [2010]. Рождение биополитики: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978–1979 учебном году / Пер. с франц. А. В. Дьякова. СПб.: Наука), который обозначает одновременно и «техники власти», и «техники управления» в современном смысле слова и не имеет точного русского аналога. Этот термин мы считаем уместным переводить как «гouvernementальность».

определенного типа, она состоит в повседневном осуществлении власти и форме правления, основанных на «общих интересах» (*chose publique*)². В начале XXI века требования демократизации общественной жизни смещаются из области политических институтов в область управления, поэтому для Розанваллона главная (хотя и чисто функциональная) дихотомия современных политических режимов не избиратели/избранные, а управляемые/управляющие. Но при этом, как утверждает автор, внятной теории отношений между управляемыми и управляющими в условиях трансформации современных демократий до сих пор не существует. Более того, новые способы управления обществом становятся вызовом традиционной демократии, которая с конца XVIII века понималась как «парламентски-репрезентативная». Брюно Латур в начале 2000-х годов искал способ «привить демократию наукам»³, Розанваллон ставит перед собой похожую задачу: как «привить» демократию науке об управлении, которая в технократической перспективе становится чем-то вроде метанауки об обществе или даже *philosophia prima* социального.

Известность Розанваллону принесли исторические исследования генезиса французской политической модели, но рассматриваемая книга — ВГ — посвящена скорее управленческому кризису современных демократий. При этом автор, как всегда, точен в исторической диагностике институциональных проблем, и, как нам кажется, его исторический анализ куда более убедителен, чем предлагаемые им рецепты выхода из кризиса. В ряде своих прошлых работ он рассматривал эволюцию «демократии-гражданства»⁴, демократии как политического режима⁵ и, наконец, демократии как формы общества⁶. Новая книга, намекает автор, может стать началом нового цикла, посвящена анализу того, что он называет «четвертым измерением» демократии, — проблеме «демократии-правительства». Ее название, которое, как мы уже отметили, можно перевести как «Достойное правление», содержит явную отсылку к европейской средневековой традиции составления «зерцал для принцев» (*miroirs de princes*), особых трактатов по этике и практике правления, предназначенных для первых лиц государства. И это обращение к «правителям», а не к народу или избранному им парламенту весьма симптоматично.

2. Один из примеров употребления Розанваллоном архаизирующей лексики «*Chose publique*» является французской калькой с латинского «*Res Publica*» (ср. англ. «*Commonwealth*» и пол. «*Rzeczpospolita*»). Она также может означать как «общий интерес» в узком смысле («*intérêt général*»), так и форму правления, которая исходит из «общих интересов», а не из интересов группы лиц.

3. См.: *Latour B.* (2000). *Politiques de la nature: comment faire entrer les sciences en démocratie*. Paris: Découverte.

4. *Rosanvallon P.* (1992). *Le Sacre du citoyen: histoire du suffrage universel en France*. Paris: Gallimard.

5. *Rosanvallon P.* (1998). *Le Peuple introuvable: histoire de la représentation démocratique en France*. Paris: Gallimard; *Rosanvallon P.* (2000). *La Démocratie inachevée: histoire de la souveraineté du peuple en France*. Paris: Gallimard; *Rosanvallon P.* (2008). *La Légitimité démocratique: impartialité, réflexivité, proximité*. Paris: Seuil.

6. *Rosanvallon P.* (2011). *La Société des égaux*. Paris: Seuil (рус. пер.: *Розанваллон П.* [2014]. *Общество равных / Пер. с франц. Н. Богдановой. М.: Московская школа гражданского просвещения*).

Смена парадигмы означает провозглашение приоритета исполнительной власти над законодательной, в чем Розанваллон видит радикальный идеологический разрыв с традицией, восходящей к Французской революции. В институциональном плане он выражается в переходе от «парламентско-репрезентативной» модели к «президентско-правительственной» (*présidentiel-gouvernant*), образцовым примером которой служит голлистская конституция Пятой республики. Эта президентализация демократий, как стремится показать Розанваллон, является не национальной «аномалией» или выражением французской исключительности, а основной тенденцией мировой политики. Для иллюстрации этого тезиса он использует свой излюбленный прием, рассматривая институциональные и концептуальные трансформации в перспективе «долгой истории» (именно в этом, по мнению Розанваллона, состоял «гений Токвиля»⁷, а полемика с автором «Демократии в Америке» по вопросам централизма занимает особое место в его работах).

Первая часть ВГ посвящена «проблематичной» истории исполнительной власти. Основное отличие французской революционной модели от англо-американской, так или иначе воспроизводимой во всех последующих режимах, состояло в том, что ей никак не удавалось не только достичь равновесия между исполнительной и законодательной ветвями власти, но даже найти четкие критерии их разделения. «Демократический идеал состоит в том, что организация общества осуществляется исключительно людьми» (р. 37), т. е. правила политического общежития исходят от «народа-законодателя», который утверждает «общую волю» в ряде простых и не противоречащих природе законов. Этот принцип подразумевает всеобщую «десубъективацию» и «деперсонализацию» власти, которая целиком сосредоточена в Национальной Ассамблее, тогда как «исполнительная» власть короля и министров не является «властью» в собственном смысле слова⁸. Революционный идеал «механической» исполнительной власти в наиболее радикальной форме выразил Кондорсе, выдвинув идею «короля-машины», реализацию которой он связывал с прогрессом науки об автоматах. Как подчеркивает Розанваллон, хотя идеал безличной власти закона вступал в противоречие с идеологией бонапартизма, он парадоксальным образом сосуществовал с ней на протяжении всего XIX века.

7. См., например: *Rosanvallon P.* (2004). *Le Modèle politique français: la société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours.* Paris: Seuil. P. 114.

8. В этом контексте необходимо рассматривать и развитие Лениным гипотезы Маркса о «неполитическом государстве», т. е. о неизбежности постепенного отмирания государства, в процессе которого оно утрачивает функцию суверенитета и становится чисто техническим органом «учета и контроля»: «Когда государство сводится в главнейшей части его функций к такому учету и контролю со стороны самих рабочих, тогда оно перестает быть „политическим государством“, тогда „общественные функции превращаются из политических в простые административные функции“» (*Ленин В. И.* [1962]. Полное собрание сочинений. Т. 33. М.: Государственное издание политической литературы. С. 101).

Основным фактором, повлиявшим на реабилитацию исполнительной власти, стала новая «задача управления массами», выходящая на первый план после введения всеобщего избирательного права для мужчин в Третьей республике, а также на фоне стремительного роста профсоюзных движений. В последнее десятилетие XIX века во Франции зарождается особое направление социальных наук, специализирующееся на «психологии масс», связанное с именами Тарда и Ле Бона. Розанваллон особенно отмечает влияние последнего как на второе поколение «отцов Третьей республики», так и на будущих «вождей»: Муссолини, Ленина, Гитлера и де Голля. При этом он, в отличие от многих апологетов классического парламентаризма, комментаторов, не считает Ле Бона кем-то вроде «Макиавелли эпохи толпы», подчеркивая, что его позиция лишена цинизма и отвечает объективной необходимости специфической «техники управления» в новых политических условиях. Массовая мобилизация и рост милитаристских настроений, подчеркивает Розанваллон, совершенно объективно способствовали формированию «культы вождей». Европа вступает в «новый век волюнтаризма»: в период между мировыми войнами осуществляется переход от «номократии» к «телеократии». Что подразумевает, с одной стороны, развитие наук об управлении (термины «технократия» и «администрирование» вводятся в оборот именно в этот период), а с другой — общую «брутализацию» военизированных и революционных режимов. Этот процесс сопровождается растущим разочарованием в представительских институтах, хотя, как меланхолически замечает Розанваллон, вся «история демократии это история разочарования, нераздельно связанная с ее завоеваниями» (p. 75).

Идеология волюнтаризма в военные годы оформляется в особый правовой режим «исключительного состояния» (*état d'exception*)⁹, который непосредственно связан с новыми функциями исполнительной власти. Само по себе «исключительное состояние», подразумевающее временную отмену прав и свобод, не только

9. Распространенный русский перевод «*état d'exception*» как «чрезвычайное положение» является неточным именно в отношении французской терминологии (см., например, перевод агамбеновского «*Stato di eccezione*»: Агамбен Д. [2011]. *Номо-сакер. Чрезвычайное положение* / Пер. с ит. М. Велижева, И. Левиной, О. Дубицкой, П. Соколова. М.: Европа; см. также: *Derrida J.* [2008]. *La bête et le souverain*. Vol. 1: 2001–2002. Paris: Gallilé). Мы выбрали перевод крайне полисемичного французского «*état*» как «состояние» из соображений симметрии. «Исключительное состояние» является общим термином, обозначающим приостановку действия законов, т. е. «нормального правового состояния» (*état de droit*), тогда как «чрезвычайное положение» (*état d'urgence*) обозначает конкретный юридический режим, наравне с «военным положением» (*état de guerre*), более ранним «осадным положением» (*état de siège*) или, например, «режимом КТО». Об историческом аспекте «парадигмы исключения» и ее современных трактовках см. обзорную статью Бернара Манана (*Manan B.* [2008]. *The Emergency Paradigm and the New Terrorism* // Baume S., Fontana B. (eds). *Les Usages de la Séparation des Pouvoirs / The Uses of the Separation of Powers*. Paris: Michel Houdiard. P. 135–171). Современные русские переводы, по-видимому, ориентируются на шмиттовское «*Ausnahmezustand*», однако в немецком языке нет разделения между «исключительным состоянием» и «чрезвычайным положением» (во французском переводе «*Политической теологии*» Шмитта «*Ausnahmezustand*» переведен как «*situation exceptionnelle*» в виде компромисса между двумя терминами (*Schmitt C.* [1988]. *Théologie politique*. Paris: Gallimard. P. 15). В связи с этим любопытно отметить, что в дореволюционном русском юридическом лексиконе выражение «исключительное положение» существовало (см.: *Гессен В. М.* [1908]. *Исключительное положение*. СПб.: Право), однако оно практически исчезло в советский период.

совместимо с демократией, но и, как показывает Розанваллон, возникает вместе с демократическими режимами древности. Римская «диктатура» происходит от латинского «dictare» (диктовать) и означает вынужденный выход за пределы правового поля в ситуации, когда граждане обязаны подчиняться устным приказам назначенного Сенатом «диктатора», а не письменному своду законов. Однако римский диктатор не являлся сувереном в современном понимании слова, так как не был наделен главным правом суверена — изменять существующие законы. Римская «диктатура» была особым защитным механизмом демократии, а не политическим режимом. Политические мыслители модерна, развивая свою мысль Розанваллон, оказались не способны описать функции и место исполнительной власти¹⁰, поэтому процесс конституционализации «исключительного состояния» принял столь драматичный оборот.

Первым подобным прецедентом стал принятый во время событий 1848 года французский закон об «осадном положении», который буквально потряс Европу и изменил направление юридической мысли второй половины XIX века. Вторая волна пришлась на Первую мировую, когда соответствующее законодательство появилось во всех втянутых в мировой конфликт странах. Но идея наделения исполнительной власти чрезвычайными полномочиями не отошла на второй план после окончания Мировой войны, напротив, она породила многочисленные «децизионистские» доктрины, хрестоматийным примером которых стала «суверенная диктатура» Карла Шмитта. Именно Шмитт, по мнению Розанваллона, первым юридически обосновал фундаментальное различие между диктатурой «древних» и «современных». «Суверенная диктатура» не «приостанавливает» на время действие конституции в исключительных обстоятельствах ради сохранения существующего строя, а использует свои полномочия для учреждения нового порядка. Розанваллон обращает внимание на тот факт, что Шмитт был внимательным читателем Сийеса и именно у него позаимствовал идею о надынституциональном суверенитете народа и приоритете национальной и учредительной («конституирующей») воли над любой из существующих правовых форм. Но если для отцов-основателей Первой республики, чьи политические идеалы сформировались в философской и правовой культуре Просвещения, органом выражения этой воли была Национальная Ассамблея (термин, предложенный Сийесом), то для теоретиков нового порядка, воспитанных на волюнтаристских и виталистических доктринах начала XX века, «суверенная диктатура» (народа или пролетариата) утверждалась за счет отрицания парламентаризма.

Это дает Розанваллону повод провести не самую очевидную (хотя и крайне важную для замысла книги) параллель между шмиттовской «суверенной диктатурой» и концепцией «суверенной демократии», сформулированной, по его оценке, «в России и других странах постсоветского блока» в начале двухтысячных годов (р. 108). Он рассматривает ее как новую разновидность авторитарной идеологии,

10. Локк с его учением о «прерогативе» был заметным исключением (р. 101).

но при этом генетически связанную с трансформацией демократий во второй половине XX века. Розанваллон подчеркивает, что этот новый авторитаризм следует общей тенденции президециализации демократий и стремится использовать возможности, заложенные в парадигмальной «голландской» модели с ее «сверхлегитимным» президентом. По этой причине ни постсоветские республики, ни Турция, ни Россия, ни левопопулистские движения в Южной Америке не только не пытаются ограничить и или отменить выборы, а, напротив, используют «демократическую легитимность» в качестве аргумента в проведении «иллиберальных» (*illibérales*) реформ. В этом смысле все упомянутые режимы являются не антимодернистскими или квазитрадиционалистскими, а представляют отдельную ветвь развития демократии (подобно тому, как, согласно Розанваллону, Третий рейх или Советский Союз были своеобразной «патологией развития» идеи народного суверенитета).

Вторая и, на наш взгляд, наиболее содержательная часть ВГ посвящена именно исследованию исторического механизма президециализации. Розанваллон показывает, что «цезаристский поворот» не означает возвращения к Старому Режиму и не ведет с необходимостью к диктатуре, а является чем-то вроде парадокса демократических обществ, который проявляется по мере того, как в политический процесс вовлекаются все более широкие слои населения. Если изначально требование расширения избирательных прав было частью «прогрессивистской» повестки, то в ходе ее практического осуществления к принятию политических решений (по меньшей мере в режиме «авторизации») оказываются причастны более консервативные «низшие классы». По этой причине «плебисцит» во Второй империи становится именно инструментом «иллиберализма», а не средством защиты прав и свобод (поэтому ключевой реформой Третьей республики как социалисты, так и республиканцы считали всеобщее и обязательное обучение в «республиканском духе»¹¹). Этот парадокс вполне подходит для описания феномена актуального правого популизма, только под «вовлечением» в политику подразумевается не наделение избирательными правами *de jure*, а активное участие в политике *de facto* (если принимать тезис о том, что базовый электорат новых популистов составляют группы населения, ранее не принимавшие участия в выборах).

Бонапартизм был бы невозможен без процедуры плебисцита, которая рассматривалась как своего рода противовес «новой аристократии» представительских органов, очень быстро столкнувшейся с «дефицитом легитимности». Для объяснения феномена цезаризма Розанваллон использует термин «человек-народ» (*homme-peuple*), подразумевая, что «первое лицо» не только символически (подобно средневековому «телу короля»), а реально воплощает «всеобщую волю». По сути, она сформулирована уже в Первой империи, но теоретически будет обосо-

11. Если использовать прием Розанваллона и вписать в общую тенденцию развитие советской политической системы, то сталинский «консервативный поворот» можно объяснить демократизацией общества.

вана после «18 брюмера Луи Бонапарта»¹². «Природа демократии состоит в том, чтобы быть персонифицированной в одном человеке», — скажет Луи Бонапарт (р. 315). По этой причине демократическая легитимность во Второй империи обеспечивалась не через парламентские дебаты, а через регулярный плебисцит. Именно Вторая империя закладывает основу принципиально новой формы демократического правления, которую Розанваллон называет «демократией авторизации» (*démocratie d'autorisation*). Ее преимущество над классическим парламентаризмом (реализованным в британской модели) состоит в том, что хотя она и может, как во Второй империи, принимать форму «иллиберальной демократии» (*démocratie illibérale*), но при этом вовлекает в процесс решения ключевых вопросов государственного устройства значительно больший процент населения. Это создает своеобразную «сверхлегитимность» (*hyper-légitimité*), на которую не может рассчитывать ни один парламент.

Тем не менее институт президентства в современном смысле слова сложился значительно позднее: президентские выборы 1848 года Розанваллон называет фальстартом президентской концепции демократий. Подлинной моделью президентской демократии станет конституция Пятой республики, разработанная в окружении де Голля. Ключевым признаком «президентской модели» является всеобщее и прямое голосование, а само принятие новой конституции будет произведено посредством плебисцита — ситуация, не имевшая до сих пор прецедентов. Выборы президента США в XIX и первой половине XX века нельзя рассматривать как исключение, так как они производились посредством выборщиков и, с точки зрения Розанваллона, стали аналогом «прямых и всеобщих» только после введения процедуры праймериз. Идея прямых президентских выборов, которую сегодня никто не решается ставить под сомнение, в начале 1960-х вызвала отторжение политического класса: Раймон Арон критиковал «деспотическую конституцию» и «загадочную легитимность», поставленную выше принципа равенства, будущий президент Миттеран называл ее «перманентным государственным переворотом», а Коммунистическая партия Франции выступала в качестве одного из главных защитников классического парламентаризма. За шесть лет до мая 1968, напоминает Розанваллон, стены французских городов украшали граффити «Нет плебисциту!» (р. 146).

12. Сам термин «человек-народ» не является историческим. Розанваллон вводит его для обозначения новой политической фигуры, претендующей на «надынституциональный» статус но по причине того, что «общая воля» наделяет его сверхлегитимностью. Розанваллон подчеркивает, что критики голлистской президенциализации указывали именно на опасность превращения президента из главы исполнительной власти в некий высший авторитет, не только угрожающий принципу разделения властей, но и противоречащий фундаментальной идее равенства. В случае ее реализации президент получает право говорить от имени «общей воли» и «общих интересов» не только с представителями других государств, но и с собственным парламентом. Розанваллон приводит риторические ходы из речей Сталина: «партия полагает, что...», «партия постановила» или «массы ожидают...» в качестве типичных примеров дискурсивных практик политического режима, в котором ключевую роль играет фигура «человека-народа» как субъекта коллективных высказываний (р. 317).

Розанваллон объясняет радикальный смысл «голлистского» поворота следующим образом: первый президент Пятой республики считал парламент «объединением делегатов частных интересов», тогда как президент, по его мнению, «естественным образом» представлял общую волю и служил олицетворением единства страны. Именно этот момент политического, а не символического «воплощения» воли нации придает президенту легитимность, которая ставит его выше партий. В определенном смысле де Голль произвел переворот не менее радикальный, чем Шмитт или Ленин, но если «суверенная диктатура» или «диктатура пролетариата» неизбежно вели к упразднению парламентаризма, то президентциализация создает дуалистический режим, существующий в условиях постоянного риска «конфликта легитимностей».

В отличие от критиков де Голля, Розанваллон не считает французскую президентскую модель чем-то вроде «республиканской монархии» (по определению Дюверже). Он не рассматривает ее как злокачественную «патологию» идеи народного суверенитета¹³, наподобие национал-социализма или большевизма, хотя за президентскими конституциями всегда будет маячить «призрак цезаризма». Президентциализация по французскому образцу принципиально отличается от межвоенного «вождизма», мирно доживавшего свой век в Испании Франко или Португалии Салазара. Ее сильной стороной является как рутинный характер смены президента, так и его конституционный статус гаранта политического единства страны. В последней трети XX века эта модель получила распространение в мировом масштабе: от постколониальных африканских режимов до Латинской Америки и постсоветского пространства утверждается процедура прямых президентских выборов. Полномочия президента США также постоянно расширялись со времен Рузвельта, а одним из невыполненных обещаний Обамы была отмена указов Буша-младшего, направленных на дальнейшую президентциализацию американской политической системы.

Но помимо очевидного риска «цезаризма», президентская модель имеет ряд существенных преимуществ, которые отвечают законным по букве и по духу требованиям демократической легитимности. Розанваллон называет три легитимных основания президентциализации демократических режимов, соответствующих запросам общества. Во-первых, это запрос на повышенную ответственность власти, практически нереализуемую в «безличной» парламентской модели, в рамках которой можно производить бесконечные модификации комитетов и министерств, не меняя основной вектор политики. Во-вторых, это запрос на «учредительную волю демократического модерна», которая подразумевает возможность ускорения социальных процессов и также ассоциируется с конкретным лицом. Наконец, это требование большей прозрачности или, как выражается Розанваллон, «читаемости» (*lisibilité*) в процессе принятия решений, которую значительно затрудняет

13. Именно в этом качестве он рассматривает их в «Незаконченной демократии». См.: *Rosanvallon P.* (2000). *La Démocratie inachevée: histoire de la souveraineté du peuple en France*. Paris: Gallimard. P. 386–397.

чрезмерная профессионализация политики в условиях парламентских демократий.

Движение к президентской модели рано или поздно приводит к развилке, за которой возможен «цезаристский поворот». Но эта сверхлегитимность лидера, избранного всенародным голосованием, для Розанваллона является чисто функциональной, тогда как цезаризм «основан на смешении этой функциональной „сверхлегитимности“ (которая ведет к иерархизации власти) и ее демократического обоснования (justification), опирающегося на общую волю, которая сохраняет свою условную роль в рамках президентских выборов» (р. 166). Из этого следует необходимость «новой демократической революции», которую Розанваллон рассматривает как переход от «демократии авторизации» к демократии «исполнительной» (*démocratie d'exercice*). В противном случае критики «суверенных демократий» не смогут опровергнуть аргумент об очевидном преимуществе «цезаристских» режимов в степени общественной поддержки, особенно в тот момент, когда рейтинги правящих партий в странах «старой демократии» бьют рекорды непопулярности.

В третьей и четвертой частях ВГ Розанваллон пытается обрисовать контуры новой «исполнительной демократии». Помимо уже упомянутых «читаемости» и «ответственности», это «способность к реакции» (*réactivité*), вполне достижимая в рамках партисипативной демократии с развитием новых технологий. Важной для новой модели является и необходимость «говорить правду» (*parler vrai*), которая, впрочем, является вполне традиционной фигурой демократических режимов (Розанваллон с отсылкой к Фуко вспоминает об античных «паррезиастах», а также о революционных обличителях политической риторики)¹⁴, а также их «неподкупность» (здесь он выражает надежду на повышение прозрачности политической системы, и таким образом круг замыкается).

Относительно этого проекта, который сам автор скромно называет «наброском», мы можем только повторить оценку, высказанную в начале этого обзора: он гораздо менее убедителен, чем предложенный в ВГ исторический анализ. С учетом того, что Розанваллон не прописывает конкретных мер по имплементации предложенных им принципов «исполнительной демократии», ее можно было бы охарактеризовать как «демократию благих намерений». Теоретические рамки, в которые он пытается поместить новую теорию демократического управления, также вызывают ряд вопросов. Например, не совсем понятно отсутствие ссылок на фукольдианскую теорию «гouvernementальности» (*gouvernementalité*), особенно

14. Для Розанваллона важно, что Фуко подчеркивает противопоставление в дискурсивных практиках греческих полисов «паррезии» или необходимости «говорить правду» как морального изменения политической жизни риторике, как проявления соревновательного или «агонистического» начала (р. 328). Для самого Фуко этот термин играет фундаментальную роль в анализе практик «установления истины» (*véridication*) и формирования гуввернаментальных техник (см.: Foucault M. (2008). *Le Gouvernement de soi et des autres: cours au Collège de France, 1982–1983*. Paris: Gallimard; рус. пер.: Фуко М. [2011]. *Управление собой и другими: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1982–1983 учебном году* / Пер. с франц. А. В. Дьякова. СПб.: Наука).

с учетом того, что Розанваллон был постоянным слушателем курса Фуко в Коллеж де Франс, а сам мэтр одобрительно отзывался о его ранних работах 1970-х годов. Точную причину подобного замалчивания понять достаточно сложно, возможно, сам автор прояснит ее в следующих работах анонсированного цикла.

Было бы небезынтересно ознакомиться с более полным анализом эволюции советской и постсоветской политической системы, так как Розанваллон, являясь ярким представителем «второй левой волны» (*deuxième gauche*), постепенно дрейфовавшим к неолиберализму, знаком с трудами Ленина и в достаточно общих выражениях критикует постсоветские «суверенные демократии», но никак не объясняет связь между ними. С одной стороны, на каждом отдельном этапе он удачно вписывает их в широкий политический контекст, с другой — не пытается объяснить характер этого перехода. Как и в более ранних исторических работах, сравнительный анализ Розанваллона в основном сфокусирован на французской и англосаксонской моделях демократии, тогда как в немецкой или советской моделях его интересует скорее их «тератологический» аспект. Но, как нам представляется, именно подробный анализ влияния голлистской президентализации мог бы дать ключ к пониманию формирования режимов «суверенной демократии» (например, влияние конституции Пятой республики на российскую конституцию 1993 года).

Наконец, в своих размышлениях о «достойном правлении» или «хорошем правительстве» Розанваллон не решает на один очевидный, с нашей точки зрения, ход. Он ни разу не задается вопросом: а возможно ли эффективное управление без всякой демократии? В его сравнительных исследованиях никак не упоминается Южная Корея или Сингапур, осуществившие технологический и экономический прорыв в условиях диктатуры¹⁵. И не станет ли выбор между народным суверенитетом и эффективным управлением «проклятым вопросом» будущего... На него сегодня можно было бы ответить примерно так же, как известный теоретик «преодоления демократии» отвечал на вопрос о сроках перехода к высшей стадии коммунизма: «...этого мы не знаем и знать не можем»¹⁶.

Впрочем, он говорил это до того, как пришел к власти. Как замечает Розанваллон в конце книги, обещание — побочный продукт системы конкуренции, но в политике конкуренция работает иначе, чем в экономике. В экономике для привлечения клиентов понижают цены, а в политике, напротив, повышают ставки и обещают больше, чем другие претенденты на власть. Расширение горизонта ожиданий является важным элементом «демократического прогресса» и неотъемлемой чертой политического модерна. Поэтому «высшая стадия коммунизма» или осуществление «американской мечты» должны быть запланированы и сбыться в положенный им срок. Ведь в политике, завершает свои рассуждения на лирической ноте Розанваллон, вспоминая строки забытого поэта: «Нет никакой любви, есть только ее доказательства» («Il n'y a pas d'amour mais que des preuves d'amour»).

15. При этом Япония могла бы служить примером «ограниченной демократии», во многом сходной с турецким или российским режимами.

16. Ленин В. Указ. соч. С. 96.

The Ghost of Cesarism and the Fourth Dimension of Democracy

Evgeny Blinov

Associated Member, ERRAPHIS, Université de Toulouse 2

Adress: 5 allées Antonio Machado, F-31058 Toulouse cedex 9, France

E-mail: moderator1979@hotmail.com

Review: Pierre Rosanvallon, *Le bon gouvernement* (Paris: Seuil, 2011).



Прощальный взгляд на постсовременность: между «свободой» и «безопасностью»

Зигмунт Бауман (1925–2017)

Светлана Баньковская

Кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник
Центра фундаментальной социологии
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: sbankovskaya@gmail.com

Этот год начался для социологии с большой утраты — 9 января на 92-м году из жизни ушел Зигмунт Бауман.

Современную социологию и, пожалуй, еще шире — социальную теорию — невозможно представить себе без трудов Зигмунта Баумана. Во многом они определили облик прежде всего *британской* социальной науки¹, но влияние их поистине *глобально*. Дело не только в том, что Бауман — автор около шести десятков книг, многие из которых были переведены и изданы по всему миру², с ним спорят, его цитируют, его концепции изучают коллеги по цеху; но и в том, что его идеи свободно пересекают дисциплинарные границы, находя применение и развитие в различных областях социального знания. Можно сказать и больше — социологию Бауман рассматривал не только как научное предприятие, но наделял ее «сверхзадачей» — научить людей мыслить свободно (об этом он пишет уже в самых ранних работах³). Поэтому можно сказать, что его «послания» адресованы не только ученой публике, но и «человеку с улицы» — причем, так сказать, с улицы в любой части мира (нередко Баумана называют даже теоретиком альтерглобализма). И все же, пытаясь сделать почти невозможное — обобщить проблематику работ Баумана, — мы обнаружим неизменное присутствие в каждой его книге двух вопросов: «что такое постсовременное общество?» и «что происходит с моралью в этом обществе?». Ответом на первый вопрос послужила метафора «текучести»⁴. Вслед за «текучей современностью» это качество характеризует для Баумана всё

1. Зигмунт Бауман начал свой британский этап карьеры в 1971 году в университете Лидса, где преподавал, заведовал кафедрой и оставался почетным профессором до конца дней. В 2010 году в этом университете был создан и Институт Баумана (The Bauman Institute), занимающийся изучением разнообразных аспектов постсовременного общества.

2. В том числе и на русский язык переведено семь его книг.

3. «Sociologia na co dzień» (1964) затем переведена на английский («Thinking Sociologically», 1990) и на русский («Мыслить социологически», 1996).

4. *Bauman Z.* (2000). *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity.

в социальном мире: любовь, время, зло, страх, жизнь⁵. Растолковывая эту метафору, Бауман говорит о неопределенности, амбивалентности, утрате устойчивости сегодняшнего общества, границы которого «растекаются». Чтобы наглядно объяснить студентам переход от современного общества к постсовременному, Бауман использовал «картинки Роршаха». «Попробуйте определить, когда на этих картинках кошка кажется собакой (или наоборот), а когда модерн становится постмодерном?»⁶. Разумеется, речь идет не только о политических границах национального государства. «Национальное государство» — один из главных персонажей, необходимых Бауману для описания всей драматичности нравственных коллизий «постсовременной» жизни. Этическое содержание социальных проблем неизменно было одним из приоритетных интересов для Баумана, а отношение к рациональному, упорядочивающему и дисциплинирующему «национальному государству» — скорее настроженным. В книге о глобализации это отношение меняется на более «сочувственное»⁷.

В «Обществе в осаде»⁸ Бауман опять анализирует положение «национального государства», размытого фронтиром глобализации, с одной стороны (когда старые структуры уже ничего не удерживают, а новые еще не сформировались), и текучей, неопределенной жизненной политикой — с другой. Между «всеобщим» и «частным» некогда помещалось «общее» (общество), теперь его становится все меньше. Отсюда и новый вызов социальной науке: власть и суверенитет больше не привязаны к территории национального государства, но и не получают определенных институциональных форм в новом (глобальном) пространстве. Что эта ситуация сулит в XXI веке? Можно ли ответить на этот вызов исключительно средствами политики? Исследуя эти вопросы, Бауман проникает на глубинный уровень «цемента общества» — в область морали — и обнаруживает «растекающиеся» границы, нечеткие контуры и пошатнувшиеся основы современного миропорядка, именно здесь.

Текучесть и неопределенность порождают страх. Отличие этого страха от страхов прошлых эпох — его непрерывность, это непрекращающийся страх, «текучий» страх. «Мы идем по минному полю, — говорил об этом страхе Бауман, — и не знаем, где и когда рванет»⁹. Именно этот страх заставляет нас поступиться свободой ради индивидуальной безопасности. Собственно социальная жизнь и есть постоянный поиск баланса между свободой и безопасностью. Это взгляд человека,

5. *Bauman Z.* (2003). *Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds*. Cambridge: Polity; *Bauman Z.* (2005). *Liquid Life*. Cambridge: Polity; *Bauman Z.* (2006). *Liquid Fear*. Cambridge: Polity; *Bauman Z.* (2006). *Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty*. Cambridge: Polity; *Bauman Z., Lyon D.* (2012). *Liquid Surveillance: A Conversation*. Cambridge: Polity; *Bauman Z., Donskis L.* (2016). *Liquid Evil*. Cambridge: Polity.

6. Из лекции, прочитанной Зигмунтом Бауманом в летней школе для советских социологов в Манчестере, в 1991 году.

7. *Bauman Z.* (1998). *Globalization: The Human Consequences*. New York: Columbia University Press.

8. *Bauman Z.* (2002). *Society under Siege*. Cambridge: Polity.

9. Что означает «мировой кризис гуманности»: интервью Зигмунта Баумана каналу «Аль-Джазира» 23 июля 2016 года (*Zygmunt Bauman: Behind the World's «Crisis of Humanity»*): <http://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2016/07/zygmunt-bauman-world-crisis-humanity-160722085342260.html>.

который «пережил два тоталитаризма» и имел право судить и о свободе, и о безопасности (во всех смыслах)¹⁰. В поисках безопасности общество модерна с присущим ему рационализмом использует различные приемы социальной эксклюзии. (И самым поразительным в своей трагичности примером этой калькулирующей рациональности Бауману служит Холокост¹¹.)

Сегодня мы, по Бауману, переживаем времена, когда этот «маятник» стремительно движется в сторону безопасности, и мораль этого момента заново переосмысливает и свободу, и толерантность, и врагов, и друзей, и жизнь, и смерть. Во многом такую мораль Бауман рассматривает (и оценивает, имея в прошлом опыт и коммунистических убеждений, и социал-демократических, и памятуя о критическом марксизме, и учитывая критику постмодернистов) как порождение неолиберализма. Нравственная проблема нынешней «Свободы» заключена в том, что она утратила необходимую связь с «Равенством» и «Братством». Толерантность, ставшая духом времени, распространяется в том числе и на социальную несправедливость — мы невероятно терпимы к ней, мы уважаем бедность как «инаковость», — и все возрастающее социальное неравенство поглощается в той же мере растущей социальной энтропией.

«Смогут ли выжить понятия равенства, демократии и самоопределения, — спрашивает Бауман, — когда общество все в меньшей мере рассматривается как результат совместного труда и общих ценностей и во все большей мере — как просто контейнер товаров и услуг, к которым тянется множество конкурирующих рук?»¹²

В этом обществе нас настигает «кризис гуманности», который, по мысли Баумана, в Европе сегодня воплощают в себе беженцы. Перед нами новый эпизод взаимоотношений с «чужаком» как неизменной проблемой социологии. Рефлекс эксклюзии, поиска внутреннего врага неожиданным образом срабатывает в отношении либерального истеблишмента, который оказался «чужаком» в своем обществе и легкой добычей «популистов». (В одной из своих последних лекций Бауман сравнивал их в способности превращать всех и вся в «чужаков» с Холокостом.) А «популистские» настроения, в свою очередь, становятся мишенью для либе-

10. Зигмунт Бауман родился в Познани. В 1939 году семья переехала в СССР. В 19 лет он уже воевал в составе 1-й армии Войска Польского в качестве политического комиссара, а после войны служил в Корпусе внутренней безопасности (KWD), который в это время боролся с украинскими националистами и остатками польской Армии Крайовой. Одновременно со службой изучал социологию в Варшавской академии политических и социальных наук. Дослужившись до майора, был уволен в 1953 году и стал безработным, однако защитил кандидатскую диссертацию по истории британского социалистического движения и начал преподавать в Варшавском университете. В 1968-м уехал в Израиль и преподавал в Тель-Авиве и Хайфе. Затем была Австралия и, наконец, университет Лидса.

11. *Bauman Z.* (1989). *Modernity and the Holocaust*. Ithaca: Cornell University Press. На русском: *Бауман З.* (2010). *Актуальность Холокоста* / Пер. с англ. С. Кастальского и М. Рудакова под ред. А. Олейникова. М.: Европа, 2010.

12. Что означает «мировой кризис гуманности»: интервью Зигмунта Баумана каналу «Аль-Джазира» 23 июля 2016 года (<http://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2016/07/zygmunt-bauman-world-crisis-humanity-160722085342260.html>).

рально настроенной публики. Наше общество охвачено войной чужаков против чужаков. Но беженцы в Европе, по Бауману, это не просто масса чужаков; это — воплощение нашего страха потерять все, чем мы дорожим. Еще вчера многие из них были вполне благополучны, уверены в себе, обеспечены и строили планы на будущее в своих странах — как и европейцы сегодня в своих. И вот они здесь¹³. «Потрясения только начинаются, — говорит Бауман, — взаимопонимание достигается не сразу, на это может уйти жизнь целого поколения, и даже не одного...»

Теперь мы можем расценивать это как завещание нам приготовиться к тяжелым временам и сохранять тот дух интеллектуальной независимости и достоинства, которым был отмечен академический и жизненный путь Зигмунта Баумана.

The Farewell Look Back to Post-Modernity: Between Freedom and Safety. Zygmunt Bauman (1925–2017)

Svetlana Bankovskaya

Professor of Sociology, Centre for Fundamental Sociology,
National Research University Higher School of Economics
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: sbankovskaya@gmail.com

13. В некотором смысле такого рода рассуждение о том, что «другие» (в каком бы то ни было качестве) являются для общности воплощением одновременно и того, чем общность не является, и того, чем она боится стать, встречается уже в его книге «Mortality, Immortality and Other Life Strategies» (Cambridge: Polity, 1992). Здесь этими «другими» выступают мертвые, в отношении которых живые каждый раз, участвуя в ритуалах погребения, практикуют не просто мемориализацию, но приобщаются к солидарности живых и демонстрируют эту солидарность самим себе (отдавая при этом себе отчет в том, что и приобщение к этой «другой» солидарности — мертвых — возможно, и весьма неожиданным образом).